

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ



КАМЕНЬ И НЕБО



ХОСЕ
ОРТЕГА-и-ГАССЕТ

КАМЕНЬ И НЕБО



Москва
2000

Предисловие А.Гелескула
Составление и комментарии Н.Малиновской
Перевод с испанского

Хосе Ортега-и-Гассет

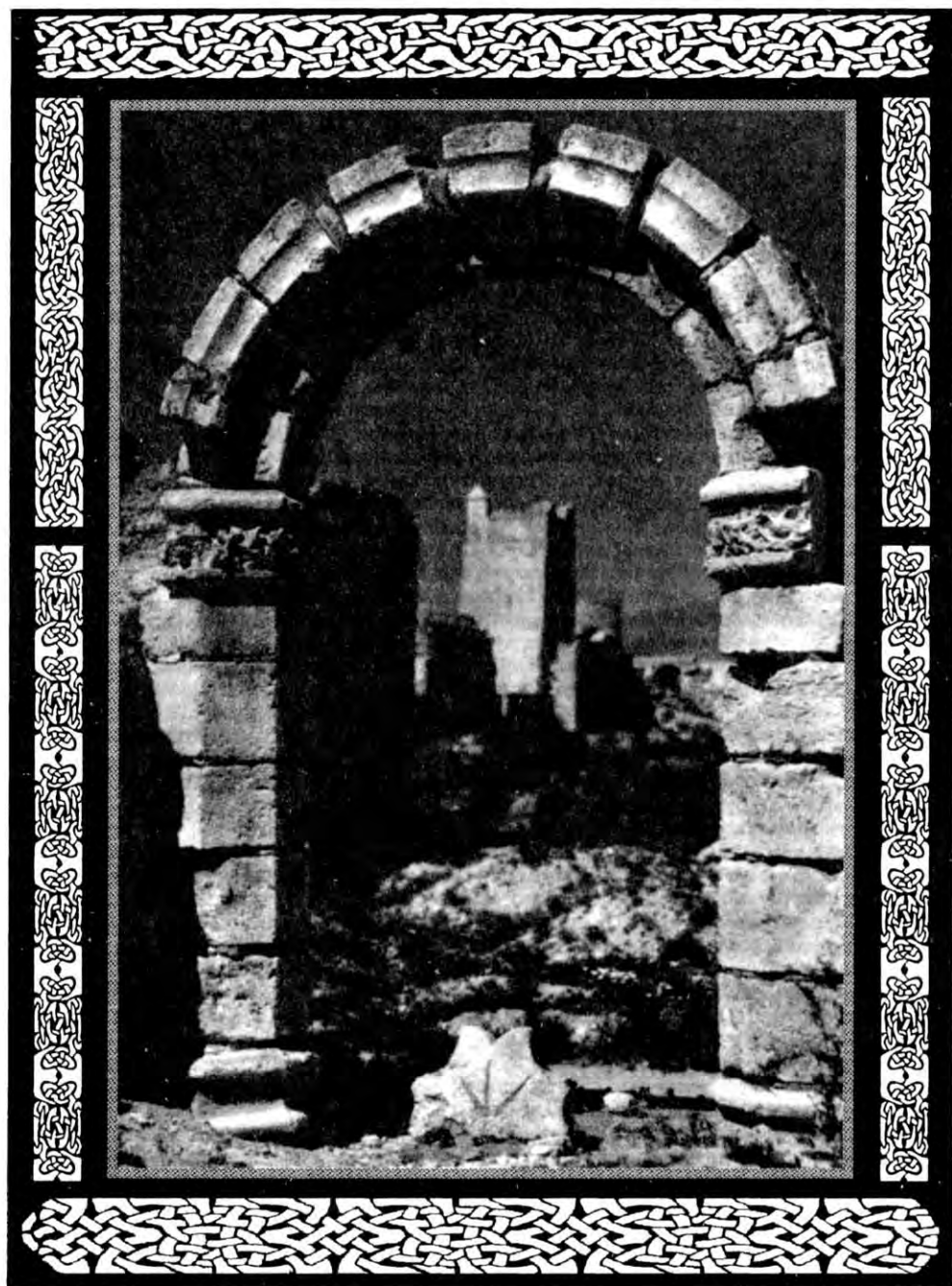
О 63 Камень и небо: пер. с исп. — М.: Грант, 2000. — 288 с.
ISBN 5-89135-143-9

Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883-1955) - один из самых прозорливых европейских мыслителей XX века; его идеи, при жизни недооцененные, с годами становятся все жизненнее и насущнее. Он первым, еще до экзистенциалистов, заговорил об опасности современной цивилизации, разрушающей человека, и вопреки модному тогда историко-философскому пессимизму ввел понятие "жизненного разума", противостоящего этому разрушению. В Испании, которую он вынужден был покинуть, его многогранную деятельность сегодня называют целой эпохой испанского самосознания, по которой учатся. Сила такого воздействия отчасти коренится в его литературном даре, не меньшем, чем у Ницше, но ином. Ортега-и-Гассет не навязывал мысли, а будил их; большая часть его философского наследия - это скорее художественные очерки, где философия растворена, как кислород, в воздухе и воде. Они обращены не к эрудитам, а к думающему человеку, и требуют от него не соглашаться, а спорить и думать. Темы - культура и одичание, земля и нация, самобытность и всеобщность и т.д. - не только не устарели с ростом стандартизации жизни, но стали лишь острее и болезненнее. Именно такая "философская беллетристика" составляет книгу; в нее включено и наиболее знаменитое произведение Ортеги "Восстание масс", которое на протяжении более полувека при тоталитарных режимах было запрещено, существовало подпольно, но читалось жадно.

Издательство надеется, что воззрения Ортеги-и-Гассета, изложенные испанским мыслителем ярко и образно, затронут читателя независимо от его отношения к философии как таковой.

ISBN 5-89135-143-9

© Малиновская Н.Р., перевод, 2000 г.
© Гелескул А.М., перевод, 2000 г.
© Дубин Б.В., перевод, 2000 г.
© Орел Г.Г., перевод, 2000 г.
© Издательство «Грантъ»





СОБЕСЕДНИК ЖИЗНИ

*Легко думать, но трудно быть.
Фр. Ницше.*

Детские мечты обычно несуразны, но редко беспочвенны. Они много говорят о человеке и не столько о его стремлениях, сколько о его жизненном заряде.

Иосиф Бродский, по воспоминаниям, мечтал стал футболистом и летчиком. А стал поэтом – занятия сродни воздухоплаванию и тоже, как он убедился, небезопасное. Будущий философ Хосе Ортега-и-Гассет мечтал стать журналистом и тореадором. В общем, ничего удивительного – испанские подростки играли тогда в бой быков, как теперь в футбол, и, кроме того, Ортега, по его словам, «родился в типографии». Действительно, под его колыбелью, этажом ниже, работала ротационная машина – отец, тоже Хосе Ортега, издавал основанную тестем газету «Беспристрастный».

Удивительней, что Ортега действительно стал журналистом и даже единственным в своем роде. Он не только основал ряд журналов, но в течение двадцати лет издавал альманах «Зритель» («Эль Эспектадор»), где был всем сразу – директором, редактором и единственным автором. Стиль Ортеги заставляет вспомнить и другую его детскую мечту – отточенную графику испанской корриды, поединка по законам танца. Его излюбленным, персональным жанром стала своеобразная публицистика – философские импровизации по самым разным, порой случайным поводам. Философия шла в гушу жизни, на площадь. «Философия была, есть и будет наукой действия», – говорил Ортега и охотно жертвовал академической обстоятельностью ради внятности. «Ясность – это вежливость философов», – считал он. И правда, язык его всегда прост и ярок, а живая, атакующая манера заставляет быть начеку, защищаться, искать противоречия, находить возражения – короче, заставляет думать. Он обращался к здравому смыслу, помня, что мысль, которой невозможно возразить, не стоит того, чтобы ее высказывать. Будить мысль, непременно самостоятельную, было его постоянной заботой, и совет его гениально прост, хотя и трудно исполним: «Главное, чтобы человек всякий раз думал то, что он действительно думает». Четверть века Ортега возглавлял в Мадридском университете кафедру метафизики. Его друг, поэт Хуан Рамон Хименес, любивший философа больше, чем его философию, с досадой восклицал: «Если б он так писал, как говорит!» Когда весной 1929 года в разгар студенческих волнений власти закрыли Университет, Ортега прочел свой курс лекций в городском театре. Одиннадцать философских вечеров прошли «с аншлагом». Устная речь умирает на лету, и то, каким собеседником и лектором был Ортега, приходится принимать на веру. Но догадываться можно. Во всех его работах есть оттенок импровизации, непринужденной и полной неожиданностей беседы. Великие умы имеют обыкновение изъясняться тяжело и трудно, и к этому все привыкли. Легкий дар Ортеги вводил в заблуждение и, надо заметить, долго мешал распознать в нем мыслителя. Нильс Бор советовал ученым не выражаться понятней, чем они думают; Ортега поступал как раз наоборот и потом с горечью вспоминал: «Более тридцати лет наши испанские псевдоинтеллектуалы победно заявляли, что мои работы – не философия, поскольку я «сочинял метафоры и только...» Эти люди не смыслят ни в чем и уж совершенно не смыслят в красоте. Они не подозревают, что по ней можно оценивать жизнь или труд, и даже не догадываются, насколько существенно и важно, что человек бывает красив». Кстати, Эйнштейн, которым Ортега неизменно восхищался, не раз подчеркивал эстетическую сторону науки и «внешнему оправданию» теории противопоставлял ее «внутреннее совершенство». Красота самоценна, в том числе и «красота слога». Многие страницы Ортеги, не будучи беллетристичкой, признаны в Испании образцами прозы.

Литературный дар философа не оспаривался никем, сложней обстоит дело с его философией. Одни – немало их и у нас в России – считают Ортегу крупнейшим мыслителем нашего века, по крайней мере самым насущным и наименее односторонним. Другие отказывают ему в философской солиданости – и по-своему правы. Широта и темперамент Ортеги помешали ему свести свои взгляды в законченную систему и оставить капитальный труд добротного классического образца. Втайне он, видимо, жалел об этом и недаром, признав «Бытие и время» Хайдеггера пре-

* Несмотря ни на что (фр.).



восходной книгой, с ревнивой горечью заметил: «Вряд ли там найдется пара значительных идей, которые не встречались бы, иногда на тринадцать лет раньше, в моих работах». Его философские этюды рассыпаны по книгам вперемежку со статьями на злобу дня.

Что ж, этюды рождаются на вольном воздухе. Однако, читая, следует помнить, что это фрагменты единого полотна.

Оспаривать Ортегу – право философов, а судья в этом споре – время, и, не вступая в спор, хотелось бы только сказать, почему эту книгу стоит прочесть – здесь и сейчас. В ней собраны наименее «философские» работы Ортеги; многие из них – в форме путевых заметок: бродить и смотреть было для него потребностью. Однажды он признался Хуану Рамону Хименесу: «Я усиленно размышлял в юности, теперь мне думается только в пути». Размышления Ортеги о судьбах народа, страны и мира так или иначе связаны с испанским кризисом первой трети нашего века. Казалось бы, проблемы давние и чужие. Но, оказывается, настолько знакомые, что при чтении возникает порой странное чувство – не о нас ли, сегодняшних, идет речь. Ортега всегда обращен к современности и прежде всего к ее болевым точкам. И надо сказать, у него редкий дар диагноза. Он раньше других, еще на заре нашего века угадал его недуги. Век кончается – и пора признать, что поставленный испанским мыслителем диагноз, к сожалению, оправдался.

Знаменитая формула Ортеги: «Я – это я и мои обстоятельства» часто цитируется, но вольно трактуется, и к тому же неточно переводится. Испанское *circunstancia* объемней и насыщенней; Ортега недаром подчеркивал префикс (от латинского *circus* – «вокруг, окрест»). Это не «обстоятельства», а все об-стоящее, об-ступающее – земля, небо, события и люди. Иначе говоря, среда. Ортега неохотно пользовался этим синонимом – прежде всего потому, что «среда» в его время понималась как нечто первичное, фатально и неумолимо формирующее личность; среда была причиной, а человек – только следствием. Сам Ортега полагал иначе: «На закате первой, подлинной, юности впервые сталкиваются с упорством, горечью, враждебностью человеческих обстоятельств; эта первая схватка либо раз и навсегда убивает в нас героическую решимость быть тем, что мы тайне есть, – и тогда в нас рождается обыватель, либо, наоборот, столкновение с тем, что нам противостоит, открывает нам наше Я и мы принимаем решение быть – осуществиться».

В развернутом виде формула Ортеги звучит так: «Я выхожу в мироздание через перевалы Гвадаррамы или поля Онтиголы. Этот окрестный мир – другая половина моей личности, и только вкупе с ним я могу быть цельным и стать самим собой... Я – это я и моя среда, и если не спасу ее, не спасусь и я».

Хосе Ортега-и-Гассет родился в 1883 году в столице Испанской империи – и едва вышел из детского возраста, как империи не стало. Она рушилась не в считанные дни, как наша, а в течение века, но финал – проигранная в 1898 году кубинская война и потеря последних заокеанских земель, добытых кровью, но политых потом и удобренных культурой, – оказался шоком. Испания ощутила себя европейским захолустьем. «Кончилась вера в правосудие, в государственных деятелей, в партии, в администрацию, армию и, наконец, во все», – констатировал не кто-нибудь, а глава консерваторов Сильвеа. Казалось бы – и слава богу, но беда в том, что пошатнулась и вера в себя, в жизнеспособность нации. Вместо обновления пришли растерянность и разброд. Народ, по словам Валье-Инклана, «мой бедный народ забылся, безутешный, под звуки гитары, не в силах оправиться от двух своих самых великих потерь – утраты колоний и бесплатного монастырского супа».

Полвека спустя, уже в эмиграции, Ортега, выступая перед аргентинцами, вернулся к этой давней и болезненной теме: «Все, что мы вместе узнали и вместе прожили, все наше, пережитое вами и наоборот, – это богатство, которого нас не может лишить никто и даже мы сами. Человек – «то, что творится», и прошлое – все, что было со мной, с нами, со всеми – не проходит: наоборот, бывшее, именно потому, что оно было, остается в нас, как остается шрам от раны или летнее солнце в осенней сладости винограда». И потому, заключил он, новым государствам и бывшей метрополии, хотя бы они того или нет, суждено идти сходящимися дорогами, чтобы жить общей жизнью. «Воля человека или народа поверхностна: глубины существования подчиняются не воле, а неумолимой судьбе».

Быть может, ранняя, еще в юности возникшая неприязнь к социальной апатии предопределила и философский динамизм Ортеги, и его веру в «избранное меньшинство». Таким меньшинством стало «поколение 98-го года» – цвет испанской интеллигенции. Их было немного, и дейст-



вовали они врозь, но страну разбудили. Самым младшим в «поколении 98-го года» был Ортега-и-Гассет. Окончив университет, он продолжил учебу в Берлине и философской Мекке тех лет – Марбурге, а в 1910 году возглавил кафедру Мадридского университета – и вскоре уже к нему, в новый центр европейской мысли, потянулись иностранные студенты. Ортега создал «Западный журнал», затем издательство с тем же названием, и стал выпускать многотомную серию «Библиотечка идей XX века». А еще раньше он основал Испанскую лигу политического образования и призвал интеллигенцию идти в народ, возрождая «любовь и достоинство». И не случайно студенческие волнения, ставшие началом конца военной диктатуры, а затем и монархии, вспыхнули в университете, где властителем дум был Ортега.

Конец его просветительским и политическим усилиям положила гражданская война. Ортега эмигрировал и вернулся на родину уже стариком. Так и не приняв испанское гражданство, он остался внутренним эмигрантом. Умер он в 1955 году, и цензурная директива «по случаю смерти Х. Ортеги-и-Гассета» гласила: «Публиковать не более трех статей – биографию и две заметки, где следует подчеркнуть его заблуждения в религиозной сфере». Но, прощаясь с Ортегой, подчеркивали другое: «Его философия стала частью нашей судьбы».

Европейская мысль как-то привыкла не ждать от испанской (да и русской) философских откровений. Социальные прогнозы Ортеги дошли до европейского слуха много раньше его идей, и лишь теперь оценены проницательность и оригинальность испанского мыслителя. Быть может, именно оригинальность и мешала этому, по крайней мере – одна ее черта, непривычная в новейшей философии: Ортега непритворно любил свое, то есть наше, время и считал, что оно «выше любого другого и ниже себя самого». В последнем он, казалось бы, мог убедиться, и не раз – его опасения сбывались, а надежды рушились на протяжении всей жизни. Юность его совпала с национальным кризисом; он ждал, что кризис приведет к выздоровлению, и не дождался. Он мечтал о единой Европе и стал свидетелем двух мировых войн. Он пережил военную диктатуру, боролся с ней и способствовал ее падению, но новая диктатура, военно-фашистская, пережила его. И все же Ортеге нравилось его время. Он не сожалел о вчерашнем: «Безрадостно знать, что прогресс – это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной; такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю». И говорил о сегодняшнем дне: «Мы чувствуем, что вырвались из тесного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где все возможно, все – от наилучшего до наихудшего... Одному Богу известно, что будет завтра, и это втайне радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, и есть настоящая жизнь». Звучит романтизм, но следует помнить, что Ортега всегда обращался к творческому началу в человеке, а творческое начало деятельно. И в ком оно есть, тот не вздыхает о недоступном каррарском мраморе, а берет обрубок дерева и создает из него образ. Быть может, на века.

Ортега был не столько учителем жизни, сколько ее поборником, и его полемика с Хайдеггером, которого он признавал родственным мыслителем, вызвана отнюдь не ревностью первопреходца. Мысль их родственна в истоках, но течет по разные стороны водораздела. Оба исходили из драматического противоречия – человек не существует вне мира, но мир человеку враждебен; оба противопоставляли «подинное бытие» (у Ортеги – «подинную жизнь») отчужденному от себя существованию, пассивному растворению в безликой массе. Но у Хайдеггера подинное бытие осознается как небытие, «бытие-к-смерти», и единственное, конечное достояние человека – *Freiheit zum Tode*, свобода-к-смерти. За этим угадывается традиция, сумрачная готика старонемецкого мистицизма, тени Майстера Экхарта и его учеников, устремленных в Ничто. У Ортеги другая тональность, иные тени освещают его философию жизни, и в его «подинном бытии» угадывается «героический энтузиазм» Джордано Бруно. «Жизнь, – говорит Ортега, – единство смерти и вечного возрождения, воли к существованию *malgre tout*», опасности и дерзкого вызова, отчаяния и праздника... Я не верю в «трагический смысл жизни» как конечную форму человеческого существования. Жизнь – не трагедия и не может ею быть. В жизни же трагедии возможны и случаются».

Назвав свою философию жизни рационализмом, Ортега ввел понятие «жизненного разума», призванного не столько искать, сколько рождать истину: «Человеку не дано никакого заранее предопределенного мира. Ему даны только радости и горести жизни. Движимый ими, чело-



век должен создать мир». Человек мыслит потому, что существует, а не наоборот, и созданная им картина мира позволяет противостоять хаосу обстоятельств. В самом упрощенном понимании «жизненный разум» призван помочь, говоря словами старинной молитвы, изменить то, с чем человек не в силах мириться, и смириться с тем, чего он не в силах изменить, но главное – помочь отличить первое от второго. Как учит Ортега, человек должен распознать свою судьбу и следовать ей, иначе вся жизнь его будет лишь неудачным самоубийством.

«Жизнь всегда единственна, это жизнь каждого, – говорит Ортега. – Жизни «вообще» не бывает. Жизнь – неизбежная необходимость осуществить именно тот проект бытия, который и есть каждый из нас. Этот проект, или «я» – не идея, не план, задуманный и произвольно выбранный для себя. Он дан до всех идей, созданных нашим разумом, и до всех решений, принятых нашей волей. Более того, как правило, мы имеем о нем лишь самое смутное представление. И все-таки он – наше подлинное бытие, наша судьба. В нашей воле осуществить или не осуществить жизненный проект, иначе говоря – самих себя, но не в наших силах его переиначить, обойти или заменить».

Резонно заподозрить в «жизненном проекте» – укрытое в светские одежды предопределение, а в Ортеге – фаталиста. Возможно, его самого смущал этот кальвинистский налет, искажавший динамизм его мысли. Недаром он не раз и не два, почти в одних и тех же словах, внушал: «Жизнь, данную нам, мы не получаем готовой, а должны сделать ее, каждый – свою... Мы должны внутренне оправдать свой выбор, то есть понять, в каком из возможных действий мы полнее осуществимся, в каком из них больше смысла, какое из них наиболее наше. Не решив этого, мы обманем и предадим себя, убьем частицу нашего жизненного срока, тем более, что времени у нас в обрез». Динамизм в том, что жизненный проект возникает в процессе осуществления; человек обречен постоянно решать – делать выбор и нести за него ответственность. Ортега относит это не только к личности, но и к народу, эпохе, цивилизации, поскольку человек – наследник огромного прошлого и обладает исторической памятью – историческим разумом».

«Наша жизнь, – добавляет Ортега, – стрела, пущенная в пространство существования, но стрела эта сама должна выбирать мишени. Выбор не бывает абсолютно свободным, наша воля ограничена обстоятельствами. Но упорная слепота идеологов берет в расчет лишь эту ограниченность жизненной свободы, не замечая, что мы никогда не бываем полностью предопределены... Поэтому ничто так достоверно не говорит о человеке, как высота мишени, на которую нацелена его жизнь. У большинства она ни на что не нацелена, что – тоже своего рода целенаправленность».

Но это лишь одна сторона жизни, неотторжимая от другой: «Не представляю себе ничего более адекватного жизни, чем кораблекрушение. Речь не о том, что в жизни оно может произойти. Сама жизнь, от начала до конца, это погружение во враждебную стихию, которая не поддерживает нас, а поглощает. Поэтому жизнь обязывает непрерывно и всеми силами держаться на поверхности или, что то же самое, делать гибельную среду пригодной для себя. И первое, самое главное, что должна сделать жизнь – это осознать себя, уяснить, что это за стихия, в которой мы порою плывем, а порою тонем, и что такое наше бедное «я», терпящее в ней кораблекрушение. Все остальные наши действия возникают уже внутри этого осознания и внушены им».

К этой метафоре жизни Ортега возвращается не раз в разные годы и по разным поводам: «Жизнь сама по себе – всегда кораблекрушение. Но терпеть кораблекрушение – это не просто тонуть. Чувствуя, как затягивает бездна, сilyтся выплыть. Эти отчаянные взмахи рук, которыми отвечают беде, и есть культура. Только в таком смысле культура исполняет свое назначение – и человек спасается... Надо, чтобы все привычные средства спасения исчерпали себя и человек понял – ухватиться не за что. Лишь тогда руки снова придут в движение. Взгляд тонущего – это правда жизни и уже поэтому спасителен. Я верю только идущим ко дну».

Еще в юности Ортега сказал, или, скорее, вздохнул: «Думать легче, чем любить». В этой простой и печальной фразе уже угадываются будущие ростки – тревожные и сумрачные ноты его философии: «Разум – отнюдь не дар, которым владеют, но взятое на себя обязательство, которое нелегко выполнить», «Жизнь – сама себя пожирающая деятельность», или еще неутешительней – «Жизнь – наша реакция на изначальную угрозу, саму материю существования». Вероятно, следующие строки, написанные уже в эмиграции, накануне мировой войны, проясняют природу как изначальной угрозы, так и ответной тревоги: «Если тигр не может перестать быть тигром, не может «растигриться», то человек постоянно рискует расчеловечиться. И для этого не обязательно,



чтобы с ним, как с любимым животным, что-то стряслось, – человек просто-напросто перестает быть человеком. Это правда, и не отвлеченная, а применимая к каждому из нас. Над каждым из нас вечно висит угроза, каждому грозит не быть самим собой, единственным и неотчуждаемым. Большинство из нас постоянно предаёт это «я», жаждущее быть. А если говорить начистоту, наше «я» – персонаж, который никогда не воплощается полностью, утопический стимул, смутный миф, тайно хранимый в каждой душе».

Видя, как растёт число тех, кто готов отказаться не только от себя, но и от разума, и намерен – после трёх веков рационализма – жить не задумываясь, Ортега задался непростым для него, ниспровергателя рационализма, вопросом. Предвешают ли эти люди, утверждающие «свое право быть неправыми», какое-то, пока неясное, обновление жизни или её упадок, меняется человек или всего-навсего скудеет? Короче говоря, чего ждать? Вопрос, по словам Ортеги, «в котором заключено конкретное будущее каждого из нас».

Ответом стала его знаменитая книга «Восстание масс». Страстная, неровная, местами спорная, местами излишне запальчивая, она задела самый болезненный нерв нашего времени и обрела долгую жизнь и завидный резонанс. Сегодня и радикалы, и консерваторы сочувственно обращаются к ней или непроизвольно повторяют её выводы, – словом, идеи книги воспроизводятся уже независимо от нее. Но при этом книга, переведенная на все европейские языки, существует как бы изолированно от философского учения Ортеги. Она долго воспринималась как очередная критика буржуазного общества, причем левые считали ее критикой справа (с позиций либерализма, отягченного крайним индивидуализмом), а правые – критикой слева (с позиций того же либерализма, но отягченного атеизмом). Что же до золотой середины, то главный персонаж книги – европейский обыватель – тогда, как и всегда, предпочитал литературу иного рода. Так было и в Испании, с той, может быть, разницей, что Испания тяготилась своей бедностью, а Ортега винил западную цивилизацию в избыточности благ – и, знакомые с этими благами понаслышке, соотечественники читали с тем же, вероятно, чувством, что и мы («нам бы их заботы»). Кроме того, до своего выхода в свет (1930 г.) книга публиковалась в 1926 году как серия статей в мадридской газете, а создавалась как единое целое в годы борьбы с военной диктатурой. Накаленная атмосфера тех лет мало способствовала терпеливому академическому анализу. Немудрено, что политико-социологическое начало воспринималось и воспринимается в книге острее, чем философское. А именно к нему хотелось бы привлечь внимание, хотя бы с помощью приведенных выше цитат из работ Ортеги самого разного времени.

Само название книги – «Восстание масс», привычное для нашего века словосочетание – иронично и способно сбить с толку, особенно тех, кто, по словам Ортеги, «читает в книгах одни названия». Ни восстаний, ни масс в обычном понимании там нет. Массы у Ортеги – понятие внеклассовое: массовый человек, детище нашего стандартизированного мира, человек без корней, не обладающий ни культурой, ни исторической памятью, трутень с неразвитой душой и хорошо развитым желудком, одинаков на всех ступенях социальной лестницы – и на самом верху проявляется лишь отчетливей и разрушительней. «В Испании господство масс, – отмечал Ортега, – но господство масс с наибольшей властью, масс высшего и среднего класса».

Массовый человек – это «всякий и каждый, кто ощущает себя таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен своей неотличимостью. Не обманываясь насчет собственной заурядности, он утверждает свое право на нее и навязывает ее всем и всюду... Специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она безбоязненно провозглашает и утверждает свое право на пошлость или, другими словами, утверждает пошлость как право». А беда нашей цивилизации, по убеждению Ортеги, заключается в том, что она плодит именно такой, гибельный для нее человеческий тип.

Ортега пришел к выводу, что достигнутый прошлым веком технический и социальный прогресс повысил уровень жизни и понизил уровень самого человека – словом, улучшил покроем, но ухудшил материал, а в итоге сделал человека большим варваром, чем он был сто лет назад: «В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о душе; естественно, что она и не помышляет о нем». Авансцену истории захватил новый герой, неспособный выдумать пороха, но вполне способный им воспользоваться. Уже не обремененный нуждой, но еще не обремененный



культурой, он торопится завладеть плодами цивилизации и бездумно подрывает ее корни. Потребительский эгоизм и массовая косность избавляют от личной ответственности за мир и свои действия в нем – и автоматически ведут к вождизму, стадности и добровольному превращению в безликую деталь безликой государственной машины. Так, по словам Ортеги, «скелет съедает тело».

В сущности, «Восстание масс» посвящено болезни века, унесшей столько жизней. Ортега исследовал не облик, а природу тоталитаризма, общую для всех его ипостасей, и нащупал корни еще до того, как расцвела их буйная поросль. Надо помнить время написания книги. Возможно, сегодняя мысли Ортеги о большевизме и фашизме не слишком впечатляют. О большевизме он знал не так уж много, считал его чисто русским явлением, к России же относился с традиционной для испанцев симпатией. Что до фашизма, то политической реальностью была тогда лишь его итальянская разновидность, сравнительно мягкая. Зрелости твердого шанкра он достиг позже, в Германии. И тем не менее, как свидетельствуют немецкие отклики на смерть Ортеги, именно в гитлеровской Германии «Восстание масс» было одной из самых читаемых – разумеется, втайне – и насущных книг.

В свое время один из «отцов» испанского фашизма Ледезма Рамос сетовал по поводу Ортеги: «Неприятие тотальной государственности, сплава народа и государства, не позволяют ему оценить ни железную мощь советской власти, ни мускулатуру фашистской». Что верно, то верно. Ортега, действительно, предпочитал либеральную демократию: «Политическая власть, осуществляется ли она авторитарически или всенародно, не должна быть неограниченной, и любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность». Себя он подчеркнуто называл не демократом, а либералом. Это не было чисто политическим пристрастием, и, наоборот, стоит коснуться мировоззренческих основ его либерализма.

Заключительная и самая короткая глава «Восстания масс» – об этике – как бы обрывает книгу на полуслове. Название главы можно перевести несколько иначе – «Перед подлинной проблемой». Проблема вынесена за рамки, и понять, насколько она подлинна, могут помочь слова русского мыслителя Георгия Федотова (мыслителя религиозного, но во многом близкого Ортеге – и не только историзмом и литературным даром): «Свобода социальная утверждается на двух истинах христианства. Первая – абсолютная ценность личности (души), которой нельзя пожертвовать ни для какого коллектива – народа, государства или даже церкви. Вторая – свобода выбора пути между истиной и ложью, добром и злом. Вот именно эта вторая, страшная свобода была так трудна для древнего христианского сознания, как ныне она трудна для сознания безбожного. Признать ее – значит поставить свободу выше любви, значит признать трагический смысл истории, возможность ада. Все социальные инстинкты человека протестуют против такой «жестокости» («Рождение свободы», 1944).

Этика свободы трудноопределима. И все же «жестокость» берется в кавычки – во имя свободы воли. Бог, сотворив человека свободным, преподал ему урок демократии.

Этика свободы первостепенна и для Ортеги. Человек сам делает выбор и должен отвечать за него. Именно чувство ответственности, на взгляд Ортеги, отличает личность от ее массового суррогата. И здесь хотелось бы привести, пусть упрощенно и в меру своего понимания, один этически важный постулат его философии.

Человек мыслит потому, что живет и, чтобы жить, нуждается в истине. Но это должна быть его истина, даже если она унаследована. Лишь то, что он сам, именно он, сумел постичь, осмыслить и впитать в себя, перестает быть умозрительно-отвлеченным. В каком-то смысле каждый в мире – первопроходец. Как говорит Ортега, «каждая жизнь – это вселенная в перспективе». И настойчиво повторяет: «Каждая жизнь есть точка зрения на вселенную. Каждая жизнь видит то, что видит она и не может увидеть другая. Каждый индивид – человек, народ, эпоха – незаменимый орган постижения. Вот почему истина, сама по себе чуждая истории, обретает жизненное измерение».

Действительность он сравнивает с местностью, которую люди видят с разных точек, – образ, восходящий к Лейбницу, – и пейзаж, один и тот же, организуется перед ними по-разному. Это не искажение, поскольку единственной – абсолютной – перспективы не существует: «Ложна утопия – истина без местоимения, видимая с «никакого» места». И не обман зрения, поскольку истинно лишь то, что выверено собственной жизнью. Наконец, своеобразие – не изъян: напротив, отличия, особенности зрения позволяют воспринимать «свои» участки спектра, неотчетливые для других. Именно неповторимость каждого человека, его склада, судьбы



и среды, делают его, по словам Ортеги, «органом постижения той реальности, которая ему соответствует».

Самое же главное – увиденным можно поделиться, но нельзя поменяться, как нельзя поменяться жизнью. Легче всего не видеть, отказаться видеть – добровольно ослепнуть и довериться поводырю («принять чужую перспективу в качестве своей»). Но отказ от себя означает, что одним взглядом на мир стало меньше. Самостоятельность и независимость – это долг человека, и не только перед собой: обкрадывая себя, он обкрадывает всех.

«Каждый человек несет миссию истины, – говорит Ортега. – Там, откуда смотрю я, нет никого другого; то, что вижу я, не видит никто». И заключает: «Мы все нужны. Мы все незаменимы».

Этот завет европейского гуманизма – не спрашивать, по ком звонит колокол, – Ортега пронес через всю жизнь. Еще в ранней своей лекции «Тема нашего времени» он говорил: «Бог не рационалист. Его точка зрения – это точка зрения каждого из нас... Бог – символ жизненного потока; сквозь его сети протекает все – насквозь жизненное, зримое, любимое, ненавидимое и принимаемое в радости или страдании... Мальбранш полагал, что мы постигаем истины лишь потому, что видим мир с божественной точки зрения. Мне кажется, правдоподобней обратное – Бог видит мир через людей». Но для этого люди должны быть людьми, а культура – культурой.

Сейчас как-то само собой разумеется, что каждому приличному государству положено иметь культуру, как приличному человеку – галстук. Без него удобней и вообще лучше, но так уж заведено в порядочном обществе. Это привычное и глобальное заблуждение покоится на святой уверенности, что культура всегда под руками, в избытке, и надо только тщательно дозировать ее, с толком и выгодой для себя. Заблуждение, в общем, объяснимое. Не слишком-то весело убеждаться, что культура, увы, не была и не будет скатертью-самобранкой. Культура – не какой-то естественный процесс; естественно одичание – оно наступает, как сыпучие пески. Культура сверхъестественна. В этом нетрудно убедиться, когда ее недостает. Труднее понять, почему она все-таки есть, почему бороздят песок, от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, меченые костями дороги. Ведь не ради же досуга или державного престижа.

Ставя во главу угла «универсальное событие, которое случается с каждым», а именно – жизнь, Ортега различал два рода убеждений. Одни из них – научные, политические, религиозные – внешние, они вырабатываются или берутся извне, испытываются на прочность, отвергаются или принимаются – и человек, признав их истинными, способен пойти за них на смерть. И есть убеждения другого рода, которыми он живет. Они неотчетливы, но непреложны и не подлежат обсуждению – «мы в них живем, движемся и являемся ими». Эти внутренние ориентиры не требуют признания или отвергать, поскольку из них мы, в сущности, и состоим, по ним строится и выверяется жизнь. А создает их культура, это и есть ее плоды. «Культура, – заключает Ортега, – это система живых идей. Или, лучше, система идей, которыми живут». Именно она, как усвоенный организм кислорода, питает жизнь. Речь, понятно, не об искусстве, науке или технике, но о том неосязаемом, из чего все они вырастают и ветвятся. Короче, культура – это жизнотворчество, кровное дело всех и каждого. И если дело это не делается, то как ни тиражируй технические находки, в один прекрасный день не окажется ни мозгов, ни рук, чтобы создавать новое, да и просто справляться с тем, что не стало еще рухлядом.

Другими словами, культура – не цепь доказательств, которые убеждают сами по себе. Она реализуется только через личный душевный опыт, задевая тайные струны и вызывая отклик. И только при этом ответном усилии, встречном порыве, она входит в состав крови, становится частью человека – его собственной культурой, инстинктивной и неотъемлемой – и человек воспроизводит ее в себе и своих поступках не задумываясь, как не задумываемся мы при ходьбе и ставим ногу, безотчетно веря, что земля не расступится под ней. Да, земля может расступиться и похоронить веру и жизнь. И все же, не чувствуя земли под ногами, нельзя сделать и шагу. Без чувства опоры, внушенного культурой, человек топтался бы на месте, обреченный на бездействие – непозволительную роскошь в таком срочном деле, как жизнь.

«Жизнь – это выстрел в упор, – говорит Ортега. – И культуру – самопознание жизни – нельзя отложить на потом».



КОРДОВСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ



етний зной гонит нас к тенистым долинам и прохладным берегам. Так почему же не ищем мы прибежищ тишины и здравниц одиночества, когда жаждет затворничества что-то внутри нас?

Заглянем хотя бы в кордовские скиты, где вырабатывается одиночество высшей пробы. Белые кельи на вершине тонут в угрюмой зелени и цветах, словно замороженных кистью Беато Анжелико; приземистые стены, огибая расщелины, опоясывают Пустынь.



Аромат Кордовы, пряный и стойкий, густеет на склонах, а дикие травы целят терпкий и крепкий настой, который будоражит кровь, бередит мысли, будит наше затаенное фиглярство и вместе с тем омывает чистотой и покоем.

Монах в рясе землистого цвета открывает ворота. Задумчивый строй кипарисов с жесткой, почти черной зеленью ведет к церквушке и жилищу капеллана. В ризнице две картины изображают безысходное противоречие. На одной, очень страшной, бедная душа корчится в пламени чистилища; в углу надпись – «Воздаяние». На другой написано «Благодать» и изображена женщина настолько неотразимая, до того голубоглазая и златокудрая и с такими сочными губами, что не будь мы так высоко над уровнем моря и над нашими инстинктами, не совладать бы с известного рода волнением.

Уходим от искушения по нелюдимо пустоши, распахнутой навстречу. Скрытые зарослями кельи рассыпаны по горной вершине. У каждой – свой садик, в несколько шагов шириной, с белой оградой, затененной дубами и смоковницами. Над каждой – свой кипарис и своя звонница.

Едва ступив сюда, переселяешься в безмятежный край общих понятий. Страстям человеческим поистине нет конца; быть может, они преследуют нас и в могиле. Но здесь они кажутся разумней, становятся мыслями и легче переносятся. Ведь мыслить легче, чем любить.

Гаснет вечер. Тишина неимоверна – для нас, привыкших к городскому шуму, миг тишины огушительен, как звон разбитого стекла. Вокруг – небо. Вдали Кордова беспробудно спит в объятиях Гвадалквивира. Голубизна селений растворяется в белой дали. А здесь, по эту сторону ограды, все напоминает судорогу самозабвения на лице мистика в миг перехода от молитвы к экстазу.

Благотворный ливень тишины затопляет окрестность, и деревья застилают туманом покоя. Все дышит чистейшим идеализмом, и сорвать дикий цветок – все равно что высвободить из-под комментариев слово Святого Хуана или Новалиса. Я ставлю эти имена рядом, ибо с такой высоты иноверец и правоверный едва отличимы, как те два черных мула, что бредут сейчас, далеко внизу, серебряной дорогой. Душа сосредоточена на конечных вопросах. Что есть жизнь? Что есть смерть? Что есть счастье?

Грудной голос говорливого колокола слетает со звонницы и расходится певучими кругами; теплый и ласковый, он освежает мысли и будит тихую тоску, словно женская рука легла на грудь и сжала сердце. Бывают в полевой тишине звуки, которые так загадочно и жгуче отзываются внутри, что хочется каждой жилкой и каждой кровинкой без конца вслушиваться в эту единственную ноту.

Откликается еще одна звонница. Потом, тоном ниже, часовня. Чуть позже и чуть дальше взволнованно отвечает новый колокол, еще один и еще; застенчивые, кроткие, мерные, они раскатывают под мягким вечерним небом некий ковер созерцания, который ткут, как и ткали, здешние звонари. Эти анахореты похоронили свои голоса, вымытые одиночеством, и вместо них доверили беседу колоколам. Двести пятьдесят три раза должен ежедневно отзвонить каждый колокол. О мирный перезвон! Богословская музыка, которая пеленает сознание белым покоем.

Скрипнула дверь. Из нее вышел отшельник с посохом и побрел по тропинке, вдоль живой изгороди терновника, к часовне. Это высокий старик, понурый и хромо́й. Следом и другие затворники с такими же посохами в землистых руках покидают свои садики. И нездешним видением иных времен кажутся эти густобородые пилигримы, что бредут там и сям по всему бургистому простран-



ву Пустыни; они возникают на закатном небе, словно только что приплыли из Фиваиды на золотом облаке, тонут в овраге и снова смутно маячат в зарослях, пока не сольются с землей такого же темного и теплого цвета, как их рубиша. Кто они, эти люди? В большинстве своем – темные крестьяне; однажды какой-то внутренний ожог заставил их подняться на эту вершину и забыть себя на годы, а то и на всю жизнь. Они не дают торжественных обетов монашества. Да и к чему? Зачем придавать одиночеству мрачный оттенок бесповоротности? Они надевают власяницу, нахлобучивают иудейского покроя ермолку, препоясывают чресла четками из масличных косточек или широким сыромятным ремнем и запирают в тесной келье всю свору своих страстей. И со временем отвыкают от них и отбрасывают одну за другой так же бесхитростно, неспешно и просто, как бросали когда-то камешки в стоячую воду.

В Константинополе, где всего в обрез и дорожат малым, есть Общество ценителей воды; его члены разделяют воду по ее проис-

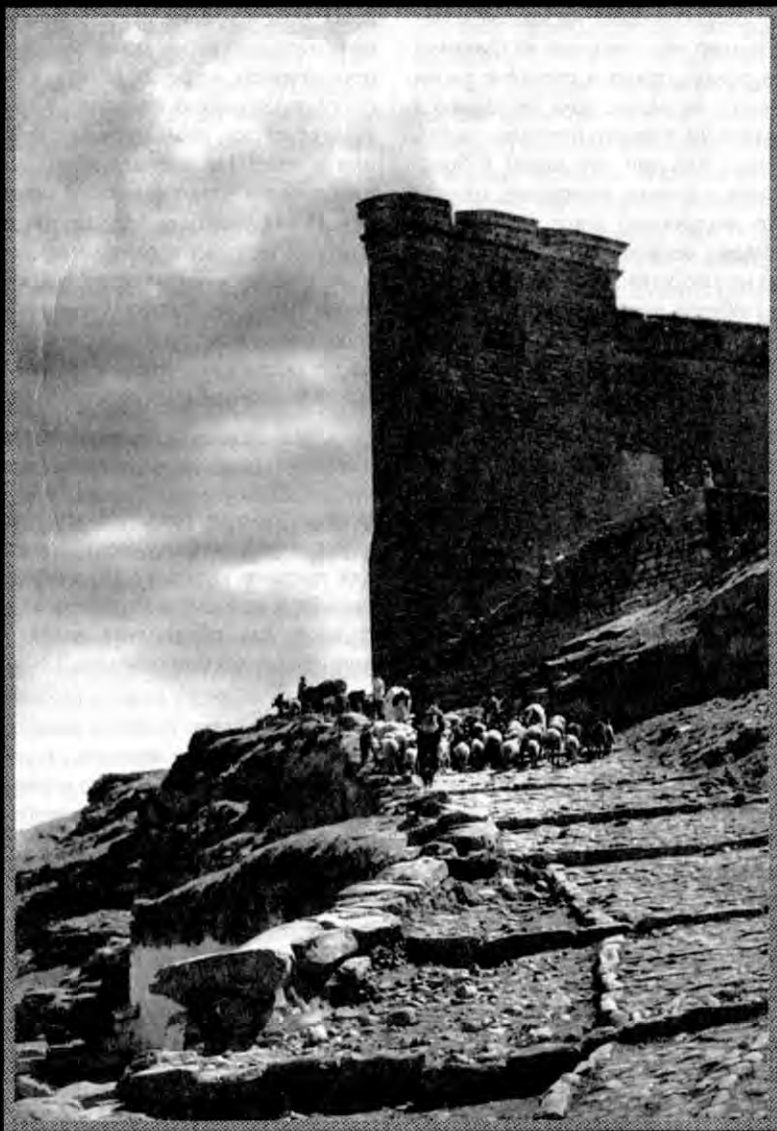
хождению – и одни предпочитают терпкую евфратскую, другие любят дунайскую за ее прозрачность, а третьи, видимо в душе археологи, превозносят нильскую. Сделав из питья искусство, сколько неведомого узнают они о воде! Так и отшельники, дегустаторы одиночества, стали великими знатоками покоя. И как опытного дегустатора не тянет к вину, их не тянет к размышлениям. Многие из них вечно жили на отшибе и, кочуя с места на место, из одной глухомани в еще худшую, свыкались с воздухом одиночества, пока не осели окончательно здесь, сочтя это место целебным для душевного мира.

*Спешу из моих пустынь
вернуться в мои пустыни...*

сказал Лопе де Вега. Но эти люди-оазисы умудренней, поэтому стоят на месте, позволяя пустыне катить волны сквозь их душу, стирать в ней следы страстей. И душа шлифуется, как обкатанные камни или, еще верней, оголенные известью кости.

1904







ПРИРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Номню, однажды в окрестностях Сеговии я стоял на закате в горном сосняке и смотрел, как громоздятся мощным амфитеатром упругие гряды Гвадаррамы. Со мной был Рубин де Сендойя: испанский мистик, человек загадочный и одержимый. Он заговорил, и я попытаюсь пересказать услышанное.

Звенела тишина, казалось, грозила рухнуть – и не решалась. Та тишина, в которой вот-вот очнется и заговорит душа всего. Под нами желтела долина, над нами расправлял старые кости мощный хребет. На большой дороге искрилась меловая пыль. Крепкий дух шел от сосен, и тяжелые серые птицы над нами медленно бередили воздух, рождая вздохи.

Испанский мистик Рубин де Сендойя начал:

– Мысли без нашего ведома справляют в нас свои обряды и объединяются в священные братства, наша воля лишь маскирует их круговую поруку. Вот и сейчас, пока я бегаю взглядом изломы гор, в памяти встают бескровные лица с полотен Эль Греко. Эти горы, как и зрачки тех голуболиких людей, таят нечеловеческий вызов земной быстротечности.

И отводя глаза от этих синих зигзагов, рассекающих небо, я чувствую себя спустком метаистории, возникшим из бездны прошлого и готовым раствориться в бескрайнем будущем. Эта гряда пронесла сквозь века свой слух, и на ее священном гребне мой взгляд сливается со взглядами ушедших поколений и, преломляясь на сизом лезвии камня, встречает грустные зрачки тех, кто в сумеречный час, запахнувшись в косматую шкуру, видел то же, что видим мы, кельтиберы в котелках, дети молодого века. Наши души вздрагивают от бега време-

ни, потому что время отрясает с них прах. Все в нас неутомимо жаждет жизни, но разум провидит верную смерть. Личность гибнет в этой трагической неразрешимости. Родинка, которая всю ночь дрожит от наслаждения бытием, может возомнить себя чем-то непреложным, но утром она глотнет солнца и, пьяная, скатится с листка и разобьется оземь, а солнце рассеет ее молекулы на все четыре стороны.

Горы – они необходимы мирозданию, но мы с тобой должны вызывать у них насмешливое чувство удивления, какое вызывает у нас нелепая случайность. Поверь, друг мой, мы с тобой – пара случайностей.

И все же с этими горами нас роднит частица чего-то твердого, стойкого, не такого мимолетного и сумбурного, как все остальное. В городе, среди выстроенных в шеренгу домов, среди снующих людей, которые носят часы и считают минуты, я теряюсь как личность и чувствую, что уже умер, что меня нет, что я – никто. Но здесь я обретаю себя и открываю в себе что-то коренное, неизменное, неумирающее. Перед этими синими высями я, по меньшей мере, кельтибер.

Испанский мистик меланхолически смолк, облака над горами так зарделись, что стало страшно за раскромсанное солнце, не обескровят ли его навек эти алмазные клыки.

С тем же пылом он продолжил:

– Как Сенеку его сельский дом учил трудному искусству стареть, так меня эти горы приобщают к религии. Любая местность учит чему-то новому и заставляет совершенствоваться. Уверяю тебя, природа учит успешней, чем лучшие педагоги, и если случится досуг, обещаю тебе слоботить отличную «Социальную педагогику» профессора Наторпа другой, поскромней, но посочней – «Природной педагогией».



Быть может, единственная причина мой распри с Платоном – уверенность его, что Сократа ничему бы не научили деревья в поле. То ли дело люди в городе. Впрочем, это простительно, ибо свои изъязны Платон унаследовал от софистов с их антропологическими предубеждениями и предрассудками в духе французского XVIII века.

Деревья – великие учителя, и Платон тоже навешал платан в окрестностях Афин, такой же платан, с каким сдружился Тэн. Неудивительно, что великие люди, изведав все науки и перепробовав все искусства, в конце концов увлекались ботаникой, которая наверняка делилась с ними тайнами и дарила утешение. Дерево, быть может, – лучшее, что только есть. У него стойкий ствол, своевольные ветви, кроткая зыбь листвы. И есть в нем какая-то тишина, и какая-то смутная жизнь, неслышная и трепетная, сквозит в листе, возникая и прячась. Мне кажется, древнейшие египтяне были правы, когда верили, что души умерших переселяются в кроны. И правы аргентинские индейцы, когда жертвы богам оставляют под деревом. Ренан говорит, что религиозный инстинкт сродни инстинкту гнездования, и нечему удивляться, если деревья, где птицы выют гнезда, люди обращают в алтари.

Дикой природе я обязан лучшими струнами души, и если бы не губил себя столько лет черствостью городской жизни, душа моя была бы намного добрей и глубже. Скажи мне, где ты живешь, и я скажу, кто ты.

Когда по Европе прокатилась волна революционной истерии, несколько прозорливых англичан бежали к шотландским озерам и поселились в этой благодатной глуши. Там и созрела спокойная одухотворенность «озерных» поэтов, неповторимая гармония их жизни. Из полевой глуши выпорхнул и тот певчий жаворонок, который не молкнет, как вергилианское эхо, на страницах Эмерсона. То были роскошные места, сплошь в

озерных туманах и солнечных рошах, и в своих питомцев они заронили крылатое семя идеализма.

Вспомни теперь окрестности Мадрида, кроме разве что Пардо и Монклоа. Жалчайшая, истерзанная пустошь, где легче набрести на неподвижного человека, уткнувшего в пыль окровавленное лицо, чем встретить живую душу. Проклятая земля, купленная за тридцать сребреников и способная вдохновить лишь на предательство или преступление. И мы, мадридцы, действительно одни из самых недобрых и опасных созданий в мире.

Испанцы при первой возможности бегут от земли, потому что в безлюдье им не с кем враждовать и некому мстить.

Я убежден, что наиважнейшая задача педагогики – учить людей искренности и ясности. И природа справляется с этим лучше, чем все школы мира, вместе взятые. Любое существо тем откровенней, чем дальше отстоит от человека.

И стоит нам очутиться в нетронutom уголке земли, как точчас тонкие невидимые пальцы начинают свивать вокруг нас таинственные нити доверия, сплетая в единый узор зверей, растения и камни. Вскоре мы чувствуем себя включенными в эту единую жизнь, и безлюдье отзывается в нас покоем, согласием и добротой. «Почему мы так любим природу?» – спрашивал Ницше. И отвечал: «Потому, что природа нас не судит». А ведь это верно! Человек человеку если не враг, то уж непременно судья. Даже с теми, кто нас безмерно уважает, мы всегда настояроже, чтобы не высказать им чего-нибудь такого, что пошатнет их уважение.

Не думаю, однако, что кто-либо сегодня может похвастать своей внутренней связью с природой, потому что человечество отдалось от нее, а саму ее очеловечило, то есть разменяло на мелочи. Первобытный человек был с ней накоротке, он был отзывчивей, а она – красноречивей, и потому он



сумел дать имена всему на свете. Для нас природа – это величественные останки, что-то вроде окаменелого скелета бронтозавра, и мы к ней подходим с научными или художественными мерками, предвзято, тем самым ее искажая. Природа – это сама не-предвзятость, естественность, и недаром же «природа» всегда имя нарицательное.

Вот почему Стендаль утверждал, что заинтересованность самим пейзажем непродолжительна и нуждается в историческом и нравственном подспорье. Когда взгляд устает, предметам надоедает разглядывание, и магическая власть их над нами слабеет. Пейзаж сегодня уже не школа природы, поскольку природу, как я сказал, давным-давно прикончили умозаключения, а пейзаж еще преподает нам историю и нравственность, две интереснейших дисциплины, в которых мы, испанцы, заметно поотстали.

Вот и сейчас наставница Гвадаррама дала мне урок «кельтиберизма» и прояснила те этнические тайны, что сияют вверить нам в затхлых обителях и душных музеях остробородые люди Эль Греко.

Окрестность ушла в себя. Расцвела звезда. Далекий лай всполошился и затих. По долине, как слеза по щеке, покатился бубенчик. Ночь приближалась дремотной поступью коровы. Вбирая прощальным взглядом царственно-невозмутимое стадо гор, мы спустились на большую дорогу. Какой-то прохожий спросил время. Услышав, что мы кельтиберы и мистики и потому часов не носим, он ничего не понял, но удивления не выказал и двинулся дальше по сеговийскому тракту, а мы свернули на проселок и вошли в селенье.

1906







КАСТИЛЬСКИЙ КРАЙ ЗАМЕТКИ НА ХОДУ

До землям Сигуэнсы и Берланги, в располосованном лучами солнца августе, совершил я – Рубин де Сендойя, испанский мистик – сентиментальное путешествие на сером муле с большими чуткими ушами. Это земля, где скакал Сид. И где творил первый кастильский поэт, автор «Песни о Сиде».

Из этого не следует, что я по натуре консерватор. Я действительно люблю прошлое. Консерваторы, напротив, его не любят – им хочется, чтоб оно было не прошлым, а настоящим. Любить прошлое означает радоваться тому, что оно действительно прошло и, утратив ту грубую данность, которая царапает наши глаза, уши и руки, обрело иную, чистую и подлинную жизнь, дарованную воспоминаниям.

Значение, которое мы придаем повседневности, не зависит от нее самой – она захватывает нас тем, что вот она, прямо перед нами, хотим мы того или нет. Суть не в том, какова она, а в том, что она есть. А вот то, что было, напротив, ценно своими глубинными свойствами. Переходя в область былого, оно избавляется от наших корыстных уз и вот тогда, вне житейских мерок, сбросив эту ветошь, нагое, начинает жить своей истинной жизнью.

Поэтому время от времени стоит оглянуться и поглубже взглянуть в тополиный просвет былого – цена всему узнается там, а не на прилавках повседневности.

Вершинная земля кастильского нагорья, нищая земля Гвадалахары и Соррии! Есть ли в мире большая нищета? Я увидел ее в пору обмола, когда карликовые селенья в золотых кольцах токов излучали мнимое довольство. Но все равно землей и людьми правила смрадная нищета, как некий бог, изголодавшийся и злой, которого другой бог, сильнейший, заточил в недра заешнего края.

Но та же земля, что не стоит сегодня и тридцати сребреников, как евангельская Хакелдама, родила «Песнь о Сиде» – поэму, которую и на Страшном суде не перевесит все золото мира.

«Песнь о Сиде» – это героическое косноязычие в топорном ритме пешего шага, крик души, кастильской души XII века, односложной души большого ребенка, то ли гота, то ли кельтибера, чуждой самокопанию, полной высоких ли, низких ли, но обузданных порывов. Безымянный певец, с опустошенной и отчаянной вершины Мединасели бросив на ветер, как соколиный клич с утеса, эту песню, проложил нам наикратчайшую дорогу вглубь вечно сушеного... Да разве все вы, кто с колыбели говорит по-испански, сами не читали эту песнь? Когда мы вбираем ее грубый мужественный стих, наш нравственный вес явно растет.

Итак, в путь – по Кастилии милой, как называет ее наш певец.

II

Ясная заря над розовато-сиреневыми улочками Сигуэнсы. Едва проступает луна и вот-вот растает. Эта смерть ее среди бела дня выглядит таинственно. Она нежна и задумчива как никогда. Словно молочное пятнышко на глади неба или та светлая земляничная родинка, что метит иногда девичью грудь.

Серый мул, на котором я странствую, вязнет в известковой дорожной пыли. Впереди, груженный снадью, плетется еще один мул, каурый, с вялыми ушами и унылой поступью, жалкий, неухоженный и древний, как отцы церкви. На нем, в буром плаще и кроличьей шапке, поверх огромных кувшинов, зонтов, тростей и фо-



тографической треноги, придающей четвероногому сходство с разбитой шхуной, плывет Родригальварес.

Имя словно выхвачено из поэмы и ждет продолжения...

*С ним Альвар Минайя, властный над Соритой,
Муньо Густьес, росший под его защитой,
Мартин Антолинес, Бургоса опора,
И дон Мартин Муньос из Монтемайора...*

Тем не менее, Родригальварес из Сигуэнсы – местный пастух и вызвался быть мoom проводником. Здешние дороги он якобы знает как никто. Что ж, увидим.

Вдоль обочины в тополях и вязах течет Энарес – едва заметная ниточка воды, полускрытая ивняковой опушкой чахлаых огородов.

Что-то чувственное есть в этой ранней, рассветной встрече с полевой далью. Кажется, что ты первый, кто вторгся сюда, и она слегка противится свиданию, ровно настолько, чтобы прикинуть, найдешь ли ты путь к ее сердцу.

Окидывая пройденное расстояние, взгляд упирается в Сигуэнсу, старейший городок епископата, стекающий с широкого кособора на противоположный склон долины. На самом вершy – израненный замок с белыми стенами и квадратными башенками в шегольских шлемах. Над горсткой домов громоздится собор XII века.

Романские храмы воздвигались в Испании по знаку меча, обрушенного на мавров. Сигуэнса довольно долго была форпостом, глубоко вклиненным в мусульманские владения. Поэтому здесь, как в Авиле, собор – одновременно и крепость; две бурые колокольни, квадратные и кряжистые, лишены готической тяги ввысь. Неизвестно, что больше заботило строителей – достичь небы или удержать землю.

Мне по душе эта двойственность. Мы живем в мире противоположностей: вера противится знанию, добродетель – наслаж-

дению, культура чувств – их стихийному порыву, мысль – женственности, искусство – мысли... Некто, воззвав нас к жизни, поставил условие, чтобы душа наша трудилась избирательно. Всю жизнь мы стоим перед выбором – то или это. Нелегкая участь! Долгая, растянутая драма. Действительно драма, потому что предпочесть одно другому означает признать и то, и другое благом, бесспорной ценностью. И хотя выбирается то, что кажется лучшим, в наших чаяниях возникает пустота, которую и должно было заполнить отвергнутое.

Люди слишком опрометчивы в выборе лучшего и забывают, что каждое предпочтение оставляет в душе пустоты. Лучше не предпочитать – иначе говоря, предпочесть не предпочитая. Проявим добрую волю к утолению тем и этим – верой и знанием, добродетелью и наслаждением, небом и землей... Противоречия пока неразрешимы, но каждый человек должен надеяться, что именно он призван их разрешить.

Собор Сигуэнсы, оливковый и розовый в лучах зари, словно древний ковчег, несет по бурным волнам нагорья истину этого завета.

Жизнь тогда обретает цену, когда не обделена ни чем.

III

Но размышляя и мысленно срывая взглядом с коренастой колокольни это новое знамя веры, я вспоминаю, что внутри собора, в углу западного нефа, есть капелла, и в ней одно из самых прекрасных испанских изваяний. Надгробие донa Мартина Васкеса де Арсе.

Молодой безбородый рыцарь лежит на боку, опираясь локтем на вязанку хвороста; в руках у него раскрытая книга, в ногах – собака и паж. Губы едва заметно улыбаются. Табличка над изваянием излагает краткую историю покойного.



Он был кавалером ордена Сантьяго и пал от рук мавров, спеша на выручку к хаэнцам во главе с их сеньором, славным герцогом дель Инфантадо, на берегу главного оросительного канала гранадской долины.

Кто изваял надгробие, неизвестно. Знаменательно, что в Испании почти все великое безымянно. Как бы то ни было, скульптор изваял контрапункт. Этот юноша – воин, на нем кольчуга и стальные налокотники. Но весь облик выдает натуру мягкую и впечатлительную. Впалые щеки и сосредоточенный взгляд говорят о привычке к умственному труду. Кажется, перо ему больше по руке, чем меч. Тем не менее, он храбро бился под Лохой, Морой, Монтефрио. История удостоверяет его доблесть. Скульптура воскрешает его диалектическую улыбку. Неужели кому-то удавалось сочетать доблесть и диалектику?

IV

Вот уж полчаса объезжаем епископские угодья, обнесенные внушительной стеной. Над ней неописуемо стройные и ровные как на подбор махты тополей, скупно убранные зелеными треугольниками вечно моргающей листвы. На юг и на восток смотрят роскошные, искусного литья ворота. А вот и родник в нише стены, и над зыбкой струей – герб епископата. Солнце с таким старанием высвечивает геральдические фигуры, точно разгадывает их тайную символику.

Да, хороши на ясной заре эти нишние земли на обломках былого величия!

Долина сужается, предвешая излучину. На другом берегу излучины, на самом изгибе, словно вцепившись в откос, караулит обе долины хутор Алькунеса – сторожевой пост. Селения здесь, за редким исключением, как засады, скрытые тесниной или гребнем холма. Они различимы только вплот-

ную, издали же сливаются с бурой землей, изрытой тальми водами из распадков. Сейчас, правда, места человеческого обитания с каким-то брезгливым превосходством метят тока в золотой пшенице.

Родригальварес, между тем, разглагольствует в лад тягучей поступи мула. Он спешит от поговорки к поговорке, как лучник от бойницы к бойнице. Ибо мой Родригальварес, как и все рожденные в этом беспощадном крае, постоянно готов к отпору. Каждая прибаутка служит ему укрытием, откуда в узкий просвет парной рифмы вылетает его коварное копье. Уклончивость речей и рассуждений, свойственная крестьянам, помогает им быстро уйти в засаду, где прячутся тайные помыслы и могучие слепые страсти. В беседе, как и в ратном деле, они партизаны.

В общем, Родригальварес сокрушается, что дела в нашей стране идут хуже некуда. Он, как и все бедняки, далек от оптимизма зажиточной публики, убежденной в непременном и скором улучшении.

А перед нами и впрямь открывается новая долина с нежно-зеленой каемкой вдоль русла и редкой вереницей тополей, с которых стекает солнце, с ворсистыми лоскутьями жнивья на красных каменистых склонах и сизыми обрубками скал высоко на холмистой пустоши. Ни запахов, ни птиц. Слева от дороги взлетает ворон, широко и как бы нехотя распахивая крылья; когда он повисает в небе, порыв ветра приносит нам, покачивая на густой синеве, черное перо. Люди Сиды, для которых все на земле имело свой тайный смысл, сочли бы это дурным знаком.

*Слева крикнул ворон на краю Бивара,
А по въезде в Бургос крикнул ворон справа.*

Все немое. Не отзовется земля. Вечно этот край исповедовал бедность и готов нищенствовать еще целую вечность. Однако Родригальварес беду видит в людях. «Э, дон



Рубин... Все резвимся, прыг да скок, а ведь Испания – цветок!»

Утренний ветерок, торопливый и знобкий, раздвигает серые уши мула и делает мои нервы чуткими, как хрусталь. И среди этой красной, немой и бесплодной земли слова пастуха ударяют по ним, как смычок по струнам золотистой скрипки. Испания – цветок!

V

Долина, мало-помалу расширяясь, уходит на восток. Все то же вокруг – внизу зеленая лента огородов, по обе стороны – крутые желтые склоны да бурые и серые срезы холмов, ловко разрубленных отвесным ударом.

Впереди Орна. Селеньице, словно кон, спеленало конус холма – строения горбятся складками грубого плаща, кутающего тело. Пустой вершиной конуса воспользовалась церковь, чтобы глянуть в долину. Окрустность изобилует делянками картофеля, бобов и конопли.

Поднимаемся по жалким улочкам. Кое-где вступаются за их честь алые гвоздики или изышная гофрированная пальма в горшке на

подоконнике. Перевалив на другой склон, спускаемся такими же закоулками.

Селенье так мало, компактно и логически завершено, словно вторгаешься в живой организм. Вокруг – тока. Дальше очертания долины размываются, она бугристо ширится вправо, а слева сходит на нет у первых порогов, с которых начинается Сьерра-Министра.

Это крыша Испании, мы странствуем по плечу великана.

Сьерра-Министра – лабиринт ушей, усеянных сизыми валунами и зелеными стрелами дрока. Самозабвенно одинокая, отпавшая от мира глухомань. И вдруг она отвесно обрывается над широкой равниной цвета охры и крови. И там, в ее центре, навстречу нежно круглятся, как женская грудь, апсиды романской часовенки.

Но что это там, за равниной, на верхнем уступе высоченной гряды? Призрак города, возникший на немыслимой высоте. Это Мединасели, родина песни о Сиде. За десять-пятнадцать миль видна ослепительная церковь, лучистым острием вонзившаяся в небо. Геройский вызов, брошенный тридцатимильной округе.





НОВАЯ СТАРАЯ ПОЭЗИЯ



нтология «Двор Поэтов» – как бы экстракт десяти лет испанской поэзии. Сорок-пятьдесят новых имен. Не буду говорить о каждом в отдельности, оценивать то или другое стихотворение, равно как и заявлять, что все они плохи или, напротив, хороши. Это, видимо, неизбежно по отношению к художникам ушедшим, но наши сорок-пятьдесят поэтов живы и молоды.

Прошлое непоправимо, а дела человека, как и работы художника, который еще жив, – это его

прошлое. Важнее то, что наши поэты предлагают времени, которое только наступает. Человек делает что может, а думает что хочет. Мысли и стремления поэтов – это их эстетика. Вот поэтому я буду говорить об эстетике новых поэтов, не останавливаясь на отдельных стихах. По справедливости, суду подлежат лишь действия более или менее умышленные, и потому поэт не отвечает за достоинства своих стихов, но отвечает за недостатки своей эстетики.



Переходя к сути дела, сошлюсь на вольтеровского персонажа Гудмена, который заявлял, что павлин, умея он говорить, стал бы хвалиться, будто имеет душу, и утверждал бы, что душа помещается у него в хвосте. Совершенно так же поэты новой антологии думают, что мировая душа заключена в каждом слове. И не в тех флюидах идей и понятий, что насыщают слово, а в его физической материи – звуке.

Для меня, а возможно и для тебя, читатель, слова – это бойкие птицы, которые слетают с губ и несут на крыльях таинственные и могущественные заклания. Прильнув на миг, они роняют в душу этот мистический и нематериальный густок энергии и уносятся вольным ветром к новым ушам и душам. Подобно тому, как в современной натурфилософии атомы – лишь средоточия энергии, слова – обиталища мысли.

Не могу понять, какие изощренные умозаключения привели новых поэтов к идее самооценности слова: отвлекитесь от его понятийности, от его логической значимости – и останется лишь *clamor concomitans**, чувственный возглас, членораздельный вздох, напарник боли, который ее облегчает, раздвигая губы, словно створки ворот, чтобы она вышла наружу, рассеялась в пространстве и затихла.

Слова – логарифмы предметов, образов, мыслей и чувств и, следовательно, – только знак ценности, а не сама ценность. Звуковая красота слов иногда удивительна – я не раз замирал от восторга перед мудрой, светлой, прекрасной речью эллинов, которые строили свои слова, как храмы. Но эта звуковая красота – не от поэзии. Это отзвук музыки, и при воспоминании о ней в строении фразы нам чудится изначальная мелодия. Короче говоря, музыкальность – вожнейший источник художественного наслаждения в мире поэзии, но не центр тяжести этого мира.

Для новых поэтов слово – такой же Абсолют, как для ученых – Истина, для моралистов – Добро. Повторяется прискорбная история индийского отшельника, который добывал себе пропитание мотыгой и, охваченный молитвенным экстазом, повесил мотыгу на тамаринда и стал ей поклоняться. Земля осталась невозделанной. Так и наши поэты делают материалом искусства то, что служит лишь инструментом для обработки вечно нового и единственного для всех искусств материала, только и дающего художественные плоды, – Жизни. Поэтому так нелегко сейчас отличить поэта от педанта, и поэтому так редко их искусство выходит за рамки жонглирования словами.

В искрящихся и звонких родниках поэзии бьют глубинные и мощные токи самого насущного – чувства, мысли, культуры. Чтоб быть поэтом, мало, слишком мало ритмично приглаживать певучую струйку слов. Надо самому быть родником, глубинным источником той благословенной творческой энергии, что возрождает, живет и утешает.

Искусство, по мысли Шопенгауэра, избавляет нас от того обыденного, индивидуального сознания, которое барахтается в хаосе явлений, возникающих, исчезающих, преходящих, рождает желания и оплакивает их крах; искусство помогает нам выплыть на поверхность, достичь высшего, «лучшего» сознания, при котором мы перестаем быть отдельностями и постигаем необъятное и нескончаемое движение мировой души. Есть ли у наших новых поэтов этот метафизический порыв, идея искусства как избавления? Увы...

Но бог с ней, с этой философской концепцией искусства, слишком туманной и весьма сомнительной. Может быть, они видят в поэзии двигатель человеческого или, вернее, народного духа, кузницу идеалов, школу разума, закликательницу страстей,

* Сопутствующий звук (лат.). – Здесь и далее звездочкой обозначены примечания переводчика.



залог будущего, силу, которая движет вперед, вносит в мир новые краски, просветляет завтрашний день и поит нас столетним, душистым и крепким вином из погребов прошлого? Тоже нет. В то время как Испания скрипит зубами от боли, едва ли не все они безмятежно увиваются за нынешними французскими декадентами и сияются плитами испанской речи выложить версальские фонтанчики, подделать тенистые пасторали в духе Ватто, скопировать эротические прелести и нервный пыл бесхребетной, лунатической и женственной парижской жизни.

Искусство – суррогат жизни. Если бы все мы могли жить такой насыщенной жизнью, полной львиных страстей, животворных печалей и немыслимых впечатлений, какой живут герои Шекспира, возможно, мы бы и думать забыли об искусстве, что, кстати, и происходит с искателями приключений. Но жизнь наша лишь однообразно нанизывает день за днем, и они осыпаются, как пустые орехи в полуденной тиши. И вот когда из всех углов к нам подползает скука, в нас капля за каплей просачивается мировая скорбь: тогда мы замечаем пустоту существования и тянемся к благородному вину чужих подвалов, тогда-то мы и забредаем в трагические дебри искусства или ищем росистые ивы, посаженные на речном берегу кем-то великим и добрым, в чьей груди шумела неиссякающая река любви, идеализма и жалости. И так как жизнь нам кажется мутной, недостойной и нестерпимой, мы заполняем ее искусством и нагружаем фантазией бесцветные баржи наших будней.

Искусство – освободительное начало. От чего оно освобождает? От пошлости. Пошлость обыденна, она переполняет каждый час, громоздит в кучу события, важные и неважные, из которых составляется жизнь, но которые сами по себе, порознь, без какой-либо связи, кроме временной, не имеют ни малейшего смысла. Но эта житей-

ская реальность опирается, словно крона на ствол, на реальности вечные – на общемировую жизнь с ее тревогами, страстями и бедами. Это к ним обращено искусство, это в них погружается и порой тонет подлинный художник – и, черпая в них силу, уплотняет обыденность и дает жизни смысл. Поэзия – не удачная метафора при виде морской зыби, не отклик на дыхание ветерка, не страстишка или грустинка, вычлененная из мира и упакованная в изысканные строфы. Если ты не погрузился в великие подземные реки, которые роднят и питают все живое, если не тоскуешь всечеловеческой тоской, то как бы сладкозвучно ты ни распинался о перстах белее снега, о садах, умирающих от любви к розам, о пресловутой грустинке, которая шебуршит у тебя в сердце, как мышь, – ты не поэт, ты обыватель лунного света. Как у всякого растения есть свой паразит, так, по убеждению Эмерсона, у всего на свете есть свой любовник и свой поэт; если он прав, остается добавить – и свой обыватель.

Не верю, что возможно искусство, не укорененное в этих вечных реальностях. Но разве их общая суть – не в Боли? Поэзия – цветок боли, но не минутной и архиличной, а той, что становится центром тяжести всей жизни человека. Ибо над каждой жизнью тяготеет страдающее сердце Все-Единоного.

Поэтому беру на себя смелость утверждать, что любое искусство должно быть трагичным, и без этого поэзия – уличный куплетик или цветок красноречия для нервических дамочек.

Не думайте, что я требую искусства непременно гениального и глух к остальному. Привести пример того, к чему я призываю, образец искусства отнюдь не гениального, но глубокого, подлинного, земного и трагичного? Вспомните эпилог «Захолустий» Мартинеса Руиса. Есть ли что прошле, сдержанней и образней? И подлинней? Там не

происходит ровным счетом ничего, но слышно, как между строк, где-то бесконечно далеко, беседует Смерть со своим любимцем Забвением.

Странное зрелище представляют собой эти поэты последнего десятилетия. Река горечи хлынула в Испанию и затопила нашу землю, иссушенную догматизмом и риторикой; каждый клочок пашни, каждая борозда на семикратную глубину пропитана этой горькой водой. Нетопыри безнадежности гнездятся на всех рубежах. И в этом море всенародной горечи поэты захлопнуты, как раковины, куда не проникает ни единая кап-

ля морской воды. Чем они заняты? Воспевают Арлекина и Пьеро, кроют картонную луну на тюлевом небе, млеют от неотвязных сонатин и неумных мандолин – словом, латают самые затрепанные романтические декорации. Они не сумели научиться у своего времени даже пессимизму.

Поэты неисправимы. Номер «Меркюр де Франс» за сентябрь 1793 года – тот самый сентябрь, когда заработала мясорубка, – открывало стихотворение «К манам моей канарейки».

1906





ИЗ МАДРИДА В АСТУРИЮ, ИЛИ ДВА ОБЛИКА ЗЕМЛИ В ПОЕЗДЕ



Жизнь — это дорога», —
твердили аскеты и,
сореvнуясь в меткости, слали
свои стрелы к последнему приви-
лу. Почему они это твердили?
Почему такая житейская част-
ность, как дорога, возведена в
емкую метафору всей жизни?

Дорога с предельной силой
выявляет, как мимолетны наши
связи с миром. Мы скользим по
его поверхности, и мир обтекает
нас: все в нем моментально, все —
только мгновение нас самих, и лю-
бое соприкосновение, каким бы
мягким и нежным оно ни казалось,
отдается болью, оставляет ссадину.



Не успевают губы сказать: «Наконец-то!» новому краю, новой дружбе и чему угодно, как тут же обреченно готовятся выдохнуть: «Кончено...» Торресу Кеведо стоило бы изобрести гарпун для ловли мгновений. Ибо горестна эта одержимость бегством, которой пронизано все на свете. «Подобно тому, как нельзя любоваться знатным всадником в шелках и позументах, если он безостановочно мчит во весь опор, — говорит падре Ниремберг, — точно так же не дано нам насладиться мгновениями сей жизни, ибо мчит она, бросив поводья, и не может остановиться». И добавляет: «Столь мало в ней благ и столь опасливо она их дарит, что и сама-то даруется нам по крохам, к коим примешана такая же доля смерти, какова доля жизни». Все это и многое другое говорит падре Ниремберг в своей «Разности временного и вечного»; чудесная книжка, словно написанная лисой, позарившейся на виноград. Раз уж ничего в мире нельзя удержать, добрый пастырь заключает, что ничего этот мир и не стоит, все в нем никчемно или, как он выражается, «непотребно». (Представляю, какой бы шум подняли из-за подобного словоупотребления наши светила, замершие преторианской гвардией вокруг академического словаря.) Никчемно ли? Нет, приятель, — как раз наоборот. Оттого-то, что мир так волшебен, его безудержная скоротечность оставляет на сердце шрамы. Будь он сплошной зубной болью, краткость жизни стала бы единственным ее достоинством.

Однако оставим эту трудную тему. Я всего лишь хотел сказать простую, отнюдь не глубокомысленную вещь, а именно: чем предельней становится мимолетность нашего общения с миром, землей, человеком, речью, тем сильней и мучительней мы жалуем об этом. Хотелось бы хоть как-то, хоть что-то удержать, но все спешит сломя голову, словно торопится на свидание — неведомо куда, неведомо с кем, но только не с на-

ми. И тогда берешь тетрадку, занносишь туда обрывки фраз и много позже, перечитав их, дивишься тому, что давно истершийся в памяти край, облик, беседа вдруг забрезжат какой-то призрачной жизнью, сберегшей дальний отзвук и трепет ушедшего.

Вот несколько таких заметок.

ДУЭНЬЯС

Неподалеку от Вента-де-Баньос, уже на подъезде, возникает Дуэньяс, адское селение. Цвета земли, оно настороженно карабкается по склону. Саманные дома, почти растворяясь в полуденном солнце, выблуты, будто слепленные из маврева, и уходит ввысь огромная церковь, бдительная и враждебная. Селение, воздвигнутое на земле, опоясано еще одним, кротовым, где люди живут, как муравьи, внутри холма. Там, погребенные в утробе горы, раскаленной бесцветным, беспламенным жаром, жутким беззвучным огнем, эти кастильцы, наши братья и сестры, спят, любят, рожают. По всей округе, известковой и пыльной, желтеет зной, и солнце июля лихорадит дали, как бесконечный вой.

Почти такова и Вента, где я схожу с ирунского поезда и жаду товарно-пассажирский на Леон. В этих краях полуденное безлюдье пустынной и страшной полноты. Надо укрыться в жалком станционном буфете. Войдя, слепнешь. Беспощадный свет, все затопивший снаружи, обескровил сетчатку. Мало-помалу чувствительность восстанавливается, и походкой выздоравливающего, пошатываясь, то и дело хватаясь за что-нибудь, наощупь набредаешь на пыльную стойку, различаешь шеренгу рюмок, фунтики салфеток, траур засиженных мухами зеркал и на стене — миниатюрную, не больше ладони, литографию, прелестнейшую, тонкую, изысканную, отмеченную живостью линий и безупречностью цвета. Она — восемнадцатого



века и называется Les bouquets. Кавалеры в казакинах подносят в танце букеты воздушным дамам. (Эй, хозяин, берегитесь моего друга Пио Барохи – он коллекционер!)

СЕСТРА РЕВИЗОРША

Паленсия, Грихота, Вилья Умбралес, Паредес... В Паредесе, помнится, родился скульптор Берругете. Большое селение раскинулось на пустоши, и видны обширные строения – наверняка, богадельни. Церковь и богадельни! Плоды веры, плоды милосердия. Но ни проблеска надежды в этом буре накате кровель. Ни зеленой былинки, ни тени надежды. И что-то стонет в нас, сломенное этой жгучей безотрадностью, и зовет: «Надежда!» И как отклик, чудится свежая дрожь ледяной родниковой струйки...

До сих пор я ехал один. В Паредесе подвели три монахини, три сестры милосердия. Одна – золотушного вида, молодая и чахлая. Другая, постарше, обликом и цветом лица похожая на англичанку. Третья, которую обе почтительно опекали, – старушка, из тех старушек, совсем уже древних, чьи дряблые черты хранят еще приятную мягкость, а руки с уже омертвелой мышечной тканью по-прежнему пухловаты. Она ласкова, мила, проста и по-крестьянски аристократична. Отличная старушка – явно была красавицей, и костяные дуги ее бровей еще не утратили красоты ветхих арок.

Очевидно, она крайне уважаема в своей среде. Судя по разговору, она ездит из богадельни в богадельню, инспектируя малые отряды своего воинства, такого благородного, такого чтимого и такого незапамятно древнего. Но она уже так стара! Она забыла имена всех настоятельниц, за которыми надзирает. Путает одну сестру с другой. Она ведь столько их перевидала! Тут и случайно не угадаешь. Сестра-англичанка,

напротив, знает все и вся и ласково поправляет старушку, а та улыбается, улыбается постоянно, улыбкой кроткой и всепрошающей.

Косые лучи закатного солнца нежат и обрамляют нимбом восковое лицо монахини. Из сумки она вынимает расписной веер с пестрыми фигурками, местный веер из тех, что продают на ярмарках.

– Это веер моего дурачка, – говорит она. – В приюте у нас есть дурачок – и такой славный. Недавно, в день моего ангела, подошел ко мне, – и старушка изобразила бормотание недоумка, – «Сестра, я подарю вам веер». Я говорю: «Да ведь у меня есть уже, Криспин!» А он отвечает: «Нет, тот весь черный, а на моем – люди». Мой дурачок про всякую картинку говорит – «люди».

Потом она спрашивает:

– Какое сегодня число?

– Шестнадцатое июля.

Она тяжело вздыхает и смотрит куда-то далеко-далеко.

– Сегодня, в пять утра, было ровно сорок и девять лет, как я вышла из дому, чтоб уйти в монастырь. Такое же вот утро! Вовек его не забуду. Сердце обрывалось, а я все шла, шла, вспоминала слова святой Терезы: «Когда покидала я дом родной, мне казалось, что трещат мои кости».

Но, рассказывая, она растворяет ту стародавнюю боль в сегодняшней своей всепрошающей улыбке. Словно гладит колкий терн, повторяя: «Бедняга! Выпала же тебе судьба терзать и ранить!»

ДВЕ ЛУНЫ

Монахини выходят в Саагуне... И даль в несказанном закате волнующе преображается. Под тускло-синим, как полотна Филиппо Липпи, небом – венецианское золото густых хлебов, где режутся еще последние всплески ветра.



На пороге ночи проглянул наполовину лунный серп, точно зрачок, который воззрился на пашню и застыл в изумлении. Из высоких хлебов возник крестьянин с косой на плече. Луна вглядывается в нее, и лезвие превращается в луну, точно такую же. Мгновенье смуты и борьбы – обе луны слепят, расходясь в разные стороны. Но поезд не ждет и оставляет их позади, так и не дав разгадать, какая из них настоящая.

ГЕОМЕТРИЯ НАГОРЬЯ

На другой день, когда поезд отходит от Леона, играет заря, и солнце – опять солнце? – золотым копьем будит окна и балконы. Город искрится, и пробуждение его подобно блеску драгоценных камней.

Позади остается Папалагинда, бедный провинциальный бульвар за предместьями, круто выгнутый над дымной речной расщелиной, откуда вечно тянет сыростью.

Поезд, минуя тополя, спешит долиной. Леон – город тополей, деревьев нагорья, верных земле Леона и Кастилии. Статные их силуэты повсюду – то провожают нелюбимый проселок, то сходятся к роднику, обжитому голубями. Высокие, стройные, невесомые, они словно свернутые знамена. Они – борзые среди деревьев. Тополь, борзая?

Говорят, что Паскаль, еще до того как научился читать, по своим детским игрушкам воссоздал основы геометрии. Не подозревая, что есть общепринятые термины, окружность он назвал обручем, а прямую – прутиком. Так вот, изначальная геометрия для кастильцев и леонцев – геометрия нагорья. В ней вертикаль – тополь, горизонталь – борзая.

– А диагональ?

На крутом гребне холма, углом к горизонту, диагональ – это извечный наш пахарь, склоненный к борозде.

– А кривая?

Жест оскорбленного достоинства:

– В Кастилии, сударь, такого не водится!

ВОЗВРАЩАЯСЬ

Этим летом я полтора месяца провел в Астурии. Такого срока, да и любого другого, недостаточно, чтобы познать тело и душу края, даже если предаться этому целиком. И более чем недостаточно для Астурии, где краски и сердца редкостны по своим оттенкам и переходам. Так вот, эти полтора месяца я посвятил не астурийскому миропорядку, а, напротив, тому, чтобы переродиться от кастильского.

Воздух нагорья, сухой и первозданный, раз за разом берет тонкими пальцами гипнотизера наши бедные нервы, оголяет их, делает тугими, чуткими, как струна, как тетива, как снасти в бурю. Любая мелочь, самая никчемная, сотрясает нас с головы до ног. Так кастилец превращается в очень опасное устройство: для него жить – значит взрываться. Быть может, и несправедливо требовать от нас чего-то помимо непосильных трудов и пламенных деяний во славу Господа, того лютого кастильского бога, который в августовском зное объезжает рысью свои владения. Под жутким взором сего деспота рассыпаются дороги, испаряются реки, коробится задохшаяся листва и свирепый жар выжигает души. Иные полагают, что именно этому мы, кастильцы, обязаны известной предрасположенностью к героизму. Однако немало и таких, кто соотносит высоту плоскогорья с уровнем нашей пылкой преступности. Как бы там ни было, все согласится, что героизм и преступность, в остальном такие разные, одинаково не способствуют сохранению здоровья.

Оттого-то тугое, как барабанная кожа, кастильское плато регулярно раз в два-три года стряхивает нас с себя на побережье. Там, внизу, море увлажняет воздух и делает



его мягким, отзывчивым и нежным. Наши нервы исцеляются. И, быть может, не одни только нервы. Быть может, исцеленными возвращаются наши надежды, изъязвленные и скорбные, как распятия.

И снова нагорье, и первому же всплеску орлиного ветра душа отзывается благодарностью.

Кое-что в этом духе мне хотелось бы добавить.

ОБЛИК ЗЕМЛИ

В душу Астурии, как и в саму Астурию, проникают кантабрийскими перевалами. Лейтарьегос, Пахарес, Эль Понтон, Панде-Руэда! Возвышенные, дивные, величаво пустынные края. Это не Кастилия и не Астурия. Это место, где между ними выбирают. По обе стороны – две совершенно непохожие страны, где ждут наготове, как мечи в ножнах, два образа жизни, два разных и полярных способа говорить «да» существованию.

К югу почти у самых ног тянутся вдали темно-зеленые леонские пустоши, где путник порой, словно в сказке, столкнется с лисой, вспыхнет рыжая холка, насторожится ухо над колдовской мордочкой. Дальше земля становится просто землей – землей без зелени, без растительного покрова, землей желтой, красной, серебряной; голой почвой, сплошной землей, которую оттягивают там и сям вереницы высоких тополей. Она стелется волнами, как трава под ветром, и порой встает на дыбы, образуя рывтины и буераки, плоские курганы и корявые валы. И всегда неожиданно, но неизменно стратегически оправданно – селения: одно непременно просматривает обе долины, другое – закрепилось на срезе холма. Вечно недружелюбные, вечно в развалинах, с вечной церковью посередине, чья колокольня, с осанкой сторожевой башни,

кажется сонной, но дремлет, как истый воин, – стоя, вонзив клинок в землю и облокотясь на крестовину меча.

Воздух настолько прозрачен, что свет льется свободно, как в пустоте. И все цвета достигают предельной силы.

Неверно предвзятое мнение, что красиво лишь там, где царит зелень. Полагаю, что этой убежденностью пытаются скрыть соображения пользы, чуждые и даже враждебные эстетическому созерцанию. Зеленый край сулит уютную и сытую жизнь. Обыватель, который неистребимо угнездился в нас, корыстно подстегивает наш бескорыстный интерес к растительным красотам. Ему наплевать на изумрудную листву, но лицемер хвалит ее, втайне думая об урожае, и рукоплещет зрелищу из чисто желудочных побуждений.

Напротив, дону Франсиско Хинеру, для которого безусловно лишь бесполезное, красота кастильского пейзажа представлялась непревзойденной.

Да, он не зелен, зато золотист, багрян, серебрист и хрустален. Физиологи хорошо знают, что красные и желтые тона учащают пульс, и тем сильнее, чем большая площадь занята этими теплыми тонами.

Но исследователи сокрушаются, что не могут оперировать огромными жаркими пространствами, ибо все они – уроженцы северной и срединной Европы, где зеленые поля замедляют биение сердца. Так вот – у нас в Кастилии они нашли бы немислимый в Европе жар: наши багряные и золотые дали пускают пульс галопом.

Мало того, насыщенность каждого цвета превращает буквально все – землю, здания, людей – в зыбкие миражи, невесомые и невещественные. Это видимость мира, воздушная и нереальная, которая вот-вот, подобно городам среди облаков, растает, исчезнет, обернется ничем. Как наваждение наяву, Кастилия – одно из чудес света.

Наяву же она – сплошные руины.



Став к ней спиной на кантабрийском перевале, мы словно избавляемся от гибельного наваждения. И что же видим?

КАСТИЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД НАОШУПЬ

Избавленные от гибельного наваждения, спиной к Кастилии, что прежде всего видим мы, кастильцы, с перевала Лейтарьегос или Пахарес?

Прежде всего мы видим, что перестали видеть. Взгляд, рожденный нашим оком, безболезнен и своеволен. В Кастилии бросить взгляд – это послать стрелу в бесконечность: ни на взлете, ни на излете не встретит она преград. Всласть насытившись пустотой, летучая стрела упадет от собственной тяжести и войдет в землю, почти нераздельную с небом. В Кастилии взгляд сам чертит горизонты, как в однообразной пампе нога, по словам Дарвина, сама выбирает и торит дороги.

Итак, первый же неосторожный взгляд, брошенный с перевала Пахарес, оборачивается крахом. Едва покинув роговицу, он вязнет в чем-то топком, пядь за пядью теряет под собой почву. Это туман, вечный туман, который клубится, как дыхание недр. Утопая в нем, падая и продираясь, кастильский взгляд из последних сил, один-одинешенек, собирается с духом и отчаянно бросается напрямик. Бац! В броске он ударяется обо что-то непроницаемое – это отвесный край долины, стена соседней гряды, венчающей окрестность. Бедный взгляд скатывается с нее, вконец обессиленный. Надо бережно поднять его и утешить: «Бедная стрела, вестовой духа! Невдомек тебе, что мир – не одна Кастилия, что мир велик, богат и разнолик? Кастилия плоска и широка, как мужская грудь; другие же земли, напротив, круглятся холмами и лошинами, словно грудь женщины. Мир неодинаков. В Кастилии хорошо смотрится – как нигде. Но

так плохо живет! Это бы еще полбеды, если б там хорошо думалось. Но думается тоже плохо, а чувствуется и того хуже. Видишь ли, солнечный жар растит цветы, но он же и гнетет их; в знойных краях – одни солончаки. И труано ждуть задушевности от народа, чьей душе ведомы только страсти. В наших выжженных полях и психика выжжена. Нет в ней места ни чистой любви, ни светлой дружбе, ни свежей надежде, ни зрелой благодарности. Достоинств у Кастилии немало, веками воспевали их поэты. Взглядишь же теперь в достоинства и пороки, которыми дополняют нас остальные обитатели Испании. Больше того, если девять веков призванием Кастилии было сводить это многообразие воедино, то теперь, быть может, она обязана вернуть испанской жизни многообразие более прочное и плодотворное, чем прежде. Оглянись же вокруг и возлюби эту дивную разноголосицу. Не хуже былого твое новое призвание – будить в народах жажду самобытности. Кастильское око, распахни радужную оболочку, чтобы вся разноликая Испания вошла в твою сетчатку, и если потребуется – расколится на шесть тысяч фасет, как у твоей алькаррийской пчелы!»

Декламация такого рода побудит наши зрачки найти чуждый им астурийский угол зрения. Спору нет, это самое трудное, что может совершить человек, достигший полноты вечности, – отречься от себя и на время стать другим. Кастильский взгляд сменить на астурийский. Такое перевоплощение, когда личность теряется в реальностях мира, становясь на миг каждой из них, – это редчайший человеческий дар. Лишь сильной личности не страшно, как говорится, «потерять себя». Уверенная, что не растворится в чужой, она кочует наудачу от сердца к сердцу и возвращается к себе, как сокол с добычей. У нас не умеют жить такой жизнью, распахнутой всем ветрам.



Едва ли не каждый мучится страхом, что к нему подкрадутся и что-то отнимут – какую-нибудь жалкую идейку, скудные блага, теплое местечко на министерской или академической лестнице. И вся жизнь его – тактика обороны, построенная на злобе, желчности, злословии, кознях и жульничестве.

Как мало тех, кто позволяет себе роскошь пренебречь самообороной! Чем дольше живешь, тем больше убеждаешься, что едва ли не все зло в нашем обществе происходит – и не может не произойти – от немощи. Люди бессильны перед жизнью. Чего же от них ждать? Они и так обделены. Чем же им делиться с другими? Откуда взяться справедливости и воодушевлению? Нужна сила, чтобы, поддерживая ближнего, устоять на ногах.

Однако Лейтарьегос или Пахарес – не лучшее место для проповеди. Граница пронизана северным ветром, и туман, выдыхаемый бездной, клубится морозным паром. Назидательность может обернуться жестоким насморком, тем паче, что слушать некому. Одни немые, тусклые луга, зависшие на высоте полутора километров и обрубленные отвесными обрывами, да редко где, одинокая и отрешенная, корова. Паруса туч, раскромсанные, виснут на скалах.

Несхожесть астурийского и вообще северного взгляда с кастильским – отнюдь не метафора. Общеизвестно, что слух и зрение, судя по всему, развились в ходе эволюции из более простой основы – осязания. Обособление зрительных ощущений от осязательных определялось двумя чертами – растущей отдаленностью раздражителя и превращением раздражающего объекта в чисто цветное ощущение. Для зрения как такового несущественно бескрайнее пустое пространство между объектом и роговицей. Зрительная связь между ними устанавливается мгновенно. Несущественно и то, что видимые цвета – всего лишь фантас-

магория, что у самих объектов этой красочной, радужной оболочки нет. В итоге несущественно все, кроме цвета. Осязанию, напротив, надо вплотную припасть к объекту, овладеть каждой его пылью, ощутить его характерное самоподтверждение, то свидетельство о себе, которое мы называем неподатливостью, прочностью, сопротивлением. Осязание обнимает предметы, нежит и само в них нежится. Оно всегда сродни обладанию, и наоборот. Владеть – это всегда иметь под рукой.

Упомянутый процесс обособления, такой долгий и трудный, в своих человеческих проявлениях неоднороден и достигает разных степеней. Есть те, чье зрение хранит тактильные навыки и пристрастия. Ригль и Воррингер, например, показали, что лес колонн в самых ранних египетских храмах обязан излишней густотой тому инстинктивному страху перед большими пустыми пространствами, который еще не преодолела древнеегипетская сетчатка. Эта боязнь пустоты порой воскресает при неврастении, и называется тогда агорафобией. Больных ужасает пустынная площадь или пустой неф собора.

По мнению Ригля, для египтян это было обычным состоянием, чтобы избежать его, они ставили свои колонны как можно теснее. Взгляд тогда скользил по стволам, как рука слепца, и так осиливал дорогу. Это зрение, еще не отвыкшее осязать. Взгляд наощупь. Таково же искусство, им рожденное.

Ибо от таких вот мелочей весьма и весьма зависят и культура народа, и его жизненный уклад, и его история, и даже его образы вселенной. Такие совершенно несхожие живописные школы, как флорентийская и фламандская, рождает тактильное начало в их видении мира. Всегда что-то на их полотнах – блюдо или яблоко – поражает тем, как безупречно оно очерчено и отделено от воздушной среды. Хочется дотро-



нуться, потому что поверхность его чиста, притягательна и непроницаема. Кажется, что художник увидел ее наощупь. Напротив, на полотнах венецианской школы или ее мадридской наследницы все тает, преобразается и растворяется в воздухе. Нет ни объема, ни веса, а лишь одна их цветовая видимость. Каким бы ни было венецианское полотно, всегда оно – муар и марево.

Точно так же в кастильском воздухе все становится разреженным. Глыба не каменеет глыбой, потому что пропитана небесной синью и полевой киноварью. Город, растворенный светом, утрачивает земное притяжение и парит, как те перистые облака, что плывут над его колокольнями.

Спуск с астурийских перевалов учит видеть наощупь. Взгляд движется с опаской, цепляясь за летучую шерсть тумана, впиваясь во все встречное, словно спеша завладеть им, обжить каждый уголок, сорвать с каждого дерева плод посочнее, припасть к каждому ручью и коровьему вымени. Это уже не взгляд кастильца, то есть аскета и воина, и значит – отрешенный и враждебный.

Как ни крути, но нет в Европе другого угла, который бы так же властно, как Кастилия, требовал воинского духа. И вот совсем иной край, где требуется взгляд хозяина. У здешнего хозяина плотская натура, которая дружна с жизнью и печется о насущном.

«Нуждаться – всегда благотворно», – сказал Гете. И Ренан, в пору своего финикийского миссионерства, на развалинах некогда славных городов, заселенных кочевниками и впавших в нищету и разруху, не смог сдерживать раздражения. «Варвары, – восклицает он, – это народ без подробностей, и такой изъясн здесь зовется бедуином».

И я, кастилец, готовый умереть с каждым закатом, залившим небо жаркой кровью, я признаю в часы раздумья, что Гете и Ренан были правы.

НОВЫЙ КРАЙ

Что означает Asturias?* Возможно, любой школьник это знает. Но я в данную минуту понятия не имею; в кастильской глуши, где пишутся эти заметки, книг, откуда все можно узнать, нет, а есть, напротив, разлитое в воздухе стремление наслаждаться неведомым. Но что бы это слово ни значило, заключенная в названии множественность кажется мне верным путеводным знаком. Есть уйма Астурий, и не только овьедских или сантьянских. В действительности Астуриям нет числа.

Укромная долина, зеленая, мягкая, влажная, укрытая от четырех ветров наглухо сомкнутыми холмами. Там и сям – хутора, крашенные суриком стены, индиговые перила, сбоку – свайный сруб для зерна, крохотный храм, грубое допотопное капище древней религии, где богом было все, что способствует урожаю. Рыжие коровы. Каштаны, густые роскошные каштаны по всему склону. Ивы, дубы, лавры, сосновые и буковые роши, лесная глушь с потаенными тропами, где мелькнет порой девичья фигурка, оглянется и светло улыбнется издали. Высокие хлеба, где косы рассыпают и на лету срезают отблески. И вся долина, как чаша, до краев налита нежным сизым туманом. Ибо в этом мире нет пустоты, весь он – одно сплошное осязательное целое. Над голой землей – буйная зелень, над ней – туман, а в нем – уже вздрагивают, как пленницы, заплаканные звезды. Все под рукой, все друг при друге, в братской близости и в ясном ладу; рядом с коровьим зрачком цветет вечерняя звезда. Дивный мирок долины, замкнутый и дружный, весь затаившийся, чтобы расслышать дальнюю повозку, чьи колеса уже запевают на повороте!.. И вся долина вздрагивает.

* Астурия. По-испански это название имеет только форму множественного числа.



Эта укромная дружная обитель и есть Астурия. Покинув одну, попадаешь в соседнюю. Каждая долина содержит в себе всю Астурию и сама входит в нее слагаемым. Поэтому и говорил я, что Астуриям нет числа и что суть этого края – в понятии множества или повторения подобий. Если представить Ла-Манчу как одно бескрайнее пространство, то Астурия – это пространственная мозаика, составленная из отдельных и одинаковых частиц.

Современная география придает все большее значение «природным зонам». Они стали едва ли не главным объектом географических исследований. Ангелу, парящему во вселенской пустоте, Земля предстала бы звездой, но для человека Земля как небесное тело – это физическая абстракция. Равным образом то, что называется Испанией, – абстракция историческая и политическая. У нее нет образного соответствия, и чтобы представить ее, приходится прибегать к аллегориям и символам, то есть к умозрительным построениям. И в результате, поскольку Испания – это наша мысленная конструкция, она зависит от нас больше, чем мы от нее. В противоположность абстрактным сущностям, природная область удостоверяет свою реальность весьма просто – встает перед глазами. У нас адекватное зрительное представление о ней, и наоборот – природной зоной, реальным географическим единством, вправе считаться такой участок земной поверхности, своеобразие которого охватывается глазом.

Это определение, полагаю, дало бы географам пищу для размышлений. Подобный подход, без научных тонкостей, ведет к сути – и кроется она в том, что погребено под роговицей эмигранта и так ярко воскресает в час одиночества или тоски.

Земля жизненно влияет на человека лишь будучи местностью. Очертания земного угла, населенного родными ему знаками, и воздух над ним, сухой или влажный, гус-

той или прозрачный, – вот великие ваятели человечества. Как вода, капля за каплей, обтачивает камень, так и земля лепит свою людскую породу, ком за комом – иначе говоря, обычай за обычаем. Народ – это прежде всего уклад. Краткие вспышки гениальности лишь высвечивают облик.

Иные места разлучают человека с землей и заточают в города. Такова Кастилия – здесь выходят в поля, чтобы в зной и стужу вымогать у скаредной земли кусок хлеба насущного. Кончен тяжкий день – и человек покидает поле и укрывается в городских стенах. Так и возникли кастильские пустоши, где ни жилья, ни шалаша и на всем пути – ни единой живой души. В Астурии, напротив, поле – родной дом, уютный и радостный. Земля – это лоно, где человек работает и веселится, мечтает и поет.

Песни! Астурийские доли перекликаются тысячелетними песнями, которые так и выпархивают из лесного просвета. Кастильские поля беззвучны.

Два края. Так и вижу, как они препираются друг с другом. «Земля без запахов и безлюдий!» – пеняет астурийскому кастильский, пьяный от одиночества и жгучего настоящего лаванды, чабреца и майорана. «Земля без песен!» – презрительно бросает астурийская лошинка царственному раскату на гору.

ДЕРЕВНЯ

Земля, способная питать человека, глубоко влияет на его склад. Экономическое процветание возводит по всей Астурии города; есть в ней и города древнего величия – такие, как Овьедо и Хихон, – которые продолжают высокую традицию утонченной культуры. И все же в каждом астурийце, более или менее подспудно, ощущается деревенское нутро. Под городским лоском бьются крестьянские сердца.



Хотелось бы видеть, как насупится от этих слов иной астурийский читатель. Поистине непомерный разноречивый в образе мыслей учинил на земле Господь. Иной астуриец, возможно, хотел бы превратить Астурию в кантабрийский Париж, но у меня, вопреки вороху моих испанских чаяний, на этот случай наготове этикетка – «астурийская деревня».

Кратко не объяснишь, какой смысл я вкладываю в эти слова. До сих пор у меня не было удобного случая выразить свою мысль на бумаге, и я довольствовался случайным собеседником. Не знаю, когда смогу это осуществить, но в двух словах суть такова: путь к испанскому процветанию ведет через деревенскую околицу – и другого пути я не вижу. Современный город идеологически и экономически оформлен капитализмом последних веков. Народы, которые вовремя сумели утвердить такого рода город, достигли господства. Не приходится сомневаться, что преуспей мы в этом деле, было бы куда лучше. Но лучшее – враг хорошего. Мы не смогли, не сумели устроить испанскую жизнь на современный городской лад. По вине нашего внутреннего склада и нашей экономики возникли лишь фиктивные подобию городов позапрошлого века, словно миражи обновления в бескрайней пустыне. И духу этих городов, этих диких, мы вручили моральную и материальную власть над Испанией. С одной стороны, сколько-то улиц с редкими трамваями и сколько-то тысяч горожан, которые по ним шаркают. С другой стороны, бесконечность полей и миллионы испанцев, которые пашут, мотыжат и водят отары. Для одних, жалкой горстки, уготованы все социальные инструменты

– законы, парламенты, газеты, школы... А для миллионов, для испанской деревни, деревенского люда, деревенских мыслей и чувств – ровным счетом ничего. Такое неравновесие губительно.

И не завожу я очередной глеч по бедному беззащитному пахарю. Не о сочувствии речь, а совсем об ином. Об использовании социальном, национальном и общечеловеческом. Народ – это совокупность желаний, интересов, умов и страстей. Чем больше живых мозгов взаимодействует, объединяясь или соперничая, внутри социальной общности, тем богаче ее возможности. Так вот – четыре пятых испанского народа не участвуют в национальном синтезе. И не в том беда, что их голоса не достигают парламента, но по-настоящему бедственно, что их мысли и чувства растрачиваются попусту, не перерастая в общенародные. Я, университетский профессор, нуждаюсь в их идеях куда больше, чем они в моих; из-за духовного неучастия этих четырех пятых вся наша жизнь – бездарная подделка и я, несмотря на все свои усилия, прекрасно сознаю, что четыре пятых моих идей обречены на бесплодие¹.

Наша первая по неотложности задача звучит так: «Реализация испанской жизни». Видимости двадцатого века предпочтем семнадцатый, но реальный. Для этого нет другого средства, как перевернуть на время нынешнюю иерархию – надо, чтобы Мадрид равнялся на провинцию, а провинция – на деревню.

Тема эта, думаю, неисчерпаема. Разработка ее должна не упускать из виду и те опасности, что несет деревенский дух. Но сейчас я коснулся давно наболевшего един-

¹ Я писал это в 1915 году. И сейчас я не без удовольствия обнаруживаю в книге Шпенглера «Закат Европы» (1918) утверждение, что вся история последних ста лет – это, в сущности, великая борьба города и деревни. Но в отличие от Шпенглера я верю, что победит земля и мы вернемся к ней, чтоб исцелить наш оскотелый город духом (примечание 1921 года) – Арабскими цифрами в издании отмечены примечания автора.



ственно для оправдания той искренней радости, что охватила меня в Астурии при виде людей, способных вклиниться в современность, не теряя духовной связи с родными полями. «Он вернулся тем же пастухом, как и уехал», – сказал мой сотрапезник в правиянской харчевне, кивая на крепкого, квадратного детину с веселым мальчишеским лицом, – и, судя по всему, только что из Америки.

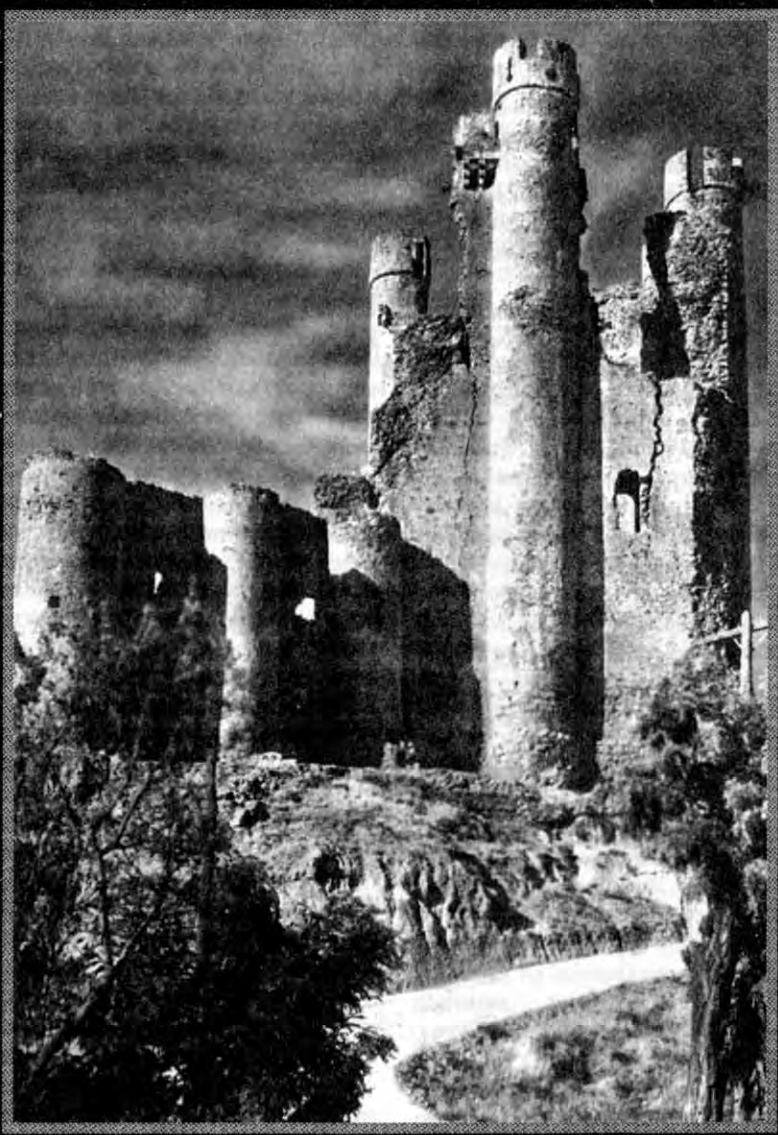
Эти парни, что возвращаются такими же в душе пастухами, какими отъезжали, и делают из астурийцев – делают без громких слов и красивых жестов – народ, способный

полнокровно вживить в деревенскую плоть Испании те начатки обновления, без которых не удержаться на гребне времени.

Долина, влажная росистая долина, с ее роскошными каштанами по склонам, с рыжими коровами, с ее сводчатым срубом на четырех столбах и стенами, раскрашенными суриком!.. И тут же – не где-то в городе, под крылышком властей, – домина эмигранта, который однажды ушел из дому и потом, однажды, как водится в сказках, воротился домой.

1915







УВЕРТЮРА К ДОН ЖУАНУ



игура Дон Жуана – один из лучших подарков, сделанных миру нашим народом. Однако сами испанцы давно забросили ее, безжизненную, забытую в театральном хламе. Тем не менее, отторгнутый от родной почвы, Дон Жуан, который всегда был бродягой, живет эмигрантом в Париже, Лондоне, Берлине. Худо-бедно прижившись, он продолжает кошунствовать и обольщать по-французски, по-английски, по-немецки. Предлагаемые заметки – попытка репатриировать этот неугомонный персонаж и побудить читателей, по крайней мере лучших из них, взглянуть в него попристальней.

МЕТОДОЛОГИЯ

Дон Жуан – не данность, не был, явленная раз и навсегда, но вечная тема, предложенная мысли и воображению. Это не статуя, которую можно лишь копировать, а мраморная глыба, из которой каждый высекает свое. Как и другие великие символы, рожденные чуткой природой человека, он наделен неистощимой силой роста и может из малого зернышка расти и ветвиться, пока не осенит своей кроной целую эпоху. Но тема «Дон Жуана», исконно испанская, предназначенная к тому, чтобы ее шлифовали и совершенствовали испанские руки, застряла на стадии развития поистине первобытной, примитивной по сравнению с такими европейскими аналогами, как, например, Фауст и Гамлет. Печальна судьба наших самых поразительных созданий – вечно пребывать в первоначальном невзрачном виде, оставаться примитивными в ожидании щедрой натуры, способной дать невзрачной куколке крылатый трепет бабочки! Наверно, еще долго любая попытка придать легенде о Дон Жуане красоту и значитель-

ность будет казаться измышлением, а возврат к незатейливой архаике – вызывать нездоровую радость.

Как и в случае с Дон Жуаном, легенда о Фаусте первоначально была средневековой притчей, нравоучением простейшего содержания: дряхлый и нечестивый ученый, почуяв приближение смерти, в обмен на еще одну весну, вторую молодость, ради улада продает дьяволу душу. Эта простейшая завязка, которую Гете довел до самых конечных следствий, предстает нам магически преображенной в гигантскую философскую поэму, всеобщую песнь, где все сущее обретает голос, смеется и плачет. И, тем не менее, такая непомерная широта не показалась первым читателям «Фауста» изменой старинному смыслу легенды, который не смог вместить новых, чужеродных ему тем и потонул в них. Напротив, явственно выдилось, как бесхитростный вымысел, точно упругий шарик, раздвигается своей внутренней энергией и ширится, высвобождая свои тайные пружины. Сегодня, чтобы не исказить рассказанное средневековым человеком, именно ради верности этому рассказу, надо рассказать его по-иному, потому что жизнь и душа усложнились, слова изменились и мир видится иначе.

В общем, символические образы – как живые существа, они терпят превратности времени, меняются вместе с ним, хиреют или расцветают, обретая новый рисунок заросшего в них душевного огня, как озера обретают цвет небес, неустанно плывущих над ними или замерших, чтобы напиться воды.

Как должна развиваться тема, подобная теме Дон Жуана, предугадать нелегко. Каждая новая эпоха – это человеческое завоевание, победа, которая складывается из понятий, все более сложных и точных, о том, каков наш мир и каким он должен быть, из



реальности и идеала. И традиционная тема, видимо, должна подчиняться запросам этого нового и более требовательного знания. Только тогда она приобретет значение, а это свойство – иметь значение – как раз и отличается творение от произведений банальных, которые тянут канитель и если сводят концы с концами, то лишь потому, что те попались под руку. В общем, символическая тема полностью противоположна прихотям и причудам вещей необязательных. Это высшая формула, раскрывающая человеческую природу, где каждый знак необходим и обусловлен остальными. И неудивительно, что именно верность традиции заставляет порой убрать из нее случайные огрехи, а кое-что даже перелицевать.

Так, поначалу легенда о Дон Жуане – благочестивое назидание, рассказ о легкомысленном, распутном и безбожном человеке, который в последнюю минуту перед гибелью, достигнутый возмездием призрака, покался. Для средневекового сознания тех, кто создавал легенду и слушал ее, важны лишь возмездие и покаяние – дело рук господних. Все предшествующее, жизнь Дон Жуана и его характер, отвратны, никчемны и не представляют собой ничего, кроме легкомыслия, греха и похоти. Но для нас сегодняшних покаяние, если это не пустой звук, а покаяние в полном смысле, представляется сложной психологической проблемой. Это внезапное смещение центра тяжести в душе, которая прежде тяготела к одному идеалу и вдруг испытала притяжение к другому, быть может полярно противоположному. Сегодня мы знаем, что покаяние и обращение бывают не только религиозного толка, но самого разного, и знаем также, что совершаются они не в любой, первой попавшейся душе, а в особой, в сердцах сильного склада и благородного звучания. Поэтому Дон Жуан не кажется нам существом никчемным, мы не видим в нем зауряд-

ного вертопраха, и его похождения обретают в наших глазах глубокий и трагический смысл, в раскатах его смеха мы угадываем отзвук вечных человеческих печалей.

То же происходит, когда нам твердят, что Дон Жуан – неразумный бахвал, который упрямо отвергал достоинства любых идеалов и норм, пока не почувствовал себя раздавленным карающей дланью. Тут уж одно из двух – либо Дон Жуан высшие ценности отвергал бездумно, из сумасбродства, и тогда его отрицание лишено смысла – это даже не отрицание, и не стоило Господу пускаться в ход свой всемогущий перст, дабы расплющить фанфарона, – либо он отвергал все, кроме собственной прихоти, совершенно сознательно, взглядевшись как следует в возвышенные лики идеалов. Только в этом случае его отрицание имело смысл, только тогда оно – духовно и достойно награды или кары. И, значит, необходимо вникнуть в истоки этого героического отрицания – быть может, докопавшись до корней, мы свяжем его с тем, что идеалам, как бы ни были они хороши, всегда недостает чего-то, что требуется сердцу, и приходится их мужественно отвергать.

Но тогда Дон Жуан – не вертопрах, а мощный образ того трагического семени, которое с разной силой прорастает в каждом из нас. Горька догадка, что идеалы наши ушербны и недостаточны. Безнадежно отрезвление. Вновь и вновь мы шумно отплываем на разукрашенных кораблях, чтобы еще раз сесть на мель.

При такой предположительной трактовке Дон Жуана я не могу – и не хочу – мириться со странными придумками Соррильи и других драматургов и толкователей, которые заставляют своего героя распутничать самым несусветным образом, чтобы в конце порадовать его встречей, впервые в жизни, с любящей женщиной в лице доньи Инес. Не слишком ли просто и скудно для Дон Жуана такое заурядное открытие и такое немудре-



ное прозрение? Мысль, что Дон Жуан не подозревал о природной способности женщин любить самоотверженно и страстно, не укладывается у меня в голове. По ряду причин. Во-первых, если Дон Жуан сталкивался в жизни лишь с алчными самками и напористыми шлюхами, не понимаю, почему ему ставится в вину то, что он удирал от них со всех ног. Виноват не он, а драматург – весьма недоброжелательный, поскольку не поспешил устроить эту спасительную встречу с доньей Инес в первом же акте.

Но, кроме того, упомянутые несуразности выдают полное незнание тех, бегло затронутых мной, требований, которые необходимы для создания символической фигуры. Задумав ее, надо свести к минимуму все случайное. Траектория такой судьбы обусловлена строгой необходимостью и должна, как звезда, неуклонно следовать орбите, подчиненной непреложным законам человеческой психологии. То, что такой женолюб, как Дон Жуан, так запоздало разглядел в женщине любовный трепет – случай небывалый, необъяснимая случайность, которая сразу лишает его биографию всеобщности. Безымянная молва, более здравая, чем наши драматурги, символически воплотила в Дон Жуане таинственный дар влюблять женщин, в разной мере присущий каждому мужчине. Чем удачливей окажется наш герой и чем безошибочней его знание женской души, тем острее, тем глубже, тем сушественней будет поставлена проблема эротизма. Трагедия никогда не возникает из жалкой ограниченности или злосчастных пороков, которым бывает подвержен человек, но рождается она из какой-то изначальной ограниченности, неотделимой от человеческой природы.

Поэтому я не взял бы на себя смелость разяснять Дон Жуану, что такое женщина; напротив, лишенный его удачливости, я мечтаю узнать это от него, предельно воплотившего густок мужского опыта.

Не считать Дон Жуана образцом мужественности, каким он запечатлен в народной фантазии, – значит, по-моему, уподобляться туповатому попику, который представляет себе манихей совсем уж тупым ради удовольствия опровергнуть его без малейшего труда. С другой стороны, не думаю, что так уж необходимо опровергать и осуждать Дон Жуана; куда интересней понять его, хотя сильно подозреваю, что мне это вряд ли удастся.

В общем, я хотел бы увидеть Дон Жуана иным, чем у Соррилли, потому что сей последний мне кажется персонажем балаганным, хлышом с наглыми ухватками, способным лишь развлекать чернь. Будь Дон Жуан в самом деле всего лишь кутилой и бахвалом, похотливым, наглым и задиристым, самое лучшее было бы позвать полицию, дабы избавила нас от подобного персонажа. Однако человечество обходится с ним совершенно иначе. С тех пор как родилась легенда, нет такого народа, нет такого искусства, нет такого великого мыслителя, великого поэта, великого музыканта, который не счел бы себя обязанным сойтись лицом к лицу с нашим малопочтенным земляком. Словно все они чувствуют, что их понимание человеческого сердца будет однобоким, если они минуют этого непутевого Дон Жуана, сорвиголову с берегов Гвадалквивира. Больше того, можно утверждать, что он представляет одну из немногих вечных тем мирового искусства, которой Средневековые обогатили сокровищницу греко-латинского наследия.

Короче говоря, Дон Жуан – это глубокий и незаменимый символ особой, изначальной тоски, гнетущей человека, это миф о человеческой душе. Рядом с Еленой и Гераклом, рядом с Гамлетом и Фаустом, в сверкающем зодиаке наших чаяний Дон Жуан на своем звездном месте, вечно тревожит ночь души смутным мерцанием, шемющим отсветом очарования и безнадежности.



ВОЗДУХ БАРОККО

Плохо, что в последнее время нас, испанцев, мало занимает образ Дон Жуана. Нет легенды более испанской. Она, как и наша душа, вся состоит из контрастов, и кажется, безымянный творец ее наслаждался, соединяя в ней крайности, доведенные до предела. Вспомним, что Сервантес к концу книги, уже не зная, каким бы еще новым титулом наделить героя, называет его Дон Кихот Запредельный. Мы, испанцы, только такими и бываем – или запредельными, или никакими. Поэтому в легенде соседствуют полдень и полночь, чистота и грех, молодая плоть и трупный дух, застолье и кладбище, поцелуй и кинжал. В человеческую драму вторгаются небо, ад и чистилище, которые не могут оставаться спокойными и, словно зрители на бое быков, вмешиваются в борьбу.

На всем – чисто севильское очарование; родись эта легенда в нашей Кастилии, было бы в ней что-то жестокое и жуткое, и розы сменил бы гранит, а застолье – кровавый раздор.

Но эта запредельная легенда овевая нежным и пленительным дурманом Севильи, и страшный рассказ о любви и смерти смягчен, преобразен праздничным воздухом, зачарован танцами и снами. Не знаю лучшего сюжета для гениальных русских балетов. Легенда о Дон Жуане выплыла в мир, неся на борту карнавальные ароматы севильского барокко – так старинные левантийские корабли возвращались с Цейлона, груженные пряностями.

В античной мифологии говорится о дриадах, которые жили в глухом лесу – каждая на предназначенном ей дереве, – и если они покидали родную крону, то мгновенно умирали. Я бы сказал, что легенда о Дон Жуане – это севильская дриада, рожденная вечно блуждать по дивному городу и, разлученная с ним, перенесенная на чужбину, она утрачивает львиную долю своей красоты и сути.

В недавнюю свою поездку, чудесной весной, я мог убедиться, как родственны и созвучны легенда и ее почва. В таком городе, как этот, тысячелетнем, бывшем колыбелью и перекрестком стольких цивилизаций, все пропитано памятью, все вздрагивает от воспоминаний, и для чуткого человека войти в Севилью – означает попасть в шумный улей, полный духовных пчел, трепетно-золотых, которые налетают тучей, чтобы оставлять в душе прохожего и свое жало, и свой мед. Грасиан говорил, что время многое знает, потому что оно старо и умудрено опытом. Найдется ли такое, чего не мог бы рассказать этот тридцативековой город? Севилья и вправду многое может рассказать, и к тому же нет города красноречивей. В иных местах рассказывают люди, здесь говорит все: тенистый проулок и солнечная площадь, лоскут неба и вонзившаяся в него башня, стенной камень и оконный цветок. Со всех сторон обступают голоса, жесты, взгляды. Пока старая, почти уже дряхлая река длит торжественную проповедь своего грузного и медленного течения, гвоздики Трианы выпаливают в тебя своими афоризмами. Лучистый свет Севильи неугомонен и не оставляет в покое ни одну линию, ни одну поверхность. Все вибрирует, плывет, вздрагивает, взлетает. Поэтому ничто здесь не давит своим объемом, а напротив – становится чем-то облачным, кисейным, дымчатым, растворяющим свет, как разноцветная пыль. У всего – минимум реальности, необходимой, чтобы заявить о себе и пламенеть не умолкая, как огненные языки в нескончаемом Пятикнижии. Даже олива, такая серьезная и поглощенная своей прозаической полезностью, не может запретить своему стволу вздыматься вверх упруго и красиво. В общем, после Гвадаррамы Севилья кажется морем отсветов и сплошным движением.

Не правда ли, как чудесно созвучны этот барочный фон и бешеная кавалькада севильской легенды? Что бросается в глаза, когда вы-



летает она из далей нашей фантазии? Краски, живые краски Карнавала, алый бархат, зеленые камзолы, белые сутаны Сурбарана, кровавый кармазин и голубизна Мурильо. И водоворот звуков, где смешано все – смех и слезы, обрывки песен и звяканье шпаг, трескотня Страстной Пятницы и колокола Воскресения. Хмель легенды ударяет в голову. А разве не то же самое делает с нами Севилья, ее чувственные дали и пленительные бредни? Великий итальянский поэт Пасколи сказал о козлоногих увальнях-сатирах, что они вечно *a mezzo un salto* – в вечном полускоке; о севильясах и тех, кто попадает в Севилью, можно сказать, что они в вечном полухмеле, в той стадии, когда хмель уже кружит голову, но еще позволяет сохранять остатки благоразумия.

«ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР», ИЛИ ОТСТУПЛЕНИЕ НА ТОЛЕДСКУЮ ТЕМУ

Н е надо севильский колорит легенды о Дон Жуане понимать узко. Это не сплетня севильского квартала, иначе Дон Жуан занимал бы лишь соседей по кварталу и блистательная выдумка не облетела бы орлицей земной шар. В сюжетах такого масштаба житейские или исторические факты – только повод, жалкий скелет небывалой фантазмагии, и скрытому в них всемирному смыслу они всего-навсего служат точкой опоры, как ветка поющей птице. Благодаря этому всемирному значению, а не севильскому или испанскому, выросли у легенды такие гигантские крылья, что она облетела все литературные миры и свила гнезда на таких вершинах, как Моцарт и Байрон.

Любопытно было бы примерить фигуру Дон Жуана к теперешним севильцам. Могло бы оказаться, хотя я в этом и не уверен, что сегодня встречаются лишь одни второсортные обитатели, которые незаконно владеют сказочным городом и только оттеняют его облик своей ушербностью.

Связь атмосферы этого города с легендой о Дон Жуане иного свойства, более глубокого и не такого шаткого. Надо всегда помнить, что земля, эта сцена человеческого существования, каждой пядью посылает слабые сигналы, подсказывающие определенный и только здесь возможный образ жизни. Это и называется географическим фактором. В каждом ландшафте заложен особый, присущий ему жизненный уклад, как космическое завершение именно этого уголка планеты. Стоит только внимательней вглядеться – и даже в пашне мы различим ее житейскую парадигму, как различаем, глядя на звезды, призрачные узоры, рисунок зверя или бога. И повсюду пейзаж определенным образом соотносится с человеком, даже там, где природа, как в африканских песках или полярных льдах, сулит ему гибель.

И наоборот – над каждым человеком витает смутный образ того края, где он мог бы жить полной жизнью. Иногда это проявляется с удивительной силой. Один мой друг, едва войдя в комнату, своим задумчивым лицом и мягкими черными глазами разом упраздняет окружающую нас мадридскую действительность и воссоздает в моем доме луга Эстремадуры с темными купами сосен и голубой португальской далью.

Короче, в любой пяди земли пульсирует человеческая судьба, ежесекундно стремясь осуществиться, и для народа, населяющего землю, это императив пространства. В свою очередь, каждый устойчивый жизненный уклад намечает себе образ местности, близкий по духу.

Именно такую близость вижу я между Севильей и Дон Жуаном. Речь идет о близости по складу, об одном из тех соответствий, очевидных и вместе с тем загадочных, которые каждый замечает и никто не в силах объяснить. Кто, например, объяснит, почему в Китае у рептилий, кошек и ланей глаза раскосы, как у мандаринов? Что за тайные и



слитные порывы вдохновения водят рукой Природы, когда она рисует дикий цветок или лепит душу туземца?

Думаю, стоило бы развить эту тему, выявив топографический фактор наиболее впечатляющих областей земной суши. Тогда, возможно, не выглядела бы рискованной попытка противопоставить реальным севильцам, нынешним и прежним, моего Дон Жуана как образец истинного севильца, как его наивысшее воплощение. В его странную судьбу, чей крестный путь осенен красотой, а наслаждение жизнью обретает героический накал, вписана жизненная судьба города, открытого, душевного, пленительного и пьяного от солнца.

Не так давно мне представился случай вскоре после севильских впечатлений сравнить их с толедскими. Какая бездна между севильской ширью и каменным водоворотом Толедо! Там все распахнуто и радушно, в Толедо все настроенно и непроницаемо – в город не вступишь, а, скорее, прокрадываешься. И очарование Толедо особое – очарование городов, к которым надо подступать медленно, с опаской, словно к стенам Иерихона. Но вступив в заколдованный круг, поражаешься, как мастерски архитектура подчинена топографии славнейшего из холмов Ла-Манчи, как искусно, пядь за пядью, следует она рельефу местности. Вместо нивелировки – чудесная возможность, предоставленная причудами рельефа, выпрямляя, геометризирова, делать из него, как поэт из рифмы, вдохновительный стимул архитектурной мысли. Поэтому каждая улица неповторима, и каждый дом в отдельности кажется предрешенным поверхностью глыб. Прихоти человека подчинены прихотям земли, и кажется, что силуэт города создан той же теллурической волей, что воздвигла гребни отвесных гор.

Что они могут родить, эти холмы, опоясавшие Толедо, колкие, скалистые, бесплод-

ные? Зачем они в нашем целесообразном мире? Чего ждать от этого кругозора – холмистого цирка, который сомкнулся вокруг своего подобия, защищенного природным крепостным рвом – серпом реки? Когда горожане прогуливаются и с городских стен видят окрестные холмы, подобные окаменелой угрозе, их душа напрягается, как арбалет, готовый метнуть ответную стрелу. Кажется, что с природных бастioned, оцепивших город, непрерывно летят вражеские копия, от холма до холма чертя подвижную линию атаки и обороны, сегодня замершую, но всегда, по малейшему поводу готовую ожить.

С эспланады Святого Христофора картина становится настолько батальной, что невольно охватывают тактические заботы – наступательные, оборонительные, такие чуждые нашему привычно мирному состоянию, и если не одернуть себя, замираешь в позе часового. В воздухе россыпь колоколов, и слух, как чаша, вбирает эти звонкие капли, металлическую изморось, разбрызганную по голубому пространству. Вдали, туманная, призрачная, изгибается горная гряда, голая и жуткая, как тибетская пустошь. А сам Толедо, вызывая мысли об осаде, будит в тебе захватчика, и начинаешь понимать, что единственно возможный здесь образ жизни – это вечно быть начеку.

На закате, если небо безоблачно, земляные стены Толедо отсвечивают кровью. Это разбуженная зноем, расплавленная древним жаром кровь павших в бесчисленных битвах за город тайно просачивается наружу. Поэтому так кровава земля в оливковых рошах и расщелинах, изъеденных водами Тахо. Древняя столица вспыхивает, как девушка, из-за которой мужчины бьются насмерть! (Доныне для самых торжественных здравий не придумано напитка крепче, чем кровь.)

Топографический фактор этого орлиного гнезда не уступает севильскому и пред-
решает иную, прямо противоположную че-



ловческую судьбу. В этом каменном улье у Дон Жуана просто не нашлось бы времени для личной жизни. В Толедо не рискуют жизнью в одиночку, потому что слишком неотступна угроза совместной жизни. Кроме того, женщина не могла бы здесь отвлекаться от своего долга – рожать защитников, которые сменяют у бойниц павших отцов. Веками толедская жизнь была тюрьмой, которую охраняли сами узники. Единственный выход вел в небеса. Толедская жизнь – обитель и казарма – предстает воинским служением земле и небу и закаляет сердца, стойкие к ударам и искушениям.

В любой перспективе и в любой своей точке Толедо бредов и непомерен. Куда ни обернешься, взгляд упрется в башню, колокольню, в высокую стену, которая вырастает неожиданно и внезапно. Здесь неизбежны стрельчатые готические души аскетов и солдат, замороженные потусторонними фантазиями, одержимые видениями. В «Похоронах графа Оргаса» нас застает врасплох типичная сцена толедской жизни. В центре – мертвый воин, которого хоронят одетым в доспехи. Вокруг участники церемонии, цвет городского общества – военачальники, сановники, ученые, пастыри и монахи. В их готических лицах больше души, чем ума. Над ними нависает фантастический мираж райской фауны. Эль Греко добился впечатления хора, не поступаясь тремя главными фигурами переднего плана – покойником и двумя нарядами святыми. Эта плотная, давящая своей тяжестью группа притягивает к себе сумятицу лиц, которые мерцают вокруг, как бледные огни или рой ночных бабочек над парчой церковных риз. Вытянутые фигуры по краям картины вдохновенно изображают изумление, и та, что справа, – священник в стихаре – кажется «премьером» этого божественного фарса. Его просветленный, ликующий взгляд обращен к небу, а сам он замер в позе актера,

которому удался номер. (Пока мы все это созерцаем, погруженные в церковный полумрак, наш современник пономарь пробует данную ему монету на зуб, потом – о край чаши со святой водой.)

Что осталось сегодня от этой жизни, сотканной из битв и видений? Сегодня Толедо населен голосами женщин, которые из темноты подъездов чертыхают детей, маленьких негроидов, гомонящих на солнцепеке. На Сокодове торгуют лишь раскаленной снедью: миндалем, орехами, смоками – пищей берберов и тамплиеров. И с заходом солнца козы на береговых обрывах, словно повинувшись воинскому сигналу, вскачь одолевают отвесную громаду царственного трупа и входят в город, как в закон.

ДОН ЖУАН И УЯЗВЛЕННОСТЬ

Подытоживая все написанное о Дон Жуане, невольно выделяешь два обстоятельства трудно совместимых. С одной стороны – притягательность, обаяние облика Дон Жуана вопреки его сомнительным похождениям. С другой – почти все, кто говорил о Дон Жуане, говорили о нем плохо. Это противоречие между жизненной привлекательностью образа и сварливостью его истолкователей – уже само по себе изрядная психологическая проблема. Прочие символические персонажи жили, питаясь энтузиазмом поэтов, которые делали их героями своих творений. Дон Жуану выпала диковинная судьба – его брали в герои, чтобы наброситься на него. Раз за разом поэты и моралисты воскрешали его, чтобы выместить на вымышленном персонаже какие-то тайные обиды, и отважно втыкали в беззащитное тело свои ядовитые перья.

Короче говоря, «пресса» Дон Жуана не жаловала. Это заставляет подозревать в нем выдающиеся качества. Человеческой массе свойственно ненавидеть все выдающееся,



разве что по чистой случайности оно окажется полезным. Но в периоды порабошенности общественным мнением, такие как последние два века, самым безошибочным признаком великого становится ненависть, которую вызывает оно у черни.

А Дон Жуан кажется и придуман нарочно, чтобы бесить общественное мнение, и крайне трудно убедить завистников в его благородстве.

Говорят, для лакея нет великих людей. Значит ли это, что их действительно нет? Ничего подобного, это всего-навсего значит, что есть лакеи, люди с близорукой душой, ставшие впритирку к великому и обреченные видеть в великом лишь то, что есть в нем ничтожного. Ошибочно полагать, что истинный облик можно разглядеть, только приблизившись вплотную. Можно, поднеся к глазам так, что будут видны мельчайшие поры, разглядывать камешек. Но собор так не разглядишь. Чтобы разглядеть собор, надо не вглядываться в поры и трещинки его плит, а смотреть с должного расстояния. Как поры на камне – это пустоты, где камень отсутствует, так и мелочи, примелькавшиеся лакею, это пустоты, пробелы в жизни великого человека. Если лакейской фамильярности предпочесть ту душевную дистанцию, которую принято называть уважением, монументальные очертания гениальной личности станут очевидней. Все в мире требует особой дистанции и определенной перспективы. Кто хочет видеть мироздание таким как оно есть, должен усвоить это правило космической вежливости.

Подобная мысль, понятно, не в ладу с умственными привычками, которыми наделило нас Новое Время. Но пора обзаводиться новыми, и побыстрее, поскольку Новое Время, смертельно раненное в 1800 году, уже свалилось к нашим ногам и не дышит. И надо прежде всего перестать верить в его главную догму, в ту пагубную нигилистичес-

кую идею, что прокрадывалась, ублажая плебеев, в каждую душу: «То, что видишь, и есть действительность». Да ничего подобного! Чтобы воспринять действительность, надо превратиться в адекватный орган, чтобы она проникла в нас. Истинный облик вещей улавливается лишь с определенной точки зрения, и кто не способен ее найти, пусть не фальсифицирует действительность. Самые существенные реальности видны лишь немногим. Если вас это не устраивает, повесьте этих немногих на городской площади, но только не говорите, что настоящая действительность – ваша и что все люди одинаковы. А чтобы расправа была честной, обязательно объявите: приговоренные будут повешены за то, что они лучше нас.

Любопытным примером современного ниспровержения реальности, покушения на ее власть и иерархию, служат книги, рожденные недавней войной. Три самые известные, созданные такими разными художниками, как Дюамель, Барбюс и Леонард Франк, едины в том, что раскрывают огромную военную тему так, как она видится из окопа. Разумеется, у военной действительности есть и такое измерение.

Но все три книги стараются внушить, что война в действительности сводится только к этому, а все остальное – пустая болтовня. Бесцеремонность авторов свидетельствует, что они, конечно, учли бессознательную готовность публики принять подобную мистификацию. Сейчас без раздумий принимается любая ложь, лишь бы она хулила и принижала. И вот окончательная точка зрения на войну как таковую помещается в темную крестьянскую голову, выдранную из родной глуши и втиснутую в окопную грязь. Верно лишь то, что прошежено сквозь эту неповоротливую нервную систему. Оно берется за эталон и по нему отмеряется все остальное. Огромное пространство войны атомизируется: описываются лишь ее поры,



ее бесконечно малые величины. Стоит, однако, прочертить линию, связав эти величины, и увидеть окоп, который тянется километр за километром, как мистификация тут же рушится. Только разглядев всю бесконечность этой извилистой борозды, в которой, как муравьи, снуют люди, можно описать войну правдоподобно. Если разглядеть не удастся, значит сетчатка глаза не годится для восприятия военной действительности и должна уступить место чувству и мысли. Лейтенант, крикнувший «Мертвые, встаньте!», обессмертил себя риторикой и тем самым дал нам более достоверный взгляд на войну. Ибо в действительности война – не что иное как риторика, потоки риторики, которые затопляют начальные школы, бурлят в газетных столбах и гремят перекатами парадного марша, заворачивая бегущих следом мальчишек. Наши самонадеянные реалисты забыли, что первейшая историческая реальность – это слово и его зажигательные комбинации.

Чтобы различить истинный облик, надо, прежде всего, сфокусировать нашу душевную зоркость.

Я бы сказал, что у любой реальности, особенно у двуногой, всегда есть два аспекта – желанный и наоборот. Самая безупречная жизнь, увиденная недобрыми глазами, породит кривотолки. Смотря по тому, в какую сторону мы скатываемся, все на свете, и особенно люди, становится на наш взгляд притягательным или отталкивающим. В общем, облик мира в наших глазах зависит от того, чем заряжена наша душа, какого знака этот заряд. Положительный, то есть утвердительный? И тогда повсюду нас обступают красота и величие мира. Отрицательный, то есть негативный? И тогда все вокруг становится жалким и никчемным. Все в нашей жизни двулико, и выражения у этих лиц разные: одно – восхищенное, другое – озлобленное.

Ницше превосходно обрисовал устрой-

ство озлобленной души. Главное в ней то, что он назвал уязвленностью. Жизненный неудачник, бездарный и нескладный, бредет по жизни с душой, набухшей презрением к самому себе. Не в силах справиться с этим презрением, которое сочится из него и не дает ему жить, он обращается к спасительному средству – слепнет ко всему действительно стоящему. Не в силах уважать себя, он силится найти повод, чтобы развенчать достойного; он видит лишь изъяны и промахи тех, кто лучше его и чье существование постоянно его унижает. Такой подход уравнивает его в собственных глазах с этими людьми. Скрываясь в уязвленности, он жадными глазами браконьера выслеживает в герою слабости и ошибки.

Дон Жуан пострадал от уязвленности неудачников как никто другой. Мужчины всегда ему завидовали, а женщины не отваживались его защищать, поскольку это означало бы выдать профессиональный секрет женственности.

Рассмотрим, однако, дон Жуана под более благоприятным углом зрения. Не будем доверять его жестам и позам. Набор человеческих жестов очень ограничен и потому обманчив. Этим и пользуются завистники и, задержав наше внимание на каком-нибудь неоднозначном поступке, поганят его своими ядовитыми объяснениями. Любой поступок требует понимания. У порока и добродетели сходные позы. Когда кто-то складывает ладони, трудно решить, собирается он погрузиться в молитву или кинуться в омут – одинаковый жест ведет к совершенно разным результатам.

Чтобы не судить о ближнем несправедливо, надо на время отождествиться с ним, взглянуть на его поступки через его сознание – источник этих поступков. Взглянем же на Дон Жуана глазами самого Дон Жуана, а не слободских старух, услышавших на площади историю его шашней.



ДОН ЖУАН ГЕРОИЧЕСКИЙ

I want a hero... I'll take my friend Don Juan.*

Байрон. «Дон Жуан», Песнь I.

Прежде всего, Дон Жуан – не чувственный себялюбек. Безошибочный признак – он вечно ставит на карту жизнь, рискуя проиграть. Я не знаю более надежного признака, отличающего нравственного человека от безнравственного, чем то, способен он или не способен за что-то умереть. Усилие, с которым человек берет всего себя, целиком, и готовится швырнуть за смертную черту, как раз и делает из него героя. Жизнь, которая отдает себя, которая побеждает и превосходит самое себя, – это жертвенная жизнь, несовместимая с себялюбием.

Тот не различит подлинного Дон Жуана, кто не видит за его красивым обликом андалузского сердцеда силуэт смерти, вечной его спутницы, его трагической тени. Она проскальзывает за ним в танцевальный круг, взбирается к решетчатым ставням любви, входит бок о бок в таверну – и лязгают о край стакана, из которого пьет Дон Жуан, зубы бессловесного скелета. Она-то и есть единственный фон его жизни, контрапункт и отзвук его мнимой jovialности, терпкая приправа его радостей. Я бы сказал, что это лучшая из его побед, самая преданная подруга, не отстающая ни на шаг. Так луна, мертвый мир, звездный скелет, шаг за шагом сопровождает ночного путника, и плечо ошущает ее бескровную ласку.

Легенда о Дон Жуане не забавна, а глубоко драматична. Постоянная неотступность смерти освящает его похождения, давая им нравственную силу, и возникает на каждом шагу, как зловещее подрагивание клинка.

Так начинается проявляться символическая значимость легендарного черепа.

Смелый готов отдать жизнь. Но ради чего? Странно мы устроены! Человек готов выплеснуть свою жизнь лишь ради того, что способно ее наполнить. Это и называется идеалом. Все мы, так или иначе, охотимся в жизненном лесу за идеалами. Чтобы жить полно, нужно что-то притягательное и безупречное, способное заполнить наше сердце. Когда нам кажется, что это обретено, все наше существо устремляется к нему так же бесповоротно, как камень к центру земли и стрела к цели. Сравнение идеала с мишенью, а жизни со стрелой, принадлежит не мне – у этой метафоры именитая родословная. В начале «Этики» Аристотель говорит: «Стрелок ищет цель для своих стрел. Как же не искать ее для наших жизней?» От такой метафоры этика утрачивает свой педантский вид, уже привычный для нас, и превращается в благородное искусство охоты, чей императив: «Люди, будьте меткими стрелками!»

Век за веком человечество пробует идеал за идеалом; век за веком, с колчаном у бедра, шлет оно живые стрелы к обманчивым горизонтам. Порой то в одном, то в другом чудятся ему черты идеала, совершенного и окончательного, и люди пылко бросаются служить ему и, если надо, умереть за него. Религия и политика, наука и социальная справедливость... Что только ни становилось мишенью людского энтузиазма, всеобщего иступления! Но ослепление проходило, человечество осознавало ошибку, убеждалось в неполноте идеала и, меняя курс, вновь и вновь направляло корабль к воображаемому берегу.

История на всем своем необозримом пространстве представляет скитания рода человеческого от идеала к идеалу и убеждает, что все они в равной мере увлекали и не утоляли. Не правда ли, если к истории приглядеться, в ней обнаружится что-то донжуанское?

* Мне нужен герой... Возьму моего друга Дон Жуана (англ.).



РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПИО БАРОХЕ

Всюду найдется десяток молодых испанцев, которые живут, засосанные провинциальной тиной, в постоянном и безмолвном раздражении. Кажется, так и вижу их — в углу какого-то клуба, молчаливые, хмурые, недоб-

рые, сжавшись в комок, как тигрята, ждут они момента для мстительного хищного броска. Сей угол и этот потертый диван — логово одиночества, где ожидают эти изгои испанской рутины, пошлости и пустоты, лучших времен.



А рядышком банкуют, политиканствуют, заключают убогие сделки местные «здоровые силы общества», те самые, кому обязаны своим существованием наш дохлаый «текущий момент».

Этим ребятам, неприкаянным и строптивым, не согласным тонуть в болоте, я и посвящаю заметки о человеке вольном и настоящем, который не хочет никому служить и ничего ни у кого не просит.

I. ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ГИПОТЕЗА ИСПАНСКОГО ИСТЕРИЗМА

Полагаю, что вначале стоит напомнить особенности нашей испанской жизни, родственные такой черте стиля Барохи, как обилие бранных слов.

Почти все слова политического лексикона наших сограждан – бранные. «Клерикал» в устах либерала не означает «человек, который верит в полезность религиозных установлений для исторического будущего народа», но попросту означает «мерзавец». «Либерал» – отнюдь не сторонник всеобщего избирательного права, а всего-навсего, на языке консерваторов, человек, лишенный совести.

Когда в 1909 году досточтимый прокурор Верховного Суда прибыл в Барселону, он обнаружил в лице дона Валенти Кампа «оголтелого кантианца». Для упомянутого прокурора кантианец означал не человека с определенными взглядами на мир, а существо отвратное и опасное. В Барселону прокурор прибыл не для инспекции философских школ Каталонии, речь скорее шла о списке будущих арестантов. И лексикон его свелся к минимуму, выражающему гнев и ужас сиятельной особы.

Подобное может произойти в любом месте земного шара. Однако известно, что ни один народ в Европе не может похвас-

тать таким богатством ругательств, проклятий и тому подобных восклицаний, как мы. Пожалуй, одни неаполитанцы могут составить нам некоторую конкуренцию. Поскольку книг у нас издается слишком мало, надо, чтобы установить состояние национального духа, обратиться к словесности повседневной и повсеместной, к той, что рождается в кафе, в людской толчее, в трамваях и парламентских коридорах.

Ритм и выразительность этой устной прозе придает некий речевой аккомпанемент. Называйте его как угодно – ненормативностью, сквернословием или просто междометиями.

Это явление, казалось бы, несущественное ввиду его поминутности и повсеместности, по тем же причинам оказывается крайне важным.

В минуту нестерпимой муки душа спешно стягивает все свои резервы к тому месту, куда проникает боль. Какое-то мгновение остаток душевной жизни висит на волоске, и хотя пульс слабеет, а сердце сжимается и замирает, душе необходимо собрать все свои силы на том участке, где возникла брешь. Она слепа, глуха и безотчетна. Душа – натянутая тетива, с которой, как стрела навстречу враждебной боли, срывается «Ай!». Как убого и крохотно оперенное тельце этого слова! Что мы хотим сказать этим «ай», что говорим? Ничего о мире и все – о нашей душе. Крохотный пузырек этого «ай» конденсирует всю нашу чувствительность, уплотняет ее, все повышая давление, – и происходит поистине кровоизлияние лопнувшего чувства. Этот взрыв возвращает нам внутреннее равновесие, нарушенное душевной или физической болью. Для того-то Господь и создал на земле этих малюток, именуемых междометиями.

Ну, а наш брат-испанец – что творится с ним, пока трамвай катит по направлению к Пуэрта дель Соль?



Мы болтаем о вещах, безразличных для нас обоих; однако наш добрый приятель пересыпает речь целым ворохом восклицаний, междометий и вводных слов особого рода. Это как бы разбивка тактов, ритм, который придает его фразам архитектуру, как вертикальные ребра стен или треугольные фронтоны фасадов. И воочию видишь, как при каждом нецензурном слове он испытывает облегчение; похоже, он употребляет их как регулярное слабительное для душевной энергии, которая постоянно скапливается в нем, причиняя неудобство. Не странно ли это? От чего мой приятель очищается, произнося слова бессмысленные, либо не придавая значения смыслу?

Имя моему другу – Некто Испанец. Он не слишком умен, в меру добродетелен, равнодушен к искусству, неспособен к героизму и движется к смерти, словно камень к земной поверхности. И что ж, у этого персонажа – избыток духовной энергии? А может быть – ее-то и недостает? Может быть, это духовный аскетик? Что, если пресловутый град восклицаний, показной напор, обычный для испанцев, – признак духовной дистрофии?

Помимо восклицаний, любопытна наша нестерпимая, как зуд, тяга к отчаянной жестикуляции.

Допустим, наш соотечественник договаривается встретиться с вами ровно в полпятого. Но это «ровно» сопровождается жестом ужасающей энергии; он выбрасывает руку так, будто в ней – сабля, а под ней – шея великана, и рубит эту бычью шею долго и трудно. Наконец дело сделано, соотечественник договорился. И, разумеется, не придет.

Нельзя не признать, что по части неоперных жестов мы наряду с неаполитанца-

ми и русскими евреями занимаем в мире ведущее положение.

Сейчас многие немецкие и американские психиатры увлечены теорией психозов и истерий венского врача Зигмунда Фрейда¹. В самых общих чертах она такова. Любое представление – не только образ представляемого, но и сопутствующее образу эмоциональное состояние. Страсть – это представление, насыщенное мощным зарядом психической энергии. В том числе и страсть к насилию. Наши нравственные или иные убеждения заставляют нас определенные желания подавлять. Но подавленное желание – это, по Фрейду, сгусток эмоций, дружина, которая силится разжаться, исчерпав себя в физическом действии или проникнув в остальные наши помыслы. Для души это мучительно и часто невыносимо. Тогда наше сознание не просто подавляет, а выпесняет желание, заточает его в подвалы души, где оно становится «бессознательным». Вместе с ним заточается его вассал или слуга – чувство, психическая энергия. Она уподобляется нарыву, всегда готовому прорваться. Но поскольку представление, которому она служила, изгнано, она вынуждена найти другое, не встречающее возражений. Как его найти? Представления связаны в длинные цепочки, образующие структуру нашей души. Благодаря этому чувственный импульс может передаваться от одного представления – другому, от него – следующему, пока не достигнет вполне безобидного, не вызывающего возражений, поскольку его связь с запретным далека и уже неуловима. Так чувство тайком, контрабандно, проникает в инертный образ, с которым не имеет ничего общего. Достигнув сознания, оно взрывается, и душа не может понять,

¹ Обращаясь к теории Фрейда, я касаюсь лишь той ее стороны, которая обладает бесспорной научной ценностью. Я не нахожу ее ни в его методе толкования снов, ни в потугах объяснить происхождение и всю деятельность сознания сексуальным началом. И не надо забывать, что все это писалось в 1910 г. (примечание 1916 г.).



почему спокойные мысли так непомерно угнетают или возбуждают ее и даже толкают на несправедливые поступки. Лишь этим и объясняются, согласно Фрейд, абсурдные выходки истериков, мании и депрессии невротиков.

Эти взрывы, эти внезапные междометия мысли, никак не связанные с ее течением, естественно, дробят интеллектуальную жизнь. Они входят в мышление, словно клинья, и раскалывают его, лишают связности и делают невозможным. Поэтому душа истерика или невротика живет бессвязной, отрывочной жизнью, неспособной стать чем-то целым и прочным. Это души, распавшиеся на атомы, распыленные души, которые рождаются и умирают каждую секунду и вынуждены, как бабочки-однодневки, вкладывать в это мгновенное существование все свои жизненные силы. Это души нечленораздельные, которые выражаются междометиями, потому что сами они – междометия.

Здесь не место и не время углубляться в эту тему. Я хотел лишь наметить точку зрения, с которой Испания видится страной истеризма, того этнического истеризма, который овладевает иногда целым народом, а то и континентом. Быть может, африканская ситуация перед лицом мира к этому близка.

Мужланство, цыганшину, фанфаронство, заносчивость, зубоскальство и многое другое, столь же любимое нашим народом, можно вполне обоснованно отнести к проявлениям коллективного истеризма.

Понятно, что такие клинические случаи индивидуальной патологии, как истерия и невроз, будучи спроецированными на коллективное состояние духа, перестают быть болезнями в медицинском смысле. Это факт. Но становятся болезнями в смысле историческом. Тоже факт.

В Барохе я вижу своего рода крайнее выражение национального истеризма. Мы

все более или менее такие же, но не так откровенны, как он. Все лучшее и худшее сегодняшней Испании в нем нараспашку. И, повторяю, отнюдь не в укор, что именно этим оправдано его творчество. Еще долго, не менее полувека, его книги не утратят диагностического значения.

Как для него, так и для нас, остальных иберийцев, слово – это клетка, где заперт зверь, то есть наши страсти. Да и юмор у нас с Барохой одинаков – шутим, когда нам не до шуток.

БУМАЖНЫЙ ТИГР

Бароха рассказывал мне, что, будучи в Риме, дал прочесть свою повесть одной высокородной синьоре; на вопрос, как ей понравилось, она ответила бесхитростно: «Questo Quintino e troppo impertinente»^{*}.

Если бы у пулемета были убеждения, он вполне бы сошел за персонажа «Алой зари» или «Короля парадокса».

Действительно, на взгляд Барохи, мысль недостойна появиться на свет, если она не дерзка – другими словами, если она не направлена против кого-то или чего-то. Его мысль почти всегда – спровоцированный окружающими ответ на воображаемую атаку, произвольная защитная реакция.

Поистине он мыслит из инстинкта самосохранения! Мыслит в пику окружению, чтоб не раствориться в нем. Бароха ошетиливается страницами своих книг, как еж иглами.

Так вот, подобная черта называется боязливостью. Боязлив тот, кто вечно озабочен своей защищенностью. Излишне пояснять, что я говорю лишь о Барохе-художнике. Бароха-человек, смею заверить, способен один завоевать Америку. Но его психология – это психология тех, кто вечно боится за свое «я», которое того и гляди уведут, как карманные часы.

^{*} Ваш Кинтино слишком дерзок (итал.).



У его учителя Стендаля был тот же комплекс. Решительные герои, которых он любил рисовать, окружали его воображаемой преторианской гвардией, призванной унять его тревогу. Его философия эгоизма была крепостной башней, которую он выстроил, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Что касается «культа своего я», предложенный Барохой метод культивации любопытен: истребляется «ты» и «он». Первое, о чем следует позаботиться, – это безлюдье, а уж потом посреди него воздвигается «я», как минарет.

Произведение искусства – а произведения Барохи, хоть и начинаются с нервов, принадлежат искусству – рождаются из жажды совершенства, полноты. Если произведение субъективно – как у Барохи, несмотря на романную форму – автор наполняет его собой. С первых же страниц обнаруживается, что наш басконский Пантагрюэль, готовый пожирать себе подобных, в действительности лишь скользнул по поверхности великих страстей, великих надежд, великих идей и даже великих книг. Существование двигалось как-то по касательной к самой жизни, как те плоские камешки, запущенные с берега детворой, что скользят, подскакивая, по синей зыби.

Не часты у него вспышки интуиции, та полнота постижения, при которой только и достигает поэтическая вещь такой насыщенности и такой плотности, что становится реальностью и даже большей, чем сама реальность. Он не погружается в подводные глубины существования, чтобы самому, собственными руками, зубами, ногтями, ошутить те жизни, о которых говорит. Он говорит с их слов.

Рассказать о ком-то, кто любил и убил, недостаточно для того, чтобы это стало повестью о любви и смерти. Литература – не рассказ. И не репортаж.

Есть, однако, у героев Барохи общая черта, у каждого слегка видоизмененная, но

одинаково неподдельная и непритворная: дикая энергия, с которой они раскалывают кору общества, чтобы выйти на волю. Это его главная тема. В этом ценность его вещей. И одного этого уже достаточно.

Бароха хотел бы ввергнуть нас в сферу чисто биологических порывов, с иступленной силой обрушенных на мир. Жаль только, что для него человек начинается там, где кончается гражданин и остается антропоид, органический сосуд космических жизненных энергий. Я не знаю другого писателя, который испытывал бы большую тоску по орангутангу, который так чистосердечно верил бы, что человек – орангутанг и только орангутанг. Творчество Барохи – это обширное исследование человеческой порочности.

Один из немногих, очень немногих авторов, которыми Бароха восхищается, – Ницше. То, что Бароха чем-то восхищается, уже само по себе невероятно. Причина в том, что Ницше открыл ему «идеал сверхчеловека», то есть, в интерпретации Барохи, «рыскающего по жизни сластолюбивого стервятника». Таким Бароха хотел бы быть, но не будет, поскольку был и останется лысым аскетом, полным нежности и доброты, который фланирует взад и вперед по улице Алкала и силится восполнить себя, придумывая персонажей, похожих на его амбиции. Это ли не грустно? Бароха не колеблясь сменял бы свое место на Парнасе на пару тигриных клыков.

Но многого стоит этот поиск динамичных людей, пронизывающий его книги!

Его симпатия к анархизму происходит из того же корня.

Как и Стендаля, его захватывает изображение той взрывчатой энергии, именуемой личностью, которая силится расколоть окружающую толщу, чтобы высвободить свою взрывную волну. Его восхищает в человеке то общее, что роднит его с зерном, которое бурит землю, движимое ввысь могучим ин-



стинктом, раскалывает толщу и пробивается сквозь трещины к воздуху и свету, высвобождая свою сильно и ярко выраженную растительную индивидуальность так неуклонно, словно исповедует идею.

Для анархизма личность – единственно возможная субстанция. Словно стремнина, рассекает она косную материю, инертное вещество мира. Эта материя – чистое отрицание, полная пассивность, оправданная лишь тем, что ее сопротивление помогает проявиться динамизму личности. Личность – источник и фонтан энергии любого вида, она несет в себе *elan vital*, как выражается месье Бергсон, открывший сей феномен. Но материя, смываемая этими потоками, загоняет их в русло, теснит и угнетает. И когда гнет законов, порядков и обычаев становится нестерпим, личности снова вскипают, выходят из берегов, смывают все и вся и омолаживают лицо мира.

Согласно Хуану из «Алой зари», «движение вперед возможно лишь в результате победы бунтарского духа над идеей власти». А другой туманный персонаж, Либертарий, говорит: «Происходит полная смена идей и моральных ценностей, и в разгар этого переворота законы остаются такими же заскоружеными. А вы спрашиваете: «Какая у вас программа?» Единственная – покончить с этими законами. Разжечь революцию, а там видно будет». В революции Бароха видит способ загнать вялое нерадивое общество в тупик, дабы заставить его что-нибудь да придумать, какую-нибудь удачную мысль из тех, что рождаются от безвыходности.

В другом месте читаем: «В этой странной и загадочной России, где идеи так могущественно обретают плоть и кровь, в каждом человеке должен таиться дикарь». Бароха, однако, поклонник отнюдь не дикости, а лишь дикарей в лоне цивилизации, разрушителей устоев, законов, уклада и здравого смысла.

Есть кое-что под маской внешнего скептицизма, во что Бароха верит, – дикарское, биологическое, внесоциальное, иррациональное. Об одном из своих персонажей он говорит: «Верил в анархию, как в мать Божию», на что другой персонаж замечает: «Во что ни верь, вера есть вера».

Бароха хотел бы, чтобы его детища, его герои были витальными вихрями; однако получается из них что-то совершенно другое.

Герои Барохи не деятельны; вопреки заявленной мятежности и энергичности они демонстрируют упомянутые достоинства наискромнейшим образом – прогуливаются. И это еще самое энергичное, ибо все остальное, чем они занимаются, враждебно всякому действию. Сам Бароха больше всего на свете ненавидит разговоры и рассуждения. А вот его герои ни к чему другому и не приучены. Это существа, помешанные на прогулках, и жизнь они проводят, расхаживая по улицам – бродят, созерцают, но прежде всего рассуждают и теоретизируют. Жажда космических каскадов энергии, которой полнит Бароха свои книги, утоляется затяжным дождем теоретических рассуждений. Куда уж грустней! «Алая зоря» – только вдумайтесь в название: «Алая зоря»! – на самом-то деле учебник политпросвещения.

Я настолько далек от желания, чтоб Бароха стал иным, чем он хочет быть, и отношусь к нему с таким искренним восхищением, что был бы рад, возмещая недостающее, пообщаться с необузданным героем. Поэтому испытываю известное разочарование, обнаружив под его колючей внешностью закоренелого резонера. Пока герои шествуют по округе, Бароха насаждает на них и заставляет мыслить. И, ясное дело, на мысли скальвается, в каком именно закоулке она их осенила. Автор обнаруживает отчетливый менталитет задворок.

Какая жалость! Тигры, которых он малюет, не так страшны, как ему мерещится.



И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ

Э то несоответствие между тем, что Бароха чувствует, и тем, что удается ему выразить, подтверждает его внутреннюю раздерганность. Вдохновение, которым он заряжается, – это вдохновение философское, не литературное. В его произведениях едва заметны следы вдохновения чисто художественного.

С каждой страницей убеждаешься, что автора не интересуют ни герои, ни что они делают, ни каким воздухом дышат, ни искусство построения романа, ни искусство вообще. Единственное, что его интересует, – это устройство общества, того реального общества, в котором живет он, Бароха, а не вымышленного, в котором должны жить его герои.

Общество – вот его проблема. Не будь он так чуток к природе, можно было бы представить его нервную систему как разветвление шупалец, протянутых к обществу. Однако он не социолог. Для социолога, даже самого убежденного, общество – явление вторичное. Для Барохи общество – вид космической субстанции, эманация индивидуальных энергий. Конкретно его философское вдохновение – это вдохновение социальное.

Не ошибусь, если скажу, что у подобного вдохновения есть только две дороги – или в этику, или в политику. На то похоже, и, может быть, Бароха стал романистом лишь по слабости духа, то есть от любви к покою. Этика и политика – дело хлопотливое. Писать романы, напротив, – это деятельный досуг. Все одно что мемуары писать, как говорил однорукий воин Гец фон Берлихинген.

Испанская душа в наши дни одержима политикой. Мы пропитаны ею насковозь. Это естественно. Человеческая личность – не биологическая особь, это личность общественная. Поэтому, когда общество, в котором живешь, – не общество, когда нравственная атмосфера отравлена, а инстинкт сохране-

ния человеческой личности подавлен, мы обязаны всеми силами бороться за воссоздание общности. В Испании политические вопросы стали такими безотлагательными, что не оставляют в душе места для иных забот.

Тем не менее, результаты социального вдохновения Барохи мне кажутся значительными. Прежде всего, разрушительный пафос. Если бы я не чувствовал, что у Барохи он несколько легкомыслен, и не убеждался, что он ни разу не счел разрушение делом пусть и необходимым, но нерадостным, я бы рассыпался в похвалах. Но Бароха разрушение развлекает. Это грустно...

Скульптор разрушает мрамор из любви к статуе, которая прорастает в камне, пробиваясь из-под гнета, – пленный побег жестко спрессованного зерна. Современный английский прозаик сказал недавно, что смысл писательства – в обновлении нравов. Значит, надо, чтобы удар по отжившему и бесплодному высекал первообраз нового уклада жизни и как бы предвосхишал его. Эта утверждающая нота у Барохи звучит очень слабо.

Но звучит. Бароха явил нам черствость испанских нравов. Какую книгу он мог бы написать, назвав ее «Ожесточение»? То, что кроется за нашей мнимой испанской компанейскостью, его раздражает, но не больше. На самом же деле только жесткая стальная пружина разъединяет и удерживает испанцев, готовых, едва она ослабеет, броситься друг на друга. Любой разговор у нас грозит обернуться поножовщиной, любое слово – выстрелом. Что ни испанец, то сама остервенелость, истекающая злобой и презрением.

И поскольку это суть нашей жизни, исключаяющая сосуществование, взаимное молчаливое согласие, каждый испанец скован жесткими устоями. Вариации общественных отношений сведены к минимуму. Не знаю, в чем причина – в какой-то этнической предрасположенности или в нашей анахроничной экономике. Склоняюсь к последнему.



Скудная экономика формирует слабо дифференцированное общество. У первобытного человека выбор невелик – жрец, воин, кузнец, гончар, пастух. Только в этих отливках, простых и прочных, формируется личность, исчерпывает себя то, что противостоит любым формам и схемам. В Испании десятка два жизненных дорог и не больше. Человек вынужден смолоду выбрать одну из них и, попав в формовочный цех, согласиться на ампутацию или деформацию тех органов души, что не вмещаются в литейную форму. И нация складывается из калек – одноруких, одноногих и вовсе парализованных неудачников, несчастных и недовольных. Из людей, оскопленных своей профессией, которая не вяжется ни с их душевным складом, ни с их наклонностями и способностями. Ни они не делают того дела, которым якобы заняты, ни оно не позволяет развернуться тем неповторимым свойствам, с которыми каждый вступает в мир.

И это еще не самое худшее. Куда хуже то, что эти считанные формы жизни заскорузлы. У нас общественное мнение касательно образа жизни, предписанного каждой профессией, не терпит никаких вольностей, не оставляет никакого прибежища, где человек мог бы дать волю своим надеждам и химерам.

Хуже всего обстоит с отношениями мужчины и женщины. Какая жестокость, какие каменные устои! Без женщины невозможно воспитание чувств. Быть может, то единственно важное, что западная цивилизация добавила к античному наследию, – это вера в женщину как мерило мужчины, в поисках которого он обнаруживает в себе то лучшее, что в нем заложено. В женщине он осуществляется.

Испанец же встречается с женщиной в тесном тупике страсти. И страсти уже замершей в апогее, достигшей того мучительного и безысходного предела, когда она, рожден-

ная смутной и здоровой чувственностью, обрушивается с духовных высот на нее и на саму себя, уродуя чувственные порывы.

Мой друг Аלקантара любит повторять, что испанская чувственность – это задутая свеча; так идалго на шестом десятке, прерывая вынужденный пост, задувает однажды свечу и впотьмах тискает ключницу. Испанец познает женщину на библейский манер, как касательная познает дугу, или как пуля познает рану, пролетая насквозь. Связь с женщиной у нас так мимолетна, так случайна и скоротечна, что это отразилось и в языке. У нас это называется «сойтись».

Мыслима ли полнота жизни без женщины, без той, кто возделывает чувства? Заколосится ли тогда мужская душа? Заискрится ли сердце, если не омоет его легкое медлительное прикосновение «вечной женственности»?

Но в Испании единственный вид согласия между мужчиной и женщиной – это договоренность. Все прочее эпизодично.

То, что происходит с чувствами в этой сфере, происходит и в любой другой. Пока неотесанность наших книг не позволяет нам воспитать интеллект, наши заскорузлые нравы мешают воспитанию чувств.

Хотя Бароха, насколько я знаю, формально не писал о том, о чем я здесь говорю, мне кажется, его изначальный импульс – тоска по жизненному укладу более сложному и многообразному по своим внутренним связям. Поэтому его привлекают натуры неприкаянные, которые прошли всевозможные социальные ступени и перебрали всевозможные профессии и занятия, не остановившись ни на чем. Этих ослушников и строптивцев не устраивает, когда подрезают и прореживают их жизненные притязания, и в результате они вынуждены переступать установленные правила и становиться людьми «неправильными», отщепенцами.

Если б можно было охватить романы Барохи одним взглядом, разглядывая каждый



том на просвет, глазу предстало бы то, что видится в капле воды под микроскопом, – инфузории, которые снуют, мечутся, всплывают и тонут, наступают и ускользают, сходятся и расходятся, следуя какому-то общему произволу, необузданному и бессмысленному. Это и есть испанская жизнь. И кажется, что Бароха показывает ее, чтобы мы счистили с себя ржавчину и бились за новые нравы.

Как закон парализует обычаи, более подвижные и относительно свободные, так они, в свою очередь, парализуют души. Бароха – не только анархист и враг законов, но и аморалист – или враг обычаев. Ему нравятся люди, которые сметают и то, и другое, чтобы проложить новые, лучшие русла для самой незащищенной и могущественной из стихий – ее величества Жизни.

Всходы требуют места влажного и укромного, не на жгучем солнцепеке и не в зябкой тени, чтобы пустить корни и опереться на них. Так и обществу нужны полутени, чтобы принялись самые нежные семена. В мягкой податливой среде всегда вызревали самые сочные человеческие плоды.

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПЛУТОВСТВО ПЛУТОВСКОГО РОМАНА

То бичевание нравов и общества, что стало тайной пружиной вдохновения Барохи, побуждает его писать в жанре плутовского романа. Да, Бароха продолжает нашу исконнейшую литературную традицию, и потому он исконней, чем сама Испанская Академия. Вряд ли он прочел хоть кого-то, кроме иностранных авторов, его язык враждует с нормативной грамматикой, к богатствам нашей вековой литературы он относится с презрением нувориша – и все равно он исконен до предела. Почему? Да именно поэтому.

Словом этим обозначается нечто совершенно произвольное – проявление в инди-

видууме родовых инстинктов, настолько бес- сознательное и сверхличное, что сам человек об этом не подозревает. Поэтому печаль о собственной исконности – значит полностью перекрыть все пути к ней. Кто вечно о ней печется, тот ее пожизненный враг.

Я люблю наблюдать, как из души Барохи, словно из вулканической трещины, начинают бить древние токи нашей иберийской породы. Не скажу только, что эти истечения дряхлого нутра напоминают мне амброзию.

Однако, что же такое плутовской роман? Мои компатриоты единодушно гордятся, что они – потомки плутов. С чего бы? Отчего такая честь этому роду литературы? И что он собой представляет?

Ведь литературный жанр, давший столько произведений и признанный самобытнейшим выражением нашего национального духа, не мог появиться случайно. Оставим спор с Бенедетто Кроче насчет того, существуют ли жанры вообще, до лучших времен. Я уверен, что существуют. Созданное искусством, как и созданное жизнью, неповторимо, но как биология нуждается в понятии вида, чтобы найти путь к живому организму, так и эстетика нуждается в понятии жанра. И как появление вида так или иначе объясняется природной средой, так и причину появления жанра надо искать в сфере психологической. Не случайно слоны обитают в бамбуковых зарослях, и не случайно плутовские романы появляются в Испании.

К концу Средневековья в Европе существуют две литературы, почти не связанные между собой, – литература для знати и литература для простонародья. Первая – это миннезингеры, трубадуры, героический эпос, эхо войны и любви. Это не реалистическая литература, она живет не тем, что зримо и осязаемо, но отстоем мифов и родовых преданий, и создает возвышенный мир, выстроенный мощно и красиво. В ней фокусируются и порывы в запредельность,



в мир иной, где все оправдано и безупречно, и человеческие страсти, быть может грубые и варварские, но животворные. Благородный поэт поднимается над миром дольным и создает образцовый для себя эталонный мир идеальных героев и отношений, новую вселенную, целиком сотворенную искусством. Эта литература дополняла мир, она творила.

В конце XI или в начале XII века аристократическая, в лучшем смысле этого слова, поэзия выдвинула певца Бледри по прозвищу *Latinator*, который дал миру «Тристана». Это творение – прощальный, сокровенный вздох самого грустного из земных народов, лебединая песня кельтов – первоисток современного романа в одной из двух его разновидностей. «Тристан» – повесть о любви во всем ее величии, не об инстинкте пола, обыденном, как земное притяжение, но о том гениальном чувстве, начале всего, которое стихийно растет и растит. О той любви, что движет солнце и светила.

Эта тема рыцарственной любви разом выявляет внутренние истоки всей высокой литературы. Она создана любовью. Это мир, преображенный любящим сердцем.

Рядом с высокой, но пресмыкаясь на земле, развивается литература «низкая» – простонародная. Это поговорки, это шутки и фарсы, это прибаутки, притчи и двусмысленные сказки. Типичный пример – «Пляски смерти». Смерть – сообщница Санчо, она мстит за всех малых мира сего, за всех слабых, за всех обделенных. Она демократка. И безродный певец, хлебнувший лиха, изнуренный трудом, озлобленный и лукавый, приговаривает к смерти господ.

Смерть обнажает болячки и язвы и сводит на нет все, что в мире живых казалось мощным, достойным и славным.

Сходный умысел и у «Романов о Лисе». Психологический ракурс сводит человеческое общество к животному. Животное, ра-

зумеется, живет этажом ниже человека, но неприязненный взгляд певца-простолоудина не поднимается над этим полуподвалом. Герой – Лис, Ахилл изворотливости, Диомед злокозненности. В образе этого плебейского Улисса коварство празднует победу.

Певец-простолоудин смотрит на человека глазами дворового. Он не творит мир. Да и откуда возьмутся на это силы у голодного крота, униженного, усталого, озлобленного? Он лишь копирует то, что подмечают его хищные зрачки браконьера, не упуская ни морщинки, ни родинки, ни волосинки. Копия – это всегда критика. На это он и нацелен – не творить, а критиковать. Им движет злопамятство.

В XV, XVI, XVII веках обе литературы дают классические образцы своих романских версий – романа любви и романа ненависти. Любовь и фантазия вспыхивают фейерверком в рыцарском романе. Ненависть и критика достигают вершины в плутовском. Впервые обе эти линии сливаются в «Дон Кихоте», где невеселая фантазия и косная материя, любовь и ненависть на миг обнялись, примирившись в сердце гения. Сервантес – ни слуга, ни господин, он Человек.

Плутовской роман находит героя на дне общества, берет рожденного в грязи червя, готового коптить небо на навозной куче. И делает его слугой всех господ: он то прислуживает священнику, то чистит амуницию воюю, то переходит от знатной куртизанки к преуспевающему жулику. Этот персонаж видит мир в карикатурном ракурсе, снизу вверх, и все социальные слои рассыпаются, не обнаруживая под собой ничего, кроме убогости, гаерства, фанфаронства и козней.

Плутовской роман – крайнее выражение литературы разрушительной, живущей чистым отрицанием, движимой предвзятым пессимизмом, которая скрупулезно классифицирует рассеянные по земле плевелы, не замечая плодов. Такое искусство – и в этом



его главный изъян — лишено художественной самоценности, оно нуждается во внешнем окружении, которым питается, как дерево — деревом. Плутовской роман реалистичен в худшем смысле слова. И художественную ценность он обретает лишь тогда, когда радуешься, оторвав глаза от написанного, его сходству с живой действительностью. Это искусство копировать.

А родовая черта высокой поэзии — способность жить собой, создавать миры, не нуждаясь в твердой земле под ногами. Лишь тогда это творчество, *poiesis*.

Изначальное плутовство плутовского романа состоит, таким образом, в дерзком взгляде плута, брошенном на мир снизу вверх.

Книги Барохи представляют собой компромисс между упомянутым плутовством и порывами, искренними, хоть и недолгими, к добру. Быть может, однажды он ошеломит нас подлинной вещью, где обе параллельные сойдутся. Пока что в его книгах преобладает злопамятное, критическое начало, делающее его Гомером отщепенцев.

Бароха словно бы стыдится того, что есть еще на земле люди, несущие свой крест. Его герой — бродяга. И трудно найти кого бы то ни было, кто так удачно совмещал бы в себе отрицание и динамизм. Бродяга — помесь плута с идеалистом. Но при этом, изначально и глубинно, идеалиста в нем больше. Бродяга мне видится идущим против ветра — голова вскинута, подбородок — как форштевень в морской пене, отброшенные ветром полы плаща бьют по жилистым, натруженным ногам.

Ведь бродяга бродит не потому, что вынужден. Это не перекаати-поле, не гонимый ветром листок. Бродяга бродит, как отшельник отшельничает, певец — поет, торговец — торгует, а мыслитель — мыслит. Его гонит призвание. Что-то точит его и не дает ему покоя, что-то смутное, кочевое избавляет его от пут, сплетенных обычаями, занятия-

ми, нравами. Верит он лишь в одно — то, что он видит, ничто сравнительно с тем, чего он не видел. Правит им не окружающая действительность, а предвосхищенная. Он живет в запредельности. И в этом он — идеалист.

Бродяга не знает меры, он бежит от любых устоев — пришел, взглянул и поминай как звали. Это Дон Жуан народов, деяний и пространства. Он пронизывает любое окружение, не встречая никого. Бродячая душа — оперенная стрела, в полете забывшая, куда она послана.

Собственно, все плохое, что я готовился сказать о Барохе, сказано. Думаю, что я не поспешил на откровенность. Остается сказать все то хорошее, чего он стоит.

1910

II. РАЗМЫШЛЕНИЯ ТЕМА БРОДЯЖНИЧЕСТВА

Я говорил уже, что среди множества судеб и характеров Бароху притягивают лишь неутолимые и неприканные отщепенцы, которые не пускают корней нигде и ни в чем, но бредут из края в край и от дела к делу, гонимые своим кочевым сердцем.

Не странное ли пристрастие? Странное — и вдобавок поучительное для тех, кто выверяет историю литературы по евангелию от Тэна и, не мудрствуя лукаво, объясняет писателя влиянием окружающей среды. Так вот — что касается среды, то в сегодняшней Испании бродяжничества почти не существует. Куда там, при нашей-то деревенской сонливости и свинцовых порядках! Каждый входит в колею своей профессии, неумолимо предрешенную, и движется по ней до самой смерти, так ни разу и не взбрыкнув. Вот то, что Бароха встречает на каждом шагу, — то, во что упирается взглядом, но отнюдь не то, что видит. А



видит он неприкаянных и непокорных, не согласных размениваться на тот образ жизни, который общество им предлагает или навязывает. Такие натуры терпят крах в эпохи, подобные нашей, опутанной лицемерными заповедями. «This age of cant»*, – говорил Байрон. «Le grand principe du siècle: être comme un autre»**, – пишет Стендаль.

Но эти судьбы, житейски растоптанные и побежденные, нравственно и душевно – символ победы и взлета. По крайней мере, на взгляд Барохи – и мой тоже. И думаю, что нас поддержит не одна живая душа, не извращенная утилитаризмом.

Общественный успех – нередко свидетельство определенных достоинств; человека, который достиг его, мы называем дельным, говорим, что он «приносит пользу», и я отнюдь не собираюсь это оспаривать. Но извращенность нашего времени я вижу в том, что умение преуспеть – единственно ценимое или, по крайней мере, наиболее ценимое качество. Так мы изгоняем из мира все самое лучшее, потому что самое лучшее – что делать! – успешным не бывает. Способность, например, тонко и глубоко чувствовать – редкий и высокий дар, но в современном обществе он годится лишь на то, чтобы причинять боль. Один мой друг, страдающий от обостренной чувствительности – невзирая на высокий дипломатический пост, как-то сказал: «Человеку вроде меня не стоило рождаться в наше время – чтобы барахтаться в нем, надо иметь каменное сердце, железный желудок и пухлую чековую книжку».

Я вижу, что в европейской душе что-то зарождается. Мы начинаем излечиваться от нравственной слепоты, побуждавшей считать полезность основой любой оценки, и поскольку самые радикальные перемены происходят из переоценки ценностей, есть надежда, что мир преобразуется.

В Барохе я вижу глашатая и предвестника таких перемен, и это сулит его вещам, несмотря на их недостатки, будущее, несопоставимое с настоящим.

О пригодности или полезности судят по результативности; другими словами, все, что ни возьми, оценивается с помощью чего-то другого, связанного с ним, но существующего отдельно. При такой оценке непригодность и бродяжничество – величины отрицательные. Но попробуем увидеть их изнутри, ощутить душевный напор, неумолимый, необузданный, властный, который не укладывается в общие мерки и выбирает верность судьбе, пусть и ценой отказа от «успеха в обществе». Сразу очевидны благородство и достоинство такого противостояния жизни. И если «дух» как противоположность «материи» означает для нас динамическое начало – порыв, силу, напор, – то приходится признать, что бродяга духовней приспособленца. Больше того, под таким углом зрения приспособленчество выглядит капитуляцией, косностью, жалкой рабской покорностью.

Динамизм – единственное в мире, что Бароха ценит. Озираясь в поисках хоть одной живой души, способной действовать на свой страх и риск, он устремился на дно, к маргиналам, в надежде, что найдет ее среди тех, кого принято считать отбросами общества, – среди бродяг, шулеров, аферистов, сумасбродов, самоубийц. А что было делать? Живописать сенаторов, губернаторов и финансистов вкупе с их благонравными женами?

За десять лет Бароха создал двадцатитомную эпопею бродяжничества.

ЖИЗНЕННЫЙ ИТОГ

Когда душевные раны окончательно отбивают вкус к риторике, а книг уже

* Время лицемерия (англ.).

** Великая заповедь века – будь как все (фр.).



прочитано видимо-невидимо, продолжают захватывать лишь такие, где автор делится с нами болью или радостью существования. А те, в которых не дрожит эта метафизическая нота, мы считаем беллетристикой в худшем смысле слова.

Человечество производит такой же отбор, какой в узких рамках совершает отдельный читатель. В течение веков не ослабевает внимание лишь к таким художникам, которые задевают эту главную струну, будь то трагический Эсхил или возбужденный вином и любовью Анакреонт.

В двадцать лет читают, как живут, – пополняя нагромождение мыслей и страстей все новыми и новыми. Но к тридцати уже догадываешься, что суть не в накопительстве, а в соотношении наличности и долга. Душа с бесстрастием счетовода начинает подводить жизненный итог. Научные методы тут не годятся. Как ни важна и ни серьезна наука, это дело куда важнее и серьезнее. У души своя бухгалтерия и свои внутренние счета.

Это неизбежно. К тридцати годам, когда молодость еще не перекипела, на вершинах души проступает первый снег. Это первое, неотвратимое предвестие нравственного холода – холода, который приходит не извне, а рождается в нас и тревожит душу странным чувством, которое бывает, когда кто-то спокойно и внимательно глядит на нас. Это не печаль, не горечь и даже не грусть, скорей – это требование правды и неприязнь к химерам. Потому что в этом возрасте мы перестаем быть теми, кого из нас делали, растили в семье, воспитывали в школе, готовили в обществе. Целенность нашей воли меняется. Прежде мы хотели стать тем, что считали образцом, – героем, увековеченным историей, романтической фигурой, опозитизированной сочинителями, или праведником, которого канонизирует усвоенная нами мораль. Теперь же, по-прежнему считая, что все это, наверно, бо-

лее чем достойно подражания, мы хотим быть собой – и хотим этого, полностью осознавая свои природные недостатки. Мы прежде всего хотим правды о себе, хотим стать этой правдой, и для нас особенно важно уяснить, какое же чувство внушает нам мир. И без жалости разбивая скорлупу усвоенных мыслей и мнений, мы обращаемся за ответом к самому неподкупному, что в нас есть. К тому, что безучастно не только к деньгам или лести, но и к этике, знаниям и рассудку. Даже научная убедительность – то автоматическое согласие, которое оставляет на периферии нашей личности строгость опыта и ясность вывода, выглядящая поверхностной рядом с непреложными «да» и «нет» этой бескомпромиссной сердцевины нашего существа.

И в каждом человеке, которого мы видим, в каждой книге, которую читаем, нас интересует лишь их жизненный итог. Если он не подведен, что чаще всего и случается, общий глас может вынудить нас к уважению и вниманию, но вниманию показному. Те, кто не стоит лицом к последним вопросам, кто не ответил на них окончательно, нас не трогают.

ТЕОРИЯ СЧАСТЬЯ

В «Древе познания» Бароха говорит о своем герое Андресе Уртадо: «Жизнь вообще, и своя в особенности, казалась ему чем-то отвратительным, мутным, мучительным и неподвластным». Это четкое и окончательное восприятие мира бунтует и стонет на каждой странице Барохи, от самой первой до еще не дописанной. Из него, как из горького семени, выросла вся многотомная проза этого человека, непролазная чаша, нелюдимый бурелом, тоскливый и безвыходный, где хозяйничает подобие косматого Робинзона, озорной маньяк, который безжалостно гвоздит забредших туда путников.



Кто из нас не отшатывался порой, кладя руку на пульс жизни и не чувствуя его? Кто не ошущал порой, как пустеет мир, которому нет оправдания? Когда подводит жизненный итог, мы, сводя счеты с собой, прикидываем на ладони все то весомое, что сулило наполнить жизнь и дать ей твердую основу, цену, смысл или полет – искусство, науку, религию, мораль, наслаждение, – и вдруг чувствуем их как бы пустотелыми, как бы масками самих себя, морочащими нас, подобно лживым обещаниям. Пытаясь опереться на них сердцем, зависшим над пустотой, чувствуем, как оно проваливается. Все лопается, как пустая скорлупа, разлетается, как дым, сжимается, как наше сердце, которому так нужна опора, твердая земля, гавань, где оно могло бы бросить якорь. Как Архимеду, нам достаточно точки опоры, но только надежной, окончательной, чтоб она не нуждалась в другой опоре, а та – еще в одной, и так до бесконечности.

В такие минуты мы чувствуем себя глубоко несчастными.

На вопрос, в чем заключается то идеальное состояние духа, что именуется счастьем, напрашивается простой ответ: счастье – это обретение того, что удовлетворяет нас полностью. Но такой ответ, в сущности, ставит лишь ряд новых вопросов. Во-первых – в чем состоит это субъективное состояние полной удовлетворенности? Во-вторых – каким объективно должно быть наше обретение, чтобы нас удовлетворить?

«Счастье, — сказал Мериме, — это как желание спать». Доля истины здесь есть, но ради доли пожертвовано целым.

Сон противостоит бдению, как бездействие – действию. Следовательно, счастье жизни в том, чтобы не жить? Вряд ли. Важ-

нейшая проблема счастья – а есть ли, скажите на милость, что-либо важнее? – не проявляется, если не исходить из того, что субъект по отношению к объектам есть чистое действие. Как ни называй – душой, сознанием, духом или чем-то еще – то, что мы есть за видимой оболочкой – всегда совокупность действий, одни из которых совершаются, другие – стремятся совершиться. Мы заряжены их энергией, и «жить» означает высвобождать ее, обращая в деятельность. Другими словами, человек – это возможность видеть и слышать, возможность помнить и думать, возможность печалиться и радоваться, плакать и смеяться, возможность любить и ненавидеть, возможность мечтать, знать, сомневаться, верить, желать, бояться.

Можно ли уподобить счастье сну, который есть отрицание всего перечисленного? Мериме, правда, не говорит «счастье – как сон», но «как желание спать», а желание – уже акт воли, пусть даже это желание застыть и погрузиться в небытие. Следовательно, речь идет о промежутке между бдением и сном, о переходе ко сну. В эти минуты все душевные импульсы как бы гаснут, и остается единственный, а именно – желание этого сладостного саморастворения¹. И поскольку с каждой минутой это желание, единственно активное, осуществляется все больше, оно стремительно растет, набирает силу, жаждет все большей полноты беспамятства. И в миг засыпания активность этого желания исчезнуть достигает апогея.

Отсюда понятно, почему сначала соглашаешься с Мериме. «Желание спать» сужает нас до одной-единственной активности, но она достигает полного осуществления и становится беспредельной. То, что роднит ее со счастьем, связано не с бездействием и

¹ Новейшие психобиологические исследования в области сна (в частности, работы Клапареда) подтверждают, что человек погружается в сон тем быстрее и глубже, чем быстрее и тотальнее он теряет интерес к окружающему, то есть чем быстрее сужается активность его мозга. С другой стороны, так называемая «зимняя спячка» некоторых животных – это есть снижение жизненной активности до минимума.



сном, а, напротив, с беспредельной жизненностью. В ней все возможное становится действительным – вся наша потенциальная энергия целиком переходит в действие.

Эти соображения ведут, как я надеюсь, к более адекватной идее счастья. Принято ошибочно считать, что состоит оно в удовлетворении желаний, как будто желания и есть наша личность¹. Подобный взгляд ставит нашу судьбу в зависимость от внешних достижений, и одно непонятно – почему так часто люди, достигшие всего, как царь Соломон, люди, чьи желания пресыщены, бывают бесконечно несчастны.

Зато понятней, какую роль в нашей судьбе играет окружающее. Оно делает нас счастливей не как обретение или достижение, а как возбудитель нашей активности, как материал, на который она нацеливается и который, в меру сил, преобразует.

Когда мы требуем от жизни отчета, от существования – смысла, мы требуем единственного – предъявить нам то, что могло бы вобрать нас целиком. И если убеждаемся, что есть в мире что-то, способное вместить всю нашу жизненную мощь, – мы счастливы, а мир – оправдан. Способны ли на это наука, или искусство, или наслаждение? Зависит от того, оставляют они или не оставляют в нас что-то не востребуемое, что-то праздно и скудно зевающее.

Здесь, именно здесь, корни несчастности. Чувствует ли себя несчастным тот, кто полностью захвачен и поглощен чем-то? Это чувство возникает тогда, когда часть души пуста, бездейственна, безработна. Печаль, недовольство, тоска немислимы, когда все наше существо действует. Но стоит возникнуть паузе, из утихшей души, как запах стоячей воды, начинает подниматься чувство

досады, тревоги, беззащитности и бездонной пустоты. Мы замечаем несоответствие заложенного в нас осуществленному. И это, именно это – несчастность.

Простое наблюдение над нашей психической природой выявляет, что движения души, из которых мы состоим, в момент их осуществления нами не осознаются. Когда мы напряженно думаем о чем-то, когда нас охватывает ненависть или любовь, у нас не остается в запасе свободного сознания, чтобы воспринимать эти перенасыщенные энергией состояния. Лишь когда они проходят, мы слышим эхо раскатов, замечаем оставленный ими след. Строго говоря, это происходит с любыми нашими действиями в момент их осуществления. В каком-то смысле, жить и осознавать – две вещи несовместимые. Мы ощущаем лишь потенциальную составляющую нашей личности, ту, что бездействует или перестает действовать. Чем уже поле нашей деятельности, тем в большей степени мы – зрители. И зрелище, предложенное нам, – это наше «я», которое, подобно прикованному Прометею, силится шевельнуться и не может. Это наше «я», обернувшееся неутолимой жадью, неисполнимыми желаниями, парализованными усилиями, бессильными стремлениями.

Если в минуты несчастности, когда мир пустеет и все обесмысливается, спросить, чего же мы хотим, ответ, я думаю, был бы один – избавиться от себя, не видеть больше это парализованное, окоченелое «я». Мы завидуем бесхитростным натурам, которые целиком, как нам кажется, поглощены своим делом или своим бездельем. «Счастье, – думаем мы, – это быть вне себя».

Разговор я веду к тому, что пресловутое «быть вне себя» собственно и означает быть,

¹ Происхождение ошибки очевидно. Счастье – нечто смутное и неотчетливое, к чему стремится нас слитное и всеохватывающее желание всего нашего существа. Отсюда один шаг до того, чтобы представить само счастье как удовлетворенное желание. Замечу, что достигнуть желаемого – это шанс осчастливить наше желание, но не нас самих.



а вот «уходя в себя», человек перестает быть и не живет, а стоит лицом к лицу с бескровным призраком самого себя.

Укусные укоры, слетающие со страниц романтиков, — это лай души, по-собачьи распаленной этим призраком — собственным бездействием.

Андрес Уртадо, герой «Древа познания», не находит в мире ничего, что вместило бы его энергию. Он растет, как гриб, внутри себя, не сживаясь со средой и не меняясь в процессе роста. Ни в чем не видит он отчетливой нужды в себе. Порой кажется, что наука способна наконец-то поглотить его. Но тут же убеждаешься, что если Андрес Уртадо и тянется к древу Познания, то единственно чтобы задремать в его тени. *Nihil, nihil**. Мир вокруг абсолютно пуст. И видя это, Адрес Уртадо кончает с собой, приняв аконит.

Бароха, чтобы не решать собственную проблему фармацевтически, вместо этого написал двадцать шесть или двадцать восемь томов, которые, под стать другим подобным же книгам, раскрываются, как зевающие рты, сведенные трансцендентальной скукой нашего насквозь несовершенного мира.

АНЕМИЧНАЯ КУЛЬТУРА

Несовершенство господствующей культуры, ее недостаточность обычно выявляли переходные времена, подобные нашему. Сказанное не представляет интереса, если не уточнить, в каком именно облике воплощает Бароха недостаточность нашей современной культуры. Это и кажется мне самым ценным и значительным в личности нашего романиста. Его умозрения не блещут новизной и не так уж обязательны. Сила Барохи не в том, как он мыслит, а в

том, как он чувствует. Моя задача — с сильной точностью преобразовать в мысли то, что он чувствует, пока живет и пишет¹.

А чувствует он не столько даже то, что техногенная культура и мораль по природе своей фальшивы, сколько то, что они не делают нас счастливей, не вбирают всю нашу энергию, не захватывают нас. Не это ли, в конечном счете, с разной силой и отчетливостью чувствует современный человек?

Люди Возрождения чувствовали совсем иное. Им казалось, что представления и нравственные устои Средневековья ложны, и дух обновления устремлялся в будущее. Мы, напротив, чувствуем в душе, что наши знания и наши нравственные установки большей частью верны. Но они оставляют нас холодными, не вторгаются в душу и не возносят ее. Словом, они утратили прямую, кровную связь с личностью, и между ними и нашим сердцем легло огромное пустое пространство.

Нельзя жить полной жизнью, если не переполнена душа, если нет в ней того, за что хочется умереть. Кто не обнаруживал в себе этот парадокс? То, что не побуждает нас умереть, не побуждает и жить. Это две стороны единого, при всей их видимой полярности, состояния духа. Неукротимую волю к жизни дает лишь то, что заполняет нас целиком. Отречься от него — это худшая из смертей. Поэтому я не восхищаюсь мучениками, а завидую. Легче умереть за веру, чем прозябать без нее.

Радостная смерть — верный признак культуры целостной и жизнестойкой, чьи токи достаточно жизненны, чтобы овладеть сердцами. Но сегодня наши художочные и как бы отрешенные идеалы неспособны срастись с нашей личностью. Истины — это истины кафедр, газет и протоколов, сугубо

* Ничто, ничто (лат.).

¹ Критика поэзии не может быть поэзией. Чувства и образ должны преобразиться в суждение и мысль. Нельзя же, например, требовать от зоолога, чтобы, изучая страуса, он сам становился страусом!



официальные, а наши дни, и наши часы, и наши мгновения проходят стороной с грузом желаний, надежда и забот, неосвященных и никем не признанных. Нас мучит абсурдное несоответствие наших идеалов нашей непритворной душевной жизни. То, что мы приучены ценить превыше всего, нас не волнует, а то, что должны бы презирать, волнует и еще как¹.

Неискренность нашего нравственного устава, которую Бароха видит на каждом шагу и видит потому, что не лицемерит перед собой, коренится в неверной перспективе. Все безличное, отдаленное вырастает в размерах и тем больше, чем оно дальше от нас, а то, что с наибольшей силой, хотим мы этого или нет, задевает душу, кажется нам мелким, никчемным и даже постыдным. Так, благо Человечества вырастает до размеров божества, гигантского Молоха, в жертву которому следует принести все. А за отдельным человеком если и признаем какие-то права на благо, то чуть ли не подпольные. Мы стыдимся самоутверждаться и, однако, лишь этим и занимаемся. Культура, которая закрывает глаза на подобные несообразности, не может не лицемерить.

Королева Кристина Шведская велела отчеканить медаль с надписью вокруг короны: *Non mi bisogna e non mi basta*^{*}. Вполне применимо и к тем «наивысшим благам», которые мы приучены чтить, – они не кажутся нам ни насущными, властно притягательными, ни достаточными.

Идеалы могут быть объективно подлинны, а субъективно – ложны. Верный признак того, что и объективно они не подлинны.

Один из видов лжи – полуправда. Культура, которой можно бросить упрек *ad hominem*^{**}, что она не делает нас счастливыми, – это неполная, неподлинная культура².

Еще бы! О славный девятнадцатый, отец наш! Недобрый, жесткий, неуютный век! Ледяной Стекланный Век, обожествивший химические колбы и избирательные урны! Все выразители этого минусового нравственного климата – от Канта и Стюарта Милля до Гегеля и Конта – забывали, что культура многомерна: есть и такое измерение, как счастье. И сегодня нам становятся ближе другие, скандальные возмутители вчерашнего спокойствия. Когда Стендаль свою иерархию цивилизаций и народов строит на том, насколько влекло их искусство быть счастливыми, все в нас настораживается... Да и Ницше, невзирая на театральный пафос, берет нас за живое, когда зовет праздновать жизнь и каждый миг этой жизни.

Именно в этом мы нуждаемся – в освящении всего, что заполняет наши мгновения и доступно нашим рукам. Если идеал просочится в каждый миг и пропитает каждый день, жизнь зазвонит, как закаленное победоносное копьё.

Мы унаследовали культуру, которая страдает дальзоркостью и различает лишь далекое. Человечество, Всемирность, Единство, Знание, Справедливость – вот сокровища, которые нам обещаны. Но как до них добраться, спотыкаясь на каждом шагу из-за хваленной дальзоркости? Не вижу, чем плоха близорукая культура как ответная реакция, требующая от идеала внутренней

¹ Мы, например, приучены ставить общественное выше личного, но в глубине души личным озабочены куда больше общественного.

^{*} Не нуждаюсь и не довольствуюсь (*итал.*).

^{**} В лицо (*лат.*).

² Надеюсь, что после вышеизложенного никто не заподозрит в этом императиве счастья защиту гедонистской морали. Гедонизм мне кажется этикой столь же банальной, как и его главный постулат, а именно – счастье заключается в удовольствии.



близости, внешней доступности и жизненности, способной покорить и осчастливить.

Идеал, который прищипоривает! Идеалы-шпоры, символ рыцарской культуры!

«ДЕЙСТВИЕ» КАК ИДЕАЛ

Я ссылался на Стендаля и Ницше. С обоими нашего скромного романиста роднит не образ мыслей, а подспудное чувство¹. Когда Бароха слышит или пишет слово «действие», пульс у него учащается, как у Стендаля при слове «страсть» или у Ницше при слове «власть». И все эти три слова – разные оттенки одной и той же тоски.

Счастье видится Барохе в облике действия. Обреченный на рутинную жизнь в затхлой испанской атмосфере, не видя вокруг ничего, что пришлось бы по душе, не зная радостей, не находя удовлетворения ни в чем, даже в читательском признании, Бароха в своем одиноком углу воображает жизнь человека действия.

Не так-то просто установить смысл этого слова. Мысль тоже способна быть действием, а вот спортивная борьба – нет. Среди всевозможных определений мне кажется самым существенным и, конечно, самым близким Барохе следующее: действие – это целостная жизнь нашего сознания, когда оно поглощено преобразованием действительности. Созерцая, мы как бы вбираем реальность в себя, если так можно выразиться, дереализуем ее, превращая в образ или в мысль. Действуя, мы стремимся не отразить действительность, а изменить, и должны вступить в нее, втянуться в ее силовое поле, отдалиться ее мощному воздействию. Попав в водоворот действительности, мы волей-неволей должны собрать все свои силы. Каждый миг таит угрозу и опасность, и если мы

хотим упредить ее, все в нас должно быть нацелено, поляризовано вовне.

Человеку настолько созерцательному и недовольному, как Бароха, действие раскрывает ту необходимую сторону счастья, что выражается словами «быть вне себя». И действительно, людей действия отличает отсутствие внутренней жизни. Вслушиваясь в окружающий гвалт, они безучастны к внутреннему голосу². Ружейный треск баррикад, орудейный гром боя, митинговый свист и здравницы заглушают тихую капель печалей.

Всех мыслителей и художников, перебросивших мост от прошлого века к тому, который пульсирует сегодня в наших жилах, роднит апология «активизма». Размышлению и созерцанию предпочтен иной жизненный принцип, основанный на страсти и воле. Им кажется, что главенство разума запруживает и заболачивает тот поток жизни, который из низших форм создает высшие, все более совершенные. Все, от Шопенгауэра до Бергсона, напоминают, что самое редкостное создание Природы – мышление – возникло не из самого себя, а из доразумной жизненной силы, и, следовательно, в ней надо искать его суть и смысл. Замыкаясь в интеллектуализме, мы рискуем свести все существование к тому, что представляет лишь часть его и служит ему инструментом. А это привело бы к ослаблению, к падению жизненного пульса. То, что Ницше назвал «восходящей витальностью», особенно ошутимо на доразумной стадии развития. И недаром, когда упомянутый мыслитель расписывает достоинства этой восходящей витальности – жестокость, жажду господства и т.д., – наш слух, привыкший к ценностям сугубо духовным, недоверчиво настораживается, словно нас пытаются вернуть в животное состояние.

¹ Есть у Стендаля выражения, которые обобщают всего Бароху; например – *Quand je mens, je m'enpule* («Когда я лгу, мне скучно»).

² Наверно, не было человека менее «задушевного», чем Наполеон.



Бароха, поднимая эти философские проблемы не для рациональных выводов, а применительно к счастью, полагает, что оно не в обретении чего-то внешнего – материального либо духовного, – счастливы могут быть лишь те, кто благодаря избытку жизненной энергии способен где угодно и в чем угодно найти предлог, чтобы жизнеутверждаться. Когда он думает о счастье, ему мерещится мельница и конвульсия. Если бы можно было войти в картину Эль Греко и поселиться в ней, Бароха поспешил бы стать первым жильцом. А поскольку это невозможно, он воскрешает деяния Авиранеты. И по утрам, когда ревматизм донимает его меньше, переносит их на бумагу.

«Действие ради действия, – пишет он в пятом томе, – вот идеал сильного и здорового человека». Возникни спешная необходимость обнародовать мои расхождения с Барохой, а прежде всего – со всеми прославленными адептами крайнего «активизма», лучшего повода, чем эта фраза, не найти.

Не трудно сообразить, что для человека здорового и сильного действие не бывает идеалом. Здоровый и сильный человек непременно во что-то верит – в будущее человечества, в религиозный, политический или философский символ веры – короче, в какую-то идею. Действие – это, скорее, идеал Барохи, человека не сильного и отнюдь не здорового, а страдающего ревматизмом и несварением. И начинаешь ощущать, что «активизм», до сих пор не вызывавший протеста, – идеология, недостаточная для души. Однако спешить с расхождениями не стоит – есть еще чему поучиться у этого взгляда на жизнь, есть еще что извлечь из его рудных жил и есть куда держать путь, повинаясь его шпорам.

Не вдаваясь в тонкости, отметим лишь одну ошибку, в которую впадает Бароха, когда представляет нам Авиранету как человека действия. Это не так – Авиранета всего лишь авантюрист. Бароха сводит действие к

приключению. Эта путаница вносит изрядную неразбериху в его творчество.

А разница немалая. Авантюрист – лишь динамичный силуэт человека деятельного. Если последний находит оправдание своим усилиям в новом облике, который удалось придать действительности, для авантюриста это шанс обрести пружину, которая его раскрутит. У одного идея – повод для страсти, у второго – только предлог. В Риго конституционная идея – это заряд, в Авиранете – взрыватель.

Авантюрист не верит ни во что, он чувствует в себе как бы слепой вихрь, не направленный никуда и толкающий его на поиск опасностей, от которых может спасти лишь предельное напряжение сил. В этом отношении Авиранета – великолепный образец авантюриста. Не было ни переворота, в который бы он не вмешался, ни заговора, куда не встрял бы его сухой хищный нос политической куницы. У современников, судя по всему, он пользовался сомнительной репутацией. Никогда нельзя было понять, каковы его политические взгляды, – сегодня он служит одним, завтра – другим. Но везде и всегда не шадит себя. Вот это и захватывает Бароху. «Раз уж мир пуст, – готов воскликнуть он, – заполним его отвагой».

Авантюра дает иллюзорное ощущение жизни, делает ее захватывающей, вносит в нее свет и мрак, оттенки и превратности. Как ритм дает звукам если не душу, то обещание души, – одним тем, что сводит их и разлучает, так и риск заставляет мгновения, сами по себе безразличные, играть разную роль – и одно становится началом опасности, другое – ее апогеем, а третье – ее преодолением.

ПРОЗА И ЧЕЛОВЕК

Недостатки, которые есть у этой прозы, с лихвой искупаются недостатком, которого нет. А чего нет у нашего бас-



ка, так это риторики, и, согласитесь, такой недостаток – великое достоинство. Кто сумел избежать риторики, тот большой писатель – и наоборот; *tertium non datur**.

Риторика – не высокопарность и не вычурность: возможен высокопарный и вычурный стиль без риторики. Риторикой я бы назвал такое красноречие, которое ничего не выражает. Когда слова или обороты не вызваны необходимостью, и только необходимостью, выразить мысль, образ или чувство, овладевшие душой, они появляются на свет мертворожденными. Это антиподы художественности.

Резонный вопрос – если не срочная необходимость дать выхода мысли или чувству, то что же подвигло вымучивать пустые слова и пустотелые фразы? Очевидно, желание походить на кого-то из великих и внушить публике, что разницы нет. Это и есть, этически и эстетически, смертный грех – выдавать себя за другого. Риторика – грех притворства в искусстве, предательство по отношению к себе. Проповедник искренности, например, – это ритор с пеленок.

Что скрывать, это фиктивное существование для нас обычно и нормально. Мы думаем, чувствуем и поступаем с оглядкой на то, как думают, чувствуют и поступают другие. Очень немногие способны преодолеть это самоотчуждение. Преодолеть его, перестать думать и чувствовать, как другие, и означает обрести независимость. Поэтому, повторяю, между риторикой и художественностью нет середины. Как нет ее между подражанием и созиданием.

Душевно наполненное слово всегда эстетически совершенно. Мы с нашими пристрастиями можем предпочесть тот или другой литературный эталон, но все они художественно во всеоружии – стремятся ли они к гармонии слова, то есть к музыке, как Луис де

Леон, или предпочитают «сочность и живость», как Монтень, или настраиваются на «Гражданский кодекс», как Стендаль, или ставят целью, как маринизм, *lo stupore***.

Стиль Барохи, неприкрашенный, как и его жизневосприятие, идеально выявляет самое непростое средство быть человеком – искренность.

К ней мы возвращаемся снова и снова, когда думаем о творчестве этого диковинного испанца. Искренность, честность с самим собой, отвращение ко лжи и притворству – ось и движущая сила его души, его искусства и его жизни. Это и сделало его образцом прирожденной независимости в нашем обществе соглашательства и угодливости.

Вольный, безнадежно вольный, бредет он по нашему испанскому краю, гонимый своим горестным и вместе с тем насмешливым сердцем. Неспособный к соглашениям, он держится особняком, сторонясь доктрин и партий, которые обещают поддержку и облегчают успех. Его голос не рассчитан на резонаторы. Вечный бродяга, он случайным попутчикам раскрывает душу, закаленную и благородную, как старинная сталь. Но всегда говорит как чувствует и чувствует как живет, потому что живет он, не повинаясь и не служа ничему, кроме собственной жизни, будь то даже искусство, или наука, или справедливость. Если угодно, назовите это нигилизмом, но в таком случае нигилизм – прекраснейшая установка: чувствовать то, что чувствуешь, а не то, что положено чувствовать.

Тому, кто подобным образом утверждает свою полную свободу, нечего ждать от общества. Общество – поставщик услуг и контролер полезности. Поэтому чистой любви, красоте и истине нет места на общественном рынке. Бароха – не пустое место и, полагаю, никогда им не станет. Но и сей-

* Третьего не дано (лат.).

** Изумление (итал.).



час, после того, как он издал около тридцати книг, его имя для читающей публики звучит где-то на задворках литературы.

К счастью, нашего баска ни хвала, ни хула не трогают. Конечно, ему было бы приятно стать «национальной гордостью», потому что тогда бы его приглашали в лучшие салоны, где он рассказывал бы циклопические небылицы красивым женщинам. В общем, слава для него сводится к бесплатному застолью. С другой стороны, вряд ли у кого-нибудь еще хула вызывала такой чисто-сердечный смех. Недавно я застал Бароху почти ликующим – он только что прочел кубинскую газету, где заморский шелкопер обозвал его «тупым бискайским волком». Агрессивное невежество забавляет его не меньше, чем ученая спесь. Одним из самых веселых дней в жизни Барохи, наверно, был тот, когда в этнологической дискуссии касательно происхождения каталонцев дон Помпейо Хенер торжественно определил нашего романиста как «финского вурдалака, скрещенного с выродившимся готом».

Несмотря на все изъязны, на всю ограниченность его дара, в нем ощущается что-то глубоко человеческое, плачущий крик новорожденного, младенческого завтра. И не исключено, что через пятьдесят-шестьдесят лет люди пытливые станут искать следы и по крохам собирать слова и дела этого лысого и язвительного чудака, который зимними вечерами проходит мимо нас по улице Алькала в примелькавшемся пальто из верблюжьей шерсти. Так произошло со Стендалем, который для современников был всего лишь барственным, циничным толстячком, завсегдаем оперы и графоманом.

Однажды нашего романиста попросили расписаться в книге почетных гостей. Страницы были испещрены фамилиями, рядом с которыми громоздились титулы, академические звания и прочее. Он взял перо и написал: «Пио Бароха, человек простой и бездомный».

1915





АСОРИН, ИЛИ ОБАЯНИЕ ОБЫДЕННОСТИ

I



езжая в Аргентину, мне захотелось попроситься с нашей горькой оцепенелой родиной и припасть напоследок к Эскориалу. Был ясный, как улыбка младенца, июньский день.

Чистый и первозданный свет одолевал закон тяготения, и, казалось, нагорье с гранитной глыбой монастыря парит в ослепительном небе.



Жужжа как стрелы, надо мной пронесли темные силуэты аэропланов, и я подумал: что оно такое – Аргентина? Ла-Плата, Парана, Эль Чако, Тукуман, пампа, Буэнос-Айрес. Какие родные имена! Особенно это – пампа... А что оно такое? Чисто географическое представление о пампе у меня есть, но что касается души... К тридцати годам сердце человека, склонного к меланхолии, перестает волновать география, и он понимает – если не склонен к самообману, – что его интересует не знание о вещах и событиях, а их душа. Стоит сказать «пампа», «Буэнос-Айрес», как прямо из сердца взмывает в бескрайний простор стая смутных надежд и порывов, разрывая, словно темные крылья аэропланов, синеву. Да и что, кроме надежды, рождает наша суровая, нищая, глухая испанская жизнь? Что может здесь выжить, кроме изможденной надежды – отчаянной, опрометчивой, смутной... Стоит забрезжить свету, как сонмы этих бедолаг устремляются к живительному лучу. Какой же покажется мне пампа сквозь призму моего сердца?

...И тут в руки мне попадает книга Асорина. Называется она «Городок».

Всякая книга Асорина – антипод Америки. Уже само это слово «Америка» – отзывается в пещерах нашей души обещанием обновления, зовом будущего. А для тех, кто подобно нам, любит Асорина, имя его звучит как приглашение в прошлое: произнеси его и ощутишь, что рука твоя прикоснулась к мягкому бархату столетий.

И оттого сейчас, когда корабль мой готов отплыть в Америку – в будущее, – мне хочется поразмышлять об Асорине, певце былого. Что будущее без прошлого? Я уже говорил, что жизнь для меня лишается смысла, если ради одного приходится жертвовать другим.

РАЗНОЛИКИЕ ЧУВСТВА

«Городок!» – и можно уже не читать книгу, довольно названия. В нем – весь Асорин.

Если вы помните его прежние сочинения, название новой книги Асорина пробудит в вашей душе шемящую нежность. Городок... Что-то маленькое и милое, простое и светлое, что-то далекое – какая прелесть! И в то же время что-то жалкое, ушербное, обшарпанное, затерянное в глуши, дышащее на ладан – какая тоска!

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что такое нежность? Чего в ней больше – радости или печали? И не кажется ли вам, что зерна улыбок, рассыпанные в нежности, неминуемо вызревают слезами? Испытывая нежность, мы радуемся тому же, о чем тоскуем. Так, например, простодушие привлекает нас своей чистотой, бесхитростностью, благородной доверчивостью, доброжелательностью, и в то же время эти достоинства внушают нам опасения – ведь человек, наделенный ими, может стать жертвой двоедушных негодяев, грязных циников, злонамеренных хитрецов! Поэтому столкнувшись с простодушием, душа не радуется и не печалится – ее охватывает нежность. А нежность, как я ее себе представляю, – это боль снаружи и радость изнутри.

Таких двойственных, разноликих чувств, сотканых из тончайших противоречий, много. Вот еще одно – ностальгия. Испытывая ностальгию, мы тоскуем о том, что когда-то одаряло нас счастьем. Это боль от разлуки с родиной, лелеявшей нас как кормилица, чувство, родственное ошущению потерянности, которым чревата разлука с той прекрасной и бесконечно любимой женщиной, что в детстве глядела на нас так долго, так проникновенно, так сердечно... Но тоскуя по былому, мы силой воображения воскрешаем его, переносим в настоя-



шее, вновь упиваемся минувшим счастьем, ловя его глухое эхо. И отчаянье, в которое нас повергает воспоминание о былом блаженстве¹, сменяет смутная, призрачная радость. Возвращаясь к своему определению нежности, замечу, что нежность и ностальгия – антиподы. Снаружи ностальгия – это радость, а изнутри – боль.

MAXIMUS IN MINIMIS*

В Асорине нет ни торжественности, ни монументальности, ни высокопарности. Его искусство устремляется к тем глубинам души, где властвуют тихие разноликие чувства. Ему не интересен ни общий ход вещей, ни итоговая равнодействующая – четкая, простая и величественная, как очертания горной цепи. Асорин – антипод философа истории. Он гениально извращает перспективу, и на первый план выходит мелочь, частица, атом, а все грандиозное и величественное становится фоном, орнаментальной рамкой.

Исторические события, бурные страсти, великие люди – их, претендующих на главные роли в спектакле бытия, Асорин словно бы и не замечает. Его внимание поглощено другим, и хотя лицо по-прежнему остается безмятежно спокойным, если не бесстрастным, глаза его вдруг озаряются, и тень улыбки проскальзывает в уголках его сжатых губ. Он поднимает руку и указывает – куда? Что привлекло его внимание в панораме бытия? Это городок, не замеченный никем, кроме него, безвестный городок, затерянный в глуши, словно живое человеческое слово среди велеречивых фраз. Осторожно, словно пинцетом, Асорин изымает эту кро-

хотную частицу человеческого бытия из серой будничной мглы и переносит, чтобы она заиграла всеми цветами радуги, на солнечный свет.

И чем последовательнее он извращает перспективу, тем плодотворнее итог. Ведь уже целых сто лет две ученые наставницы – педагогика и политика – дают нам уроки лицемерия. Политик, чтобы повести за собой, и педагог, дабы воспитать, учат нас пренебрегать своей внутренней жизнью. И добиваются своего: мы уже верим, что должны жить, помышляя исключительно о высших ценностях – Человечестве, Прогрессе, Демократии, что нет на Земле ничего важнее этих бесплотных символов. Но это разновидность самообмана, только и всего. Помните, Гейне писал: «Иногда сам не понимаешь, что у тебя болит. Думаешь одно, а оказывается – другое. Вот у меня, к примеру, зубная боль в сердце!» Так что, когда кто-нибудь вопиет о Демократии, может статься, на самом деле его мучит неразделенная любовь или крах честолюбивых притязаний.

Согласно философии истории, свято верящей во всевластие логики, наша жизнь являет собой неуклонное развитие неких грандиозных умозрительных идей. И следовательно, ход вещей внушает надежду. Однако остережемся принять это на веру, ведь на самом деле речь идет не о жизни, а всего лишь о некоторых ее составляющих, призванных очищать жизнь, – об истине, о справедливости, о терпимости.

Но в каждой жилочке жизни, сотрясая оболочку, бьется кровь наших сердец, и за рябью, пробегающей по глади бытия, угадываются наши сиюминутные радости и печали. Эта рябь похожа на ленту с точками и

* В мелочах велик (лат.).

¹ *Nessum maggior dolore* – «...Тот страдает высшей мукой.// Кто радостные помнит времена// В несчастии...» – эта мысль Данте мне представляется неоспорной, если не ложной. Когда потерпевший крах говорит о своем прежнем величии, лицо его освещает слабое подобие улыбки.



тире, которые отстукивает телеграфист, — ее можно расшифровать и обнаружить смысл. Но расшифровка — всегда искажение, домысел, а не первоизданный текст. И точно так же философия истории дает нам логическую расшифровку жизни, а сам текст — сама жизнь — ускользает от нее. Этот текст складывают все движения моего сердца, все его заминки и ускорения; здесь и неизбывное одиночество, звенящее во мне сегодня, как крик в пустыне, и то внезапное озарение, когда мир, казалось, воспарил, а я различил в праздничном гомоне серебряную мелодию любимого голоса... Философии истории нет до этого дела. Она растопчет и мое сердце, и ваше, и всякое другое, растопчет, как слон маргаритки, доверчиво зацветшие на лужайке, — и не заметит. Но вся эта мимолетная жизнь, вся эта череда радостей и горестей и есть для каждого из нас самое главное. Это так, что бы нам ни казалось. Все прочее отступает на второй план, главенствует же только то, чем живет сердце.

Но как мы пренебрегаем своей внутренней жизнью! Мы не храним ни вчерашние радости, ни сегодняшние печали; частицы нашей жизненной ткани умирают у нас на глазах, и мы даже не порываемся их спасти. У каждого человека есть целый сонм двойников, и он ежесекундно бросает кого-нибудь из них умирать на дороге, а сам идет дальше. Он бросает и свое ликующее счастье, и оцепенелую печаль, и миг восторга, и час одиночества... Вся наша жизнь тонет в дорожной пыли — и розы, и рубище.

Но правда ли, что прошлое умирает? Нет. Человек взрослеет, но детская душа живет в нем; ничто не умирает в человеке, пока он жив. Мое прежнее «я», еще вчера такое живое и пылкое, таясь, живет во мне и сегодня, и стоит мне отрешиться от злобы дня, как оно выплескивается на поверхность. Это называется словом с чудесной

этимологией — «вспоминать». Я вспоминаю, и сердце снова колыхнет давно минувшее. «Озерная гладь сердца их колыхнет», — сказал бы Данте, — «per il lago del cor». Вспомни, иными словами, оглянись, и увидишь, что пережитое живо, оно все еще трепещет, летя, как дротик, пронзающий ветер, когда рука, метнувшая его, уже опустилась. Рана, нанесенная сердцу той, давней любовью еще в юности, снова болит, пусть глухо, несильно — стоит лишь вспомнить. Едва донесется откуда-то издали тот аромат, та старинная мелодия, как твоё сегодняшнее «я» пропадает, уступая место тебе вчерашнему, тебе воскресшему.

Я убежден, что именоваться интеллигентным человеком может лишь тот, для кого собственная душа стала открытой книгой. Ведь культура обязывает нас уважать в себе личность, свято чтить свое право на независимую внутреннюю жизнь. Гете как-то сказал, что не может уважать человека, который не ведет дневник. Запомним эту алмазной твердости истину, хотя суть не в дневнике, а в том душевном движении, что подвигает человека на писание дневника. Тот, кто пренебрегает своим внутренним «я», не способен серьезно относиться вообще ни к чему — это не по силам фальшивой натуре. И что бы он ни говорил, ни думал, ни делал, все будет лишь суррогатом слова, мысли, поступка. Ведь моя вера и мои сомнения существуют не сами по себе, но лишь как часть моей внутренней жизни. Тот, кто не верит в себя, не верит и в Бога.

В ведении дневника Гете обнаруживает огромный смысл. Он полагает, что всякий прожитый день должен быть осмыслен: так и только так может приготовиться человек к завтрашнему дню, иначе грядущее застанет его врасплох. Воскрешая себя прежнего и создавая себя грядущего, человек начинает глубже и вернее ощущать не только свое сегодняшнее «я», но и самое жизнь.



Я убежден, что человек высшего порядка неизменно наблюдает свою собственную жизнь, неизменно сосредоточен на ней: он и требовательный зритель, скорый на расправу – свист или овации, и зоркий исследователь, готовый исправить неполадки. Да жизнь и должна быть прекрасным зрелищем и в то же самое время – смелым экспериментом.

Вам, наверное, кажется, что я рассуждаю до крайности старомодно? И правда, теперешнему весьма посредственному образу чувств и мыслей глубоко чужда эта озабоченность культурой внутренней жизни. Заметьте, уже разработаны и продолжают разрабатываться методики, инструкции и наставления касательно всевозможных занятий, но над главным своим занятием – жить – человек задумываться не приучен и живет наобум. И как следствие – упадок человеческой индивидуальности, неотъемлемое свойство демократической культуры¹.

ТОСКА? ПРОГРЕСС?

Асорин – антипод философа истории. Асорин не рассуждает о ней, он ошущает историю. Философу нужно упорядочить изучаемое, выстроить эпохи человеческого существования в ряд, друг за другом: вот – славный век, до краев наполненный событиями, а вот – жалкое унылое столетие; вот недостижимые вершины – Перикловы Афины, цезарианский Рим, Флоренция, Париж, – а между ними темные провалы безвременья, и тем не менее, если пренебречь непоследовательностями, общий ход развития истории ясен: она движется вперед, к совершенству. И точно так же философ понимает жизнь человеческую: каждое новое поколение делает свой шаг по дороге Прогресса.

Но существует ли Прогресс, и что он такое? Прогресс – понятие относительное, ибо всякое продвижение должно оцениваться расстоянием от точки, принятой за исходную. Таким образом, прогрессом в человеческой жизни надо бы считать приближение к идеальным нормам. Но если сами эти идеалы мелки и фальшивы, о прогрессе не может быть и речи. Что до скорости передвижения, то по сравнению с diligансом или почтовой каретой, железная дорога, конечно же, знаменует собой новый шаг по пути Прогресса. Но способствует ли достигнутая скорость духовному росту пассажиров? Вопрос более чем спорный.

Возьмем, к примеру, два века: один – блистательный, другой – бесславный. А теперь взгляните, вонзите скальпель мысли в текучую плоть времени, и вы обнаружите, что несходство этих эпох лишь внешнее. И хотя одну украшает блеск славных побед и великих завоеваний, дивной музыки и божественной поэзии, упоительной роскоши и благородных манер, а другой век убог, уныл, неуклюж, блекл, жалок и, кажется, ни на что не годен, попробуйте отрешиться от обманчивой наружности, устремитесь вглубь, и когда ваш скальпель достигнет сердцевины времен, вы услышите единый стон, единую жалобу. Тот, кому выпало жить в славный век, и тот, кому досталось безвременье, мучаются одной тревогой, одной болью – той мукой, которой сама жизнь извечно и неизбежно отзывается в человеке. И всякому, кто проник в глубины сокровенных жизненных ценностей, уже нет дела ни до роскоши, ни до нищеты – что ему оболочки... Если жизнь – это плач тоскующей души, то какая мне разница, где рыдать – во вселенной, устроенной по Птолемею, или в той, что соорудил Коперник?

¹ Демократический порядок – безусловное благо в юриспруденции, но что касается нравственности, искусства, обычаев и общения людей, гнуснее его и быть ничего не может. (См. об этом мою «Болезнь демократии». О счастье и культуре жизни – см. «Рассуждения о Дон Жуане».).



Редкой способностью запечатлевать эту единую тоску не раз поражал меня Асорин. Суть его искусства в чуткости к этой боли всех времен, к той муке, что выпестовала человека.

Я уже говорил, что мы обязаны хранить прошлое и пристально вглядываться в грядущее – это пойдет на благо настоящему: из плоского оно станет трехмерным, обретет глубину и перспективу. И чем больше наших «я» отразится в сегодняшнем дне, тем истиннее он станет. А решение, принятое без совета с собою прежним и собою будущим, неизбежно окажется почти чужим – в нем не будет полноты личности, создаваемой всей жизнью¹.

Поэтому каждому человеку необходимо помнить себя прежнего и возвращаться к пережитому, проверяя, подобно полководцу накануне сражения, диспозицию и готовность войск.

Но если совершенствование личности требует от человека постоянного сравнения своих нынешних ощущений с прежними, не менее важно и другое сравнение – своей жизненной мелодии с теми, что доносятся от других жизней, из других времен. Тоскливей ли нам, чем им, жившим до нас, или мы счастливее? И правда ли, что мир хоть сколько-нибудь приблизился к идеалу, или та же самая бездна отделяет мечту от свершения?

Вот главная тема Асорина, казалось бы, во всем противоположная той, что волнует Бароху, если бы не их родство – оно в даях, наводящих тоску, и в обостренном ощущении могучего и потаенного разлада, которое мне хочется назвать метафизическим тремолом.

Давно замечено, что лучшие свои сочинения Асорин начинает с чего-нибудь старинного. Это может быть древний фолиант или потускневшая от времени картина, руины, или старик, умерший много лет назад. Кажется, Асорином движет тот же импульс, что и ученым археологом. Однако это не так. Старик, фолиант, картина или полуразрушенный дом для него – не знаки давно и окончательно минувшего, не частицы прошлого. У Асорина и в мыслях нет описывать их, изучать, классифицировать. Он возвращает их к жизни, воскрешает в точном смысле слова.

На выцветшем от времени листе он отыщет полустертую строчку, звенящую болью или счастьем, – как много расскажет она о том, кто сложил ее! Вот она, драгоценная реликвия, эхо, пойманное в силки, след легкокрылого ибиса, впечатанный, словно в нильский ил, в желтую страницу! Этой строкой, как пеленою, обернута мумия давнего чувства. Самозабвенно, бережно и вдохновенно Асорин расплетает ее – полуистлевшую, рассыпающуюся в прах, –

¹ Не раз путешественники-иностранцы признавались мне, что испанская жизнь ставит их в тупик, что они не понимают испанского характера. А дело в том, что мы, испанцы как народ нравственно нездоровы. Испанец живет минутой, сегодняшним днем, не заботясь о целостности своей души, и распыляет ее, развеивает по ветру. Обида или раздражение или, напротив, душевный восторг обычно побуждают к определенным действиям всякого нормального человека, но только не испанца, который, помимо всего прочего, свято верит, что произнесенные слова ровным счетом ни к чему его не обязывают, и потому, не задумываясь, говорит то, о чем и не помышлял, впадая в дикие крайности. Было бы любопытно исследовать (и когда-нибудь я этим займусь) разновидности психологических извращений, свойственные нашим современникам, приняв за отправную точку противоборство испанца с собой. Я уже не раз упоминал в своих сочинениях об этой черте нашего народа и ее следствиях. И полагаю, что распространенное суждение о том, что испанцы разобщены и постоянно пребывают в раздоре между собой, глубоко ошибочно. Не этим болен наш народ. Раздор друг с другом – лишь совершенно естественное роковое следствие раздора испанца с самим собой.



вернет к жизни и будет зачарованно смотреть, как расправляются и вот-вот затрепещут на ветру – сейчас, сегодня! – ее окочевшие за века крылья.

Странно устроена душа человеческая! Мало того, что чувство, единожды испытанное мною, не умирает, раз я могу воскрешать его, вспоминая, – чувство, испытанное другим в незапамятные времена, тоже может стать для меня живой реальностью, не менее очевидной, чем пейзаж, созерцаемый сию минуту¹.

СИНФРОННОСТЬ*

На сентябрьской книжной ярмарке, раскинувшейся вблизи осенних куп Ботанического сада, Асорину попалась книжка, написанная в 1791 году доном Хасинто Бехарано, приходским священником из Аревало. Не только читателям, но и историкам литературы это имя не говорит ровным счетом ничего.

Но, прочитав книгу, убеждаешься, что автор ее редкий человек – «деликатный, умный, способный тонко чувствовать».

Приходский священник дон Хасинто Бехарано писал свою книгу в Риофрио, небольшом городке, почти деревне, в провинции Авила: «Сурова и тягостна здешняя варварская жизнь».

Об этом Асорин оповещает нас на первых же страницах «Городка», и мы вправе заподозрить, что повествуя о доне Хасинто

Бехарано, Асорин на самом деле рассказывает о себе. Ведь он и есть тот самый «деликатный, умный, чувствующий человек – да, чувствующий, подобно Монтеню», всем складом испанской жизни, «варварской, суровой, тягостной», обреченный на неизвестность. Асорин пишет: «Прощай, любезный Бехарано Галавис! Я не ожидал встретить здесь, в глуши, человека столь просвещенного и тонкого. Сочувствую твоим горестям так, словно они мои»**. «Так, словно они мои», – признается Асорин.

Во всех учебниках физики в разделе акустики есть рисунок резонирующего устройства, сконструированного Гельмгольцем. Прибор состоит из вереницы полых металлических шаров, под которыми стоят газовые горелки. Звуки разной частоты резонируют в шарах, что тотчас же отражается на пламени горелок: оно подрагивает, вытягивается, разгорается от мощного притока газа.

И с нами происходит то же самое. Ежесекундно мимо нас проносятся, не оставляя следа в душе, все новые ипостаси переменчивой жизни, но, случается, один из этих ликков вдруг пробуждает в сердце долгий и гулкий отзвук и то, что таилось в глубине, то, чем мы так долго пренебрегали, вдруг вырывается наружу и вспыхивает жарким пламенем. В один миг невнятная мысль или смутное чувство проясняются, крепнут – и вот уже они главенствуют надо всем, чем прежде жила душа.

¹ К счастью, психология в последние годы, отрешившись от предрассудков, свойственных ей совсем еще недавно, приблизилась к осознанию этого явления. Однако сейчас не время вдаваться в подробности, углубляясь в самую суть психологических изысканий. Посещавшие мои лекции о психологии, читанные в Мадридском Центре исторических исследований в 1915–1916 годах и на философском факультете Буэнос-Айресского университета, имели возможность составить представление о том, насколько обширен круг проблем, возникающих в связи с упомянутым явлением. Пока же и мне – в ожидании публикации своего труда, и читателю, жаждущему удовлетворить любопытство, остается только набраться терпения. Я уже говорил как-то читателям «Эспектадора», что всякое основательное суждение требует пространного изложения.

* от греческого – мысль, разумье, мудрость.

*** Здесь и далее «Городок» Асорина цитируется в переводе Е.М. Лысенко.



Но кто знает, не попадись мне в руки та книга, не встретись тот старик, может никогда бы и не проросли затаенные зерна... Значит, между ними и стариком и книгой есть глубинное родство, значит, они одной крови, иначе не отозвались бы биения тех сердец в моих жилах, не совпали бы природные ритмы.

Именно это и происходит в «Городке». Изначальное родство взаимно обогащает приходского священника Бехарано и писателя Асорина. Оттого, что есть Асорин, вернее чувствуешь бедолагу Бехарано, а он научает нас различать в речах Асорина горькие нотки, скрытые ясной улыбкой. Они перекликаются, отзываясь друг другу, и голос, заслышав эхо, крепнет.

Мошный рост нашего «я» – поразительное и неоспоримое следствие обретения родственной души, встречи со своим отражением. И нельзя сказать, что такая переключка – удел лишь ничем не примечательных людей. Отнюдь. Оказывается, именно новаторов, именно реформаторов сопровождают, словно арпеджио той же тональности, имена из самых разных эпох, звучащие в лад мелодии обновления. Произнесите имя Ницше – и по духовной истории человечества волной прокатится отзвук: Стендаль, Галиани, Ларошфуко, Монтень, Фукидид, Пиндар, Гераклит... Ведь еще Гераклит сказал: «Мы живем чужой смертью и умираем чужой жизнью». Нам отзываются, и мы отзываемся. Созвучия пронизывают пространство, сквозь время соединяя избранных и тем предопределяя их жизненный выбор перед лицом извечной трагедии бытия.

Не помню, где именно, Гете по аналогии с определением «синхронный», то есть созвучный своему времени, вводит определение, не ограниченное одной эпохой, – «синфронный», то есть созвучный смыслу, образу мысли и складу души¹.

Одна из моих знакомых, возвышенная душа, женщина «божественной, безукоризненной красоты» (повторю определение из «Сборника» брата Планудио), прочитав по моей рекомендации книгу, написала мне следующее: «L'auteur dit tout haut des choses que je me repetais obscurément tout bas»*. Вы утверждаете (см. Эспектадор, I), что литературная критика призвана обучать нас читать произведение глазами автора. «Rien de plus juste. Mais ce qui l'est moins... ce ne l'est même plus du tout c'est ma façon de lire. Je ne m'intéresse véritablement qu'aux livres qui peuvent... m'éclairer sur moi-même, qui poussent les cris que je porte en silence, qui fassent le geste qui mon immobilité souffre, contient... dont elle est faite, pour ainsi dire»**.

Вот как бы я ей ответил:

– Ваш способ чтения я ни в коей мере не считаю недопустимым, хотя заверять Вас в этом нет ни малейшей надобности. Во-первых, потому что человек, рассуждающий таким образом и способный точно изложить свою мысль, может себе позволить поступать недолжным образом. И, во-вторых, потому что Ваш способ, по сути дела, и есть единственно возможный способ чтения. Все прочие – от учености. Чтение в самом благородном смысле слова – это роскошество

¹ Любопытно, что как термин философии истории понятие «синфронность» было развито впоследствии в книге Освальда Шпенглера «Закат Европы», опубликованной в 1918 году.

* «Автор в полный голос говорит о том, что я всю жизнь не осмеливалась даже шептать. Как я благодарна ему за это – он словно снял с меня ношу.» (фр.).

** «Точнее не скажешь. Но менее всего... менее всего это походит на мой способ чтения. Меня глубоко волнуют только те книги, которые могут объяснить мне что-нибудь во мне самой, которые говорят, кричат о том, что было моей бессловесной цепенящей мукой.» (фр.).



духа, а не ученье, не учеба, не обретение знаний, необходимых на политическом или ином поприще. Чтение – это влага и свет, без которых не прорасти зернам, погребенным в душе; чтение высвобождает скрытые силы и дарования¹.

Но вдруг Ваше чуткое сердце не откликнется той книге, что, подобно древнему герою, рушит темницу молчания, в которой, как узники, таятся печали? Тогда дело за критиком, пусть он исполнит свою благородную миссию – привлечет Ваше внимание к книге, покажет пчеле цветок.

Замечу еще, что мне известны Ваши охотничьи подвиги: подобно Диане, стройной и легконогой богине, повелевающей верным борзым – своим чувствам – затравить очередной отзвук, Вы обретаете еще один трофей, очередное созвучие, или, если можно так выразиться, синфрон. А теперь, изыскав свое безмерное восхищение, прошу Вашего позволения на плагиат, ибо хочу Вашими словами сказать, что книга приходского священника из Риофрио дона Хасинто Бехарано, говорит, нет – кричит! – о том, что было бессловесной цепенящей мукой Асорина.

ЖЕСТ И СЛОВО

«**Д**обрый Бехарано Галавис живет в тишине, покое, умеренности; здесь, в долине сьерры, проходят его дни. Но верно ли, что нашему автору удастся полностью заглушить свои воспоминания? Неужто у этого уравновешенного и жизнерадостного человека никогда не бывает на лице хотя бы мимолетного выражения грусти, не бывает мига отчаяния, когда хочется замкнуться в ожесточенном, досадливом молчании? Неужто не бывает часа, когда мысль о своей отторженности от мира и об унылом без-

людье горной местности у этого деликатного, тонкого, умного, чувствующего человека – да, чувствующего, как и Монтень, – исторгает вопль, один лишь предательский вопль из самых недр его духа, нарушающий его невозмутимое душевное равновесие?»

Кротость, которой веет от книги Бехарано, и мягкая гармония искусства Асорина неоспоримо свидетельствуют о том, что оба они – люди высшего порядка, аристократы духа, и плебейски настырное исчисление своих бед им претит. Вообще упрямство – характеристика черни. Ты упорствуешь – значит, не умеешь ни побеждать, ни отступать. Избранникам ведомо, что их всегда меньше, чем прочих – тех, кто их топчет или с грехом пополам терпит, в лучшем случае терпит, но не любит и не понимает. И хотя со временем чернь несколько облагообразилась, бездна, разделяющая ее и аристократов духа, ставших еще утонченнее, зияет по-прежнему и всегда будет зиять. Всегда будут две шкалы ценностей – нравственных, эстетических, житейских: одна – для меньшинства, для избранных, и другая – и для большинства. И точно так же сохраняются два типа мышления: один образ мыслей у немногих умных людей, и совершенно другой – у бесчисленного множества тупиш.

Избранникам не пристало жаловаться, а подобало бы раз и навсегда осознать это трагическое условие бытия и смириться с таким положением вещей. Да, им не дано испытать наслаждение, доступное всякому обыкновенному человеку, – наслаждение слияния с толпой, со всяким ее словом и делом. У избранных, утонченных душ, правда, бывают минуты слабости, когда они готовы променять свои редкостные достоинства на душевную глухоту и черствость – только бы не хвататься за сердце при всякой подлости, не удручаться ежесекундно тем, что взбре-

¹ Гете говорил: «Мне, наконец, ненавистно все то, что поучает – и только – поучает, не трогая и ни к чему не побуждая».



дает на ум толпе, где б она ни разглагольствовала: на площади или в Парламенте, на газетной странице или в Академии. У обыкновенного человека есть одно неоспоримое преимущество перед избранным меньшинством – он всегда согласен с остальными, и всякое его слово слепо точно по образцу. Он всегда думает и говорит именно то, что говорят или вот-вот скажут другие.

Между избранными и большинством всегда есть дистанция, иногда огромная, а иногда и небольшая.

Полагаю, что пропасть между людьми высшего порядка и большинством никогда и нигде не была так велика, как сегодня у нас в Испании.

Некоторые полагают, что, покончив с Инквизицией, Испания стала несравненно культурнее, что это уже не та жестокая и яростная страна в вечном трауре. Обычно эти благие перемены превозносят политики левого толка, надеясь, должно быть, что грешные души сожженных на кострах Инквизиции отдадут им свои голоса на ближайших выборах. Но оставим политиков. Тот, кто имеет обыкновение смотреть правде в глаза, не станет обманывать ни себя, ни других. Ненависть к мысли – старинный и поныне нерушимый исконно испанский обычай. Но прежде к ненависти примешивалось уважение, даже страх. Мысль ненавидели, но в ее жизненную мощь верили; мысли боялись, насколько не сомневаясь в том, что ей по силам разбить Инквизицию в пух и прах.

Но постепенно ненависть сделала свое дело: испанцы разучились не только думать, но и воспринимать идеи. И мысли уже можно было не бояться. Ненависть сама собой затихла, и лишь изредка кое-где мелькает ее бледная тень – презрение. К сведению ученых мужей двухтысячного года сообщаю, что сегодня, в 1916 году, ни одно слово испанской речи не вмеща-

ет столько презрения, сколько эпитет в определении «мыслящий человек»¹.

Полагаю, что будущим исследователям следует это знать, иначе им не удастся оценить по достоинству труд людей, подобных Асору. То, что мы думаем и, в особенности то, что мы пишем, – это вырвавшийся из потаенных душевных глубин наш ответ жизни на все ее притеснения. И когда через сто или двести лет люди, одаренные абсолютным историческим слухом, потрясенные беспросветной картиной нравственного и духовного обнищания, охватившего сегодня Испанию, обнаружат, что на этой же гиблой земле возросло искусство Асорина, им останется только склониться перед его сдержанным, патетическим жестом и скупым, трепетным и неизменно человеческим словом.

Жизнь дон Хасинто Бехарано проходит вдали от мадридской духовной общности; в ней нет ни сборищ, ни бесед, ни споров, но лишь единственный раз за всю книгу он жалуется на горькое удушающее одиночество: «По тем дружеским кружкам я вздыхаю и плачу, по ним тоскую и завидую тому, кто ими наслаждается». И далее заявляет: «Если я дал волю своему перу, то не ради того, чтобы меня сочли способным быть настоящим писателем, но лишь ради того, чтобы этим занятием рассеять печаль изгнания и на несколько мгновений сдерживать слезы, которые меня всечасно заставляют проливать мой злополучный жребий».

Асорин еще сдержаннее – он только напоминает нам об одиночестве Бехарано и добавляет: «Друг мой Бехарано! Сочувствую твоим горестям так, словно они мои».

Оказывается, Мадрид не более, но и не менее предрасполагает к духовному развитию, и для человека мыслящего столичная жизнь ничуть не менее тягостна, чем существование в провинциальном авильском городке, затерянном среди

¹ См. об этом в главе «Нет человека или массы?» моей книги «Испания с перебитым хребтом» (1921).



скалистых гор. Как эхо звучит в речах Асорина жалоба Бехарано.

Их жизненные обстоятельства несхожи, но в обоих главенствует одно чувство – одиночество. Не первый век Испания враждует с мыслящими людьми. Почти сто лет назад у Ларры вырвалось горькое признание, и сегодня восемь-десять человек, владеющих словом, слышат в его плаче свое отчаянье, родной – синфронный – отзыв: «Писать в Мадриде означает одно – рыдать».

II

УМИРАНИЕ РУИН

Что же это значит, когда руины держатся одной только волей к жизни, питающей и длящей их агонию? Не то ли, что в них мертво все, кроме самой смерти, которая неизбежно переживает их?¹

Обреченным, корчащимся в агонии больным представляется заезжему иностранцу Испания, за исключением разве что отдаленных медвежьих углов. Вся Испания, от моря до моря, от Маладеты до Кальпе, – сегодня только руины, одни руины и более ничего.

Наши же соотечественники, пересекая Пиренеи, первым делом изумляются тому, что за границей, оказывается, все в полной исправности. Едут и удивляются тому, что дома не обшарпаны, что черепица на крышах цела, а не зияет прорехами, заросшими бурьяном, что двери не сорваны с петель, и оконные рамы пригнаны, как им полагается. А заброшенных домов и вовсе не видно. В вагонах, в конторах, во всяком присутственном месте или гостинице двери не скрипят, окна благополучно закрываются, все шпингалеты на месте, а если что-нибудь и поло-

мано, то совершенно очевидно, что сломалось оно только что, в самом крайнем случае – вчера и еще не свыкло, да и не собирается свыкаться со своим прискорбным состоянием, а напротив, настоятельно требует починки.

У нас же дома, а в особенности в провинции, поди сыщи хоть что-нибудь исправное! Все доведено до такого жалкого состояния, что невольно приходят на память убогие старушонки, вздыхающие о прежней роскоши, и слышатся со всех сторон тихие жалобы: «У меня была такая хорошая крыша – красная, черепичная и не текла!»; «А у меня были такие крепкие стены – и не думали крошиться! И плюш по весне зеленел!»; «А у меня была такая высокая башня! Да вот случилось сто лет назад землетрясение и пришлось мне лишиться иллюзий, я хочу сказать – колоколенки, да и стена пошла трещинами, подпорок вот, правда, наставили... Сжался же, путник, выбей проклятые костыли! Какой с них прок – только для умирания, а умирать тяжело!»

В точности то же самое происходит у нас с идеями. От них остались одни обломки. Ибо идея, утратившая способность воодушевлять сердца, – это уже не идея, а затасканный, измусоленный, обгрызенный ее ошметок – злосчастный трюизм. В нем еще теплится остаток жизни, он кое-как еще удерживается на плаву, этот бледный призрак еще барахтается в наших душах, но под натиском реальности изнемогает и, наконец, затихает, плеснув слабеющими ручонками – жалкий, отчаянный жест, последняя, судорожная, бессмысленная угроза.

А если мира больше нет, если человеку оставлено лишь сознание, а из сознания – одна-единственная способность: вспоминать? Достаточно ее одной – тот, прежний

¹ См. об этом у Георга Симмеля в «Руинах (Очерках философии релятивизма)». Это эссе вошло в книгу Симмеля «Женская культура и другие эссе», изданную в серии Библиотека журнала «Западное Обозрение».



мир будет возрожден в духовном пространстве, он повторится, как кинолента, вновь и вновь во всех своих подробностях. Все вернется иным: призрачным, обескровленным, иллюзорным. Таким, как наша родина.

На эти мысли меня навела книга, лежащая у меня на коленях, – Асорин, «Кастилия». Печальная книга! И прекрасная. Какой грустной мелодией отзываются ее страницы – словно тихий ветерок колышет листву. Асориновская Испания смиренна – она покоряется смерти.

И вот я стою с этой книгой у стен величайшего нашего Монастыря, жемчужины нашего зодчества. Прямо передо мною просторный прямоугольник Сада Братьев, вознесенный над горизонтом. Его восточный угол венчает башня, и оттого, что отсюда совсем не видно земли, кажется, что каменная громада парит в воздухе, взрезая синюю гладь, словно пиратский корабль, летящий над плоскогорьем к Мадриду, чтобы взять его на бордаж и разнести в пух и прах.

Но оставим до другого раза пространное толкование этого гранитного символа, взметнувшегося над отрогами Гвадаррамы, последнего всплеска энергии всего нашего полуострова. Есть в нем сходство с тем, кому судьба сулила стать во главе разгромленного войска, охваченного отчаянием и разбродом. Во мне еще теплится надежда, что когда-нибудь молодые испанцы придут паломниками к Эскориалу и услышат его трубный глас – зов героизма. Я все еще надеюсь, что найдутся у нас люди, наделенные волей к жизни, способные пробить брешь в глухой стене и спасти будущее страны и народа.

Но сейчас я хочу сказать о другом – о том замешательстве, что испытывает моя душа перед выбором: на одной чаше весов – эта книжечка, которая учит науке умирания, а на другой – Эскориал, возвешающий, что жить означает сражаться.

Со страниц этой книги встает застывающий медленный мир, погруженный в оцепенение: ни ветерка, ни шелеста в тополиных кронах; недвижные поля, не тронутые рябью лужи. Замершая и веками неизменная жизнь, подобная той, что влачат на подернутых осклизлой зеленью камнях умудренные ящерки с черными глазами-бусинками – всякий день они провожают заходящее солнце остановившимся взором. Откройте «Кастилию» или «Родную речь» Асорина – и вы ощутите дыхание вселенской апатии.

Асорин никогда не скажет «я вышел», но обязательно подчеркнет «только-только я вышел», он никогда не скажет «я встал», обязательно «только я поднялся» и вместо «сказал» у него всегда будет «стоило мне сказать». Это не прихоть, а запечатленное движение жизни – мерное, неуклонное приближение к смерти. Движение – дитя времени, пьющее материнскую кровь. Движение – это расточение жизни, маска смерти, ловко прикинувшейся жизнью.

Все искусство Асорина – это череда попыток спасти трепещущий мир, неуклонно приближающий свою гибель. У Асорина мир застывает. Он останавливает мгновение – самое пустячное, самое ничтожное – и сохраняет его на века. Сама эта способность жизни – замирать в оцепенении – для Асорина уже залог бессмертия. Движение – всегда означает продвижение, путь к гибели, краху, небытию. О, если бы мир, повинувшись вышнему знаку, застыл!

«Погодите минутку!» – проговорила старушка. Асорин ни за что не напишет «сказала», потому что знает: напишешь «сказала» – и нет ни старушки, ни тихого ее голоса, ни «минутки». Ничего нет, все унесла быстрая река жизни. Но Асориноу хочется «погодить», ему хочется вечно дожидаться здесь, в приходе, вслушиваясь в этот немолкнувший старческий голосок. Замерший мир, сотканный из прозрачных асориновских фраз, по-



разительно свеж и безыскусен – он застегнут врасплох. Он недвижим – и не ветшает, как не старятся отрешенные индийские йоги.

Искусство неизменно жаждет обожествить мир, наделить его тем, что свойственно исключительно творцу, и обаяние таланта целиком зависит от того, удастся ли художнику найти свой способ обожествления.

Вечность, вечно длящееся настоящее – одно из непременных божественных свойств. Все, к чему прикасается Асорин, замирает – и длится вечно. Подобно Иисусу Навину, он остановил сердце Испании!

ИНТУИЦИЯ, АСОРИНОВСКИЙ СТЕРЖЕНЬ

Искусство не сводимо к копированию действительности, если под ней понимать то, что видишь, слышишь, осязаешь. Ощущение – итог, но не окончательный, а предварительный, непростого потаенного труда. А зрительные и слуховые впечатления ценны постольку, поскольку способствуют этому труду, поскольку помогают одолеть эту первую ступень. Действительность – это не только ручей, который струится у нас перед глазами, но и его первопричина, невидимый источник, скрытый глубоко под землей. Поэтому копирование бессмысленно – художник постигает мир, лишь причащаясь в таинственном озарении тому всеобщему главенствующему ритму, который превращает казалось бы случайные и бессвязные движения в танец. Этот ритм пронизывает все существо художника. И потому Флобер, описывая смерть Эммы Бовари, чувствует у себя во рту вкус яда, и потому Кьеркегор, размышляя о скупости, сам на целую неделю становится скопидомом – вот примеры крайних, даже забавных проявлений этой слитности.

Но суть не в том, чтобы совпали художник и мир, – пульс искусства должен совпасть с пульсом мира. Нужно, чтобы живо-

писное полотно или книжная страница явили нам не только маску, за которой прячется мир, не только череду его переменчивых обликов – пошлую гримаску или косой взгляд, брошенный на нас мимоходом, но и самое суть – изначальную суть мира, запечатленную в его происхождении, генезисе.

Ведь очень хорошо мы знаем только то, что рождалось у нас на глазах. Искусство же, мгновенно представив нам историю рождения, принудив присутствовать при том, что Лейбниц называет *status nascens*^{*}, не просто приобщает нас к вещи, событию, человеку, но заставляет сродниться с ними. Ведь новорожденные, беззащитные, они выдают все свои тайны.

Но ради этой слитности надо презреть видимость, отрешиться сразу ото всех масок, только уводящих в сторону; надо устремиться вглубь – к тому потаенному источнику, что питает ручей, к первопричине. И тогда обнаружатся связи, дальней и близкое родство, тайное и явное сходство – наследие единой колыбели.

Асорина не сбивает с толку разнообразие наших национальных проявлений – ему удалось разгадать их общую тайну. Он не только рассмотрел каждое проявление в отдельности, выявляя своеобразие, но и доискался до единой для всех первопричины – до генезиса. А вела его к испанской сути, к тому чреву, которое явило свету все, что стало Испанией, чистая интуиция.

Асорин понял главное: жизнь в Испании остановилась, сегодня Испания только длит свое прошлое. Аристотель утверждает, что жизнь – это изменение, череда перемен. Пусть так, но Испания не меняется: новое не появляется, а старое не умирает. Испания остается той же, что была. Она только и умеет повторять пройденное: сегодня твердит вчерашний урок, завтра станет бубнить нынешний. Жить у нас означает одно: в

^{*} Состояние рождения (лат.).



сотый раз пережевывать уже сказанное и снова приниматься за то, что делал и вчера, и третьего дня, и пять лет назад. Поэтому созерцатель Асорин в «Облаках» утверждает: «Жить – это видеть, как все повторяется».

Вот исток его искусства. И заодно причина свойственной ему поэтизации обыденности – и только обыденности. Он избегает трагедий и вообще всего грандиозного, героического, отмеченного печатью гениальности, и вглядывается в повседневность, оплот пошлости и рутины. Что может быть пошлее того, что повторяется повсеместно изо дня в день? Что может быть пошлее привычки, освященной обычаем? И что пошлее повтора? Но повтор – это упорствующее, длащееся прошлое. А то, и другое, и третье – все это разные лики жизненной инерции, разные проявления апатии, есть ведь и такая форма жизни.

На этом мои размышления прервал колокольный звон. Одиннадцать. Служитель попросил меня удалиться: сейчас в Сад, залитый солнцем, покинув свои темные кельи, выйдут монахи. Им предписано прогуливаться здесь в этот час, так уж заведено – так было и сто, и двести, и триста лет назад.

Я закрываю книгу Асорина, исполненную любви и боли.

И думаю: Поэзия – это любовь и боль в самом чистом их воплощении. Довольно одной боли или одной любви, словом, одного из главенствующих человеческих чувств, чтобы переменить мир, отыскать его тайную поэтическую суть. А вернее, довольно одной любви, ведь боль – это все та же любовь, но сокрушенная, раненная в самое сердце, истекающая кровью.

ОБАЯНИЕ ПОВТОРА

Все, что происходит у Асорина, все его размышления и персонажи всегда окутаны странной поэтической дымкой,

которая размывает и множит их черты в галерее далеких и тусклых зеркал. Но и в этом утонченнейшем случае, эстетическое наслаждение, рожденное повтором – всего лишь повтором, – оказывается сродни тому, ради которого в древности на Востоке высекли на стелах нескончаемые вереницы неотличимых друг от друга крылатых быков-керубов.

Ни один из героев Асорина, ни одна из описанных им вещей, ни одно из событий не интересны ему сами по себе. Да и для нас важнее всего то, что за каждым из них встает нескончаемый ряд ему подобных. Не в том, чем они отличны друг от друга, их сила, а в том, чем они схожи с сотнями, тысячами, сонмами иных. Так в тополиной аллее мы не обращаем внимания на каждое дерево в отдельности – их слишком много, они слишком похожи.

Каждый полагает себя уникальным созданием Природы, не подлежащим сравнению, но именно потому нас так завораживает и тревожит художник, разглядевший в Природе гончара, который лепит и лепит свои кувшины и плошки, не заботясь о разнообразии, – ему довольно и дюжины образов. Вот они, сокровенные МАТРИЦЫ, лицедреть которые в свяшенном трепете удостоился Фауст.

Не так давно биологи пришли к выводу, что первоначальная жизненная программа всякого организма сводится к освоению повтора. Сколько бы раз камень ни подвергался давлению, всякий натиск будет для него неожиданностью, так ни с чем и не сопоставленной. А живой организм отзывается на повтор узнаванием: эхо, накрепко спянное с повтором, воскрешает прежние ощущения и укрепляет их. Накладываясь друг на друга, возобновляемые однородные впечатления способствуют в конечном счете формированию вида с устойчивой повторяемостью признаков. Семон, последователь и продол-



жатель Геринга, существенно обогативший его теорию, полагает, что мнемне – память – и есть первооснова жизни. Так что зачать дитя и припомнить всю свою жизнь – это одно и то же.

Может, конечно, статься, что теория Семона – не что иное, как бродячая метафора, просочившаяся в биологию. И все же любопытно, что основное ее положение совпадает с поэтичным выводом Асорины: «Жить – это видеть, как все повторяется». Что же до его собственных книг, то в них живо и трогает именно то, что когда-то и не единожды уже существовало и еще не раз будет существовать.

Не ищите, пожалуйста, у Асорины героизма. Героизм – это всегда сверхъестественное усилие, преодоление нормы. В основе героического деяния лежит порыв к новым горизонтам, к обновлению жизни. Герой порывает с традициями, обычаями, обыденностью. Его жизнь ежечасно сокрушает обычай – это сплошная непредвиденность, импровизация в чистом виде.

Кажется, мои размышления об Эскориале обросли уже таким множеством побегов, что мне с ними не справиться. Это пока только догадки, невнятные предположения, роящиеся сонмы золотых жужжащих пчел – они совсем близко, рядом, но еще не обжились у меня в душе, соты в новом улье еще не построены. Кому не знакомо это ощущение? Знаешь, что разгадка близка, она носится в воздухе, ты поминутно натыкаешься на нее, ловишь, отдергиваешь ужаленный палец, слышишь ее жужжанье, но схватить не можешь, не находишь слов... Надо передохнуть – и все образуется само собой; духовные соты заполняются постепенно.

Воспользовавшись передышкой, я перевожу взгляд в даль и вижу перед собой широкую грудь равнины. Желтеют пастбища, кое-где размытые темной зеленью дубовых рош, а прямо посередине – два озера Ла-

Гранхильи. Какие кроткие, ласковые глаза, то ли женские, то ли коровьи, какой ясный взор! Но поздней осенью и зимой нагорье знобит от их ледяной синевы.

ПОЭТИЗАЦИЯ УСТОЕВ

Мое ощущение жизни прямо противоположно асориновскому. Для меня всякое новшество, всякое обновление и есть несомненный признак жизни. Поэтому мне по душе искусство, вдохновленное героизмом – чистейшей импровизацией, бурное искусство, радующееся переменам и склонное изменять действительность. Полагаю, что именно с таким искусством нам по большей части и приходится сегодня иметь дело. Началось оно с Ибсена, Стендаля, Достоевского и с трагического Геббеля, который, риску предположить, в самом скором времени войдет в моду. И все же, разве не тронет меня прелесть увядающей розы, протянутой Асорином, разве не взволнует меня его тонкий аромат?

Требовать, чтобы мир, а значит, истина, мораль, искусство укладывались в рамки наших представлений о них – привычная и гнуснейшая претензия современного человека. Сколь ни велико сердце, ему не вместить мира. Потому не следует и пытаться объять необъятное; куда достойнее не переступать грань, и пусть кровное и чуждое растут рядом, вперемежку, вольно, как им заблагорассудится.

По этой причине меня восхищает дружба Асорины и Барохи, таких разных, точнее говоря, противоположных по своим устремлениям художников. Прогуляйтесь как-нибудь в сумерки вверх по улице Алкала – вы наверняка встретите среди шумной толпы эту неторопливую пару, слона и жирафу за вечерним мошионом.

Бароха написал уже не меньше двадцати книг и в каждой неизменно предприни-



мал попытку разобраться в героизме. Его персонажи не имеют ничего общего с нормой, и потому Бароха ищет своих героев за пределами общества, среди тех, кто остался за бортом, кто всякий день терпит крах.

Асорин же рассказывает о буднях, об устоях – и только о них, о том, что случается изо дня в день с тем, другим и третьим – обычные дела, обыкновенная любовь; он говорит все о том же. А если у персонажа обнаружатся героические порывы, Асорин ни за что не позволит ему взобраться на пьедестал и заставит влачить жалкое существование, довольствуясь самой пошлой ролью, что, конечно, весьма демократично.

Никогда не забуду одно из выступлений Асорина. Было это на вечере памяти Ганивета. Кто-то упомянул о том, что Ганивет в романе «Злоключения Пио Сиды» изложил свою собственную историю. Пио Сид – это сам Ганивет. С удивительным простодушием автор повествует о некоем холостяке, сверхчеловеке (а может, и полубоге), который удостаивает своим появлением обыкновенный пансион. Все, что он делает, отмечено печатью гениальности и не обнаруживает ни малейшего сходства с привычками прочих людей. Спать он ложится в неурочный час, встает – и подавно, даже жениться как все нормальные люди не может, короче говоря, всякая его мысль, душевный порыв и даже манера улыбаться изобличают незауряднейшую натуру. И вот об этой-то замечательной личности и рассуждает Асорин. Что же он говорит? Всего не припомню, но одно врезалось в память. Асорин как бы вскользь заметил: «Пио Сид небрежно повязывал галстук». И здесь художник остался верен себе – среди самых романтических подробностей он отыскал ту, которая сделала из Пио Сиды самого обыкновенного человека.

Я тоже небрежно повязываю галстук, да наверное и вы, и сотни других людей. Все

мы имеем обыкновение небрежно повязывать галстук. Это наша общая черта, типическая, а не индивидуальная характеристика. Но именно ее Асорин выбирает для Пио Сиды, именно она необходима Асорину, чтобы Пио Сид стал живым человеком. И действительно, все, кто слушал тогда Асорина, словно бы впервые увидели Пио Сиды, тогда как у Ганивета этот романтический герой был смутным, бесплотным призраком, что, впрочем, не умаляет достоинств романа.

Асорин всегда поступает именно так. Ощущения подлинности он добивается с помощью самых обыкновенных, предельно общих, донельзя банальных характеристик. Индивидуальная особенность у Асорина неизменно оказывается той, что присуща всем и каждому. Оттого так часто попадают у него в книги перечни самых употребительных имен – дон Антонио, дон Хуан, дон Матео. Читатель волен выбрать любого: все, сказанное Асориним, в равной мере относится и к первому, и ко второму, и к третьему. В «Кастилии» он описывает корриду в одном из испанских селений. «В каком?» – спрашивает Асорин. И отвечает: «В Васья-мадриде, Хадраке, Хетафе, Пинто, Коркоlese». И суть не в том, что безразлично, где именно происходит коррида. Асорину необыкновенно важно, что таких неотличимых друг от друга селений с корридами-близнецами великое множество.

Было время, когда главенство в нашей литературной республике захватила каста рабов – наша изящная словесность претерпела нашествие костюбристов-бытописателей. Труды их, возможно, окажутся когда-нибудь полезны историкам – нам ведь интересен сегодня Павзаний, – но о художественных достоинствах их произведений говорить не приходится. Костюбристы не могут никого взволновать, ибо сами не способны взволноваться. Недрогнувшей рукой они с величайшим тщанием описывают наблюдае-



мые там и сям обычаи и картины нравов, полагая, что они сами по себе художественно содержательны¹. Но увы! В обычаях, устоях по большей части нет ни особого смысла, ни ценности. Это низший уровень нашего сознания и бытия – уровень моря, а не горных вершин. Но ведь глазам свойственно устремляться ввысь, им потребны и мягкий, округлый рисунок гор, и изломанный силуэт горной гряды, и застывшая волна утеса. Что из того, что все мерится уровнем моря и от него берет начало? В силу привычки те, кто живет вблизи водопада, не слышат грохота. Жизнь – это переворот, вторжение новизны. Обычай же – ошметки пережитого, шелуха прежней жизни под ногами новой. Воспользуюсь сравнением Бергсона и скажу, что обычай – это пепел шутихи: она еще летит, но в то же время, взмывая ввысь, уже падает – пеплом, в который ежесекундно превращается.

Так что искать в устоях поэтический смысл – значит не понимать их природы. Обычай – изначальный антагонист поэзии.

Но Асорины устои, можно сказать, не интересуют. В его руках они становятся инструментом – или материалом, необходимым художнику для воплощения тяжелой силы вечного повтора, чреватого губительным опустошением. Все одолеет эта упорная мощь и не оставит надежды. Повтор, по Асорину, – краеугольный камень бытия. В обыденности, среди извечных основ жизни Асорин искал такую, чтоб и о ней стоило сказать «сильна, как смерть», и нашел – в вечном круговороте. В нем сущность жизни. Все сущее вечно, и воистину существует лишь то, что повторяется. Вариации не в счет. Новизна – только рябь на поверхности.

Помните «Город и окно»? Все тот же вечный пейзаж, увиденный за тем же самым окном тремя разными людьми в разные времена. В скобках Асорин замечает: то были эпохи коренных перемен – открытие Америки, Революция, распространение социалистических идей. Однако эти потрясения затронули лишь поверхность, легкая рябь скользнула по зеленоватой глади пруда, а на глубине все осталось как было. Многое может перемениться – пейзаж, люди, но то, что важнее всего, остается неизменным: все та же боль терзает сокрушенное сердце, все та же тоска охватывает человека у окна. И что бы ни случилось на земле, тоски в мире всегда будет ровно столько же, сколько было.

Шопенгауэр полагает, что История призвана засвидетельствовать, что происходит всегда одно и то же, но всякий раз по-разному, в новом обличье: *Eadem sed aliter**. В точности, объясняет он, как в комедии дель арте: сюжет варьируется, а персонажи неизменны, хотя и не помнят того, что стряслось с ними в предыдущей пьеске, – и на этот раз Капитан обязательно подерется, а ловкач Арлекин проведет простофилю Бартоло и соблазнит Коломбину. В жизни то же самое – и на этой сцене из века в век, пусть в других костюмах и декорациях, пусть совершенно иначе, играют все те же роли: боль, тоску, отчаянье, печаль.

Но что случилось с Эскориалом? А вот что – надвигается ночь, чашу ушелья медленно заливают густые, синие с коричневатым отливом сумерки.

И вот уже чаша полна до краев. Все потонуло в синих потемках. Высоко в небе замерцали звезды. Кровь пульсирует в жилах

¹ И тем не менее почти у всех наших бытописателей – Месонеро Романоса, Ларры, Сеговии и других – с неизбежностью возникают сатирические интонации. Они не могут обойтись без шуток и насмешек, что подтверждает сказанное мною в «Размышлениях о Дон-Кихоте»: реализм – это по сути дела сатиризация. Сама по себе действительность начисто лишена какой бы то ни было эстетической ценности.

* То же, но другое (лат.).



вселенной – и звезды, ее нервные окончания, на каждое биение отвечают мгновенной дрожью.

Асорин помог нам сродниться с извечным и первозданным. Можно ли требовать большего от художника?

«Il poeta, – говорит Пасколи в своих «Раздумьях и беседах», – *debe saper dare all'anima le oscure sensazioni che le mancano e che abbondano alla scienza: come la coscienza di roteare insieme col piccolo globo opaco negli spazi silenziosi, nella infinita ombra costellata*»*.

ОТСТУПЛЕНИЕ О СИЛУЭТАХ

У каждого часа свой свет, сотворяющий мир заново и всегда по-своему, как творит его поэт. Поэтому мир, где вообще-то слишком многое неизменно, оказывается несравненно богаче. Таков и наш Монастырь. Только глубокой ночью, в поздние бессмысленные часы – время апатии – Эскориал замирает, а в остальное время он – разный, ежеминутно другой. Сотнями сменяющих друг друга монастырей запечатлен он в нашей душе. Было время, когда часы представлялись поэту вереницей взявшихся за руки плясуней. Ныне изящная словесность отобрала первенство у танца, и всякому часу стал соответствовать свой жанр. Первому часу наступающей ночи досталась комедия.

Известно, что суть комедии сводится к тому, чтобы вывернуть наизнанку величие и героизм. Комедия – это всегда пародия, издевка над трагедией, которая, стоит осе – комедийной музе – ее ужалить, лопается как мыльный пузырь; от нее ничего не остается, одна маска. Комедия жестоко расправляется с иллюзиями.

Так вот, первый ночной час делает мир призрачным, все превращая в какой-то смутный силуэт. Трудно выдержать это суровое сумеречное испытание, и редко что его выдерживает.

У всего, что нас окружает, есть одно свойство, непреложно обязывающее нас с ним считаться: оно существует. Нравится нам это или нет – другой вопрос, но уже само это существование – словно брошенный нам вызов. Не в нашей власти его отменить. Мы можем, конечно, отвести взор, всей душой устремиться к чему-то другому, но с той непреложной реальностью ничего поделаться не можем. Презирай, ненавидь, бейся головой об стену, но ты бессилен: оно существует в том же самом пространстве, где живет все, чем ты дорожишь, оно рядом и, мало того, оказывается, оно так тесно сплетено с тем, что тебе дорого, что еще неизвестно, не повредит ли его гибель твоим святыням. Как же с ним не считаться? Если бы оно существовало совершенно обособленно, само по себе, презрение могло бы стереть его в порошок, но ведь его существование равнозначно его влиянию на все остальное и обратному влиянию – всего прочего на него, настолько одно необходимо другому. Не станут квакать по вечерам на прудах лягушки – принцессы в высоких башнях раззучатся прясть.

Существование – это способность заполнять собою пространство, утверждая себя вопреки всему остальному и занимая в итоге этой борьбы определенное место. Если что-то существует, значит, оно представляет собой материальную данность, иначе говоря, нечто цельное, непроницаемое, способное обороняться от посягательств. Такое впечатление, что изнутри предмета во всех трех измерениях исходят силовые лу-

* «Пусть поэт пробудит в наших душах то смутное чувство, которое так редко рождают стихи и так часто – высокая наука. Пусть он заставит нас кожей ощутить это непрестанное кружение темного шара в бескрайнем черном безмолвии и саму эту тьму, усеянную звездами» (итал.).



чи, которые в конце концов неизбежно сталкиваются с такими же чужими силовыми лучами и вынужденно заключают соглашения, иначе говоря, устанавливают границы. Следовательно, очертания предмета показывают, как далеко простирается его экспансия, но суть и сила заключены внутри; они-то и заставляют считаться с его существованием. Поэтому надо бы внимательнее приглядеться к обиталищу силы – к материи, заключенной внутри; в ней – залог незаблемости очертаний. Точно так же внутренняя сила народа оберегает границы страны. Ослабни она – и границы окажутся видимостью, линиями – и только. Так что третье измерение – важнейшая из характеристик существования.

Зрительно мы воспринимаем третье измерение материального мира через цвет. Разные цвета соответствуют разным, более или менее способным к экспансии видам материи. Уберите цветовые перемены – и мир утратит третье измерение, утратит материальность, можно даже сказать, что он перестанет реально существовать. Останутся одни очертания – убогий остов.

Об этом я думал, когда поднимался от нижнего Эскориала к верхнему. Вечер как-то вдруг сдался под натиском наступающей ночи. Цвета канули во мрак. Только небо, ниспадая как занавес, еще хранит синеву. На его фоне кое-где проступают силуэты домов – бесплотные очертания. Монастырь, огромный каменный куб, тяжелая гранитная глыба, кажется теперь какой-то темноватой плоскостью, картонной декорацией. Ее можно свернуть, как свиток, и унести подмышкой. И цвет у этого свитка точно такой, как у всех окрестных, совсем недавно выстроенных домов. Но все-таки отчаянным усилием этот плоский монастырь рвется ввысь – наперекор всему кресты, башенки, купола, шпили, увенчанные шарами, держатся, и держатся гордо. Но куда там – жал-

кое зрелище! Особенно шары. Громадные каменные шары, еще совсем недавно, на закате, сиявшие золотом, стали просто кругами, и, кажется, еще секунда – и они скатятся вниз. Да, наступает ночь и Монастырь меняется – теперь это Обитель Печального Образа: исчезла тяжелая гранитная плоть, декорацией провинциального театра трепещет зыбкий монастырский силуэт, одержимый тщетным порывом утвердиться в пространстве.

Как это похоже на велеречивый стих в устах незадачливого актера!

Этот час – час силуэтов – все сплюшивает; это час насмешки, когда муза Аристофана торжествует над поэтичнейшим памятником нашего зодчества. Но эта победа ничего не значит – комический триумф недолговечен. Рассветет – и очертания Монастыря вновь наполнит могучая каменная плоть, и вновь в сиянии дня перед нами разыграется трагедия. Пристанишу призраков, комедии отведен краткий час, когда летучие мыши расправляют крылья. При свете дня мир для имеющего глаза – непреложен и, следовательно, велит с собою считаться.

ИСТОРИЯ – ЗДАНИЕ, ВОЗДВИГНУТОЕ МУРАВЬЯМИ

— К то построил нам Монастырь?

— Филипп Второй.

— Филипп Второй? Давайте представим себе, как это было.

Шли дни, недели, месяцы лихорадочного и вдохновенного труда. «На строительстве одной только церкви, – пишет отец Сигуэнса, – я насчитал больше двадцати двухколесных подъемников; самые разные – высокие, низенькие, преогромные – они громоздились друг на друга, а на самом верху, от настила, начинались леса, уходящие прямо в небо; со всех сторон доносились крики: ра-



ботавшие внизу окликали тех, кто наверху, а те, что на среднем ярусе, – и верхних, и нижних. Днем, ночью, ранним утром и поздним вечером только и слышалось: «Тяни! Пускай! Клади! Тащи! Стой! Заноси! Полегче! Назад! Готово!» Работа кипела, здание росло неимоверно, пугающе быстро; казалось, люди работают не только ради денег, но и во славу мастерства, работают в дружеском согласии и, хотя каждый желает первенствовать, все помогают друг другу и тем продвигают общее дело».

Это надо было видеть – «множество столбов и плотников всех мастей: одни заняты грубой работой – сколачивают леса, другие мастерят дверные переплеты и оконные рамы, третьи – золотые руки! – наводят резные узоры на панели, стулья, сундуки. А сколько там каменщиков! А также удаленных от этого суетливого муравейника незаметных мастеров – художников высочайшего мастерства, знатоков, как их здесь называют. Одни пишут эскизы, другие переносят их на картон, третьи поглощают в материале. Есть здесь и живописцы, создатели прекрасных полотен, и мастера фрески – они расписывают стены и потолки, есть миниатюристы и искусные ткачи, золотых дел мастера, переплетчики и умельцы, покрывающие искусным тиснением кожу кордовской выделки для драгоценных книг». И далее отец Сигуэнса, все так же неторопливо и тщательно, описывает лодской муравейник, копошащийся и на самой стройке и вблизи нее. Там властвовала огромная безымянная сила. И вот перед нами венец соединенных усилий тысяч и тысяч людей – рукотворная гранитная громада.

Описания святого отца поразительно похожи на те, что встречаются у Асорина; такое впечатление, что они взяты из его книг. Вкус к устоям, о котором мы уже говорили, заставляет Асорина находить поэзию в привычном, общем, муравьином тру-

де. Почти на каждой странице вы найдете у него перечни людей, занятых таким трудом: это стригали, чесальщики, шерстобиты, ворсильщики, шерстокрасы... Их занятия совершенно не похожи на труд писателя. Его дело – изобретательское, первопроходческое, их – устоявшееся, привычное: идут ли они за плугом или бьют молотом по наковальне, это повтор, повтор того, что делали их отцы, а прежде – деды.

Асорин в согласии со своим мировосприятием словно и не замечает в Истории ни великих подвигов, ни великих людей. История для него – хлопотливый муравейник, где сонмы безымянных существ, снуя туда и сюда, ткут полотно общественного бытия; так клетки нашего тела изо дня в день молча исполняют свою работу, латая прорехи.

А так как пишет Асорин всегда об Испании, внимание его к людскому муравейнику приходится как нельзя более кстати. Искать в испанской истории романтического героя-индивидуалиста – напрасный труд. Испанский индивидуализм – фикция, но если бы только фикция. Это одна из самых устойчивых составляющих национальной мифологии, которой отравлена вся наша испанская жизнь.

У нас все еще длится Средневековье, а основополагающая черта этой эпохи – отсутствие личностного начала, недостаток индивидуальности. У нас водятся коммерсанты, преподаватели, депутаты, генералы, но как редок человек, живущий на свой лад, сумевший стать личностью, способный выбрать себе судьбу! Наша общественная жизнь загнана в такие узкие рамки, что выбиться из них, ускользнуть из муравейника почти невозможно.

Что же касается Асорина, то, оставляя на будущее размышления о его творчестве в целом, скажу о том, что бросается в глаза: он всегда исходит из самой сути вещей, а не из того, что на их счет взбредет ему в голову.



Мне кажется, что Плио Бароха как художник сильнее Асорина, да и всех остальных наших писателей. И все же Бароха пока не попал в точку, и, думаю, никогда не попадет. Потому что он уперся в одно – в героизм, и неустанно рыщет в поисках героя, личности, высочайшей индивидуальности. А народ тем временем тихо влачит свое незаметное существование, привычно суетится в родном муравейнике, где епископа, конечно же, легко отличить от цирюльника, а вот одного человека от другого – увы, невозможно.

Как и у самых разных материальных тел, у Истории есть плоть, занимающая какое-то пространство, и очертания – ее граница с окружающим миром, ее силуэт, облик. Облик Истории – это все стоящее на грани: великие деяния, великие люди, короли, полководцы. То есть те, кому по сути дела и посвящали свои усилия историки древности, – так, словно исключительно великие люди создают общественное бытие. Но современные ученые рассматривают их просто как крайние проявления той или иной тенденции, как границу, образующую очертания безымянной людской глыбы. Она же, преодолевая тяжелейший экономический и нравственный гнет, если и движется, то еле-еле – в лад своему неторопливому выносливому сердцу.

Асорино остался чужд культ независимой личности – он, в согласии с прошлым веком, полагает, что историческое полотно ткется руками бесчисленных безымянных тружеников людского муравейника.

ИСКОННОСТЬ И ПОСКОННОСТЬ

Мы уже установили разницу между писателем, который чувствует поэзию устоев, и тем, который описывает быт и нравы. Точно такая же разница между певцом посконности и поэтом исконности. Мне понадобилось уточнить это различие, потому что, называя Асорина поэтом исконности, я

воздаю ему высочайшие почести; певец же посконности в моих устах – определение уничижительное, так что, если сочинителю вздумалось поставить на себе крест, я порекомендую ему заделаться почвенником – вернейшее средство.

Полагаю, что категорический императив посконности угнетает художника исключительно у нас в Испании. Ума не приложу, откуда только берутся во всякое время, при всяком режиме эти нестигаемые вириаты – публицисты, призывающие во что бы то ни стало хранить в неприкосновенности национальный дух. До каких пор они будут загромаждать нашу литературу своими толстенными томами на предмет испанского духа? Читать эти кирпичи, конечно, никто не станет, да и не за тем, думаю, они писаны, а вот соорудить из них стену наподобие Великой китайской можно, чем и занимается эта странная порода – нечто среднее между лихим захватчиком и мандарином. Очень уж подозрителен этот священный ужас перед воображаемой утратой национальной самобытности. Так истеричкам, тайно жаждущим распротиться со своею невинностью, повсюду мерещатся опасности и насильники.

Сильной индивидуальности недосуг размениваться на пустые страхи – она не боится растерять себя, поддавшись влиянию. Более того, она нисколько не сомневается, что все влияния растворяются в ней без остатка, не разрушив, но лишь обогатив ее. У сильной индивидуальности завидный аппетит – она повсюду отыщет себе пропитание, и все пойдет ей впрок. Так она растет, крепнет, развивается. Глубокий знаток Греции в одной из своих недавних работ назвал отличительной чертой греческой культуры – а равных ей по мощи и своеобразию пока нет – ее поразительную восприимчивость. И уточнил: до тех пор, пока Греция сохраняла эту восприимчивость, ей и не было равных ни в мощи, ни в своеобразии.



А что сказать о личности, вечно пребывающей в опасении, как бы ее кто-нибудь не подавил? Она занята обороной и нападением, более ничем, и, следовательно, ей, ориентированной на других, в отличие от истинной индивидуальности, просто жизненно необходимы другие. Самое малое, на что способен такой-то, это не быть эдаким. Но уберем эдакого – что останется?

Давняя и нерушимая традиция испанского почвенничества, его стойкий категорический императив свидетельствуют, что в глубинах нашего национального сознания тлеет огонек недовольства собой и берedit раны.

Если тебя так сильно заботит твоя индивидуальность, значит, в глубине души ты знаешь, что она ущербна, что ее надо растить и пестовать. И почвенничество – всего лишь поза, призванная утаить слабинку.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что половина испанских книг, написанных за последние столетия, призвана убедить читателя в том, что другая половина заслуживает всяческого восхищения. Причем делается это безо всякого анализа, оценок, без выявления тенденций – одни фанфары. История литературы и критика у нас до сих пор пробавляются панегириком.

Создается впечатление, что прочим народам вполне хватает своей индивидуальности, а нам – нет. Не потому ли, что нам индивидуальность нужна не сама по себе, а затем, чтобы выставить ее напоказ?

До каких же пор Испания будет страдать этой детской манией величия? До каких пор она будет взхлеб превозносить самое себя? Ведь истинный патриотизм как раз в том и состоит, чтобы положить конец этому смехотворному зрелищу: народ, если он существует, не должен тратить время на научные доказательства своего существования. Оставим это дремучее занятие безнадежным провинциалам.

* Самообладания (англ.).

Исконное – недоступная глазу, потаенная, глубинная сущность – никогда не становится нормой, традицией, ибо есть воплощение искренности, сама непосредственность. Норма всегда тяготеет к абстракции, формуле, которая на все случаи жизни не годится – их слишком много. Так вот, из любви к нынешней и завтрашней родине давайте перестанем принуждать Испанию быть такой, какой она была последние сто или двести лет. Психология народа не застывает раз и навсегда, она переменчива. Кто бы мог подумать, что англичане, в шекспировские времена – воплощенный порыв и страсть, хлещущая через край, когда-нибудь явят миру высокие образцы self-control?*

Я знаю, что где-то глубоко внутри меня, в потаенных закутках моей души и сердца идет незаметный, ни на секунду не прерываемый труд: все, что дает мне мир, искажается на испанский лад. Я знаю, что свобода ума и чувств, которой я вроде бы обладаю, поступая по своей воле, лишь видимость. Дротик, летящий к цели, конечно же, полагает, что движется по своему усмотрению и сам наметил себе цель. Однако кинула его чья-то рука, и чьи-то глаза разглядели сначала цель, к которой он устремился. Таков и я – дротик, пронзающий ветер; дротик, брошенный древней рукой моего народа. Каждому из нас сообщен некий изначальный импульс, и жизнь, которую нам суждено прожить, еще прояснит, зачем народу понадобилось явить нас миру. Но чаяния и надежды этноса не вмещаются в рамки одной судьбы, одного века, одной эпохи. И потому бессмысленно навязывать грядущему как норму то, чем он когда-то был. Вера в то, что человек волен быть или не быть исконно испанским, означает только одно – недооценку национального детерминизма. Хотим мы того или нет, мы – испанцы и заведомо обречены быть испанцами – и никем другим.



Певец посконности неустанно выказывает свою приверженность к манере письма, уже опробованной тем или иным писателем своего народа. Он, следовательно, имитатор, а не поэт. «Поэзия, – говорил Вальери, – это живое дыхание и пророчество». Тому, кто не жаждет обновления, лучше не браться за перо.

Ни тени посконности нет в Асорине. Не думаю, что в сонме наших сочинителей слышится другой такой писатель. Он умеет говорить об исконности – вот в чем его достоинство и величайшая заслуга.

Асорин погружен в национальное прошлое Испании, но не поглощен им. Исконность – предмет его размышлений, материал, в котором он работает, а не ярлык, нацепленный на книгу. В посконной книге отражается образ чувств эпохи, уже отошедшей в прошлое и никому, кроме ее обитателей, не интересный. А книги Асорина злободневны – прошлое в них увидено сквозь призму настоящего, современный человек ощущает его так, как это свойственно ему одному.

И все-таки мне не удалось объяснить, что за удивительное чувство рождает в нас скупые мазки Асорина. Что же он делает? Это не реставрация далекой истории, ибо здесь нет и тени бытописательства, о чем уже говорилось. Реставрация насквозь фальшива: достаточно просто-напросто покрыть деяния ушедших лет новым слоем лака и покажется, что они совершились только что. Смысл такой реставрации – в приближении прошлого. Как это искусственно, поверхностно и мелко в сравнении с тем, что делает Асорин!

У Асорина – может, так будет точнее? – прошлое не прикидывается настоящим или злободневным, напротив, кажется, что настоящее у него некогда уже было, было и прошлое.

Ведь мы по преимуществу барахтаемся в самом поверхностном слое нашего сознания, и чем привычнее нам мысль или чувство, чем оно старше, тем меньше мы его замечаем. Глубинные пласты нашего «я» пребывают в застарелой апатии, в полном оцепенении. И остаются для нас тайной за семью печатями.

Но вдруг одно какое-то слово или образ попадают точно в цель, в самую глубину, пронзая все промежуточные слои, и тем пробуждая их к жизни. И вы вдруг с изумлением понимаете, что прошлое вовсе не прошло, что оно стало вашим «я», вашим сегодняшним «я».

Как в чудном мифе о переселении душ. Представьте себе, что это правда, что прошлые существования вдруг стали частью вас и вы можете с полным правом сказать, подобно Эмпедоклу: «Я был юношей и девушкой, орлицей в небе и рыбой в море».

О схожем чувстве – сопричастности исконному – я и говорю. Оно мгновенно обращает нас к прошлому – и вот мы уже парим в иных, ушедших временах и видим из нынешнего дня это неспешное паренье. Певец посконности не хочет и слышать о современности. Поэт исконности Асорин растворяет настоящее в породившем его прошлом.

И это единственный способ дать прошлому возможность осуществиться вновь. Переноситься в прошлое бессмысленно: пускай мы даже приблизимся вплотную, все равно прошлое останется в прошедшем времени, а мы застрянем в настоящем. Вместе мы все равно не будем. Надо самих себя ощутить прошлым – это единственный выход.

В лучших своих вещах Асорин растворяет наше сегодняшнее сознание в вековых пластах исконности – так после смерти земля примет и растворит в себе нашу плоть.



ЕГО МУЗА

Асорин неизменно привержен тому, что повторяется из века в век. Он ловит отзвуки, вслушивается в эхо. Нынешний день – перепев вчерашнего, настоящее – лишь новое русло, в котором течет та же, прежняя река. Асорин смотрит сквозь теперешнюю Испанию и видит стародавнюю испанскую жизнь – все ту же, она не переменялась; и пусть лица другие, кровь все та же. Удивительный человек этот Асорин! Вместо того чтобы поглядеть на небо, он склоняется к воде и ловит на озерной глади отражения облаков, кочующие в водных глубинах. Удивительный человек! В себе самом не может разобраться, пока не узнает в другом – себя. И пока до него не донесется стон столетней давности – вздох Хасинто Бехарано, он не расслышит своей жалобы: ему нужно созвучие, отклик, переключка рифм в конце строки.

Так кто же его муза, муза печального поэта, зачарованного тихой мелодией, ловца отзвуков и созвучий? Она не похожа на музу истории, ученую классную даму, холоднокровно, как анатом мертвое тело, препарирующую прошлое. Муза его совсем другая. Душа ее соткана из памяти и тоски, и чем дальше прошлое, тем сильнее тянет ее назад, как жену Лота, чье прекрасное лицо навечно обращено к прошлому.

ЕГО ЦВЕТОК

Не знаю, какой цветок по душе Асोरину, но кажется мне, что он должен любить фиалки – так созвучны они его эстетике и образу чувств. Благородный аромат, крохотный венчик – его сразу и не разглядишь, ощутив запах; фиалка прячется в листве, смиренно лелея неведомую надежду. Для меня она – символ всего, что обречено остаться незамечен-

ным и кануть в Лету: из пустоты шагнуть в забвенье. Асорин, рыцарь фиалок.

Он всегда с теми, о ком не помнят, кем пренебрегают, кого не замечают. И если Асोरину вздумается перечитать «Селестину», трагическую историю жестоких страстей, он обязательно заметит то, на что никто из нас не обратит внимания – вы ведь забыли, что в самом начале первого действия у Каллисто потерялся сокол, что, отыскивая сокола, он перемахнул через ограду чужого сада и встретил Мелибею. Вскользь упомянутый предлог, но именно эта несущественная подробность у Асорина станет осью, вокруг которой мерно закружится колесо трагикомедии (в «Облаках» из «Кастилии»).

А если Асорин примется разглядывать веласкесовских «Менин», знаете, что привлечет его внимание? Полагаете, сам гениальный художник, его близорукие глаза и отрешенное лицо? Или милая принцесса – весенний ирис, сердце картины? Или прелестная менина, та самая, которую все мы в юности любили великой, возвышенной любовью, та, что подает девочке из королевской семьи красный глиняный кувшинчик?

Нет, не на них задержится взгляд Асорина, на другом. В самой глубине картины есть косо освещенная солнцем чуть приоткрытая филенчатая дверь, в ее проеме – силуэт: невысокий лысоватый человек в темной одежде. Еще секунда – он войдет, и яркий солнечный луч осветит лицо этого неприметного человека. Его зовут Хосе Ньето. Но он мог бы зваться иначе – дон Хуан, дон Леандро или дон Антонио. У Асорина он станет главным героем знаменитого полотна.

Maximus in minimis: вот сущность искусства Асорина.

Мне могут напомнить, что искажение перспективы, при котором деталь выдвигается на первый план, характерна для старинной живописи. Да, именно так. И потому, хотя и не только потому, творчество



Асорина следует изучать как образец возвращения к старинной художественной манере, то же самое, кстати, происходит и сегодня с некоторыми живописцами. Когда-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу, а сейчас, прощаясь с читателем и с Асориним – надеюсь, ненадолго, – давайте напоследок взглянем еще раз на мастера. Перед моим мысленным взором встает его портрет, но не теперешний, а написанный кем-

нибудь из итальянцев Кватроченто: чистый покойный лик, на черном камзоле – рука в голубых жилках, на безымянном пальце – перстень, выточенный из сандалового дерева, а в другой руке, между большим и указательным пальцами, – крохотный, потусторонний, навевающий столько воспоминаний цветок – фиалка.

1917







ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ



ребовать от испанца, чтобы, войдя в трамвай, он не окидывал взглядом знатока всех едущих в нем женщин, – значит требовать невозможного. Ведь это одна из самых характерных и глубоко укоренившихся привычек нашего народа. Та настырность и почти осязаемость, с какими испанец смотрит на женщину, представляются бестактными иностранцам и некоторым моим соотечественникам. К числу последних отношу себя, ибо у меня это вызывает неприятие. И все же я считаю, что эта привычка – если оставить без внимания настырность, дерзость и осязаемость взгляда – составляет одну из наиболее своеобразных, прекрасных и благородных черт нашей нации. А отношение к ней такое же, как и к другим проявлениям испанской непосредственности, которые кажутся дикарскими из-за смешения в них чистоты и скверны, целомудрия и похоти. Но если их очистить, освободить изысканное от непристойного, возвысить благородное начало, то они могли бы составить весьма своеобразную систему поведения, наподобие той, суть которой передается словами gentleman или homme de bonne compagnie*.

Художникам, поэтам, людям света надо подвергнуть этот сырой материал многовековых привычек реакции очищения путем рефлексии. Это делал Веласкес, и можно не сомневаться, что восхищение представителей других народов его творчеством в немалой степени обусловлено тем, с какой любовью выписал он телодвижения испанцев. Герман Коген говорил мне, что каждый свой приезд в Париж он использует для того, чтобы побывать в синагоге и полюбоваться жеманами евреев – уроженцев Испании¹.

Сейчас, однако, я не задаюсь целью раскрыть благородный смысл, скрывающий-

ся за взглядами, которыми испанец пожирает женщину. Это было интересно, по крайней мере для «Наблюдателя», в течение нескольких лет испытывавшего влияние Платона, отменного знатока науки видения. Но в данный момент у меня другое намерение. Сегодня я сел в трамвай и, поскольку ничто испанское мне не чуждо, пустил в ход вышеупомянутый взгляд знатока, постаравшись освободить его от настырности, дерзости и осязаемости. И, к величайшему моему удивлению, я отметил, что мне не понадобилось и трех секунд, чтобы эстетически оценить и вынести твердое суждение о внешности восьми или девяти пассажиров. Эта очень красива, та – с некоторыми изъянами, вон та – просто безобразна и т.д. В языке не хватает слов, чтобы выразить все оттенки эстетического суждения, складывающегося буквально в мгновение ока.

Поскольку путь предстоял долгий, а ни одна из моих попутчиц не давала мне повода рассчитывать на сентиментальное приключение, я погрузился в размышления, предметом которых были мой собственный взгляд и произвольность суждений.

«В чем же состоит, – спрашивал я себя, – этот психологический феномен, который можно было бы назвать исчислением женской красоты?» Я сейчас не претендую на то, чтобы узнать, какой потаенный механизм сознания определяет и регулирует этот акт эстетической оценки. Я довольствуюсь лишь описанием того, что мы отчетливо себе представляем, когда осуществляем его.

Античная психология предполагает наличие у индивида априорного идеала красоты – в нашем случае идеала женского лица, который он налагает на то реальное лицо, на которое смотрит. Эстетическое сужде-

* Человек из хорошего общества (фр.).

¹ Эту же мысль, облеченную в общую форму, можно найти в «Размышлениях о «Дон Кихоте».



ние тут состоит просто-напросто в восприятии совпадения или расхождения одного с другим. Эта теория, происходящая из Платоновой метафизики, укоренилась в эстетике, заражая ее своей изначальной ошибочностью. Идеал как идея у Платона оказывается единицей измерения, предсуществующей и трансцендентной.

Подобная теория представляет собой придуманное построение, порожденное извечным стремлением эллинов к единому. Ведь бога Греции следовало бы искать не на Олимпе, этом подобии *chateau*^{*}, где наслаждается жизнью изысканное общество, а в идее «единого». Единое – это единственное, что есть. Белые предметы белы, а красивые женщины красивы не сами по себе, не в силу своеобразия, а в силу большей или меньшей причастности к единственной белизне и к единственной красивой женщине. Плотин, у которого этот унитаризм доходит до крайности, нагромождает выражения, говорящие нам о трагической устремленности вещей к единому: *Στενδελν ρυεσσι πρ ζ τ ν* – (они) спешат, стремятся, рвутся к единому. Их существование, заявляет он, не более чем *τ χυοζ το υ ζ* – след единого. Они испытывают почти что эротическое стремление к единому. Наш Фрай Луис, платонизирующий и плотинизирующий в своей мрачной келье, находит более удачное выражение: единое – это «предмет всепоглощающего вожделения вещей».

Но, повторю, все это – умственное построение. Нет единого и всеобщего образа, которому уподоблялись бы реальные вещи. Не стану же я, в самом деле, накладывать на лица этих дам априорную схему женской красоты! Это было бы бестактно, а кроме того, не соответствовало бы истине. Не зная, что представляет собой совершенная женская красота, мужчина постоянно ищет ее с юных лет до глубокой старости.

О, если бы мы знали заранее, что она собой являет!

Так вот, если бы мы знали это заранее, то жизнь утратила бы одну из лучших своих пружин и большую долю своего драматизма. Каждая женщина, которую мы видим впервые, пробуждает в нас возвышенную надежду на то, что она и есть самая красивая. И так, в чередовании надежд и разочарований, приводящих в трепет сердца, бежит наша жизнь по живописной пересеченной местности. В разделе о соловье Бюффон рассказывает об одной из этих птичек, дожившей до четырнадцати лет благодаря тому, что ей никогда не доводилось любить. «Очевидно, – добавляет он, – что любовь сокращает дни нашей жизни, но правда и то, что взамен она их наполняет».

Продолжим наш анализ. Поскольку я не имею этого архетипа, единого образа женской красоты, то у меня рождается предположение, которое возникало уже у некоторых эстетиков, что, возможно, существует некое множество различных типов физического совершенства: совершенная брюнетка, идеальная блондинка, простушка, мечтательница и т.д.

Сразу же заметим, что это предположение лишь умножает связанные с данным вопросом сложности. Во-первых, у меня нет ощущения, что я владею всем набором подобных образцов, и я даже не подозреваю, где и как я мог бы им обзавестись. Во-вторых, в рамках каждого типа красоты я вижу возможность существования неограниченного числа вариантов. Это значит, что количество идеальных типов пришлось бы увеличить настолько, что они утратили бы свой видовой характер. А если их, как и индивидуальных лиц, будет бесчисленное множество, то сведется на нет сама цель этой закономерности, состоящая, между прочим, и в том, чтобы единое и общее сделать нор-

* Замок (фр.).



мой и прототипом для оценки единичного и многообразного.

Тем не менее нам хотелось бы кое-что подчеркнуть в этой теории. дробящей единую модель на множество типовых образов. Что же вызвало такое дробление? Это, несомненно, осознание того, что в действительности при исчислении женской красоты мы руководствуемся не единой схемой, налагая ее на конкретное лицо, лишенное права голоса в эстетическом процессе. Напротив, мы руководствуемся лицом, которое видим, и оно само, согласно этой теории, выбирает такую из наших моделей, какая должна быть к нему применена. Таким образом, индивидуальность сотрудничает в выработке нашего суждения о совершенстве, а не ведет себя совершенно пассивно.

Вот, по моему разумению, точная характеристика, которая отражает действительную работу моего сознания, а не является гипотетическим построением. В самом деле, глядя на конкретную женщину, я рассуждал бы совсем иначе, чем некий судья, поспешающий применить установленный кодекс, соответствующий закон. Я закона не знаю; напротив, я ишу его во встречающихся мне лицах. По лицу, которое я перед собой вижу, я хочу узнать, что такое красота. Каждая женская индивидуальность сулит мне совершенно новую, еще неизвестную красоту; мои глаза ведут себя подобно человеку, ожидающему открытия, внезапного откровения.

Ход нашей мысли в момент, когда какую-то женщину мы видим впервые, можно было бы точно охарактеризовать при помощи довольно-таки фривольного галантного оборота: «Всякая женщина красива до тех пор, пока не будет доказано обратное». Добавим к этому: красива не предусмотренной нами красотой.

Воистину ожидания не всегда осуществляются. Я припоминаю по этому поводу анекдот из жизни журналистской братии

Мадрида. Речь в нем идет об одном театральном критике, умершем довольно давно, который хвалу и хулу в своих писаниях увязывал с соображениями финансового порядка. Однажды приехал к нам на гастроли некий тенор, которому на следующий день предстояло дебютировать в театре «Реаль». Наш вечно нуждающийся критик поспешил к нему с визитом. Рассказал ему о своем многолетнем семействе, о скудных доходах, и сговорились они на тысяче песет. Настал день дебюта, а критик условленной суммы не получил. Начался спектакль – денег все не было; прошел первый акт, второй, последний, и, когда в редакции критик принялся за статью, вознаграждение так и не поступило. На следующее утро газета вышла с рецензией на оперу, в которой имя тенора упоминалось лишь в последней строчке: «Да, мы чуть не забыли: вчера дебютировал тенор Х.; это многообещающий артист, посмотрим, выполнит ли он то, что обещает».

Так вот, обещание красоты иногда не исполняется. Мне, к примеру, достаточно было лишь мельком взглянуть на вон ту даму на заднем сиденье трамвая, чтобы признать ее некрасивой. Давайте разложим на составные части этот акт неблагоприятного суждения. Для этого нам нужно повторить его в замедленном темпе, чтобы наша рефлексия могла проследить шаг за шагом стихийную деятельность нашего сознания.

И вот что я замечаю: сначала взгляд охватывает лицо в целом, в совокупности черт, и как бы обретаает некую общую установку; затем он выбирает одну из черт – лоб, к примеру, – и скользит по ней. Линия лба главным изгибается, и мне доставляет удовольствие наблюдать этот изгиб.

Мое настроение в этот момент можно довольно точно описать фразой: «Это хорошо!» Но вот мой взгляд упирается в нос, и я ошушаю некое затруднение, колебание или



помеху. Нечто подобное тому, что мы испытываем на развилке двух дорог. Линия лба как будто требует – не могу сказать почему – другого продолжения, отличного от реального, которое ведет мой взгляд за собой. Да, сомнений нет, я вижу две линии: реальную и едва различимую, как бы призрачную над действительной линией носа из плоти, честно говоря несколько приплюснутого. И вот ввиду этой двойственности мое сознание начинает испытывать что-то вроде *piétinement sur place**, колеблется, сомневается и в нерешительности измеряет расстояние от линии, которая должна была быть, до той, которая есть на самом деле.

Мы, конечно, не будем сейчас продвигать шаг за шагом то, от чего отказались при оценке лица в целом. Нет ведь идеального носа, рта, идеальных щек. Если подумать, то всякая некрасивая (не уродливая¹) черта лица может показаться нам красивой в другом сочетании.

Дело в том, что мы, замечая изъяны, умеем их исправлять. Мы проводим незримые, бесплотные линии, при помощи которых в одном месте что-то добавляем, а в другом – убираем. Я говорю «бесплотные линии», и это не метафора. Наше сознание проводит их, когда мы неотрывно смотрим туда, где никаких линий не находим. Известно, что мы не можем безразлично смотреть на звезды на ночном небе: мы выделяем те или иные из светящегося роя. А выделить их – значит установить между ними какие-то связи; для этого мы как бы соединяем их нитями звездной паутины. Связанные ими светящиеся точки образуют некую бестелесную форму. Вот психологическая основа созвездий: от века, когда ясная ночь зажигает

огни в своем синем мраке, язычник возводит взор горе и видит, что Стрелец выпускает стрелу из лука, Кассиопея злится, Дева ждет, а Орион прикрывается от Тельца своим алмазным щитом.

Точно так же как группа светящихся точек образует созвездие, реальное лицо, которое мы видим, создает впечатление более или менее совпадающего с ним лица идеального. В одном и том же движении нашего сознания соединяются восприятие телесного бытия и смутный образ идеала.

Итак, мы убедились в том, что образец не является ни единым для всех, ни даже типовым. Каждое лицо, словно в мистическом свечении, вызывает у нас представление о своем собственном, единственном, исключительном идеале. Когда Рафаэль говорит, что он пишет не то, что видит, а «*una idea che mi vien in mente*»**, не следует думать, что речь идет о Платоновой идее, исключаящей неистощимое многообразие реального. Нет, каждая вещь рождается со своим, только ей присущим идеалом.

Таким образом, мы открываем перед эстетикой двери ее темницы и приглашаем ее осмотреть все богатства мира.

*Laudata s'il Diversita,
delle creature, sirena
del mondo***.*

Вот так и я из этого ничем не примечательного трамвая, бегущего в Фуэнкарраль, посылаю свое возражение в сад Академа.

Мною движет любовь, она заставляет меня говорить... Это любовь к многообразию жизни, обеднению которого способствовали порой лучшие умы. Ибо как греки сделали из людей единичные души, а из кра-

* Топтание на месте (*фр.*).

¹ Уродство – дефект биологический, а следовательно, предшествующий плану эстетического суждения. Антонимом «уродливого» является не «красивое», а «нормальное».

** Некую идею, которая приходит мне в голову (*итал.*).

*** Да прославится Разнообразие Созданий, очарование мира (*итал.*).



соты – всеобщую норму или образец, так и Кант в свое время сведет доброту, нравственное совершенство к абстрактному видо-вому императиву.

Нет и нет, долг не может быть единым и видовым. У каждого из нас он свой – неотъемлемый и исключительный. Чтобы управлять моим поведением, Кант предлагает мне критерий: всегда желать того, чего может пожелать любой другой. Но это же выхолащивает идеал, превращает его в юридический истукан и в маску с ничейными чертами. Я могу желать в полной мере лишь того, чего захочется именно мне.

Рассмотренное нами исчисление женской красоты служит ключом и для всех остальных сфер оценки. Что приложимо к красоте, приложимо и к этике.

Мы уже видели, что всякое отдельно взятое лицо являет собой одновременно и проект самого себя и его более или менее полное осуществление. То же самое и в сфере нравственности: каждый человек видится мне как бы вписанным в свой собственный нравственный силуэт, показывающий, каким бы должен быть характер этого человека в идеале. Иные своими поступками всецело заполняют рамки своих возможностей, но, как правило, мы либо их не достигаем, либо за них выходим. Как часто мы ловим себя на страстном желании, чтобы наш ближний поступал так или иначе, ибо с удивительной ясностью видим, что тем самым он заполнил бы свой идеальный нравственный силуэт!

Так давайте соизмерять каждого с самим собой, а то, что есть на самом деле, с тем, что могло бы быть. «Стань самим собой» – вот справедливый императив... Обычно же с нами происходит то, что так чудесно и загадочно выразил Малларме,

когда, делая вывод относительно Гамлета, назвал его «сокрытым Господом, не могущим стать собой».

Где угодно и в чем угодно будет нам полезна эта идея, открывающая в самой действительности, во всем непредвиденном, что она в себе таит, в ее способности к беспредельному обновлению – источник идеалов, норм, образцов совершенства.

К литературной или художественной критике наша теория применима самым непосредственным образом. А анализ, направленный на формирование суждения о женской красоте, применим к предмету чтения. Когда мы читаем книгу, то ее «тело» как бы испытывает постукивание молоточков нашей удовлетворенности или неудовлетворенности. «Это хорошо, – говорим мы, – так и должно быть». Или: «Это плохо, это уходит в сторону от совершенства». И автоматически мы намечаем критическим пунктиром ту схему, на которую претендует произведение и которая либо приходится ему впору, либо оказывается слишком просторной. Да, всякая книга – это сначала замысел, а потом его воплощение, измеряемое тем же замыслом. Само произведение раскрывает нам и свою норму, и свои огрехи. И было бы величайшей нелепостью делать одного писателя мерилом другого.

А эта дама, сидящая передо мной...

– Куатро Каминос! – выкрикивает кондуктор.

Этот крик всегда вызывал у меня тяжелое чувство, ибо он – символ замешательства.

Однако приехали. За десять сантимов далеко не уедешь.





НАБРОСКИ ПРАЗДНОГО ЛЕТА

В ПУТИ



С лавно колесить по кас-
тильским проселкам!
Все настолько голо, что видно во-
очию, как туго нагая земля пере-
поясана дорогами. С разбегу одо-
лев холм, они скатываются на дно
промоины и, взлетев упруго на

другой ее склон, бегут дальше, и
чудится, что на бегу поет в них
какая-то неиссякаемая и нераз-
лучная с ними юность. Порой они
кажутся длинным росчерком ху-
дожника под широким желто-
красным пейзажем.



В бесконечной изменчивости полей они одни ухищряются оставаться верными себе. Всегда и всюду те же, они сочленяют мошечные километры, осиленные Управлением дорожного строительства, и тем увязывают пейзаж с пейзажем, накрепко стягивают куски провинций и сами провинции, сплетая основу великого испанского ковра. Если бы однажды ночью они исчезли, были кем-то злодейски похищены, ошеломленная Испания стала бы бесформенной, развалилась на комья, на замкнутые урочища, отгороженные друг от друга, одичалые и несовместимые. Дорожная сеть – это система кровообращения, которая объединяет нацию и дает ее телу единый духовный ток. Учебники политэкономии без конца это перепевали, и, как ни странно, они правы.

Но есть у дорог и свои тяготы, нравственные и физические. Вот, например, нежданно-негаданно проселок натывается на перепутье трех ли, четырех дорог. Как быть? Какую дорогу ему выбрать? Сомнения ведь так мучительны! Один из самых мудрых сыновей Израиля (осенью мне предстоит высказаться о нем на его родине – в Кордове), великий Маймонид составил знаменитый свод человеческой мудрости и озаглавил его – «Путь сомнений». Еще бы! Одно из самых нестерпимых состояний – нерешительность, колебания в выборе между многими равноценными возможностями. Чем больше бьется над этим разум, тем глубже вязнет в сомнениях и тем явственней, не в обиду будь сказано, распознает в себе буриданова осла. Знаю по себе. Требуется душевный порыв наугад, «пари» Паскаля, орел или решка на перепутье.

Что же до физических мук, то есть одна острая и тяжкая. Бежит себе беззаботно грунтовая дорога и вдруг – шек! – перерезается железной. Дело минутное, но слишком уж болезненное, слишком хирургичес-

кое. Стальной скальпель дважды рассекает грунтовое тело. Никогда уж у бедного проселка не заживет это место, и приходится наложить на него лубки переезда и кому-то дежурить возле больного. Издалека порой видна окровавленная повязка, которой машет дежурный в знак опасности.

И так далее, и так далее...

Поломка. На плато, идущем от перевала к Авиле. Желтизну пшеницы грубо рассекают громоздкие сизые скалы. Контраст чувственного тепла золотистой нивы и шершавой мертвенности глыб, таких неуместных и нелепых, выросших так отвесно и так некстати, берedit душу. Земля их выплонула или пали на нее свыше эти каменные проклятия?

Пока шофер пытит, как суккуб, под брюхом автомобиля, и я злюсь на судьбу, а она старательно поджаривает нас, мои двое детей исчезают. Где они в этом бескрайнем безлюдье? Вспоминается хокку на смерть ребенка:

*О мой ловец стрекоз!
Куда в неведомой стране
Ты нынче забежал?**

И выморочность этих мест отдается дрожью в костях.

Но дети вскоре возникают, радостно крича, далеко от нас, на самом вершине одного из этих каменных замков... Они карабкаются по шершавой шкуре утеса, исчезают, появляются, стреляют из воображаемых луков, маленькие индейцы в огромной синеве.

Для ребенка с его немислимой жизненностью мир мягок и пластичен, и детские руки мгновенно делают дикую скалу чудесной игрушкой. Быть может, мы жалеем детей по недомыслию. Естественней обратное – это они должны смотреть на нас с жалостью, ибо наша жизнь утрачивает уже свой напор. А вот они-то... Состояние, угроза, потрясе-

* Перевод Веры Марковой.



ние лишь возбуждают жизненную мощь ребенка, этого ненасытного обжоры, который радостно глотает любые края и любые невзгоды, с дивной непринужденностью берет в руки чудовишный сизый камень и делает из него милую игрушку.

Чуть дальше по дороге – Мартин Муньос де лас Посадас, городок, полный любопытных древностей. У покровительницы города, богоматери, странный титул – Пречистая Дева Презрения.

Колосья, спелые колосья. Золотое море ходит волнами. Тонушие в нем косари отчаянно выгребают из желтого пекла к синей кромке горизонта.

НАВЕСЫ И ДОЖДИ

В испанской жизни явно были великолепные времена – времена, когда широкие площади обносились крытой колоннадой, а в иных городах целые улицы уходили под крышу. Эти следы былого стали для нас настолько привычными и домашними, что мы не замечаем их великолепия. По крайней мере я, сознаюсь, никогда прежде не задумывался, что же собственно означала эта городская затея и каких усилий она стоила. Невольно спрашиваешь – а может ли наше время с его показной роскошью и маниакальным комфортом похвастать чем-либо подобным?

Стоимость работ была для того времени огромной. Гордая колоннада придавала любому зданию дворцовую осанку и обязывала надстраивать его выступом, что было и трудней, и дороже. И тем не менее повсюду, где городская земля была особенно дорогой, ею жертвовали ради улиц.

Замысел выдает душевную покладистость, немыслимую в наши дни. Он предполагает согласие и совместную жертву всех

собственников во имя абстракции, именуемой городом. Ими двигало желание усладить прогулку, украсить гулянье, укротить ливень. Город противится ливню как непрошеному вторжению стихии в убежище, созданное именно для того, чтобы отгородиться ото всего стихийного и первозданного и замкнуться в этой крохотной искусственной вселенной. Больше всего в дикаре нас удивляет то, что он без отвращения и боязни общается с природой, с болотом, со змеей и жабой. Должно было прийти время гениальной гадливости, которое табуировало половину природы, вычеркнув ее как мерзость. И любопытно, что это высокое омерзение прежде всего обрушилось на все влажное, сырое, водянистое. Бразильские дикари, по свидетельству великого этнолога Карла фон дер Штайнена, справляют малую нужду на глазах друг у друга. Вообще, можно считать достаточно подтвержденной гипотезу Баххофена, что на самом раннем этапе культуры питалась духом болот, на которых и зародилась. Это самые убогие и темные времена – свайные постройки над мертвой водой, чудовишно плодоносной, где кишат насекомые и рептилии, гады и люди. Матриархат, и правит женщина – плодовая и влажная. Божества унылы, и вся жизнь человеческая пахнет тиной и болотной мглой.

Город – это попытка отъединения, принятая людьми, чтобы жить вне стихий и наперекор им, беря от них лишь самое необходимое, отборное и тщательно дозированное. Но... Идет дождь – и магическая власть воды сливает мир воедино. Влажная кожа чувствительней – поэтому изнеженные мандарины смачивают пальцы, чтобы наслаждаться прикосновением к яшмовому шарiku. На пороге дома непрошенный ливень сталкивает нас с миром, и смутный озноб, быть может, пережиток тысячевекового опыта воскрешает жизнь на болоте, темное и смрадное время дружбы со змеей и жабой.



МАДОННА С РЕШЕТОМ

Однако в полях ливень порой заворачивает. До сих пор я храню в памяти звучный, почти бетховенский, отголосок кастильской грозы.

Прошло уж немало лет, и воспоминание обрело скупую красоту гравюры. Верхом на муле я повторял путь Сида, воссозданный Менендесом Пидалем согласно древней поэме. Из Мединасели, где, видимо, жил ее автор, я направился в Бараону-де-лас-Брухас. Это самый высокий уголок Испании и один из самых бедных. Дорог почти нет. Колесом не пользуются. Транспорт исключительно выючный, и хозяин здешних мест – короткомордый мул, сын ослицы и, в сущности, облагороженный ослик, статный, стройный, с головы до ног – загляденье, да и только.

При виде этих мулов, таких ладных, таких первозданных, кажется, что сбилось то, о чем мечтал великий Хуан Рамон Хименес, готовя иллюстрированное издание «Платеро» – чудесной книги, одновременно простой и утонченной, неприязательной и нездешней, книги, которая должна бы повсюду стать школьной наградой, не будь наши власти столь безграмотны и скаредны. Ослик у художника все не получался таким, как мечталось поэту, и тот, расстроенный донельзя, просил сделать ему ослика тонкого, изящного, хрупкого. «Я хочу кристального осла», – заклинал он отчаявшегося художника. Так вот – эти маленькие мулы и вправду кристальные. И так славно они выглядят на кремнистых глыбах Сьерра-Министры, куда добираются лишь овцы да репейники, последние обитатели необитаемого мира.

Была августовская пора, душная, тревожная, и в этих холодных краях еще шла жатва. Селения были золотисто опоясаны токами, на которых отливало янтарем зер-

но. К полудню я добрался до Романильос, деревеньки, затопленной морем колосцев, и поспешил укрыться от солнца на постоялом дворе. После ослепительного зноя прохладная темнота сеней казалась непроглядной. Квадрат же входа, наоборот, сиял, как киноэкран, и отсюда, из темноты, все выглядело нереальным. По дороге спешили крестьяне в коротких штанах и головных повязках, шуплые, жилистые, с черными лицами и слепящими зубами. За ними позвякивали мулы с мешками ячменя, только что провеянного. Все от мала до велика были в поле и трудились лихорадочно, потому что август опасен ливнями и зерно прорастет, если не убрать его вовремя.

Из-за горизонта выдвигается плотное черное плечо тучи, зловешей и заворачивающей, и даль становится странно тревожной. В сени врывается вихрь и расцветивает потемки золотыми искрами – это пляшет и слепит рой половы. Еще порыв и еще. Первые тяжелые капли бороздят пыль. Люди ускоряют шаг. Капли становятся дробней, и вот уж раскатисто ухнул гром. Туча закрывает оком. Она победно выкатывается на дорогу, как колесница варварского бога. Полило. Люди пускаются бегом. Дождь усиливается. Новый раскат словно дробит равнину. Молния хлещет воздушных коней. Снова слепит вихрь, какое-то мгновение – и в сенях уже толчея мужчин и женщин. Крики, смех, чисто деревенская вакханалия. На пороге, спиной к свету, застывает девушка. Бедра стянуты красной юбкой, и белую сорочку вздувает, как парус, упругий развоенный ветер ее груди. Она светла, как ячмень, и синеглаза, как родник. Перенеся тяжесть тела на одну ногу и округлив бедро, она оперла на него, придерживав рукой, решето.

Крики покрывает визгливый голос старухи с черным сморщенным лицом и глазами пророчицы. Возбужденная сумятицей, наэлектризованная грозой и толкотней, она



изошрывается в непристойностях, и ее сивилины зрочки впереяются в незримых Приапов, которые испокон веков верховодят жатвой. Девушка на пороге слушает с улыбкой, словно природная чистота ее растворяет и гасит бесстыдные намеки. Она так хороша и так непорочна, что следовало бы поклоняться ей как «Мадонне с решетом». Гроза слабеет, вихри стихают. Влажно пахнет соломой и сыростью. В сенях становится просторней. Оживают бубенчики мулов, и первый луч солнца запутывается в волосах мадонны. Грозное крещено переходит в нежное диминуэндо. Страда продолжается, и путь мой – тоже.

К исходу дня с каменистой пустоши я различаю Бараону. На равнине, одной из самых высоких в Испании, – конус холма. На самом пике вглядывается в округу церковь, а под ней, пеленая холм, теснятся дома. Едва въехав, натыкаюсь на бесноватого. Одержимо и бессмысленно мечется он взад и вперед лихорадочными зигзагами, неотрывно глядя в небо. Бараона – сама как наваждение, и должна насыщать их. Какое из них заворожило беднягу? Небесное знамение, библейский огненный столп?..

Из улья ускользнул рой, и бедняга гонялся, чтобы поймать его. В конце концов рой повис на колокольне, высоко над селением, и закатный луч обратил его в искрометную золотую гроздь.

СИЛУЭТЫ ЗАМКОВ

Поездка – охота за зрелищами, и самая крупная дичь, которая нам достается, – это замки и соборы. Многое, увиденное мельком, куда притягательней и красочней. И, тем не менее, непрошеное и противоестественное появление на мирном горизонте собора или замка заставляет нас выпрямиться, напрячь зрение и приготовиться к неизгладимым впечатлениям. В нас,

бесспорно, неистребимы вкус к бульварным романам и мелодраматическая муть, которая начинает волноваться и булькать, едва лишь возникнут в поле нашего зрения гримасы этих каменных монстров...

По левую руку, далеко-далеко плывет по желтой пшенице сеговийский кафедральный собор, как огромный мистический древноут, который своей массивностью сводит на нет весь остальной город. Сейчас он кажется оливковым и рассекает апсидами пшеничные волны. В его арках, словно в корабельных снастях, сквозят лоскуты синевы...

Дальше идут замки: Фуэнтес де Вальдеперо, Монсон, Агилар де Кампо... По правде сказать, дорога, которую я на сей раз выбрал, неурожайна на замки. Но это неважно – какой бы ни возник, он действует как заклинание, и память переполняется башнями и бойницами. Из темных ее глубин, как собаки на свист пастуха, сбегаются все виденные встарь замки. И каждый тащит за собой приросшую к нему окрестность и принимает свое особое выражение, всегда нарочитое, призрачное, сомнамбулическое... Это крепость Атьенса – расцвела в вышине, поверх той, природной, что воздвигли в каком-то внезапном порыве скалы на нишей пустоши. «Атьенса, могучий камень!» – восклицает автор «Песни о Сиде» и продолжает – со смутной печалью: «Атьенса, мавры на стенах!» У высокого цоколя – очертания каравеллы, на носу которой застыли руины башни. За много миль виден этот корабль, неуверенно замерший между землей и небом... А вот Берланга, серебристый замок, воздевший львиные лапы над белой грядой, над бескрайним известковым рифом, который издали тоже отликает серебром, и оттого все вместе кажется чеканкой на серебряном подносе. У подножья – ренессансные стены дворца, принадлежавшего, если не путаю, коннетаблю Кастилии, а еще ниже – просторный сад женского монастыря. В тот



давний вечер я долго смотрел с угловой башни, как озорничают монахины в этом укромном цветнике. Они гонялись друг за дружкой как одержимые, выплескивая свою жизненную энергию, заточенную в уютный гарем для духовного брака... Вот Комбельтран – изысканный, витиеватый, из расселины у подножья Гредес он озирает долину, где пасутся пять поместий Момбельтрана... А это замок Лейре, колыбель наваррской короны у пиренейских отрогов – первый романский замок, кряжистый, с угрюмыми сводами и такими стрельчатыми аркадами, что невольно прикидываешь, точно ли они повторяют контур готского шлема. Вокруг буки, пихты и вся альпийская флора. Испания смыкается с влажной Европой... И снова сушь, багровая и сизая земля. Замок Хадраке. Балансируя на острие конуса с почти отвесными скатами, свирепая громадина бросает вызов окружающему... Гримасы и позы чудиш из потустороннего мира воспоминаний! Всегда полуразрушенные, на орлиной высоте, замки похожи на клыки и делают голую даль с горной грядой на горизонте похожей на известковую челюсть с единственным уцелевшим зубом.

Постепенно становится ясной суть того мелодраматизма, который будят замки в низинах нашего сознания. В охотничьей добыче туриста соборы и замки – промежуточное звено между чисто природным и чисто человеческим. Ландшафт без единого строения – это уже геология. Хутор или деревня – слишком человечны, иначе говоря – слишком искусственны и культурны. А собор или замок – это история и природа разом. Они кажутся естественным порождением горных недр, но в напряженности линий сквозит человеческая воля. Они фокусируют окрестность и превращают ее в подмошки. Камень, оставаясь камнем, заражается духовной тревогой. Это слияние всегда будет тайно притягивать души, не погрязшие в узком

рационализме. Сам по себе разум, в его привычности и повседневности, не вызывает у человека почтения. В глубине души хочется видеть его извне, как нечто космическое, стихийное. И ошущать в итоге, что разум, то есть мышление, так же изначален и естественен, как инстинкт или гравитация.

Бывают эпохи, когда человечество успешно забывает об этом и живет сугубо внутричеловеческим, не видя и не слыша остальной вселенной. Это время площадей, академий и парламентов, когда смутно рисуется мир, послушный муниципальным законам, мир, где слабый человеческий интеллект с апломбом разрешает любые загадки. Это, бесспорно, светлые, но скудные, художные времена. Так называемые «просвещенные» эпохи, когда разум довольствуется провинциальным прозябанием и слишком уж принимает себя всерьез.

О ЗАМКАХ

Растревожив наши мелодраматические струны и романтическую мусть – неизбежный отстой в душах людей, за плечами которых такая долгая история, замки внушают нам мысли. Диковинность очертаний, разбередившая душу, побуждает теперь к раздумью. Из той же диковинности возникает тяжеловесная, кичливая картинность – та же история, что с жирафом или страусом. В конце концов, это дома, построенные людьми, чтобы в них жить. Но в том-то и загвоздка. Какой же должна быть жизнь, чтобы стены, где она обитает, стали крепостными? Очевидно, это жизнь не просто непохожая на нашу, но самая непохожая, какую только можно представить. Поэтому появление каменного монстра, напругшего атлетические башни, ошетиленного зубцами, шпилями и водостоками, одним махом переносит нас на другой полюс человеческого существования.



Греческий или римский портик, цирк, одеон куда ближе нам, чем эти очаги угрозы и обороны, нелюбимые, угрюмые, свирепые, вечно кромсающие синеву своими дряхлыми клыками.

Действительно, античность и современность явно сближаются, когда в качестве *tertulia comparationis** выступает замок – предельная, абсолютная противоположность современности. Античность явно «современней» этой откровенной и роскошной дикости. Не случайно современность питалась классикой, а наши открытия и революции вершились под музыку греко-латинских имен. Наша общественная жизнь, интеллектуальная и политическая, пахнет форумом, а не бастионом.

Почему? Различие разительно, а причина проста и глубока. Средневековый мир был персоналистом. Античный – наоборот. И наш – в его внешних, общественных формах – заодно с античным.

Современный человек – ничто, и не обладает никакими правами и званиями, если не является гражданином государства. Но государство – это коллектив, первичный по отношению к личности. «Остальные» предвзряют нас как условие нашего существования, общественного, юридического и нравственного. Таким образом, основа нашей личности соткана из коллективизма. В античном мире дело обстояло точно так же. Человек начинался с городского гражданства и только в этом качестве мог осуществляться как человек.

Средневековый феодал, напротив, обходился без государства. Свои права он получал при рождении или добывал силой. Они зависели от него и только от него – и полностью признавались властями. Это персональное право – привилегия. Общественная жизнь была в действительности частной. Государство, будучи вторичным, возникало

в результате переплетения личных связей. Такое правовое сознание рождало и утверждало правовую неуверенность. Сегодня всякий, кто уверен, что права у него есть, уверен, что они надежны. Тогда же они по своей природе не были надежными, никто не мог их даровать и упрочить – и, чтоб иметь их и не лишиться, приходилось добывать их неутомимо. Феодалное право коренится в войне, тогда как античное и наше – воплощение мира.

Из этого не следует, что для средневекового феодала правом была сила. Все гораздо тоньше. Тогдашние воители страдали юридической шепетильностью. От подлинного «сеньора» идеалы эпохи требовали крайнего педантизма во всем, что касается права. Слепота, которой грешил испанский взгляд на Средневековье, пока не появился Менендес Пидаль и ряд молодых историков права, была причиной того, что в Сиде, этом рыцарском первообразе, никто не сумел разглядеть законника. А ведь именно это и означало прозвище «Кампеадор». Отнюдь не Воитель, а Знатор Закона. И потому он вечно ведет тяжбы, начиная с «Клятвы в Санта Гадеа», которая стала выступлением династической оппозиции по конституционным вопросам. (Надеюсь, что «Жизнь Сиды», над которой сейчас работает Рамон Менендес Пидаль, впервые оттенит эту черту прославленного кастильца, без которой он остается восковой фигурой.)

Сила не была для этих людей правом, но была правосудием. Германцы не спешили соглашаться на вмешательство трибунала, который расследует и карает. Общественный судья обезличивал тяжбу. Персоналисты по складу, эти северяне полагали, что тому, кто хочет иметь права, надлежит самому их защищать. В каком-то смысле право и способность его отстоять были для них единым понятием. И так с древнейших времен.

* Основание для сравнения (лат.).



«Ничем так не возмущали германцев их завоеватели, — говорит Сик в «Истории падения античного мира», — как попытками ввести правосудие по римскому образцу. Оттого-то в Тевтобургском лесу среди пленников были отобраны все юристы и казнены после изощренных пыток. И причина расправы коренилась не в римских законах — *jus gentium** римлян был достаточно гибким, чтобы приспособиться к обычаям подвластных народов, — но сам публичный суд, необходимость подчиняться власти и терпеть ее вторжение в частную жизнь казались «вольному» германцу невыносимыми».

Я убежден, что если мы попытаемся разглядеть за внешней оболочкой, всегда смутной и обманчивой, тот дух, который двигал германское право, то в конце концов обнаружим отпор растворению личного в общественном. Для Цицерона «свобода» означала господство установленных законов. Быть свободным — это признавать законы и жить по ним. Для германца законы всегда вторичны и возникают лишь после того, как утверждена и признана личная свобода — и вот на ней-то свободно утверждается закон.

Но разве не в этом суть современного либерализма? Разве современные демократии, при всем их внешнем сходстве с античными, не вдохновлены идеей, даже не приходившей в голову грекам и римлянам: свобода первичней закона и государства? Демократия, либерализм! Эти понятия настолько перепутались, что кажется парадоксальной сушая правда: либерализм — это плод, который взрашен на кручах крепостными стенами. Разберемся почему.

О ЗАМКАХ.

ЛИБЕРАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Испытать состав нашей души средневековым эликсиром — затея плодотворная.

* Гражданское право (лат.).

Сверх ожиданий выпадает осадок — и отстой оказывается эссенцией европейского духа.

Вначале замок кажется знаком жизни, которая целиком враждебна нашей. Мы спасаемся от него и ищем убежище в античных демократиях, которые ближе всего нашим общественным формам — государству и праву. Но пытаюсь ощутить себя гражданами на манер афинян и квиритов, наталкиваемся на странное внутреннее сопротивление. Античное государство овладевало человеком полностью, не оставляя ему ничего на личное усмотрение. И что-то в недрах нашей личности противится такому полному растворению в коллективной общности полиса. Видимо, мы не только и не настолько гражданственны, как пытаются это представить ораторы и передовицы.

И тогда замки словно распахивают нам в недрах своих декораций духовные сокровищницы, целиком подобные нашим. Эти башни воздвигнуты, чтобы защитить личность от государства. Господа, да здравствует свобода!

Но поскольку мгновение назад мы кричали: «Да здравствует демократия!», образуется некая связь между этими двумя выхлопами энтузиазма. В действительности, связующее — это европейская история последних двух столетий. Либерализм и демократия смешались в нашем сознании, и часто мы, подразумевая одно, провозглашаем другое.

Поэтому время от времени следует соскребать лишнее с этих двух понятий и возвращать им точный смысл. И сразу обнаруживается, что либерализм и демократия с самого начала имели мало общего, а под конец кое в чем разошлись бесповоротно.

Демократия и либерализм — это два ответа на два совершенно различных государственно-правовых вопроса.

Демократия отвечает на вопрос: «Кто должен осуществлять политическую власть?»



Ответ: «Осуществление политической власти возлагается на гражданское общество».

Но вопрос не касается границ этой власти. Речь лишь о выборе того, кому предстоит править. Демократия предлагает править каждому из нас – иначе говоря, все мы властны вмешиваться в общественные дела.

Либерализм отвечает на вопрос совершенно иной: «Каковы должны быть границы политической власти, кому бы она ни принадлежала?» Ответ звучит так: «Политическая власть, осуществляется ли она авторитарически или всенародно, не должна быть неограниченной, но любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность». Налицо стремление сдерживать натиск государства.

Так проявляется разная природа этих двух начал. Можно быть большим либералом и отнюдь не демократом, и наоборот – истый демократ далеко не всегда либерал.

Античная демократия была властью настолько неограниченной, что любой европейский монарх эпохи так называемого абсолютизма мог бы только позавидовать. Греки и римляне понятия не имели о либеральном духе. Больше того, само требование, чтобы гражданин ограничивал государственную власть и, значит, какая-то часть личности оставалась вне государственной юрисдикции, не могла зародиться в античном сознании. Это – германская идея, творение людей, громоздивших крепостные стены. Там, куда не проник германский дух, либерализм не укоренился. Так самодержавие в России сменилось демократией не менее самодержавной. Большевик – антилиберал.

Политической власти всегда и повсюду свойственно не признавать никаких ограничений. Безразлично, в одних она руках или этих рук миллионы. Крайне наивно надеяться, что демократия уберезет от деспотизма. Как бы не так! Нет деспотизма свирепей, чем распыленный и безответственный дес-

потизм демоса. Поэтому подлинный либерал опасливо и подозрительно относится к своим демократическим позывам и всячески, как говорится, сдерживается.

В противовес общественной власти, государственному закону либерализм выдвигает частное право, привилегию. Личность освобождается, в большей или меньшей степени, от посягательств на нее, свойственных любой власти. Однако самого института привилегий, закрепленных за определенным лицом, в истории не существовало, пока этого не потребовали и не добились для себя отдельные знатные готы, франки, бургунды. Неважно, что суть той или иной привилегии сегодня может нам казаться неприемлемой. Кардинально важно и то, что впервые на земле была узаконена свобода или, говоря иначе, на языке того времени и намного точнее, – «вольности». Весь дальнейший прогресс свелся к спорам, с одной стороны, о том, в чем воляна и в чем не воляна личность, и с другой – кому полагаются вольности и кому нет. В этом, как и во многом другом, европейская буржуазия дальше подражаний феодальной знати не пошла. «Права человека» – это вольности и ничего кроме. Всего лишь абстрактная и самая общая формула средневекового правосознания, которое кажется нам таким чуждым единственно из-за нашей близорукости. Владельцы этих чудовишных обиталищ, именуемых замками, дали галло-романским, кельтиберским и тосканским массам урок либерализма.

Любопытно, что французский историк, если он антилиберал или клерикал, непременно упирает на галло-романскую, то есть абсолютистскую, основу нации. Либеральное же направление, сбитое с толку современной предубежденностью против Средних веков, не решается упирать на франков, хотя втайне к ним тяготеет. И тем не менее, во Франции дух свободы ярче всего воплотился в ряде трудов, написанных ари-



стократами, которые под натиском королевской власти требовали старинных привилегий. Таков Монлозье. (В заключение советую прочесть «Письма о французской истории», которыми Тьерри предваряет свои «Меровингские повести». Автор даже не подозревает о той проблеме, которую мы сейчас затрагиваем. И поэтому совершенно произвольно выявляет либеральный дух феодализма, если под феодализмом понимать весь период начиная с переселения народов и кончая XV веком.)

Мне кажется, что наши представления о Средневековье весьма скоро изменятся. Мы еще не научились смотреть на него просто и трезво. Так немецкие историки, удрученные крайне малым демократизмом своих прашуров, упрямо насилюют факты, дабы доказать, что германцы были знакомы с публичным правом. Разумеется, были. В человеческом сообществе это вещь слишком важная, чтобы не знать о ней. Вопрос только в том, преобладает ли общественное над личным или наоборот. Германцы были в большей мере либералами, чем демократами. Средиземноморцы – в большей мере демократами, чем либералами. Английская революция – торжество либерализма. Французская – демократизма. Кромвель стремится ограничить власть короля и парламента. Робеспьер хочет, чтобы правили клубы. Так обнаруживается, что «права человека» перекочевали во французское Учредительное собрание из Соединенных Штатов. Что же приворожило средиземноморскую галльскую душу? Прежде всего – *egalité**.

О ЗАМКАХ. ВОИНСКИЙ ДУХ

В конце концов, повторяю, замок – не что иное, как дом, построенный людьми, чтобы в нем жить. Но в том-то и загвоздка. Какой должна быть жизнь, чтобы

стены, где она обитает, стали крепостными? Наш домашний уклад – по преимуществу, образ повседневности. Замок – это война как повседневность и жизнь как война.

Крайне трудно представить себе душевный склад человека, для которого жить означает воевать. Для нас жизнь означает совсем обратное. Войну мы ошущаем как нарушение жизни, которое прерывает ее ход. Война отрицает то, что считаем мы жизнью, и отрицает настолько, что вряд ли представляется нам чем-то еще, кроме смерти.

Вслед за Спенсером вошло в моду противопоставлять воинский дух промышленному и, не колеблясь, последний предпочитать первому. В прошлом веке человек радовался, если в нем отсутствовала военная жилка и признавалась зато предпринимательская. Войну он считал варварством, и вполне заслуженно, а варварство – абсолютным злом, и вообще-то напрасно.

Слово «варварство» в обыденном употреблении утратило собственный смысл и сохранило лишь унизительный оттенок. Как и слово «дикарство». Забывается, что то и другое – два типа духовности и две неизбежные ступени развития, как детство и юность. И как нелепо было бы считать нормальной и достойной внимания одну зрелость, словно детство и юность – отклонение от нормы, так же неразумно презирать варварство и дикарство. Куда разумней отнестись со всей серьезностью к великой прописной истине: цивилизация – дочь варварства и внучка дикарства. Я понимаю, что эпохи, лишенные исторического чутья, неспособные видеть реально свое развитие и свои корни, мирятся только с цивилизованными формами жизни и не в силах распознать в варварстве ничего, кроме изъянов.

Разумеется, культурному человеку прискорбно было бы утратить культуру и стать варваром. Но, пожалуй, стоит заметить, что

* Равенство (фр.).



культурному человеку лучше всего было бы не утрачивать живучего варварского начала, как и взрослому лучше всего не глушить в себе вечный источник молодости и даже детства. Всех, кого случай сводил в жизни с великим человеком, неизменно удивляла та аура ребячливости, что его отличала. Развитие – не зачеркивание вчерашнего, а напротив, сохранение самой его сути, у которой достало сил сделать сегодняшний день намного лучше.

Эта попытка защитить варварство может показаться парадоксом или уловкой, но в действительности она так же искренна, как и оправданна. И сводится она, в итоге, к напоминанию, что культуру рождает не культура, а те предваряющие ее силы и соки, плодом которых она и становится. Корни культуры уходят в варварство, любое обновление ее зарождается там, в этих диких недрах, и когда они истошаются, культура чахнет, цепенеет и гибнет. Требовать одного, отвергая другое, – это лицемерие. Кто хочет завтра культурного обновления, должен сегодня обеспечить Европе определенный запас варварства. Вспомним нашего Кампоамора, поэта прописных истин:

*Раз Цинциннат, сажая грядки,
Заметил мудро на ходу:
«Кто топчет гусениц, навряд ли
дождется бабочек в саду».*

Наиболее проницательные умы сегодня тревожатся, не иссякнет ли в Европе то горючее, на котором должна работать культура. И первым – воинский дух.

С каждым замыслом сопряжены два побуждения – желание успеха и боязнь риска. Каков и в какую сторону наш первый порыв, еще до всех обдумываний и расчетов? Берет верх желание взяться или страх, побуждающий уклониться? Воинским

духом я называю такое повседневное состояние духа, при котором опасность задуманного не признается достаточной причиной, чтобы отказываться от него. Промышленный дух, напротив, велит считаться с опасностью и постоянно жить с оглядкой. Война – лишь одна из форм, в которых выступает воинский дух. Сущность ее – угроза смерти. Понятно, что война знаменует все оттенки и степени риска, поскольку это умышленно подготовленная и осуществленная угроза существованию врага.

Причина того, что воинский дух переживает жадной действия боязнь опасности, – не что иное, как несокрушимая вера в себя. Напротив, промышленный дух замешан на неистребимом недоверии.

Варварские времена – период веры в себя. Это великое свойство той эпохи следовало бы привить нашей, перекормленной до тошноты опасениями и предосторожностями. Ни дикарь, живущий в вечном страхе, ни современный человек с его вечной осмотрительностью и мнительностью не наделены этим великим варварским даром – верой в себя.

Римлянину периода упадка, разуверенному в себе, шаткому и малодушному, варвар казался, прежде всего, воплощенной гордыней. В действительности эта гордыня были ни чем иным, как великолепной, врожденной уверенностью в себе, и благодаря ей, а вовсе не себялюбию, – стойким уважением к себе. Когда подобное самоощущение окончательно разладилось, римлянин перенес уважение с себя на свою культуру – признак иссякшей жизненности, – и отсутствие у германца тени уважения к этой культуре казалось ему варварским. Германец же настолько был уверен в себе, что ему не требовалось оправдывать свое существование поклонением и преданностью культуре. Слишком много от идолопоклонства и жалкого, боязливого заклинательства в этом



обожевлении культуры и возносимых к ней молитвах. Мы хотим, чтобы нас оправдывала и спасала она, вместо того, чтобы делать это самим.

Но, само собой, одно дело – воинский дух, и совсем другое – армейский. Средневековые не знали военщины. Военщина знаменует вырождение воина, развращенного промышленностью. Это вооруженные промышленники, изобретшие порох бюрократы. Их создало государство для истребления замков. С их появлением начинается война на расстоянии, абстрактная война стволов, оружийных и оружейных.

О ЗАМКАХ. СМЕРТЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ АКТ

Противопоставление воинского духа промышленному выглядит в наши дни все нутужней и умозрительней. Со времен Спенсера многое изменилось в мире и особенно в таком его средоточии, как наше сердце. Малейшему отклонению сердечной стрелки соответствуют гигантские сдвиги миропорядка. Спенсеру промышленность виделась в излишне розовом свете, а война – в исключительно черном. Мы же сегодня замечаем, насколько две эти силы, оставаясь полярными по духу, взаимодействуют, питают и сдерживают друг друга, предлагая нам не одно из двух на выбор, а совместные плоды обоюдной селекции. В этом, как и во всем, проступает характерная черта нашего времени – поворот от борьбы противоположностей к их единству. Мы помним, что за двумя зайцами не гонятся, но чувствуем, что можно и нужно поймать обоих.

Воинский дух рожден мироощущением, прямо противоположным тому, что лежит в основе духа промышленного. Это, как уже говорилось, вера в себя и свое окружение. Неудивительно, что такой взгляд на мир жизнерадостен. И, действительно, не пара-

докс ли, что Средневековые, которое бестолковые историографы рисуют в удручающе мрачных тонах, было временем оптимистичной философии, тогда как наше Новое время свыклось с пессимизмом. Что же, воинская вера в себя была слепой? Ничего подобного. Мировую скорбь ошущали тогда не хуже Шопенгауэра, знали толк в опасностях и не преуменьшали трагизм существования. Но в том-то и загвоздка! Иным был безотчетный отклик на мир угроз и тягот. У воинской натуры такой неутолимый вкус к жизни, что жизнь она осушает одним глотком, со всеми растворенными в ней страхами и бедами. Она признает их настолько присущими жизни, что не видит в них ничего ушербного, воздаст им должное и вместо того, чтобы пытаться избежать их всеми правдами и неправдами, принимает их. Эта готовность рисковать не во избежание, а во имя опасности, и есть воинское отличие, воинский шит и кров.

Нечто родственное такому душевному настрою проклюнулось и в наши дни и неожиданно распознается, выступая в спортивной форме, отнюдь не архаичной. На мой взгляд, разница между игрой и спортом та, что он непременно предполагает риск, пусть даже это риск надорваться. Спортсмен, не уклоняясь, идет навстречу опасности, и только тогда он спортсмен.

Курьезно, что чем меньше вкуса к жизни, чем больше она представляется сплошной тяготой, как это свойственно современному человеку, тем покорнее за нее цепляются. Утвердилась и правит изнеженная мораль: все что угодно, лишь бы не смерть. Да почему, если жизнь так невыносима? В конце концов, жизнью, как монетой, дорожат единственно для того, чтобы истратить ее вовремя и с толком. Если жизнь не ставить на карту, никогда и ни на какую, что проку длить и длить ее пустоту? Разве наш идеал – это всемирная богадельня?



Таков промышленный дух, именно так ощущает мир буржуа. Он хочет жить любой ценой и не мирится с мыслью, что умирание – истиннейшее свойство жизни. Но единственный стоящий способ удлинить жизнь – это свести ее к минимуму, как делают некоторые животные, впадая в зимнюю спячку. Биологи называли это *vita minima**. Из названия видно, что жизнь удлиняется в той мере, в какой не используется. Экстенсивность достигается в ущерб интенсивности. Завидно ли такое торжество количества над качеством? И достойней ли долгая жизнь жизни высокой?

Ни в этике, ни в биологии не уделено еще достаточного внимания такому важнейшему факту, как неизбежность смерти. Недавно великий физиолог Эренберг показал, насколько необъяснима жизнь без участия смерти. Это химический процесс, цепочка реакций, каждая из которых неумолимо торопит следующую, пока весь их ряд, неукоснительный и предрешенный, не завершится. Жизнь подобна траектории полета и с самого начала стремится к завершению: жить означает «изживать себя». Феномен смерти возникает в миг зачатия. Нельзя изменить неотвратимый процесс, можно только искусственно тормозить его, замедлять каждую из реакций. Жизнь трусой дольше, чем жизнь галопом, но в итоге, говоря языком химии, ни в одной из них не больше жизни, чем в любой другой. Черда реакций всегда одна и та же, как черда кадров в киноленте, с какой скоростью ее ни запускай. Переживания и раздумья – самые надежные ускорители жизненных реакций и плетью пускают их в карьер; как сказал бы Грасиан, – это вестовые жизни, «которые к общему бегу времени добавляют собственное нетерпение».

И хотя разные темпы жизни биохимически равноценны, неравноценно то, на что они способны. Жизнь, уплотненная во вре-

мени, обретает иные формы, чем растекшаяся по его поверхности. Это формы героизма – собирательного имени всех, кто своевластно предваряет смерть.

Непонятно, почему долг перед собственной жизнью, потребность управлять ею, подчиняя своей воле и высокой цели, не может распространяться на смерть. Если это фактор жизни, ее составная часть, мы должны так же осознанно, как распоряжаемся жизнью, распоряжаться смертью.

Моральный дух иного, лучшего закала, чем ныне господствующий, отверг бы такие этические нормы, которые удерживают от малейшего риска единственно для того, чтобы благополучно умереть естественной смертью. Биохимической смертью, неизбежной и вынужденной, такой же, как у животных и растений, – и, быть может, у вселенной. Не достойней ли воспользоваться смертью, распорядившись ее мощью по своей воле? Такая установка надежней оберегала бы человека, которому жизнь дана, чтобы ею рисковать, но рисковать не зря.

Промышленный дух, сам того не замечая, начинает уже способствовать этой воинской установке. Движимый страхом смерти, он немало потрудился, чтобы подчинить себе природу: созданная им техника уберегает нас от физического износа, чудодейственная медицина – от бессмысленной смерти в результате болезни, сложенная экономика делает надежней благополучие и саму жизнь наших близких, которой мы не вправе рисковать и тревога за которую склоняет нас к унизительному долголетию. Все эти средства защиты от биохимической смерти освобождают нашу волю к иной, избранной нами смерти и побуждают нас взамен устраненных ими природных опасностей искать и создавать себе другие.

Так два полярных духовных импульса, сближаясь, ведут к новой этической норме. Но после двухвекового бегства от смерти

* Скромное существование (лат.).



многое нужно, чтобы вернулось утраченное искусство умирать. И неплохо было бы, если бы наряду с больницами, страховыми обществами и сберегательными кассами множились содружества братьев по риску. К этому насущному делу, впрочем, как и ко многим другим, инстинктивно приобщился спорт, начав первым культивировать опасность.

Биохимическая смерть недочеловечна. Бессмертие – сверхчеловечно. Очеловечить смерть может лишь честное, вольное и бескорыстное общение с ней. Станем же поэтами бытия, способными свою жизнь удачно срифмовать со смертью, подсказанной вдохновением.

О ЗАМКАХ. ЧЕСТЬ И КОНТРАКТ

На протяжении Средневековья человеческие отношения опирались на верность, а верность – на честь. Современное общество, напротив, основано на договоре. Ни в чем не проступает так наглядно духовное противостояние двух эпох. Верность, как явствует из самого слова, это возведенное в принцип доверие. У человека с человеком тайная и глубоко личная связь. Договор же, напротив, цинично выставляет напоказ наше недоверие ближнему и стремление связать его вещественным обязательством – документом – мертвой материей, вневличной для обеих сторон и способной при необходимости обернуться против каждой из них. Убогое кредо современности! Она верит лишь материальному именно потому, что оно бездушно и безлично. Недаром же она постаралась возвести физику в ранг теологии.

Соответственно, нарушитель договора объявляется преступником и автоматически подвергается предусмотренному наказанию, имущественному или физическому, но чисто внешнему. Тот же, кто обманул

доверие, совершил бесчестность, именуется предателем, к этому, собственно, и сводится наказание. Другими словами, казнью становится публичное оскорбление, потому что лишь унижение ранит личность, казнит душу.

И незачем напоминать, как охотно средневековые магнаты разглагольствовали о чести и как легко алчность и похоть обращала их в самых вероломных и разнузданных самодуров. Удивляться тут нечему. И в наши дни нарушение договоров и подделка документов заставляют раздувать судебские штаты. Сравнивая эпохи, надо пользоваться двойной бухгалтерией – отдельно сопоставлять реалии и отдельно – идеалы времени. То, что есть, и то, что должно быть. Иной подход бессмыслен. Суть идеала в невозможности его осуществить. Его назначение скорее в том, чтобы бесконечно возвышаться над действительностью и влиять на нее символически, наподобие того, как звезды влияют на корабль. Полярная звезда – не порт, куда можно приплыть, но дальний, нездешний знак, который уточняет курс и дает направление.

Излучать идеалы – одно из свойств человеческого организма. Нравственными нормами мы наделены, как частями тела, и если одни составляют наш облик, то другие высвечивают его, проецируя ввысь.

ИГРА В ИДЕАЛЫ

Эти вечно неосуществимые идеалы – в конечном счете, вторая действительность любого времени, очередные побегі его человеческой поросли. И порой, приглядываясь к былому и постоянно замечая, как не хватает ему именно тех черт, которые провозглашались тогда образцовыми, легко заподозрить, не затеян ли весь этот идеальный балаган с единственной целью – жить двойной жизнью и, взвинчивая себя



искусственно, риторикой и вымыслом, прятаться за красивыми жёстами. Мало ли встречается людей, которые к реальной своей жизни как бы пристраивают воображаемый верхний этаж и со всей серьёзностью позируют на балконе, являя живые картины жертвенности, аскетизма и добродетели!

К этой породе принадлежат и все те, кто уверовал в свою «миссию», – спасители отечества, реформаторы общества, жрецы искусства. Обычно эти люди обескуражены своей неспособностью к чему-то дельному и нуждаются в диковинном и праздном занятии, которое возмещало бы изначальный крах. Так посредственный литератор – надеюсь когда-нибудь исследовать трагический феномен «бездарного писателя» – стремится убедить себя и других, что суть не в мыслях, образах, музыке слова, занимательности и т.д., а в борьбе за правое дело, в защите социализма либо независимости. А что бедняге остается? Бороться за правое дело все же проще, чем мыслить, да еще образами. Такого с ним не приключалось.

Эта компенсаторская роль идеалов весомей, чем кажется. С их помощью человек силится возместить недостающее и принимает перед зеркалом атлетические позы именно потому, что хил от природы. Признаться, добродетельность и «предназначение» способны меня отвести от человека, если только он сам не стесняется их настолько, что всячески скрывает и маскирует легкомыслием.

Этот искусственный оттенок возвышенной игры или изысканного спорта, присущий идеалам, усиливается в них по мере того, как истощается время. Так произошло и с рыцарским идеалом. Никогда он не был так красноречив, сценичен и нарочит, как на исходе XIV и на протяжении XV века, когда подобные изыски стали несовместимы с реальной жизнью. И нередко те авторы, что пуше всех восхваляют рыцарскую честь и

млеют, повествуя о прекрасных дамах, турнирах и битвах с неверными, вдруг озадачивают нас ироническим тоном. «Позднее Средневековье – один из тех заключительных этапов, когда жизнь высшего слоя почти целиком уподобляется светской забаве. Действительность сурова, жестока и трудна; поэтому воздвигается над ней воздушный замок рыцарского идеала и разыгрывается феерия. Хочется доиграть жизнь в маске Ланселота. Это чудовищный вымысел, и сносить его желанную ложь можно только благодаря легкой издевке, которая уравнивает самообман. Во всей рыцарской культуре XV века главенствует шаткое равновесие между проникновенным служением идеалу и тонкой насмешкой» (Йохан Хейзинга. Осень Средневековья. 1924).

Так у Жана де Бомона читаем:

*Когда мы за столом пьем доброе вино,
Когда заглядывают дамы нам в лицо
И взор их полнится красою и весельем,
А белизна груди под тяжким ожерельем
Нам горячит сердца и прибавляет сил,
Тогда вселяется и в нас геройский пыл –
И кто в мечтах разит Альмонта с
Агулантом,
Кто бьется с Оливье, а кто –
с самим Роландом.*

*Но стоя в стременах в урочище пустом
С копьём наперевес и поднятым щитом,
Когда от инея доспехи наши белы
И члены затекли, а нам навстречу –
стрелы,
Тогда мы рады бы залечь в такой щели,
Чтоб до скончанья дней
найти нас не смогли.*

Но сомнения, недоверие к своему идеалу как раз и побуждают его утрировать, и отсюда все барочные преувеличения. И вот уже наслаждаются, читая, как Гийом д'Оранж, если не путаю, нанес и получил на турнире столько ударов, что заклинился



шлем, и герой едва смог доскакать до кузницы, положил голову на наковальню и вытерпел еще добрую порцию ударов, прежде чем был расклепан. Еще лучше история с рубашкой, рассказанная бельгийским трувером. Дама посылает трем поклонникам по очереди свою рубашку, дабы она заменила им на турнире кольчугу. Повезло лишь одному последнему: из тяжкого испытания он вышел с честью, весь израненный и в окровавленной рубашке. Герой был вознагражден, но тут же потребовал ответного самопожертвования и просил даму явиться на праздношество по случаю турнира в такой же багряной рубашке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПУТИ. КАНТАБРИЯ, ИЛИ «ДОРОГУ ГЕРБАМ!»

Замки слишком нас задержали красноречивым молчанием руин. Заводим мотор. Автомобиль наш уже слишком стар, он исколесил почти всю Испанию и не однажды, карабкался почти по всем перевалам и трясся по бесчисленным долинам, обгоняя наши дряхлые реки. И, словно старый слуга, он ворчит, кричит, но слушается. Иногда у него соскакивает колесо, вольно катится по жнивью, исполняя магической жизни, и подпрыгивает с таким гордым видом, словно это колесо Фортуны.

Испанская сушь позади, и мы спешим навстречу влажным горам. Голая земля, сизая или бурая, сменяется зеленью и при этом съезживается, дробясь на крохотные тесные долины. Воинственные замки уже не грызут синеву шербатыми деснами стен. Вместо них чернеют или светятся окна каменных господских домов. Кастильские замки похожи на голодных солдат. У этих же дворянских гнезд вид мирный и вполне благополучный. Но далеко не роскошный. В Испании вообще не встретишь ни роскоши, ни великолепия. Разве что два-три живопис-

ных уголка, два-три архитектурных исключения – например, Эскориал.

С малыми отклонениями облик господского дома – хмурый, насупленный и чем-то недовольный – одинаков от Астурии до Наварры и воплощает собой архитектурный стиль всей Кантабрии. На самом деле дом невелик и все же оставляет впечатление чего-то огромного. Секрет не в размерах, а в его пропорциях и претензиях – в его, если так можно выразиться, самомнении. (Помнится, Вилье де Лиль Адан определял славу как тайное представление человека о себе.) Действительно, у этих сооружений важность, самоуверенность и спесь поистине дворцовые. По сравнению с ними замки в кастильской дали кажутся понурыми, тревожными, растерянными и явно не уверенными, уместны ли они в этом мире. С кантабрийскими домами обстоит, как с некоторыми людьми: керамист Даниэль Сулоага был очень низеньким человеком, почти карликом, но черты его лица поражали монументальностью, чем-то микеланджеловским, и на пустой экран памяти он проецировался гигантом. Карликовым гигантом, наподобие этих карликовых домин, надменно замерших над кантабрийскими проселками.

Что же подвигло эти степенные, коренастые стены вспучить пышные брыжи немислимых гербов? Ведь на славных кастильских замках гербов почти нет, а если и есть, то самые незатейливые. Здесь же, в обители кантабрийского дворянства, они чудовищны. Эти фантастические клумбы на голых стенах, эта вулканическая лепнина, словно опухоли тщеславия, разъедают честный строгий камень. Довольствуясь сегодняшним, эти стены глухи и безучастны к дерзким замыслам, зато бредят давними подвигами. Героические сны того, кто давно не герой, вспучивают камень фантазмагорическими видениями, пропитывают его, и стены отпотевают, неустанно сочась геральдичес-



кой фауной – бискайскими волками, астурийскими медведями, хохлатыми химерами, либо корабельными рострами и скрещенными мечами. Не пройти и десятка шагов, как тут же остановит фасад, патетически вздывая свои геральдические бицепсы.

Любопытное совпадение. Гербы в Испании начинают кишеть там, где исчезают города. Давно уже Корпус Варга отметил, что в Стране Басков города как такового не существует. Южанину с его понятием города трудно воспринять эту северную россыпь жилищ, которые словно разбегаются на глазах. Андалузский или кастильский город целостен, как законченная скульптура; кантабрийский город – это, скорее, местность, он центробежен, его строения нацелены в поля и разлетаются по округе.

Однако рассуждения о деревенском духе Кантабрии могут завести в достаточно темные дебри. Это общий для Испании дух, и не так-то просто уловить и определить его местные оттенки. Но то, что у северных городов есть этот инстинкт разобщенности и разбегания, не подлежит сомнению. Все, от мала до велика, наперебой призывали сделать Бильбао современным городом, основательным, четким, без рыхлости, но едва Бильбао начал разрастаться, как моментально спутал муниципальные планы, и его подлинные городские ресурсы – не то, что мы обозначаем как Бильбао, но Негури, Альгорта, Аренас – пригороды, разбросанные по окрестностям центробежными силами. (Увлекательнейшая вещь – морфология городов!)

Короче говоря, в подлинных городах господствует площадь, агора, форум. По меткому определению, пушка – это дыра, обернутая железом; таков и город – пустота, то есть площадь, огороженная фасадами. Остальная часть дома для города несущественна (вспомним Рим или Афины). Другими словами, город только тогда город,

когда общественное господствует над частным, государство – над семьей. В Кантабрии все наоборот: кровное родство господствует над социальным, и это разом объясняет и разобщенность жилищ, и непомерность гербов. Кантабрийцы и баски гордятся семейственностью и вдохновляются генеалогическими иллюзиями. Семейный куст цепляется за свой клочок земли, ибо корни, питающие рост, должны уходить вглубь. У отца Гевары – не помню, в письмах или в его «Обличении двора и восхвалении сельской жизни», – я прочел, что в его время тот, кто хотел сойти за богача, представлялся кастильцем, а кто напирал на родовитость, называл себя баском. Сегодня богатство – относительное богатство, в Испании по-настоящему богатых нет, – перекечевало в Кантабрию, но родовая гордость осталась там же, где и была, и продолжает лихорадить каменную кладку, вспучивая стены бредовой геральдикой.

САНТИЛЬЯНА ДЕЛЬ МАР. У ВХОДА В ПЕШЕРУ

Сантильяна дель Мар походит на старинную театральную декорацию, созданную для педантичного александрийского стиха, и хочется поскорее вознаградить себя пещерой Альтамиры. Традиционное искусство тяготит – оно настолько уже примелькалось, что трудно ждать от нашей пресыщенности ответного порыва. Классика, готика, Ренессанс! Наша реакция на них настолько привычна, что почти превратилась в условный рефлекс. Мы на зубок знаем ту заезженную пластинку, что закрутится при встрече с шедевром. И не ждем ни приключения, ни чуда. А без них невозможно подлинное эстетическое переживание. Его привычно путают с обыденным удовольствием, уютным и обеспеченным, как супружеские радости, и возникающим



без проволоочки и без каких-либо душевных потрясений при взгляде на такую знаковую и такую знаменитую вещь. Речь идет об условном впечатлении, которое на самом деле существует еще до встречи с прекрасным. Этого, в сущности, и хочет добропорядочный обыватель – чтобы нервы успокаивались и чтобы шедевры совпадали с заранее намеченной схемой. Чтобы Пизанская башня действительно была наклонной, чтобы готический собор отличался стрельчатыми сводами, чтобы холст Веласкеса по-собачьи подчинялся своему традиционному истолкованию.

И тем не менее, подлинное эстетическое переживание рождается лишь тогда, когда его не ждут и не готовы восхищаться. Судите сами: если в мире и вправду так много прекрасного, как говорят, то красота либо должна разорвать нам сердце, либо она настолько безобидна и безжизненна, что не стоит нашего внимания. Я думаю, что чувствовать искусство перестали потому, что начали его тиражировать. Насколько прекрасней ощущать его как редкое приключение, которое, быть может, не повторится! Поначалу – как неожиданность. Бредешь по жизни, озабоченный делами, и вдруг что-то налетает, выводит из себя, повергает в испуг и несет, как вихрь небесный пророка, в запредельность. Искусство неразлучно с экстазом, и быть восхищенным – это, в самом строгом смысле слова, «быть вне себя».

Человечеству необходимо время от времени хорошенько трясти древо искусства, чтобы стряхнуть загнившие плоды. Ради самого же искусства надо держаться с ним построже, чтобы не мы ему потакали, но оно само брало над нами верх и подчиняло своей воле. Этого требует его внутреннее достоинство. Иначе, если мы будем копить восторги, а пресловутая красота – приумножаться с каждым веком, к концу тысячелетия на земле останутся одни кладбища и музеи.

Надо вырвать искусство из обывательских буржуазных рук, его прикарманивших, и сделать его нестерпимым, а значит – настоящим. Не приспособливать его к душевной косности, а наоборот – терзать им людей, чтобы сделать их чуткими к нему.

Такой взгляд может показаться крайним. Однако позволю себе слегка задержаться на нем. Все это гораздо проще и серьезней, чем кажется. То же самое, что происходит с искусством, только в меньшей степени, происходит и с наукой, и, наверно, стоит затронуть и ее.

Я не раз говорил, что пора покончить с бездумным поклонением науке, этим культом девятнадцатого века. И вот почему. Чем больше преклонение перед наукой, тем меньше взыскательности к ней и, с другой стороны, тем искаженной и ошибочней представления о ее роли и возможностях. Пиетет, таким образом, достигается ценой приукрашивания. В один прекрасный день обман неизбежно раскроется, и честный обыватель объявит тогда «банкротство науки» и заодно крах культуры. И бросится разоблачать псевдонауки, возникшие благодаря его благоговению. Это не просто предположение. Последняя война дала толчок такого рода филиппикам. Честный обыватель свято верил, что назначение науки и вообще культуры – покончить с войнами и сделать его жизнь комфортабельной. Возможно, столь же свято он верит, что назначение искусства – сделать его дочерей добродетельными и счастливыми. И поскольку это не так, а скорее наоборот, неминуем день, когда он ополчится на искусство и объявит его вне закона.

Не разумней ли полагать, что искусство и в какой-то мере наука далеко не безусловны, что само существование их всегда под вопросом, что это скорее потребность определенного рода людей, которые творят не ради громких дел, а просто находя в том



удовольствие, как если бы играли в шахматы или ловили бабочек? Все, что способно удержаться на этом непритязательном уровне, обретает силу и прочность. Художество и знание – это нечаянные радости, и напрасно гадать, когда, как и откуда, из какого волшебного края, они придут. И не стоит ни рассчитывать на них, ни строить свою повседневную жизнь на такой неосознаемой почве.

Напротив, жертвенное возлияние надо совершать, не упоая. Эллин выплескивал немного вина в дар богам, не ожидая от них ничего сверхъестественного. Искусство и наука не требуют ни всеобщего почтения, ни дружного восхищения. Лишь иногда немного чуткого внимания, пристального и придирчивого, чтобы знать, не свершилось ли чудо.

Исключение составляет лишь одна область науки – экспериментальная. Не будем сейчас рассуждать, какое место в иерархии познания положено ей по штату. Речь идет не о познании, а о пользе. Прикладные науки – ключ к секретам техники, а техника жизненно важна для всех. И вполне справедливо требование, чтобы в техническом прогрессе, безусловном и далеком от чудес, участвовали все. Вряд ли подлежит сомнению, что если удвоить число лабораторий и не скупиться на средства, можно смело прогнозировать, когда именно будет побежден туберкулез, рак, открыты новые виды энергии и т.д., и т.п. Вот наука, пиетет перед которой стоило бы сделать массовым. Она не обманет надежд и призывает жертвовать на то, что действительно всем интересно. На технику решения проблем.

Но искусство и чистая наука сами по себе проблематичны и привлекают лишь бескорыстных искателей приключений. Не поведет лишь бескорыстие, это надежная опора. Мне возражат, что таким людям тоже нужны средства, помощь, поддержка обще-

ства. Очень хорошо. Пусть им в частном порядке помогают те, кто действительно любит чудесные приключения.

Вот он, вертеп, где родилось искусство. Здесь, у входа в пещеру, осознаешь окончательно, что искусство – это царственная случайность. Его нельзя замыслить, как преступление или выгодную сделку. Люди Альтамыры столкнулись с искусством, не подозревая о нем. Оно явилось как откровение, настигло их, как раненый бизон.

САНТИЛЬЯНА ДЕЛЬ МАР. ТЕНЬ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ

С лужитель распахивает решетчатую дверь, заслонявшую черный зрачок пещеры. Ноги скользят по влажному камню, и вскоре челюсти смыкаются, и мрак месит нас своими призрачными деснами. Так, наверно, выглядела та пещера из кельтской легенды, что называлась Чистилищем Святого Патрика. Кто выбирался из нее, навсегда разучался смеяться. И это музей! Но скредное наше отношение к музеям понемногу смягчается. Великолепно, музей впотьмах! Руки борются с тьмой, раздвигая в ней проходы, а ноги запинаются, боясь оступиться и стремительно полететь в тартарары.

Тем временем гид зажигает ацетиленовую лампу. Не терпится увидеть прославленных бизонов. Вот они! Бегут по каменному своду! Стоп, это же наши собственные тени, зыбкие, странные, отброшенные поставленной на пол лампой. А что ж бизоны? Какой-то лукавый стыд не позволяет им ни с того ни с сего показываться непосвященным. Очевидно, пол пещеры за тысячелетия ошутимо поднялся и расстояние слишком мало, чтобы взгляд мог охватить все изображение, обычно пространное, целиком. Надо, чтобы гид направлял наши глаза, обводя контур каждого животного указкой. Но обведешь раз-другой – и от бесценных изоб-



ражений мало что останется. И служитель изобрел способ, который удивительно соответствует обстановке и магическому смыслу рисунков. Лампа наслаивает на алтамирские росписи причудливо разбухшие тени туристов, и первое, что встречает посетителя, – это его собственный и ничем не примечательный силуэт. (Ученик саисских мудрецов обошел весь мир в поисках истины; возвратясь в Саисский храм, он бросается к его святым, разрывая завесу, скрывающую тайну Изиды, и видит... свое лицо, отраженное в зеркале). Но среди наших теней движется тень палочки в руке служителя, и вот острое-то этой тени, воздушное и невещественное, и скользит по своду, магически воскрешая весь палеолитический зверинец, который уже двадцать тысяч лет обитает во тьме своего горного тайника, ныне взломанного.

Я здесь во второй раз – и ошеломлен больше прежнего. Совершенство и сложность этого подземного искусства основательно перетряхивает наши заржавелые и слишком самоуверенные представления. Бесспорно, алтамирская пещера – один из величайших подарков, уготованных нашему времени. Она раздвинула горизонты истории и цивилизации и разом утроила объем человеческой памяти. Ну, а если новое явление, да еще такой значимости, не вмещается в нашу систему представлений, тем хуже для нее, и Алтамира заставляет нас основательно расширить кругозор.

Скандалная сторона явления очевидна. Разве не обескураживает одно уж то, что искусство живописи, такое трудное по уверениям художников, сразу начинает с совершенства? Впрочем, искусство Египта свидетельствует о том же. Пластическое совершенство и там достигается сразу. Откуда у дикарей Алтамиры это изящество, эта музыкальность, эта победная красота линий?

Вопрос, по зрелом размышлении, риторический. Подобное встречается сплошь и рядом. Многие из лучших художников современности при ближайшем знакомстве оказываются реликтами каменного века. Не один я в том убеждался, и говорю без тени осуждения. Дивное искусство рождается в первобытных душах, совершенно невзрелых. Оторопь берет, когда эти люди пускаются рассуждать о своих работах. Да сами ли они их делали? Это не единственная разница между словесностью и другими искусствами. Маловероятно, хоть и не исключено, что хорошая книга зародится в темной и невежественной душе. Чем объяснить такую разницу? Я не знаю, но боюсь, что однажды это станет доводом не в пользу живописи и скульптуры. Возможно, прошлый век, превознося их, переусердствовал и уравнивал их с поэзией неоправданно и напрасно. Кого обескуражит невежество краснодеревщика или гончара? Не исключено, что иерархия в мире человеческих ценностей рано или поздно восстановится и, может быть, устранит загадочные несообразности. Иногда доводы *ad hominem** законны и весомы.

Излишне говорить, что художники Алтамиры неповинны в той красоте, что вмещается им в заслугу. Они и не помышляли заниматься искусством, у них было занятие поважнее – магия. Посреди бизонов, оленей, диких лошадей и коз часто встречается силуэт человеческой кисти. Легко представить, как художник, удерживая равновесие, уперся в камень ладонью с еще непрсохшей на ней краской. Разумное объяснение? Да, но эти силуэты рук, частые и в других доисторических росписях, не оттиснуты, а нарисованы.

Тайна, в которую мы погружаемся при входе в пещеру, – не в ней самой и не в ее пещерной тьме, обычной тьме подвала. Тайна в душе первобытного человека. Наука

* Обращенные к человеку (лат.).



только-только начала проникать в нее, слепо, наощупь, неловко раздвигая руками темноту. И с каждым шагом эта душа все дальше и дальше от нашей.

Для нас несомненно, что если две вещи в чем-то схожи, роднит их отнюдь не это сходство. Сабля и молния схожи в том, что обе убивают; однако сравниваем мы их не по этому признаку. Наши явления и предметы обособлены и довольно непроницаемы. Для первобытного мышления все обстоит иначе. Для него сходство – всегда тождество, знак одной и той же сущности. То, что происходит с чем-либо, произойдет и с подобным ему – откликнется в нем, поскольку природа у них одна. Лианы обвивают и держат мертвой хваткой древесный ствол. Значит, если мужчина выпьет настой лианы, поднесенный женщиной, он обнимет ее так же крепко. Так возникли приворотные зелья. И поскольку сходство обнаруживается в самых неожиданных вариантах, образуются магические ряды или цепочки, причудливо объединенные общей магической природой. Мир первобытного человека устроен совершенно по-иному, чем наш, и больше напоминает мир нашей поэзии, каким он мог бы стать, воспринимая мы его всерьез. Закусить цветок означало бы тогда впиться в девичью щеку, цветку уподобленную. У некоторых диких племен девушка не должна видеть море, потому что налитые, как груди, волны при откате спадают, идут на убыль и быстро хиреют. Если дожди слишком затягиваются, колдун с островов Торресова пролива вставляет в неудобопроизносимое место красный шарик и потом медленно исторгает его. В результате солнце побеждает тучи и снова светит миру. Достаточно одной лишь округлой формы, чтобы отождествить шарик со светилом.

Словом, первобытной душе мир представляется чудесно проницаемым, позволяющим переходить из одной реальности в другую

так непринужденно, словно они пронизаны метафизическими порами или воздушны по природе. Это свойство реальности побуждает упражняться в магии и вдохновляться символами.

Но в одной области сходство первостепенно – сходство изображений с теми, кто изображен. Мы не признаем за изображением никакой самостоятельной жизни и в этой категоричности, должно быть, несколько отходим от истины. Можно понять, почему человек тысячелетиями не решался признать, что нарисованный бизон – в общем и целом не бизон. Происходило то же, что с именами, которые в первобытном сознании тождественны их носителям. Эскимосы утверждают, что человек состоит из трех частей – тела, души и имени. Вообще, что-то называть обозначает отчасти завладеть им. Оттого-то в древности повсеместно ребенку давали два имени: одно «подменное», которое становилось повседневным, и другое – истинное, которое знала только мать и которое она передоверяла потом невестке. Отзвук этой именной магии мы в меру своей набожности воскрешаем и сегодня, заученно крестясь «во имя Отца и Сына и Святого Духа».

Пора прочесть, наконец, магический иероглиф Альтамиры: бизон и наложение руки означает «Попался!» Жест гастрономический и слегка тореадорский...

После Альтамиры по-иному смотрятся звезды.

НА ПЛЯЖЕ

О тмели женственны. Мыс, напротив, олицетворяет мужское начало побережья.

Огромный пляж Биаррица выгибается хлыстом, чтобы держать в повиновении дрессированные скалы. С полдюжины этих бурых чудовищ выглядывают из воды, и вид у



них самый бутафорский. В этом голом море, без парусов и заунывного чередования рифов, они так напрашиваются, что подобная уместность их подозрительна. Почему они так нарочиты? Почему так похожи на те скалы, что грезятся продавщицам? И поскольку весь Биарриц кажется ненастоящим, закрадывается мысль, что эти слишком

уж импозантные скалы своей уместностью обязаны не слепому вдохновению стихий, а Департаменту туризма, который поставил их рекламировать море и взбивать пену для развлечения публики. И пена стягивает их шеи плоеными воротниками, в которых щеголяют обычно цирковые тюлени.

Август-сентябрь 1925 г.





К НЕНАПИСАННОЙ КНИГЕ

I



М е пробовали писать статью под открытым небом? И не пытайтесь. Как plein air разрушает предметы на полотне импрессиониста, разлагая их на световые блики, разрозненные мазки, цветовые атомы, так распахнутый оком распыляет лич-

ность, рассеивает табуны мыслей, разлагает сознание на элементарные частицы. Природа – враг сосредоточенности, той концентрации сил, которая образует личность, по крайней мере, ее высшую способность – мышление.



Солнце обходится с нами, словно с теми росинками, что сияют, балансируя на острие листка, вобрать в себя весь белый свет и отразить его в своем выпуклом микромире. Но тот же луч, который озаряет их, делает алмазными и превращает на мгновение в радужный зрачок, несет им гибель, испаряя и растворяя в воздухе. Меня не перестает трогать крохотная вселенская драма обреченного облака, смываемого зноем, которое снова становится синевой после тщетной попытки выделиться усилием белизны на монотонном небе. Так и мысль силится противостоять всему остальному, утвердиться вне его и наперекор ему, стать островом, отдельным от мироздания, которое мерно и жутко наплывает на нас метафизической мглой.

Любопытно, что это чувство отделенности, именуемое индивидуальным сознанием, на Западе и на Востоке вызывает полярные оценки. Европейцу радостно ощущать свою жизнь отдельной, убеждаться, что он иной, нежели все остальное. Он наслаждается своей обособленностью, знает наощупь ее границы и счастлив, что нигде, ни в единой точке, его бытие не смешивается с чужим. И чем особенней он, чем необычней, чем больше сам по себе, тем сильнее в нем чувство жизни. На Востоке, напротив, томится такой отъединенностью, тяготеют индивидуальным бытием, видят в нем лишь отверженность и, словно изгнанники, чужие всему на свете, жаждут стать этим всем – не для того, чтобы стать больше, а наоборот – чтобы не быть ничем отдельным и определенным, чтобы влиться в единое дыхание мира. Собственное тело ощущается как увечье. Оно осязаемо, потому что откровено: это обрубок космоса. Можно сказать, человеку больно от собственного облика. И потому на Востоке тем сильнее чувство жизни, чем ближе она к исчезновению, стиранию границ личности, растворению в мире. Наше сознание не в силах смириться с тем чудо-

вишним фактом, что целые народы видят идеал жизни в отказе от жизни, в Нирване. И все же Восток и Запад легко сходились на вершинах мистической мысли. Так, Майстер Экхарт утверждал, что в каждом существовании заложен его крах. И каждое обречено в той мере, в какой обделено другими существованиями. Сотканное из пустот, оно без конца отрицает себя: быть означает не быть тем, не быть этим и т.д.

Приглушенная, но непримиримая борьба двух этих начал – радости быть собой и радости освобождения от себя – вспыхивает в душе горожанина, когда он покидает город. Бесспорно, горожанин индивидуальней крестьянина. В этом и коренится расхождение между городской и деревенской культурой. Суть не в разном уровне культуры, а в разной, предельно несхожей, жизненной установке.

II

Я пишу, погруженный в андалузскую даль. Мягкая гряда на горизонте. Армейский строй подтянутых олив, их тяжелые свинцовые кроны над тучными красноземами. Веселая россыпь селений с их сахарной белизной. Агавы, бессильно грозящие своими ржавыми клинками.

Всякий раз, когда я спускаюсь с кастильской пустоши в эти благодатные края, где у людей всегда наготове улыбка, я задаюсь вопросом, было ли когда-то хоть что-то дельное сказано об андалузской душе, одной из самых удивительных в Европе. Действительно странно, что столько на этот предмет извещено бумаги и все еще не найдено, не прозвучало ключевое слово, способное открыть нам таинственный часовой механизм, заложенный в этом народе.

Как обычно, не хватало исходного чувства, согласно Платону, обязательного для работы ума – способности удивляться оче-



видному, такому как есть. Кто не озадачен одним уж тем, что андалузский склад жизни действительно существует, кто входит в эту жизнь как ни в чем не бывало, тому никогда не понять, чем она – как и все на свете – интересна, не постичь самого захватывающего – ее корней, ее истоков, словом, того, что бесполезно искать там или сям, в том или в этом, потому что оно везде и во всем. И меньше других эти глухие, потаенные истоки ощущает сам андалузец. Любая жизнь, индивидуальная или коллективная, исходит из каких-то основ, психологически для нее априорных. Это ее недра, но именно потому, что они держат ее на весу, они безотчетны и неразличимы для того, в ком оживают. Мы различаем лишь поверхностное, случайное и бренное.

И вот, разнеженный дорожной праздностью и литературной передышкой, под сладким игом тартесского солнца не в силах писать о прочитанном, я строчу эти заметки о еще не написанном и помогаю в них умной, проникновенной и увлекательной книги об Андалузии.

Я убежден, что андалузская культура исконней и глубже, нежели все андалузские школы поэзии, живописи и т.д. Сводить ее к искусству и литературе значит совершенно не ощущать ее своеобразия. Искусство, литература, наука, религия, власть – все, что составляло культуру Греции и Рима, все, что составляло культуру центральной и северной Европы – из века в век мало заботило неисправимого андалузца, чья культура вбирала именно то, что входит в жизнь помимо перчисленного выше.

Что именно? Ответ несложен: повседневность. Были и есть народы, которые жертвуют повседневностью ради грандиозности. Они стремятся к небывалому, мно-

жат подвиги и трагедии, не устаивая вниманием то низменное и самое обширное пространство жизни, которое меняется ежечасно и ежеминутно. Они торопят громкие даты и не замечают живую и невзрачную ниточку, на которую нанизаны дни, недели и века.

В этом отношении понять андалузскую культуру помогают нам народы Востока, с которыми у андалузцев куда больше общего, чем с европейцами *sensu stricto**. Любая культура – это решение или попытка решения проблемы жизни. Расхождение – в исходной точке, и культуры потому различны, что проблема жизни осознается по-разному. Оттого-то народу не идет на пользу чужая культура: решение проблемы не отвечает той ее постановке, которая утвердилась в народном сознании.

Лазейкой в андалузские тайники, в заповедник тартесской культуры, на мой взгляд, мог бы стать такой ход мысли: возможно, смысл жизни не в том, чтобы создать то или другое, утвердить те или другие высшие ценности – истину, справедливость, господство над природой, сплочение человечества и т.д. и т.п., по-настоящему смысл ее сводится к немногому, к тому, чтобы постараться прожить ее наименее безнадежно. Так вот – при таком подходе севильский строй жизни целостен, завершен и безупречен. Судя по всему, он почти не изменился за последнее тысячелетие¹ и вряд ли изменится в течение следующего. Разумеется, для подлинного европейца такой подход неприемлем; для него жизнь – не гибельный водоворот, из которого надо выбираться, полагаясь на свою ловкость, изворотливость и обаяние, но некая сила, которая коренится и растет в самом человеке и побуждает его дерзать. Европейец домогается трагедии,

* В строгом смысле слова (лат.).

¹ Вспоминаются античные описания тартесской жизни. Ее сходство с жизнью сегодняшней Андалузии поистине ошеломляет.



он одержимо вмешивается в миропорядок, надеясь подчинить его. И поскольку это, по всей видимости, невыполнимо, европейская история движется от трагедии к трагедии, обреченная на вечную смуту и нескончаемые потрясения. Андалузец, напротив, намеренно сторонится трагедии, старается избежать, перехитрить ее и в последний момент мастерски уклониться. Все это, разумеется, побуждает его не участвовать в истории. (Воображаемая книга об Андалузии должна бы, в частности, установить, насколько вмешивался или не вмешивался этот народ в исторический процесс.)

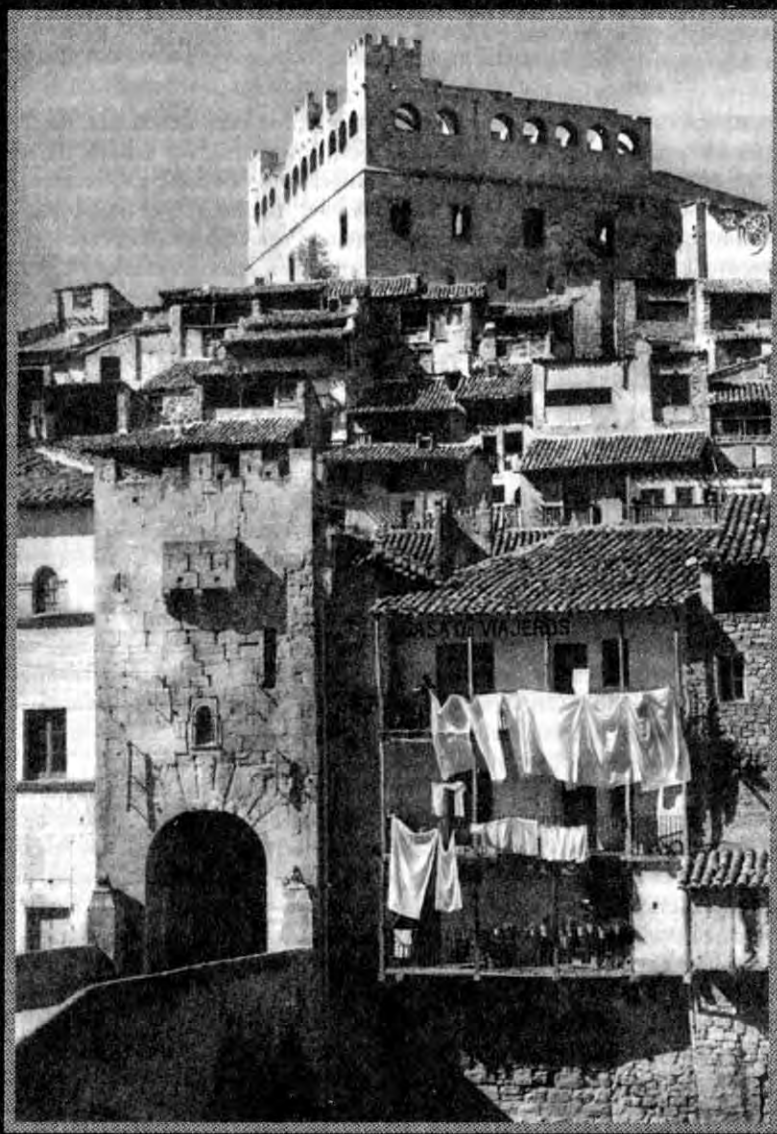
Восточный привкус андалузской жизни – не в ее мнимой и поверхностной мавританшине, а в общих корнях, в земледельческом

укладе. Тартесская культура – культура извечная и подспудно крестьянская. Державные интересы, религиозные догмы и научные «истины» здесь заменяет культ земли...

III

Зной испаряет мысли. Попытка написать статью на вольном воздухе провалилась. Бог с ней. Когда-нибудь, сидя в четырех стенах и не боясь потонуть и раствориться в полевой дали, попытаюсь выразить то, что давно уже думаю об андалузской душе. Тема шекотливая и способна без видимых причин вызвать ярость у моих как-никак соплеменников.







КОНЦЕПЦИЯ АНДАЛУЗИИ

ВВЕДЕНИЕ



Испанский девятнадцатый век весь под знаком Андалузии. Начинают его кортесы в Кадисе, завершает убийство Кановас дель Кастильо, истого малагенца, и возвышение Сильвелы, тоже малагенца и столь же истого. У всего, что задает тон, андалузский акцент. Рисуют Андалузию – плоские кровли, цветочные горшки, лазурные небеса. Читают андалузцев. С языка не сходит «земля Пречистой Девы». Разбойники и контрабандисты – национальные герои. Для всей Испании само существование ее уж тем оправдано, что на окраине есть андалузская толика мироздания. К 1900 году все это, как и многое другое, меняется. Поднимается Север. Верх берут каталонцы, баски, астурийцы. Скудеют перья и кисти южан. Редеют ряды андалузских политиков. Острроверхие шляпы уступают беретам. Дома повсюду строятся на бискайский лад. Испанцы гордятся Барселоной, Сан-Себастьяном и Бильбао. С языка не сходят Рамблас, бискайская руда и астурийский уголь.

Любопытно это смешение испанского центра тяжести снизу вверх, и стоило бы подобные колебания проследить вглубь истории, чтобы увидеть, нет ли в них закономерности, позволяющей членить нашу историю на периоды северные и андалузские.

Бесспорно, что сегодня пронизательный взгляд уловит начало упадка испанского Севера. Сам ли он утрачивает напор и уверенность в себе, своем укладе, своих достоинствах и силах? Или Испания попросту перенасытилась северным влиянием? Вероятно и то, и другое. Смутное, но безошибочное знание заставляет меня думать, что энергия каждой личности и каждого коллектива – отнюдь не абсолютная величина, зависящая лишь от них самих, но производное

от энергии всех остальных. Ввиду этого народ может ощутить упадок не из-за собственной ушербности, а из-за возвышения соседних народов. И, напротив, соседский упадок тонизирует. Во всяком случае относительный спад каталонской, басконской и астурийской экономики совпал с ростом андалузского богатства. Пока нет ощутимых признаков, что этот рост сопровождается интеллектуальным или нравственным возрождением, и, быть может, следует согласиться, что сейчас Испания равнодушна и к северу, и к югу. Но вряд ли эта несправедливость затянется. Она, безусловно, временна и завершится либо северным рецидивом, либо новым увлечением Андалузией.

Ясно, что такой возврат к андалузскому, если он произойдет, потребует нового взгляда на Андалузию, иного, чем у наших отцов и дедов. Фламенко, контрабандисты и мнимая кипучесть андалузцев нас уже вряд ли взволнуют. Эта южная мишура нам тягостна и скучна.

Все пленительное, таинственное и глубинное в Андалузии бесконечно далеко от того пестрого балагана, что предлагается туристам. Как давно подмечено, андалузцу, в отличие от кастильца или баска, настолько нравится устраивать спектакль чужакам, что даже в высокородной Севилье закрадывается подозрение, не разучивают ли вокруг роли в каком-то красочном балете масок, который в афишах именуется «Севилья». В этой склонности андалузцев играть самих себя сквозит редкостный коллективный нарциссизм. Играть себя могут лишь те, кто способен быть собственным зрителем, а на это способны лишь те, кто привык разглядывать себя и наслаждаться увиденным. Способность, которой андалузец нередко обязан тягостной вычурностью, вместе с тем, созна-



тельно выставляя и как бы возводя в квадрат его качества, подтверждает, что это народ, знающий себя до тонкости. Быть может, ни один народ не осознал с такой ясностью собственный облик и характер. Это и помогает андалузцам держаться своего тысячелетнего склада, не изменяя своему назначению и своей неповторимой культуре.

Чтобы понять андалузскую душу, надо не забывать о главном. О ее древности. Это, возможно, древнейший народ Средиземноморья – он старше греков и римлян. По ряду признаков можно догадываться, что до того, как волны истории хлынули из Египта и вообще восточного Средиземноморья в западное, господствовало обратное течение. Волны культуры, древнейшей из известных, родились у наших берегов и, скользя над Ливией, оросили Восток.

Глядя на андалуза, нельзя забывать, что его женственная ветреность не менялась тысячелетиями и, значит, эта эфемерная хрупкость была неуязвимой под копытами веков и в корчах катаклизмов. Под таким углом зрения какая-нибудь севильская гримаска становится таинственной и жуткой до озноба. Как улыбка китайца – удивительное совпадение! – еще один незапамятный народ на другом краю евразийской глыбы.

Не возмущайтесь этим неожиданным китаизмом в этюде об Андалузии. И если вы андалузец, умерьте гнев и дайте мне возможность оправдаться. Сравнение – неременный инструмент понимания. Это род пинцета для схватывания сути, и чем тоньше суть, тем шире требуется захват. Словом, не бойтесь, что вся дерзость сопоставления сведется к умильному сходству косичек у мандарина и тореро. Тем паче, что и мандарин обязан косичкой не китайцам, а маньчжурам, и тореро – не испанцам, а французам.

Андалузия, которая никогда не обнаруживала вкуса к сепаратизму, никогда не силась стать суверенной, – единственный в

Испании край, культура которого самобытна полностью. Речь о культуре в наипростейшем ее понимании – как о разумной, стройной и продуктивной системе жизненного поведения. Жизнь – это прежде всего совокупность задач, на которую человек отвечает совокупностью решений – культурой. Поскольку совокупность решений может быть самой разной, существовало и существует множество культур. Чего никогда не существовало, так это культуры абсолютной, то есть способной ответить на любой вызов. Все те, что предлагает нам настоящее и прошлое, в той или иной мере несовершенны: одни выше, другие ниже, но нет ни единой, свободной от помех, изъянов и слабостей. Единая культура – это некий идеал, и определить его можно так, как определял Аристотель метафизику или единое знание – «то, к чему стремятся».

Интересно, что любая плодотворная культура старается решить ряд жизненных проблем путем заведомого отказа от решения всех остальных. Так что свет рождается из тьмы, и если что-то или даже многое достигнуто, то непременно с общего и радостного согласия на его ограниченный характер. Нам еще предстоит убедиться, что андалузская культура живет героическим отречением – отречением от всего героического. Это еще одна черта, которая роднит ее с китайской.

У той и другой – общий корень, и не вполне метафорический, поскольку уходит он, как и положено корню, в землю. Это культуры крестьянские.

В Кастилии взгляд не встречает ничего, кроме извечного пахаря на пустоши, склоненного к борозде, позади воловьей упряжки, чей силуэт на небосклоне кажется чудовишным. И все же нынешняя кастильская культура – отнюдь не крестьянская; это всего лишь агрикультура – то, что всегда остается, когда подлинная культура исчезает. Кас-



тильская культура была воинской. Воин живет в поле, но не живет полем – ни материально, ни духовно. Поле для него – это поле брани, мирный урожай он сжигает, а чаще отбирает для солдатских и фуражных надобностей. Вцепившийся в утес замок – это не место обитания, как хутор или хижина, но орлиное гнездо для охотничьих вылазок и логово для сна. У воина, кочевника по складу, нет постоянного угла, устойчивого быта – сама жизнь его неустойчива. Он видит в земледельце существо низшее и презирает его именно за то, что тот неподвижен, прикреплен – и потому крепостной, пожизненно приписанный к той или этой деревне – и потому деревенщина, виллан. Унизительный оттенок этих слов – след антагонизма двух культур, которые столкнулись на одном клочке земли, но не сблизились, – культуры воинской и земледельческой. Когда воин покинул Кастилию, остались одни низы, над которыми он обитал, – вечные батраки, безликие, безгласные, такие же, как и повсюду.

Это противопоставление проясняет, какое творческое и плодотворное начало я имел в виду, назвав андалузскую культуру крестьянской, то есть земледельческой. Суть не в том, что человек возделывает землю, а в том, что земледелие становится основой и опорой для возделывания человека.

В отличие от Кастилии, в Андалузии всегда презирали солдата и всегда уважали деревенщину, виллана – хуторского хозяина. Точно так же, как и в Китае, где веками человека военного уже за одно это считали человеком второсортным. Если на Западе высшим символом Государства был меч, то в Китае народ видел свое воплощение в мирном веере императора.

Из-за этого презрения к войне Андалузия так редко вмешивалась в перипетии кровавой человеческой истории. Факт настоль-

ко привычный и естественный, что не привлекал никогда внимания именно своей очевидностью. Какова же роль Андалузии в исторической драме? Та же, что у Китая. Каждые триста или четыреста лет Китай захлестывают воинственные орды из диких азиатских степей. Они хищно набрасываются на Поднебесную, и народ ее почти или совсем не защищается. Китайцы позволяют завоевывать себя кому угодно. Звериному напору они противопоставляют свою мягкость; их тактика – это тактика матраца. Поддаваться. И настолько успешно, что неистовый враг не встречает отпора своему натиску, по инерции падает и погружается в перину – в пленительную мягкость китайской жизни. В результате, через два-три поколения, свирепый маньчжур или монгол растворяется в древнем, утонченном и обаятельном китайском укладе, роняет меч и хватается за веер.

Сходным образом Андалузия оказывалась во власти каждого средиземноморского насильника – и всегда, как говорится, в двадцать четыре часа, даже не пытаясь сопротивляться. Ее тактикой были уступчивость и мягкость. И всегда в конце концов это одурманивало беспощадного захватчика. Бетийская олива – символ мира как основы и условия культуры¹.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛ

Андалузец живет на земле тучной и щедрой, которая дарит ему плоды, не требуя взамен особых усилий. Кроме того, климат так мягок, что плодов для поддержания жизни требуется не так уж и много. Человека, как растение, земля питает лишь отчасти – остальное возмещает благодатный воздух и благотворное солнце. Захоти он чего-то большего, чем поддержание жизни, возжелай он подвигов и свершений,

¹ Другая великая земледельческая культура – древнеегипетская – повторяет феномен Андалузии и Китая. Завоевания Тутмоса и Рамзеса совершены наемниками.



питаться пришлось бы усиленной, и усилий на это тратить соответственно больше. Но такой выбор был бы прямо противоположным андалузскому. Кто обвиняет андалульца в лени, полагая, что этим все сказано, попросту не достоин того, чтобы понять тонкую загадку андалузской души и культуры.

Сказать «лень» недолго, тем паче, что слово краткое. Но андалузец ленится вот уже четыре тысячелетия, и это ему очень идет. Вместо того, чтобы попрекать ленью, подобно желчному учителю, и ставить древнейшему народу этот диагноз, как школьную отметку, взгляды-ка получше и попытаемся наконец понять. Иначе мы рискуем возвеличить лень, раз она сделала андалузскую жизнь такой бесконечной и сладостной.

Пресловутая леность андалульца – это и есть соль андалузской культуры. Как я уже сказал, культура – не что иное, как поиск уравнения, которое решало бы проблему жизни. Но проблема жизни ставится двояко. Если под жизнью понимать предельную полноту существования, уравнение потребует от нас – и немедленно – предельных усилий. Но заранее сужая проблему, стремясь лишь к *vita minima*^{*}, получим, для минимальных усилий, уравнение не менее безупречное, чем его героический вариант. Именно так и обстоит дело с андалузем. Его решение остроумно и основательно. Вместо того, чтобы увеличивать приход, он уменьшает расход – не напрягается, чтобы жить, а живет, чтобы не напрягаться, избегает усилий и строит на том свое существование.

Ошибочно полагать, ни с того, ни с сего, что андалузец не согласен жить, как обитатель Сити, потому, что не способен трудиться, как тот. Если бы провидение предложило ему жить лондонской жизнью, не работая во-

все, он бы с ужасом отказался. Лень и в андалузде может стать изьяном и пороком, но помимо и прежде этого она есть не что иное, как его жизненный идеал. И каждому, кто вознамерился понять Андалузию, следует осмыслить этот парадокс: лень как идеал и склад культуры. Если заменить «лень» более респектабельным «минимум усилий», суть не изменится и только станет респектабельней.

Наше время, как никакое другое, сделало своим жизненным идеалом максимальное напряжение сил, и потому нам трудно понять жизненную позицию, настолько полярную нашей. Мы заведомо трактуем лень как чистое отрицание, как заурядное безделье. Судя по тому, что Андалузия живет и здравствует, они делают все, что надо, и леность их не чурается труда, а, скорей, составляет его смысл и душу. Это труд от лени и ради лени, который стремится стать как можно меньше и незаметней, словно стыдится себя. Такая трудовая атмосфера особенно отчетлива, если вспомнить, каким самонадеянным, показным и непомерным предстает труд у народов, для которых стал идеалом.

В конце концов, как говорит Фридрих Шлегель, леность – это единственное, что осталось в нас райского, и андалузцы – единственный европейский народ, который остался верен райскому идеалу жизни. Такая верность была бы затруднительной, если бы не выручала сама природа. Но слишком глоско объяснять культуру прямым воздействием среды.

На северянина лучезарная красочность андалузской земли действует как наркотик и приводит его в неистовство¹. Отсюда он заключает, что и сам андалузец жил бы неистово, не будь так ленив. Этому народу приписывают какую-то стихийную жизненность и, завидев сумрачные очи севилянок, гада-

^{*} Минимальная жизнь, скромное существование (лат.).

¹ По свидетельству Шатобриана, когда сотысячный корпус отпрысков Святого Людовика достиг Сьерра-Морены и с высоты перевала увидел андалузский дол, батальоны как бы по команде вскинули сабли навстречу сказочному краю.



ют, что за пламенные страсти сжигают им душу. Ничего подобного! Совершенно не замечается, что андалузец, пользуясь преимуществами своей «среды», извлекает из них выгоду в необычном, обратном смысле слова. Жизненный напор его минимален и поддерживается солнечным воздухом и плодородием. Он сводит на нет сопротивление среды, так как большего и не требует, и живет, погруженный в нее, подобно растению.

Райская жизнь – это прежде всего жизнь растительная. Рай означает сад, куши, елисейские поля. А растительное существование отличается от животного тем, что не сопровождается окружением. Оно безучастно. Корнями оно вбирает земные соки, листьями – солнце и ветер. И все. Для растения жить означает подкрепляться извне и наслаждаться этим. Для зеленой ладошки листка солнце – одновременно пища и ласка. У животного насыщение и наслаждение разобщены. Животное должно само добыть пищу, а потом, действуя уже совершенно иначе, позаботиться об удовольствиях. Чем дальше на север, тем сильнее разобщены эти два лика жизни. Так вот, на взгляд андалуца у британцев или немцев равно нелепы и труд, и досуг, одинаково неумеренные и полностью разобщенные. Сам же он предпочитает поменьше трудиться и в меру развлекаться, но делает это одновременно, сливая то и другое в единый всплеск жизни, текучей, плавной и мягкой, как искусное адажио кантабиле. Кажется, что воскресный день Андалузии просачивается в будни, пропитывая праздничностью и золотым покоем рабочую неделю. И, напротив, сам андалузский праздник не оттенен гульбой, и воскресенье здесь родственней понедельникам и средам, чем на севере. Севилья только для нордических туристов разгульна, а свои здесь если гуляют, то слегка, и не позволяют себе разгуляться.

Андалузия спит и представляется глазам каким-то сплошным экстазом. Но стоит

немного потерпеть – и помрачение проходит. Вскоре обнаруживается, что андалузская жизнь полностью исключает экстаз и неизменно старается снижать тон и в радости, и в горе.

Самозабвению она предпочитает самообуздание, печаль вполголоса, неприхотливый набор наипростейших радостей, которые на редкость равномерно, без падений и взлетов, растягиваются на всю жизнь. В раю нет места бурным восторгам, грозно спрессованным в узком просвете времени, за которым тянется долгая пустота или горечь. Райская зелень наслаждается смиренно, но постоянно, купаясь ли в жарком ливне солнца, клонясь ли на ветру или впивая влагу тропливого дождя. Так вот, к сведению северян – как ни удивительно, есть еще миллионы людей в этом земном углу, для которых лучшее в жизни – хорошая погода. Представить немислимо, сколько радости получает андалузец от своего неба, своего воздуха, своих синих рассветов и золотых сумерек. Его радости не исходят из души и не питаются злобой дня или его надеждами. От них андалузец берет лишь то небольшое, что навязано ему духом времени. Но своими корнями он погружен в эту вселенскую, неиссякаемую и наипростейшую радость. У него растительное чувство жизни, и живет он преимущественно кожей. Благо и зло оцениваются наощупь: благо – это все мягкое, зло – все, что оставляет ссадины. Истинный и вечный праздник андалуца – это его природная среда, которая пронизывает все его существо, насыщает теплом и светом каждый его шаг и, в итоге, служит ему образцом. Андалузец стремится, чтобы его культура походила на его среду¹.

Короче говоря, этот народ един со своей землей и связан с ней так необычно, глубоко и кровно, как никакой другой. Андалузскими он прежде всего считает землю и воздух, и только потом уже себя. Андалузский народ,



как любой андалузец, мыслится чем-то вторичным; он ощущает себя простым издолышком этой сказочной земли и только оттого, а не от сознания своего человеческого превосходства, считает себя избранным народом. Каждый андалузец теплит чудесную догадку, что родиться андалузцем – это самое неимоверное, чем может одарить судьба. Как еврей держится особняком, потому что Бог дал ему землю обетованную, так и андалузец чувствует себя избранныком, потому что Бог, безо всяких обетов, дал ему лучшее на земле пристанище. Землю не обетованную, а дарованную ему – Адаму, возвращенному в рай.

Надо принять за истину, что тайна андалузской души – в ее завороченности своим земным углом. И тогда начнет вырисовываться то созидательное начало, которое я имел в виду, определяя андалузскую культуру как культуру крестьянскую. Связь человека с землей здесь не просто существует, как у других народов, но одухотворяется, поэтизируется и становится почти мифом. Человек живет землей не материально, как повсюду, а осознанно и даже идеально. Галисиец изнывает вдали от родины, баск и астуриец тоскуют по своим тесным, дымным долинам. И, тем не менее, связь их с родной пашней – это слепая, физическая близость, не претворенная в духовную. Для андалульца же, у которого отсутствует такой душевный резонанс, непроизвольный и почти механический, жить в

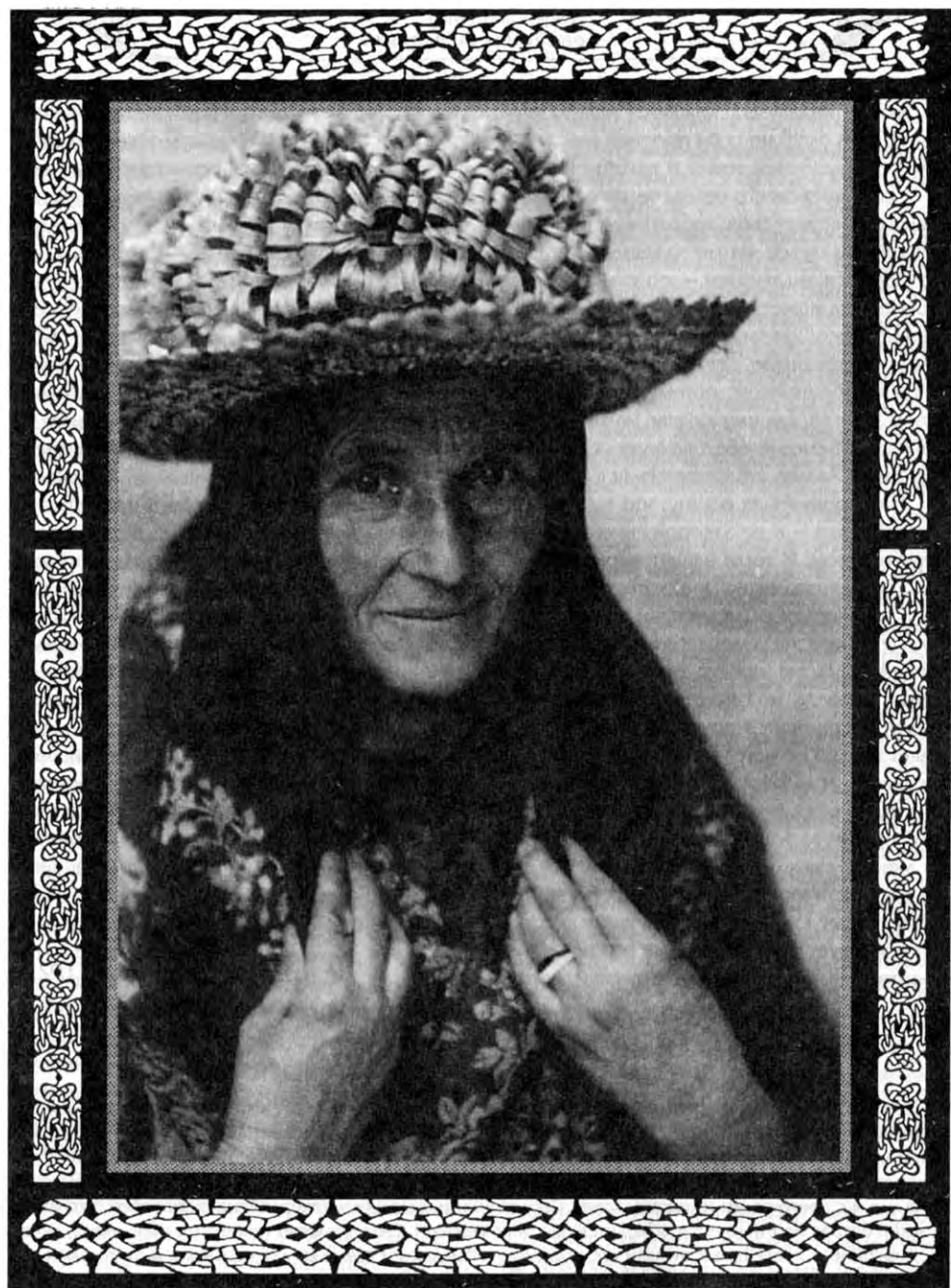
Андалузии – это осознанный идеал. И если галисиец остается галисийцем и вне родины, то андалузец, напротив, перестает быть андалузцем, его своеобразие испаряется и улетучивается. Потому что быть андалузцем – это быть наперсником своей земли, откликом на ее красоту и магическую власть.

Родной край как идеал. Нам, полуденным северянам, такой идеал кажется слишком наивным, убогим и примитивным – коротче, растительным. Пусть так. Но он настолько первоначален, настолько первостепенен и предшествует остальному, что весь жизненный уклад, на нем основанный, умашен и пропитан им. Оттого-то все андалузское и особенно все наипростейшее, будничное и суетное – все, что у других народов низменно и бездуховно, – несет дивный отсвет той идеальности, что дала ему строй, а житейской прозе – красоту. И если другие народы велики верхними этажами своей жизни, то андалузец недосыгаем внизу – в том обыденном, начальном и ежеминутном, что он делает и произносит машинально и повседневно.

Но верно и другое – этот народ, у которого растительная сторона существования идеальна, как ни у кого, вряд ли склонен к какому-либо иному идеалам. Вне рамок сугубо житейского андалузец – менее всего идеалист.

1927

¹ Надеюсь, что буду правильно понят. Не в моих намерениях дурачки попрекать андалульца, уверяя, что он живет растительной жизнью. Речь лишь о том, что его культура – и, значит, его «духовный» настрой – ценят и лелеют растительную сторону существования. Отсюда, в числе прочего, нежная привязанность андалульца ко всему, что растет, полезному и бесполезному, к лозе и к розе. Он возится со своими оливами, но и с цветочными горшками тоже. Сердобольные социалисты твердят нам наперебой, что андалузский батрак почти не ест и обходится одной похлебкой. Свидетельство точное, но неполное и потому неверное. Справедливости ради добавлю, что в Андалузии все едят мало и плохо, а не только бедняки. Андалузская кухня – самая грубая и скудная в Испании. Бискайский батрак из Аспейтии питается сытнее и вкуснее, чем толстосум из Кордовы или Хаэна. Андалузец и в этом подражает растению: питается, но не ест и держится тем, что погружается в небо и землю. В точности, как китаец.





ЗАМЕТКИ О НАРОДНОМ КОСТЮМЕ



Ортису Эчагуэ было достаточно фотоаппарата, чтобы создать эпос... Или трагедию? А может – комедию, притчу? Не знаю. Но эта бессловесная книга расскажет вам историю своих героев. Их здесь двое – Ткань и Камень. Горделиво и простодушно они выставляют напоказ свои блики и тени, свою упругую тяжелую плоть и складки. Камень увереннее в себе и потому не рвется вперед, утверждая свою суровую первозданность, хотя ведет свою игру: то словно тростинка изогнется наизворотной аркой, то выпятит брюхо крепостной стены, то умиленно застынет в точеном гербе над гранитной плитой. А ткань, не доверяясь своему предназначению, так и норовит, словно тенор, запевший арию, выйти на всеобщее обозрение и покрасоваться. Еще у этих вековых нарядов есть родство с дикивинными зверями из зоопарка. Та же надежда – может, что перепадет? – с какой смотрит на людей животное, заключенное в клетку, глядит на вас со страниц альбома.

Сравнение крестьянских одежд со зверями из зоопарка не надуманное – ведь и народный костюм доживает свой век, точнее говоря, умирает вне своей природной среды. И оттого всякий, листая этот прекрасный альбом, наверняка поймает себя на странном, двойственном ощущении: подлинности и маскарадности народного костюма. Ведь народ, если он не зря называется народом, – это сама жизнь, сама непосредственность и безотчетность, и здесь, в альбоме Ортиса Эчагуэ он именно таков, но в то же время кажется, что он шутики ради играет в пьесе ученого сочинителя и, следовательно, повинуетя воле того, кто к народу причислен быть не может.

Народа, естественно носящего эту одежду, уже нет или вот-вот не будет. А если по случайности он где-нибудь и сохранился, судьба его все равно решена, это

лишь вопрос времени. И хотя в обыденной жизни иногда носят эти старинные одежды, народный костюм обречен и не сопротивляется. Он похож на личинку в канун превращения, когда оболочка ее содрогается под роковым напором шелковых крыл.

Ортис Эчагуэ и запечатлел этот решающий двуединный миг, исполненный иронии, что придает его работе высочайшую художественную ценность. А как легко было взять неверный тон – бесчеловечный при всем его простодушии – и умиляться при виде идиотских плюмажей на головных уборах братьев наших, похожих в этих нарядах не на людей, а на каких-то дикивинных птиц или на тапиров.

Я исходил Испанию вдоль и поперек и убедился, что только в одном селении – Лагартере – народный костюм еще жив. Не означает ли это, что судьба сыграла с тамошними крестьянами злую шутку, заставила их пятиться назад, претерпевая обратную эволюцию? Совсем нет. Оказывается, жителей Лагартеры отличает – если отвлечься от их приверженности к старинным нарядам – на редкость развитый вкус ко всему новому, будь то производство или ведение хозяйства. Это касается и сохраненной здесь традиции старинной вышивки (а вышивают в Лагартере даже те, кто давно не носит вышитых одежд). Лет тридцать тому назад в Свободном Институте Просвещения отыскиались ценители и знатоки этого искусства, и с их легкой руки народная вышивка вошла в моду и стала украшением наших домов. Лагартеранское шитье вскоре превратилось в производство, рассчитанное на туристов. Но всякое современное производство нуждается в рекламе, и по этому случаю вся Лагартера встряхнула из сундуков старинные платья и облачилась в эти выставочные образцы. Не раз в Мадриде мне случалось видеть лагартеранок, разносящих вышивки



своим заказчикам. Их яркие широкие юбки напоминают роскошное оперенье фазанов и поражают воображение всякого приверженца старины и исконности, по большей части человека недалекого или прекрасодушного, потрясенного контрастом этого древнего и вечного народного творения и современной городской машинерии. Каково же было бы изумление и разочарование этого любителя старины, случись ему узнать, что за частоколом разноцветных юбок скрывается суперсовременный дух, достойный самого мистера Форда: ни тебе лирики, ни романтики – голый расчет, фарс с ряжеными, и все для того, чтобы продать свой товар!

Сегодня почти везде народ относится к народному костюму как к маске. И это отношение исполнено глубокого смысла – к нему так или иначе сводятся почти все проблемы, связанные с народным костюмом.

Как ни удивительно, но, насколько мне известно, нет ни одной серьезной работы о народном костюме. О том, какие одежды – вплоть до мельчайших подробностей – носят там и сям крестьяне, написаны горы книг, но никто еще не удосужился поразмыслить о природе народного костюма, о его происхождении и закономерностях, управляющих его разнообразием.

Отношение народа к народному костюму как к маске, о котором я упомянул, выявляет одну из этих закономерностей, причем, весьма удивительную. Вот какую. Народ носит народный костюм не всегда, но лишь в определенные исторические эпохи. В наше время этим своеобразным и живописным платнем единодушно пренебрегают, выбирая обычный, обезличенный костюм. И не только у нас – повсюду. Радужный птичий наряд китайского мандарина пылится на вешалке, ибо хозяин носит европейское платье. В Турции Мустафа Кемаль в одночасье истребляет анатолийские фески и впредь повелевает носить котелки. То же самое

происходит и у нас. Когда наступает время униформы, живописный народный наряд исчезает. Так было в имперском Риме, государстве униформы, где повсюду, от Пальмиры до Лузитании, от Вислы до Сахары, от Британских островов до Кавказских гор носили одинаковые платья. Но бывают эпохи, когда – небеспричинно – торжествует разнообразие, и во всякой местности рождается свой неповторимый костюм.

В Европе высшие слои общества всегда одевались более или менее однотипно, явственно же различались только народные костюмы.

Обычно кажется, что все народное старинно и природно, но это иллюзия. На самом деле народный костюм как две капли воды похож на платье аристократии с той только разницей, что меняется он много медленнее, так медленно, что происхождение его забывается, и кажется, что сам этнос создал его в незапамятные времена, повинувшись могучему природному вдохновению. Отсюда романтическое представление об исконности крестьянского костюма. Наивное, заметим, представление. Приведем очаровательный пример. В Испании лишь однажды совершилась революция: я имею в виду восстание против Скилаче, бунт плашей и шляп. Население полуострова прежде являло образцы кротости – чего только оно не вытерпело, каких только унижений не снесло. Но вот пришел день, когда просвещенные советники Карлоса Третьего вознамерились несколько облагодетельствовать народ, привести его вид в соответствие с европейской нормой, словом, покусились на живописную, несурзную и диковатую испанскую манеру одеваться. Согласно указу плаши до пят следовало укоротить, равно как и поля шляп. Народу, таким образом, нанесли смертельное оскорбление: посягнуть на дорогую его сердцу шляпу, именуемую «чамберго» или «гачо», – все равно что посягнуть на святыню. А так



как за исполнением указа, истребляющего исконность, следила валлонская гвардия, неприязнь к ней, давно зревшая в мадридских предместьях, выплеснулась через край. Вмешательство чужеземцев-наемников как нельзя лучше раскрывало антипатриотическую суть кошунственного постановления, не говоря уж о том, что исходил указ от иностранца Скилаче! Он замахнулся на исконно испанский головной убор и, следовательно, покусился на самобытность народа. Ответом святотатцу стали покушения на валлонских гвардейцев и народное восстание.

Так повествуют о случившемся историки, и к их рассказу нам нечего добавить. Позволю себе только один упрек – следовало бы сообщить читателю, по какой причине этот исконно испанский головной убор называется «чамберго». Чужеземный привкус этого имени ощутим более чем явственно. За «чамберго» стоит Шомберг. А кто такой Шомберг? Капитан фламандских гвардейцев, явившихся в Испанию при Карлосе Втором, примерно за сто лет до бунта против Скилаче. Народная неприязнь не обошла и этих северян, причем особенное негодование вызывали их вычурные широкополые шляпы, получившие имя капитана Шомберга. Однако довольно скоро мадридцы и сами стали носить широкополые шляпы, точно такие, как у фламандцев, и мало того – спустя полвека признали их символом испанской самобытности. Народ грудью зашил свое достояние от валлонских гвардейцев, прямых потомков тех, кому был обязан упомянутым головным убором.

Эта история заставляет нас поразмыслить над тайной обаяния народного костюма. Суть не в пресловутой древности народного костюма, а, напротив, в иллюзорном ощущении старины, во вневременности, которой веет ото всего, к чему прикоснулся народ, и неважно – вчера или сто лет назад. Вот она – поразительная ирония, отмечен-

ная печатью гениальности! В то время как высшие слои общества кичатся новизной своих одежд и обычаев (и оттого, не будучи парвеню, походят на них), народу по вкусу совсем иное. Его одежды, песни и даже речь всегда подернуты патиной времени и полны отголосков незапамятной старины.

Кажется, что народный костюм бесконечно древен – вечен – и неразрывно связан с родной землей. Это иллюзия, над которой стоит задуматься. Так проявляется свойственное народу чувство стиля. Могучая художественная одаренность низших слоев общества изливается на все, к чему прикасаются их руки, не замыкаясь в кругу действительно старинных вещей их, и только их, обихода.

Из народных костюмов лишь один стар как мир – это лохмотья. Нищий, проникновенно запечатленный Рембрандтом, одет так же, как нищий у Гойи, и оба они неотличимы от какого-нибудь средневекового побирušки. Вот, замечу мимоходом, доказательство того, что это занятие, как и лохмотья, соотносится с одним из вечных, сушностных и коренных способов человеческого существования. Рядом с ним все прочие кажутся преходящими, неустойчивыми, несерьезными. Наверное, нишенство – самая чистая форма бытия первочеловека в меняющемся мире. И потому в народе говорят об обрывании – «живет себе, как Адам».

Но вернемся к нашим предварительным замечаниям об истории народного костюма. Я уже говорил, что народный костюм не столь древен, как кажется. А если хорошенько разобраться в его происхождении, то и не народен. Откуда же берется народный костюм? Вне всякого сомнения, из гардероба аристократии. Платье арагонской крестьянки или валенсийки – это по сути дела наряд дамы восемнадцатого века, сработанный из грубой материи деревенским портным. Костюм ансотанки, да и вообще большинства горянок, – это обычный жен-



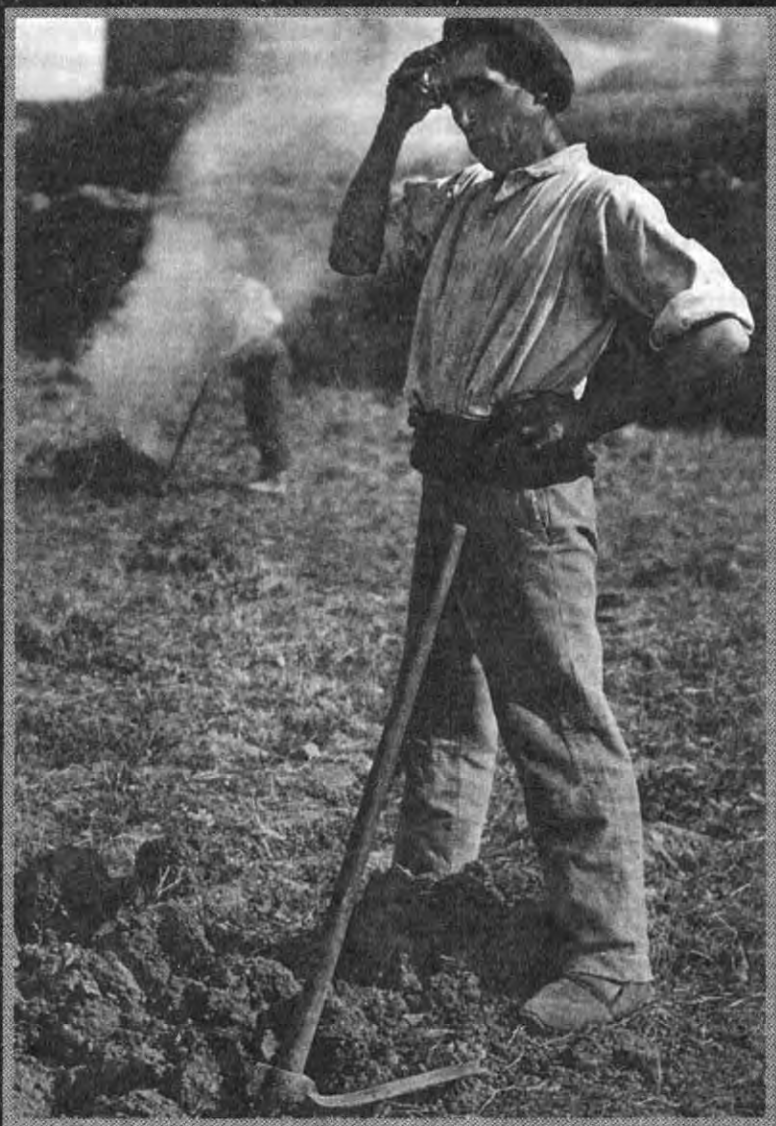
ский костюм конца Средневековья и Возрождения. Догадываетесь, в чем здесь дело? Народный женский костюм равнинных местностей и долин восходит к той одежде, что сравнительно недавно носили аристократки. Так арагонка переняла платье, которое кажется нам сегодня таким исконным, у дам из высшего общества, причем в ту пору, когда от Мадрида до Версаля великосветские дамы одевались одинаково, и народ тоже не хотел казаться разнородным, живописным, исконным. А в горах, в пиренейских ущельях сохранилась куда более старинная мода. Конечно, в конце Возрождения, волна единообразия докатилась и до тех мест – ее характерные образцы, занесенные, подобно Ноеву ковчегу на вершину Арапата, можно обнаружить и высоко в горах. Там мода 1500 года замерла в целости, сохранности и неизменности на все то время, пока длится отлив – эпоха расцвета самых разнообразных местных нарядов. Так что народный костюм подобен ископаемому свидетельству определенных социальных течений, охвативших в свое время места его бытования и оставивших нам свои отметины – характерные украшения и особый покрой, наследие изысканной старинной городской моды.

Аристократическое происхождение некоторых женских народных костюмов, причем как раз тех, которые проигрывают по части своеобразия и местного колорита, не столь очевидно. Так лагартеранское платье выглядит естественно повсюду в Испании – почти такие же носят и в центре и на севере полуострова. А глядя на «Наряд девушки» и на «девочек на празднике», так выразительно заснятых Ортисом Эчагуэ, нельзя не вспомнить азиатские одежды и одеяния Сиам.

Сколько бы ни уверяли меня в обратном, я остаюсь в убеждении, что среди народных костюмов нет ничего таинственнее, исконнее и удивительнее, чем андалузское платье с оборками – «фаралаес», а ведь этот наряд, неотрывный от своей земли, не производит впечатления старинной одежды. Думаю, что ничего подобного нет больше нигде ни в Европе, ни в Азии. Эти платья носят только там, куда их занесли испанцы – в Латинской Америке. Считается, что такие юбки появились не раньше девятнадцатого века. В галерее Ортиса Эчагуэ – да и в жизни – вы не найдете ничего современнее их. Но вернемся на четыре тысячи лет назад и обнаружим такие же точно юбки на критских богинях. Значит, там, на востоке Средиземноморья, женщины носили цыганские юбки четыре тысячи лет назад! И те же критянки – любопытное совпадение – спешили в мантильях на корриду. Сохранились мозаики с изображениями современниц царя Миноса, наблюдающих с балкона за боем быков. Их не отличить от севилянок. Мне это не кажется удивительным, ибо я придерживаюсь той точки зрения, что предки андалузов пришли на полуостров из Малой Азии и состояли в родстве с критянами, этрусками и другими загадочными народами, населявшими в древности Средиземноморье, теми, кто создал великолепные государства – упомяну хотя бы Тартесс. Шультен в одной из своих книг описывает тартесскую жизнь первого тысячелетия до нашей эры – прочтите, и вас поразит сходство обычаев, нравов и самих людей с нашими славными современниками – андалузцами.

Декабрь 1929 г.







ДОРОЖНЫЕ ТЕМЫ

ЗЕМЛЯ ЯРОСТНАЯ, ЗЕМЛЯ КРОТКАЯ

13 пути из Мадрида в Эндайо по бугристой дороге с досадой убеждаешься, что на протяжении почти трехсот пятидесяти километров нет ни одного спокойного уголка. Километр за километром окрестность, не зная отдыха, корчится в мучительном напряжении. Земля гола, и видно, как судорожно вздуваются ее триасовые или меловые мускулы, выжимая серую или багровую глыбу, чтобы с нею рухнуть в конвульсиях промоин, безжалостно выскобленных грозowymi ливнями. Время от времени эта архитектурная борьба ожесточенной земли, этот жестокий и вечный бой неведомо с кем, достигает апогея в оскале мелкозубой гряды, мимолетно выросшей на синем горизонте. Желтые чахлые колосья никнут, цепляясь за косогоры; можжевелики содрогаются, как нервы, на сухом ветру; несколько тополей стоят дозором в долине, и по спящей белизне тракта бесшумно скользят тени воронья, бродячего предвестника беды.

В этих жгучих июльских полях тень представляется блаженством. Но единственное, что встречается, — это жидкая бурая тень, в которую вцепился пыльный вяз, как деревенский скаред в жалкие крохи нажитого. Задышавшись, прячутся в ней человек и пес. И если это человек с воображением, он может тешить себя, вспоминая дерево из арабской легенды, тень которого всадники пересекали вскачь за шесть часов.

От Мадрида до Эндайи — вокруг сплошное ристалище. От Эндайи до Парижа напротив — сплошное умиротворение.

Франция, прежде всего, — это Франция хорошо ухоженная. Куда ни глянь — зеленая равнина, изредка волнистая и всегда — мягкая, теплая, ласковая. Каждый клочок земли приветлив, доволен, улыбается навстречу и

хранит печать заботливого ухода. То и дело — зеленые роши, влажно шумящие на ветру, и шато в аккуратных черепичных чепцах. Во все концы ведут ухоженные дороги, те несравненные дороги, что медленно, подолгу ласкают тело Франции, сплошь укутанное в зелень, чтоб ни один бродяга не увидел невзначай ее прохладную наготу.

Всякий раз, когда на пути из Испании во Францию наша сетчатка перенасыщается окружающим, увиденное бунтует, воскрешая в нас вечный географический конфликт. Да могут ли народы находиться на одном историческом уровне или претендовать на это, живя на землях настолько несхожих? Для испанца сравнение убийственно. Контраст между качеством одной и другой земли таков, что не оставляет и тени надежды. Что делать нам, запирейскому люду, как одолеть эту географическую пропасть между двумя странами и уравнивать их судьбу? Или судьба, загнавшая нас в этот угол планеты, неумолима?

«ЭЛИОН, МЕЛИОН, ТЕТРАГРАММАТОН!»

Гнетушее чувство усугубляется, если мы, видя упомянутую смену пейзажей, раскроем книгу нашего географа Дантина «Природные зоны Испании». Большая часть нашего полуострова обозначена Дантином как «Испания бесплодная». Звучит страшно, но действительность, быть может, куда страшней. «Во всей Европе, — пишет он, — нет ни одной страны с таким преобладанием засушливых и полупустынных зон, занятых сухими степями (попынными) и солончаковыми, типа африканских и азиатских... Мы единственная страна Европы, где засушливая зона занимает более 80 процентов территории».



Известно, что влажность региона определяется не количеством влаги, которое он получает, а соотношением между получаемым количеством и тем, что теряется за счет испарения. Так вот, в Кастилии воды испаряется вчетверо больше, чем приносится дождями. Чтобы сделать эту цифру наглядной, представьте местность, где вода льется с земли к тучам, а не наоборот; такова Кастилия – дожди там идут снизу вверх.

Стоит ли удивляться сухости, солончакости испанских душ? «Животное или растение, – пишет Дантин, – словно отражают облик местности, в момент возникновения целиком подстраиваясь под нее. Каждая составная часть природной зоны оставляет на биологическом виде свой отпечаток (климат – тип волосяного покрова, рельеф – повадки и т.д.), словно клеймо, которым господин метит раба, чтобы отличать его и распоряжаться им».

География повергает нас в такое уныние, что опускаются руки. Оказывается, сухой климат, который обжигает нашу землю такой пронзительной красотой, – это злой рок, тяготеющий над нашей историей. По крайней мере, за последние сто лет не появилось мысли более доходчивой, удобопонятной и приемлемой для мозгов, чем та, что человека создает «среда». Несколько поколений упорно старались превратить историю в физику, стремились отыскать причины человеческих деяний и думали найти их вне человека, в физическом окружении, в геологических и климатических условиях. Не очень одаренный, но очень восприимчивый к банальностям своего времени Тэн ввел в обиход понятие *milieu*^{*}, которое уже помогло Боклю объяснить мистические наклонности индусов крайним истощением по причине малопитательной рисовой диеты.

Однако в моих работах об испанской истории, опубликованных в последнее время,

географический фактор даже не упоминается. Некоторые читатели выражают мне свое недоумение по этому поводу. Пио Барохе, чей пронизательный ум почти излечился от материализма, подцепленного в юности, не доставало в моих исторических зарисовках расхожих сведений о почвах и климате.

Дело в том, что географическому истолкованию истории в том виде, в каком оно существует, недостает, на мой взгляд, научности. Это одна из тех идей, которые подбросил нам XVIII век (вспомним, что принадлежит она Монтескье) и которые, невзирая на то, что интеллектуальные пророчества не сбылись, утвердились в сознании, как врожденные догмы. На первый взгляд, нет ничего естественней, чем признать тесную причинно-следственную связь между климатом и формами человеческой жизни. Наш интеллект явно тяготеет к подобной схематической симметрии. Но беда в том, что никто еще не сумел сформулировать закон, по которому из определенного климата можно непосредственно выводить определенную политическую систему, художественный стиль или идеологию. В одном и том же климате расцветали совершенно разные культуры, и наоборот – одна и та же культура пересекала климатические пояса, существенно не меняясь.

Произошло то же самое, что у физиологов с психологией. Какое-то время казалось очевидным, что причину психических явлений надо искать в телесных модификациях. Возникают лаборатории, журналы, кафедры, конгрессы психофизиологов. Легион единоверцев утверждает новую религию, обрушивается на скептиков, клянется в верности. Однако тайна природы не поддается энтузиазму. Ни один психический феномен не удастся объяснить физиологически. Стала разрабатываться скрупулезная топография мозга, работой которого и ограничили психические функции. Вскоре иллюзия развея-

^{*} среда (фр.).



лась. Остался единственный, последний редут психофизиологов – центр речи. Сейчас выясняется, что даже при его удалении или повреждении речь может восстановиться. Тем не менее, идея «объяснить» психику соматически продолжает радовать обывателя.

Забывается, что у мысли есть две стороны, совершенно разные по значимости и результативности. С одной стороны, мысль стремится стать зеркалом действительности; когда такое стремление осуществляется и подтверждается, мы называем ее истиной. В этом проявляется ее объективная значимость или результативность. Но другой своей стороной она связана с субъектом – человеком, который думает, и если она совпадает с его внутренним настроением, характером, желаниями, то, даже не будучи истинной, не имея объективной значимости, она обретает значимость субъективную, давая интеллектуальное удовлетворение душе. Я бы противопоставил истинности, объективной ценности мысли ее витальность, или субъективную ценность.

Та хрупчайшая и как бы необязательная сторона мысли, что связана с ее истинностью, большинству людей совершенно неведома. В житейских границах их мысли выполняют чисто органическую, хотя и не менее таинственную задачу. Это органы жизни, которые организм – человек, народ, эпоха – способен создавать, чтобы быть во всеоружии. Они не подогнаны к действительности, но хорошо пригнаны к личному мировосприятию и вызывают в нем непродуманный отклик. Так, по дороге из Кастилии во Францию мысли о климате, среде, географическом положении, едва возникнув, дарят нам интеллектуальное успокоение. Мы думаем, что объяснили испанскую злополучность, верим, что мы ее разгадали. Речь о таком же эффекте, какой производили в древности заклинания. Никто не знал, как именно происходит космическое вме-

шательство, но от магических слов души успокаивались и проникались живой верой в него. Наш век, устремленный в науку, не стал от этого менее шаманским; только теперь магия обращена не вовне, а внутрь. Научные идеи воздействуют на душу не доказательно, а магически.

И так будет вечно. В конце XVIII века велеречивый граф Калиостро покорила всю Европу, чертя острием кинжала магический круг и бросая на ветер страшные слова: «Элион, Мелион, Тетраграмматон!»

«Среда», «климат», «географический фактор» весьма напоминают всемогущий словесный набор неаполитанского шарлатана.

Так и я, чтобы прогнать уныние, вызванное географией, одно заклятие снимаю другим и пока южный экспресс катит по сосновым ландшафтам, усердно повторяю: «Элион, Мелион, Тетраграмматон!» И результаты столь хороши, что даже колеса вагона, постукивая по рельсам, бормочут: «Элион, Мелион, Тетраграмматон!», «Элион, Мелион, Тетраграмматон!»

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

Нет, засушливым климатом не оправдать испанскую историю. Географические условия фатальны лишь в античном смысле – *fata ducunt, non trahunt* – судьба ведет, а не тащит. Лучше, наверно, и не выразить характер того воздействия, которое «среда» оказывает на живое существо и особенно на человека. Природа влияет на человека, но как? Воздействие вызывает у нас, как у любого живого организма, ответное действие. Другими словами, изменения, вызванные каким-либо внешним фактором, это следствие, всегда неадекватное причине. «Среда» не определяет наши действия, а лишь провоцирует их; наше поведение – не продукт среды, а вольный ответ, самоуправляемая реакция.



К счастью, биологи приходят к убеждению, что понятия причины и следствия неприменимы к феноменам жизнедеятельности, и вместо них следует ввести новую пару понятий – раздражение и реакция. Разница между этими двумя связками вполне отчетлива. Говорить о следствии можно лишь тогда, когда одно явление воспроизводит в ином виде то, что уже было заложено в другом явлении, причине первого. *Causa aequat effectum**. Бильярдный шар при столкновении сообщает импульс другому шару, и еще не бывало, чтобы второй двигался проворней первого. Между тем, достаточно движения руки в воздухе, чтобы пустить галопом кавалерийский эскадрон. Жизненная реакция – это следствие, всегда несоразмерное со своей причиной; значит, это не следствие.

Поэтому неправомерно искать «причины» исторических – то есть, в конечном счете, биологических – явлений. В действительности единственная причина, играющая роль в жизни человека, народа, эпохи, и есть этот человек, этот народ, эта эпоха. Другими словами, историческая реальность автономна, она – следствие самой себя. Сравнительно с тем влиянием, которое мы, испанцы, оказываем на самих себя, влиянием климата можно пренебречь.

*Fata ducunt, non trahunt***. Земля влияет на человека, но его ответная реакция может преобразовать землю. Постоянная засуха действует на него, изнуряя жаждой и слабостью. Но человек мужественный и сильный отвечает на это рытьем колодцев и бодрой самодисциплиной, побеждающей физическую вялость. И вообще, влияние природы на человека ярче всего проявляется в его влиянии на природу.

Разумеется, у природы есть исключения. Есть места, где жизнь невозможна, но по той

же причине они не влияют на жизнь. Там же, где возможна хоть какая-то жизнь, она реагирует на среду и мерится с ней силой.

Поэтому, едва поезд оставил позади Бордо и покотил среди веселых виноградников, мое уныние развеялось, как наваждение географического материализма.

Ландшафт не определяет, произвольно и неумолимо, исторические судьбы. География не тащит историю, она ее лишь подстегивает. Наше безводье – не нависший над нами рок, а стоящая перед нами проблема. Каждый народ сталкивается со своей собственной, порожденной краем, который он заселяет, и решает ее по-своему: одни – лучше, другие – хуже. Результат этого решения – современный облик земли.

Так что причины и следствия надо менять местами. Географические особенности крайне важны для истории, но не в том смысле, который придавал им Тэн. Это не подоплека, объясняющая народный характер, а напротив, признак и знак этого характера. Каждый народ изначально несет в душе идеал местности, который силится осуществить в реальном географическом окружении. Кастильская земля так пугающе черства потому, что черств кастилец. Мы смирились с пустыней потому, что она соприродна нашей пустынной душе.

Ничто так исчерпывающе не раскрывает мужчину, как та женщина, которую он выбирает; точно так же мало что пронизательней свидетельствует о народе, чем тот облик земли, который он признает своим.

Возразить нетрудно – порой географическое окружение настолько противоречит чаяниям народа, что все усилия преобразовать его оказываются тщетными. Кто спорит! Но тогда в истории возникает любопытный феномен миграции, который и означает неприятие данной земли и бездомную тягу к

* Причина тождественна следствию (лат.).

** *Fata ducunt, non trahunt*. (лат.).



земле своей мечты, к той «земле обетованной», которую каждый полнокровный народ обещает себе самому.

Жгучий драматизм кастильских полей и неуклонное спокойствие французских – это пространнейший психологический комментарий, красочная проекция двух народных душ, полярно воспринимающих жизнь.

ВКУС К ЖИЗНИ. ПРЕЗРЕНИЕ К ЖИЗНИ

Дерево, поле, тропинка, ферма – все во французском пейзаже обнаруживает избыток внимания, неторопливое наслаждение, долгую ласку. Французу мало того, что окружающие вещи хороши, – надо доказать, что они отличны, сдобрить их и медленно смаковать. Неукоснительно соответствие этих полей французскому жизненному укладу. У земледелия тот же почерк, что у французской литературы, французской кухни, культуры общения и политики.

Такое совпадение не случайно. Подобно тому, как дерево – это разветвление брошенного в землю семени, так человек и все в человеке – это разветвленное ощущение жизни. Для француза – это ощущение любящего, ощущение радости и наслаждения существованием. В кастильце, напротив, все кристаллизуется из раствора, перенасыщенного презрением к жизни. Обе ноты дают начало двум великим историческим мелодиям, которые враждебны друг другу и которые звучат пиано или форте у семейных очагов, в очертаниях зданий, на живописных полотнах, на политических форумах, в шуме стихов и тишине полей.

Кастильская земля не просто скаредна, суха и пустынна. На ней, помимо того, – печать заброшенности. Это презираемая земля. Французская пашня не только влажна, мягка и жирна. Это земля облюбованная, выпестованная и заласканная.

Кастилец, наслаждаясь чем-то, испытывает тайный стыд. Для француза, напротив, жить – это пользоваться жизнью, а жизнь – это наслаждение жить. Наслаждение, замечу, не означает пассивности: жить со вкусом – это энергичная жизненная позиция, которая возвращает нам спонтанность, побуждает ценить ее, чувствовать и смаковать. Последнее – смакующее пришепкивание языком – исконно в поведении француза, и вот этим-то он и раздражает исконного кастильца.

Человек радостный, чувственный, довольный кажется ему тщеславным и жеманным. Для того, кто презирает жизнь, ее смакование означает нехватку серьезности и мужественности. Любопытно, что мерой мужественности наш народ считает не способность совершать нечто, а способность не совершать, отказаться от чего-то, пожертвовать им. Он почти ненавидит триумфы, потому что за ними следует разгул. Поэтому наша литература всегда предпочитала героев, терпящих поражение. Первая испано-латинская поэма – «Фарсалия» Лукана – воспеваает побежденных, а наша символическая книга, наш «Дон Кихот» – это грустная эпопея пересчитанных ребер, где полным крахом и окончательным поражением человека предстает сама жизнь. По сходной причине испанские массы равнодушны и недоверчивы к личностям уверенным, энергичным и удачливым. И наоборот – питают загадочную любовь к людям, чье достоинство заключается всего-навсего в самоограничении. Популярность Пи-и-Маргалья, человека благородного, но крайне посредственного, обязана нелепому аскетизму, которому он время от времени предавался. Как будто нищенская жизнь, малый заработок или отсутствие одного служат гарантией ума и таланта!

Наша нелюбовь к удачникам и симпатия к затворникам на первый взгляд привлекательна. Но если вглядеться получше и вспомнить, что ненависть к натурам дея-



тельным и почитание «блаженных» типичны для дряблых народов, эта привлекательность быстро тускнеет. «Блаженный» – это герой, чей героизм, целиком негативный, заключается в отказе жить. Ослабленный организм, избирая героическую линию поведения, предпочитает вышеупомянутую просто потому, что она льстит его немощи. Не делать легче, чем делать. Потому-то в Испании так легко машут на все рукой – и в общественной жизни, и в частной.

История Франции обаятельна, потому что это история народа, который празднует жизнь. Его история развивается *allegretto** – это национальный темп, которому подчинен каждый, каким бы меланхоликом он ни был. Та нестерпимая тоска, безумная, маниакальная, что терзала душу Паскаля, не нашла иного выхода, как поддаться стремительному французскому задору. Его «Мысли» танцуют, а в «Письмах к провинциалу» угрюмейшая теология, фехтунга, оживляется и атакует с улыбкой.

Наслаждение жизнью, презрение к жизни. Два эти крайние и полярные жизнелюбия сквозят в пейзажах двух стран, таких близких и чуждых. Если французское Возрождение увенчано фигурой Пантагрюэля, каковой прежде всего – обжора, то испанское довольствуется плутом-пикаро, которому, прежде всего, нечего есть. В нашей плутовской литературе, как и в нашем кастильском пейзаже, – рабское потворство голоду.

ЭТНИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ

Итак, история Франции, кажется, вся вырастает, как из зерна, из первичной, изначальной привязанности к жизни. Кастильская, напротив, умеет лишь презирать жизнь. Эта разница в биологическом настрое двух народов становится очевидной только при их противопоставлении друг

другу, но если кастильскому противопоставить жизнелюбие других далеких народов, например, индийское, то все разом изменится. Индус ощущает жизнь как неустанный порыв в запредельность; чтобы заняться мелочами этого мира, ему надо совершить насилие над собой, искривив мучительным усилием воли естественное движение своей души, самопроизвольно тяготеющей к мистической потусторонности. Презрение бенгальца к мирским делам так безмерно, что рядом с ним наше скромное пренебрежение к мирским радостям выглядит кокетством, маскирующим тайное к ним пристрастие. Не надо забывать, что западные народы, в их совокупности, от восточных отличаются одна общая черта – жизненная увлеченность. Европейец – всегда человек земной, отсюда его практицизм, его империализм и весьма слабая религиозность.

Одним словом, наши представления о народном характере поневоле относительно и меняются в зависимости от наших сопоставлений, словно крыло чайки, которое белеет на солнце и темнеет, погружаясь в тень тучи.

В пределах Испании кастильское угрюмство со всех сторон окружено земными радостями. Есть радости Леванта, праздничные и разукрашенные; есть кантабрийское наслаждение сытостью и домашним уютом; есть андалузская нега садов, запахов и нежного воздуха; есть галисийская – наслаждение скорбью, упоенность собственными слезами, жалостное любование своей грустью под звуки «фадо», сладкое умирание, растворенное в печали океана. Среди этих удовольствий заточенная в пустыню Кастилия – словно иссохший Святой Антоний, осажденный искушениями.

Но разные оттенки, которые обнаруживает народный характер, обязаны своим появлением нашим интеллектуальным запрое-

* быстро (итал.).



сам. Относительность коренится в наших представлениях, а не в самом народном характере, всегда идентичном самому себе и четко очерченном.

Мы можем колебаться в определении разницы между нами и французами, но чувствуем ее безошибочно. Речь идет о двух витальных типах, не сводимых один к другому. Полнейшая чушь, будто француз, по словам Кановаса, — это испанец с кошельком. Различие не в богатстве и даже не в образованности или талантливости. Будь Испания богаче, образованней и вообще умнее, она, возможно, отличалась бы от соседей еще больше. Именно потому, что разделяющее начало коренится в жизненных пластах, куда более глубоких, чем экономика, наука и просвещение. Они настолько глубоки, настолько первичны, что почти невыразимы.

Не секрет, — и уж, во всяком случае, надо не замалчивать его, а всячески раскрывать, — что немало испанцев, и отнюдь не худших, считают свою жизнь загубленной одним уж тем, что родились в Испании. Почти все в нашей стране — наши привычки и манеры, наши идеи и продукты — им кажется несостоящим, неприглядным и только раздражает. Родная среда оборачивается для них кошмаром, который угнетает и душист их жизненные возможности. В то же время они высоко ценят уклад и устои Франции или Англии и даже убеждены, что переместись их жизнь туда, она бы состоялась. Я менее, чем кто-либо, расположен укорять людей, для которых все это — искреннее убеждение, а не общее поветрие. Но не укоряя, позволю себе заметить, что эти люди заблуждаются. Переместись их жизнь в Англию или Францию, благополучней она не станет — просто у неблагополучия изменится знак и содержание. Недостаточно уважать определенный образ жизни и считать его желательным, надо еще, чтобы он был кровным детищем нашего душевного

склада, наших внутренних запросов, самых глубинных и сокровенных. Испанец, перебравшись во Францию, избавится от нашего грубого кельтиберского окружения и, возможно, успокоится, но жить полней он не станет. Наоборот, вскоре он ощутит, что жизнедеятельность его парализована. Призрак самого себя, он будет проходить сквозь податливое чужеземное окружение, не задевая его, ни в чем не участвуя, перемещаясь с места на место свою парализованную личность, отчужденный, сторонний наблюдатель, безжизненный зрачок, безучастный ко всему, что творится вокруг. Все, чем захватывает и бодрит нас неведомая земля, исчезает, едва мы погружаем в нее корни нашей жизни. Древние хорошо знали этот внутренний паралич, и потому для них изгнание было равносильно смертной казни. Не тоской по родине пугало их изгнание, а неизбывным бездействием, на которое оно обрекало. Для изгнанника время и жизнь останавливаются; *exul umbra*, изгнанник — это тень, — говорили римляне. Он не может вмешиваться ни в политику, ни в события, ни в беды или радости чужой земли. И не столько потому, что ему не позволяют, сколько потому, что все происходящее инопородно, не отражается в нем, не захватывает, не мучит и не воспаляет его. Быть может, радуясь облегчению и внешним послаблениям, которые ему дает новая среда, он не заметит, как тускнеет его жизнь, беззвучно и неощутимо проваливаясь куда-то в пятое измерение.

Все мы замечали в тех, кто живет вне своего народа, характерное отупение. В них не остается ничего энергичного, крепкого, творческого. Их жизненные силы рассеиваются, и в душе они чувствуют себя глубоко и непоправимо приниженными.

Словом, даже при неуважении к испанскому укладу и преклонении перед английским или французским, бесповоротное пе-



реселение в эти страны ничего не решает. Ошибочно полагать, что жизнь сводится к восприятию, празднему фланированию по миру и пассивному удовольствию или неудовольствию ото всего, приходящего извне. При таком подходе вполне логично предположить, что если переместиться в среду, где окружающее лучше, чем у себя дома, то и жизнь улучшится. Ошибочно, повторяю, отправная точка зрения. Жизнь – не восприятие внешнего, а нечто едва ли не противоположное, и вся она заключается в действии. Жить – это вмешиваться. Это процесс, направленный изнутри вовне, в ходе которого мы вторгаемся в окружающее своими поступками, делами, привычками, обычаями, трудами, действуя в том духе, что изначально заложен в нашей душевной организации.

Попытка, пусть даже всего лишь воображаемая, переселиться в ту страну, которую мы особенно ценим, как раз и помогает соприкоснуться с тем невыразимым разделительным началом, с той внутренней мелодией, что определяет характер каждого народа. В самом деле, если мы не приемлем конкретные формы, в которых развивается испанская жизнь, по причине их топорности и заскорузлости и, напротив, находим похвальным образ жизни француза или англичанина, казалось бы, наша душа должна, целиком и без сожаления, быть с ними заодно. Однако это не так. Достаточно, проделав подобие мысленного опыта, представить себя превратившимся в англичанина или француза, как тут же, невзирая на пиетет, осознаешь, что тем самым лишаешься чего-то ценного и невозполнимого, подспудно заложенного в нас. И тогда за той Испанией, что была и существует в действительности, различается животворящее ядро, изначальная основа жизненных устремлений, которые могли бы, развивайся они успешней, создать достойнейший образ жизни. Вопреки реальной Испании, той, что была и

есть, существует множество возможных Испаний, разнонаправленных побегов одного корня, склада и характера. Хотим мы того или нет, мы внутренне связаны с этим исток-ом национальных стремлений, биологическим императивом, который неотвратно направляет нашу судьбу, как бы ни воротило нас от Испании сегодняшней. Если мы хотим жить, мы должны жить по-испански. Но жить по-испански можно на разный лад; до сих пор имел место лишь один – быть может, наихудший. Не вижу причины, почему бы не испробовать другие.

Эта «прекрасная Франция», что скользит мимо меня в вагонном окне, ее тучная, мягкая, щедрая земля, ее зеленые роши, ее приветливые хутора, ее нравы, ее общественная жизнь, ее культура и искусство – эта Франция мне кажется прекрасней Испании. На этот счет у меня нет ни малейших сомнений. Иначе бы я почувствовал стыд. Превосходство настолько очевидно, что не признавать или принижать его было бы жульничеством. Все в мире наряду с формой и содержанием обладает и собственным достоинством, а значит – и местом в иерархии ценностей. Не признавать за ним этого – все равно что красть ему принадлежащее. Затея недостойная. Как ни горько мне, но я не могу строить свой патриотизм на нечестности.

Тем более, что он в этом и не нуждается. Ибо чем больше я вглядываюсь и вижу красоты и достоинства Франции, тем отчетливей чувствую, что мне-то нужно иное. В глубине моей поляризованной души обнаруживается система вкусов и стремлений, которые решительно расходятся с теми, что внушило мне очарование Франции. Мое внутреннее излучение высвечивает иной квадрант будущности.

В прошлом веке старались скрыть тот факт, фундаментальный и одновременно пугающий, что народы совершенно различны, что историческая жизнь разнообразится



в них, как в зоологических видах – соматическая. Бродячий интернационализм рассчитывал легко упразднить это разнообразие бредовым и бессильным заклинанием и с лунатическим самозабвением изобретал некую псевдокультуру всех народов, притворяясь, будто их не различает.

И, тем не менее, речь идет о факте абсолютном, неустранимом, который история и политика вынуждены принимать таким как есть – спонтанным, иррациональным и таинственным. Больше того, в истории и политике существование этих разных жизненных стилей, которые являют народы, – отправная точка для всех дальнейших размышлений.

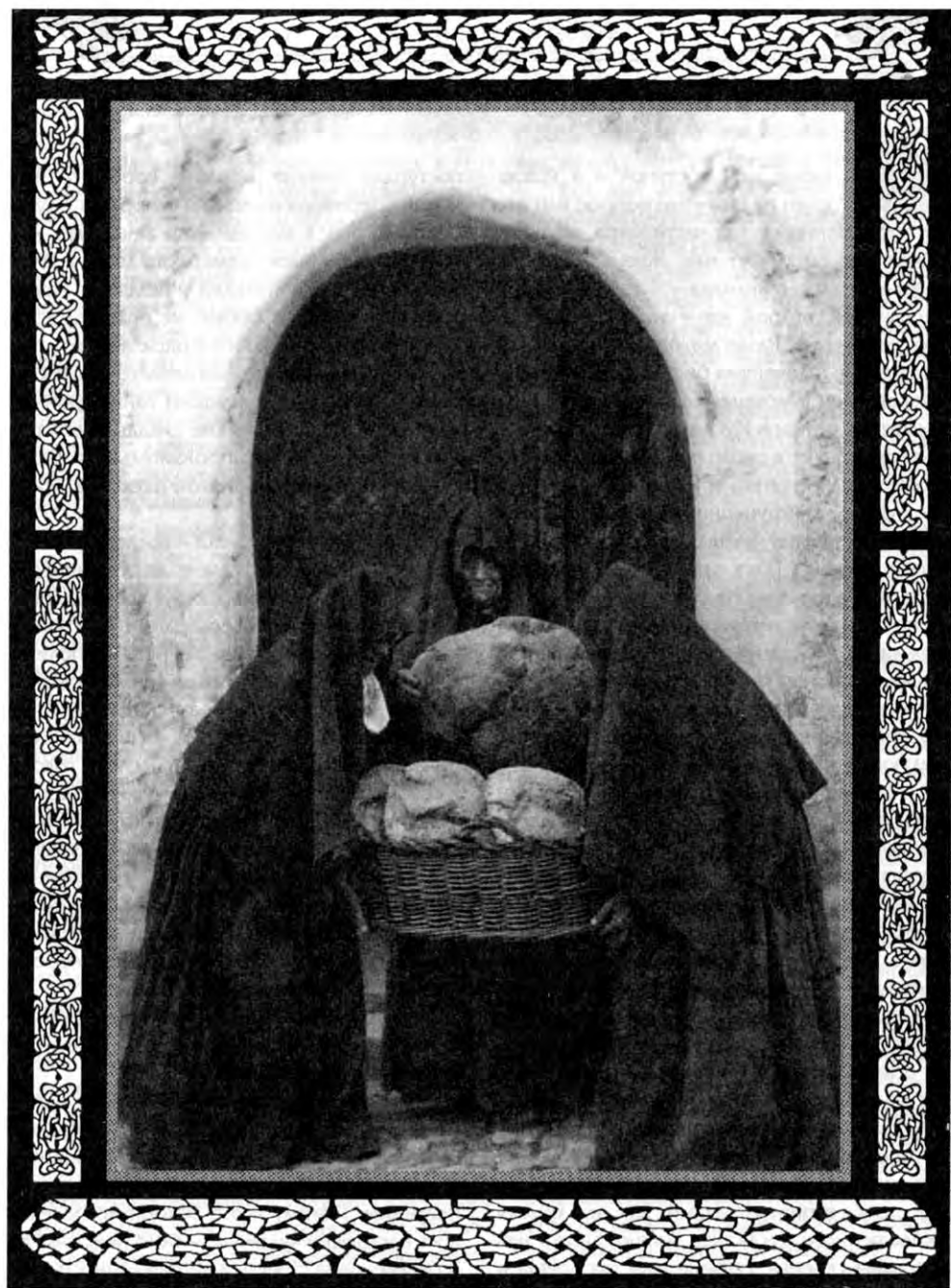
Не так уж давно после посещения кораблем затерянных островов, удаленных от

какой-либо обитаемой суши, островитян охватила эпидемия жесточайшего кашля и чихания. Соприкосновение с чужой расой, как электрический разряд, сотрясло этот народ до самых основ. Это ли не символический образ неодолимой разнородности, лежащей в недрах этнических судеб?

А колеса моего поезда продолжают твердить: «Элион, Мелион, Тетраграмматон!», «Элион, Мелион, Тетраграмматон!».

1925







СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

А любой наш поступок – а мысль один из них – это вопрос или ответ, обращенный к той части мира, которая в этот миг обступает нас. Жизнь – непрерывный диалог, а индивид – лишь один из собеседников, второй же – это окрестность, его окружение. Разве можно понять одного без другого? Новейшая биология – Ру, Дриш, Павлов, фон Юкскуль – отходят в изучении живого от методов XIX века, ища органическое единство не в отдельной особи, противостоящей однородной и единообразной для всех среде, а в функциональном целом, которое составляет каждая особь вместе со своей средой*. Паук прежде всего отличается от человека не тем, что иначе реагирует на предметы, а тем, что видит мир, непохожий на человеческое окружение. И как живой организм он, со всеми беспощадными навыками охотника, в своем мире столь же совершенен, как блаженный из Ассизи, целующий языв прокаженных, – в своем.

Чем укорененней и личностней тот или иной поступок, тем теснее он связан с окружающей нас частью мира, с ней одной. Поступая так или иначе, порой чувствуешь странную тревогу, замешательство, как бы обеспокоенность, неудобство. Тут точней всего подойдет французское слово «depayse» – отстраненный. Ты словно отстранен, потеряв связь с окружающими. Но рухнуло не вовне, а в тебе самом. Как будто отняли часть тела, и не найдешь себе места от боли.

Так вернем наши мысли в ту среду, из которой они вышли: давайте увидим в них скромное порождение окрестных мест, так же стоящее перед глазами, как эти тополя вдоль речного русла, как зыбкие дымки над крышами селения. Лучшие умы так всегда и

поступали. Декарт не забыл сообщить, что новый, переворачивающий мировую науку метод открылся ему однажды вечером в нагретой комнатке немецкого дома, а Платон, приобшая читателей «Федра» к науке всех наук – науке любви, не пожалел времени, чтобы представить Сократа и его друга беседующими во время летнего отдыха на берегу Илиса в освежающей тени стройного платана, пока греческие цикады выводят у них над головой свою пронзительную трель.

Вот о чем я думал этой пасхой в Эскориале.

Стояло начало апреля – время в окрестностях Гуаадаррамы самое переменчивое. Миновав, угрюмая зима вдруг возвращается и дает последний арьергардный бой юной захватчице-весне. Главное ратное поле – гранитный лоб Монастыря, краеугольный камень нашей поэзии. Гигантский лоскут чистой лазури оторочен белыми облаками, облаками, которые проносятся, сломя голову и сбиваясь в воинственную кучу, – эскадроны всадников на пышногривых и круглогрудых конях. Это наши испанские облака, клубящиеся вертикальным занавесом, переполняя высь барочным восторгом, – те самые облака, которые златобиты и ваятели размещают позади своих склонивших чело Христов, облака славы и торжества над смертью.

Монастырь – словно гигантская гробница, а небо над ним будто сцена, приготовленная для воскресения.

Только не ходите в Сан-Лоренсо через Лонху: это небезопасно. В дни изначальной битвы стихий лучше воспользоваться подземным тоннелем, зато попадешь внутрь цел и невредим. Потому что в Эскориале поселилось настоящее чудовище – само неистовство и рвенье, сама страсть и непреклонность, пе-

*См. книгу фон Юкскуля «Соображения о понятии мира в биологической науке» (испанское издание – Мадрид, «Эспаса-Кальпе», 1921).



ред которыми дрожит теперь вся округа. Это ветер, неукротимый ветер. Он срывается с Меринеры, вон с той кручи, срывается, круша на пути всех и вся, пока не расшибется о западный угол монастыря; тогда, взыв от боли, он пронесится по плитке кровель, взлетает по склонам, тучей пыли клубится над долиной и в последнем рывке мчит к Мадриду.

Не зря ветер всегда был для воображения символом божества, чистого духа. Господь в Библии нередко является в виде бури, а о приходе Ариэля, ангела озарений, возвещает катящийся вихрь. Поскольку под материей разумеется все косное, в понятие духа мы вкладываем начало, торжествующее над материальным, движущееся и деятельное, образное и преображающее, но в любом случае не приемлющее отрицательную мощь материального, его трагическую пассивность. И в самом деле, при минимуме материи ветер обладает максимумом подвижности: его суть – движение, вечное преодоление себя, выход за собственные границы, перехлестывание через любой край. Почти бестелесный, он само действие, сама неумность. А это, в конце концов, и есть дух – неуспокоенность и порыв над безжизненной громадой Мира.

Если вы ищете в Монастыре хоть что-нибудь под стать бешеному ветру, запрудившему Лонху и до земли согнувшему деревья, войдите в залу капитула и встаньте перед «Святым Маврикием» Эль Греко.

Как известно, критский мастер отправил это полотно Филиппу I, соревнуясь за звание придворного живописца. Картину не оценили, и Эль Греко остался умирать в Толедо.

Сюжет – из самых проникновенных во всей «Золотой легенде». Фиванский легион из 6666 солдат отказывается служить языческим богам. Император велит казнить каждого десятого. Приговор приведен в исполнение, юноши обезглавлены, дымящаяся кровь ест глаза, и вдруг Маврикий присоединяется к

своим легионерам с простыми словами: «Вы готовы умереть во имя Христа – благодарю вас, не отстанем же от наших товарищей».

Вот этот миг, внутреннее напряжение этих слов и изображает Эль Греко. Перед нами группа людей, погруженных в свои мысли и, вместе с тем, сплоченных общением и сопричастностью. Словно каждый из них углубился в себя и встретил там остальных.

Они – группа заговорщиков, только сговор их – о собственной гибели. Я бы назвал картину «Приглашением к смерти». По-моему, в одной руке Святого – этой воплощенной убежденности в миг, когда словами он призывает друзей умереть, – скрыт целый этический кодекс. Между его рукой и рукой Дона Жуана, под оплившей свечой в каком-то гиблом притоне ставящего на карту жизнь, есть тайная связь, о которой стоит задуматься.

Как и у итальянцев, движения фигур на полотне понятны не сразу. Они непохожи на обыденные. Так, значит, они неправдоподобны? Изверившись в героическом, испанец подозрителен к любому движению, если за ним – образцовые поступки и высокие чувства. Это неистребимое плебейство и подталкивает нас мерить жизнь масштабом самых бездарных ее часов. Но Маврикий – на вершине земного пути, он поступает жизнью, чтобы стократ обрести ее вновь. Так уместится ли эта воля в обычном жесте?

Наши жесты, хочу я сказать, это реакция на то, что мы видим и слышим, на окружающее. Наивно думать, будто фиванца Маврикия обступало ровно то же самое, что всех нас. Напротив, нужно иаги от жеста как таинописи неведомого смысла и уже отсюда реконструировать стоявший перед его внутренним взором мир. Тот же вопрос задаешь себе перед «Джокондой»: что же такое видит эта женщина, чтобы так улыбаться?

Поступок Святого – прежде всего этический.



Добро и зло, о которых учит этика, относятся к воле, к желанию человека. Сами по себе вещи не добры и не злы, добро и зло кроются в нашем желании или нежелании их.

В слово «желание», замечу, вкладывают два разных смысла. В обычной жизни, желая того или иного, мы вовсе не имеем в виду, будто нам не нужно больше ничего на свете. Совсем наоборот: мы желаем этого, поскольку без него не достигнуть другого, которое необходимо для третьего, и так далее. Из этих звеньев, когда любое желание подчинено следующему, и скована наша повседневная жизнь. Одна частица души зависит от другой, и так без конца. Мы желаем одного ради другого, желания наши продиктованы пользой, а душа сдана внаем.

Но что общего между этим желанием одного ради другого и тем, когда желаешь чего-то лишь ради него самого, без какой бы то ни было посторонней цели? Наше корыстное желание, наша ангажированная воля – потому что утилитаризм в морали идет от англичан – соединяют предметы в бесконечную цепь, где каждое звено – лишь зацепка для последующего, а значимо только место в цепи. Напротив, желание иной, более истой природы вырывает из этого оплетения единственное и неповторимое звено и дорожит им – вот таким, отдельным, ни с чем не связанным – именно как роскошью и при избытке. Рядом с этим волевым актом все другие – не более, чем экономика, поскольку предметы желания для них только средство. Для нравственной же потребности они – самоцель, итог, последняя граница жизни, ее вершина. Неопределенность сделок тут кончается, и дух теперь уже не совокупность простейших частиц, каждая со своим эгоистическим и неотложным требованием. В действие вступает глубинная суть личности и, собрав распыленные силы, на миг приводит нас к согласию с собой; став сейчас – и только сейчас – воистину собою,

мы отдаемся желанному без околичностей и подозрений. Задним числом мы не в силах даже представить, как это можно жить без того, что тебе дорого, и смотрим на себя прежних, как выморочные тени, изменившие собственной сути.

Именно ради этого Святой Маврикий отдал свою жизнь и жизни своих легионеров. Иначе она не была бы, в полном смысле слова, его жизнью. Чтобы стать вровень с собою, остаться верным себе, потребовалось без оглядки, всем существом раствориться в смерти. Воля к смерти – всегда залог воскресения. Отказ от жизни становится высшим утверждением личности – возвращением с периферии существования к его духовному центру.

Большинству известен лишь первый, экономический смысл слова «желание». Мы перекидываемся с предмета на предмет, с одного действия на другое, не отваживаясь сосредоточиться ни на одной цели. Есть талант желать, как талант мыслить, и только немногие способны добыть из-под спуда общественной пользы, которая диктует каждый шаг и выверяет любой поступок, свое истинное желание. Постепенно привыкаешь называть жизнью состояние, когда тебя ведут, вместо того, чтобы управлять собой собственноручно.

Поэтому полнота желания для меня характеристика нравственная. Когда мы хотим чего-то всей душой – целиком, без околичностей и подозрений, – тогда мы и поступаем согласно долгу. Ведь высший долг живущего – верность себе. Общество, где каждый вправе оставаться собой, я бы назвал совершенным. И разве быть целостным человеком не значит в любой мелочи сохранять верность своему существу, не подшопанному компромиссами, прихотями и уступками ближним, традиции или предрассудку?

Поэтому и Дон Жуан для меня – фигура высочайшей нравственности. Он счита-



ется по свету, иша то, что поглотило бы его способность любить целиком: в этой погоне его пыл неистощим. Но поиски безрезультатны, и потому он умом скептик, хотя сердцем – герой. Для него уже весь мир на одно лицо, нет никого особенного, все одинаковы. Его считают легкомысленным, но это заблуждение. Он не дорожит собой, поскольку ему все равно. В угоду прихоти он готов поставить жизнь на что угодно – да вот хоть на эту карту. В том и трагедия До-на Жуана, что он – герой без цели.

Эль Греко весь свой век писал смерть и воскресение. Пассивное прозябание он отвергал наотрез. Люди на его портретах горят, готовые изойти в последней вспышке.

Как сейчас помню тот давний день, когда по бесконечной лестнице дома на улице Коленкур я поднялся на самый верх, в мастерскую Сулоаги.

Я очутился в скромной, необставленной квартирке, как будто четыре стены сохранили среди парижской роскоши пустынный и неприветливый мир, глядящий из глубины

любого холста Сулоаги. Лишь на одной стене висела картина – «Апокалипсис» Эль Греко. Точней, нижняя часть этого полотна, которую в своих разъездах по кастильской глуши Сулоага чудом обнаружил. Если верить описи имущества Греко, недавно найденной сеньором Сан-Романом, этот холст был, вероятно, одной из последних работ Доменико Теотокопули. На нем как бы посмертное видение материи сжигаемому собственным огнем духу. На первом плане слева – огромный Святой Иоанн, старик, воздевший руки с ужасом и мольбою. За ним, под великой битвой в облачной высоте, – пылающие нагие тела, рвущиеся воспарить и истаять в бестелесной, уже почти духовной драме небес. И больше ничего. Да и нужно ли что-то еще? «Апокалипсис» – образец и прообраз искусства: прямо перед нами, в пугающей близости – сам простейший и глубочайший предмет живописи как таковой. Клочок материи, обреченной огню.

1914





ГОЛОВА И СЕРДЦЕ



а последний век горизонты жизни сказочно раздвинулись. Стало просторней и лучше: все больше мы знаем, все больше у нас превосходных инструментов, технических и общественных. Число фактов и сведений, которыми оперирует

мозг обычного человека, выросло неимоверно. И прочее, и прочее. Как говорится, выросла культура. Неужели? Если и выросла, то лишь в одном измерении – интеллектуальном, а это еще не культура.



И пока шел этот рост, пока копились открытия, знания и сведения о мире, чахли другие отрасли человеческого бытия, где действует не разум, не голова. Брошенное на произвол сердце, безвольное и неотесанное, поплыло наугад по течению жизни. Умственному прогрессу сопутствовал душевный регресс, головной культуре – душевное бескультурье. О совершенной оплошности свидетельствует одно уже то, что слово «культура» понимается только применительно к мышлению. А надо заметить, что это слово, так полюбившееся немцам за последнее столетие, впервые употребил испанец, Луис Вивес, и употребил его для обозначения необходимости культивировать сердце, *cultura animi*^{*}. Это тем более примечательно, что в его время, в эпоху Ренессанса, господствовал интеллектуализм, и все надежды возлагались на голову. Сегодня, напротив, мы начинаем догадываться, что суть не в ней и что, строго говоря, мысль коренится в сердце. Потому так пугает современного европейца пропасть, разделявшая умственное развитие и воспитание чувств. Пока не восстановится равновесие между ними и острота мысли не будет подкреплена, обеспечена тонкостью чувств, культура не избавится от смертельной угрозы. Неблагополучие, сквозящее во всем и повсюду, рождено этим губительным разладом, и уместно вспомнить, что еще век назад Огюст Конт отметил первые признаки недуга и безошибочно диагностировал его как душевный разброд, спешно предлагая в качестве лечения нечто, названное им «устроением и упорядочением чувств».

Следовало бы удивляться тому, с каким постоянством человек верил, что его сущность, его подлинное ядро – это мышление. Так ли? Если отнять у нас все, оставив един-

ственное и самое личностное, нашу суть, – будет ли это рассудок? Какой бы срез истории мы ни взяли, всегда человек держится за разум как за собственный корень. Обратимся ли к незапамятной индийской мудрости, непременно встретим нечто близкое хотя бы такому ведийскому стиху: «Человек – это мысль. Поступки покорно следуют за мыслями, как тележные колеса за воловьими копытами». Перескочим в XVII век – вмиг услышим, как Декарт раз за разом повторяет: «Que suis-je? Je ne suis qu'une chose qui pense**». «Человек – это мыслящий тростник», – чуть позже и чуть вычурней скажет Паскаль.

И всегда один и тот же довод. Все, что в нас не является знанием, основано на нем и потому вторично. Любовь и ненависть, желание и отвращение, любое чувство предполагает предварительное знакомство со своим объектом. Мыслимо ли что-то любить, если о нем и знать не знаешь? Можно ли хотеть того, о чем даже не подозреваешь? *Ignoti nulla cupido – Nit volitum quim praecognitum****.

Довод настолько веский, что грозит раздавить своей тяжестью всякого, кто осмелится возразить. Да и кто решится утверждать явную нелепость, будто можно полюбить никогда не виданное и не слыханное? Следовательно, голова предваряет сердце, она весомей этого довеска, и роль его второстепенна.

И все же, и все же... Чтобы проблему упростить, без особых натяжек, ограничимся простейшей формой познания – способностью видеть. То, что справедливо для нее, тем более справедливо для высших и сложных форм – суждений, теорий, концепций. Недаром же наши обозначения мыслительного процесса – почти всегда ме-

* Культура души (лат.).

** Что такое я? То, что мыслит, и только (фр.).

*** В неведении нет любви – незнаемого не жаждут (лат.) – Овидий. Искусство любви.



тафоры зрения: суждения мы называем взглядами, а систему их – мировоззрением.

Итак, давайте спросим себя. То, что любим, мы любим потому, что видим его? Можно ли серьезно утверждать – то, что видим, мы видим потому, что любим еще до того, как увидели?

Ответ будет решающим для выяснения того, что же в человеке первостепенно.

На каждом шагу и в любой точке, где мы откроем глаза, зрительные объекты практически бесчисленны, но мы видим одновременно лишь ограниченное число их. Угол зрения должен вобрать лишь немногое и отвлечься от остального, пренебречь им. Иначе говоря, мы не в силах увидеть что-то одно, не перестав видеть что-либо другое, не будучи временно слепым к нему. Видеть одно означает невозможность увидеть другое, как услышать звук означает не слышать остального шума. Парадокс, во всех отношениях поучительный: каждому взгляду свойственна и необходима известная доля слепоты. Чтобы видеть, мало иметь глаза и нечто перед глазами – надо именно на нем остановиться взглядом в океане видимого и не замечать остального. Короче, чтобы видеть, надо обратить внимание. Но внимание – это предварительный поиск, как бы предвидение того, что увидим. Получается, что сама способность видеть уже предполагает предвидение, которое обязано не зрению и не объекту зрения, а предварительному импульсу, побуждающему направлять внимание и вглядываться в мир. Без такого внимания нельзя разглядеть ровным счетом ничего. Но внимание – это не что иное, как заблаговременное, уже заложенное в нас пристрастие к чему-то определенному. Приведите в поле живописца, охотника и землепашца – глаза их по-разному увидят местность, по сути, три разных местности. И не потому, что стрелок предпочел свое охотничье восприятие крестьянскому или

артистическому. Нет, о них он не знает и не узнает никогда. Куда бы он ни забрел, изначально и преимущественно его занимает в окрестности то, что существенно для охоты.

Словом, даже в такой простейшей сфере познания, как способность видеть, казалось бы, у всех одинаковой, движут нами пристрастия и привязанности, заранее направляя наше внимание на одно и отвлекая от другого.

Можно возразить, что порой само явление захватывает нас силой своего воздействия. Внезапный орудийный залп заставил бы нас разом забыть те психологические тонкости, о которых идет речь, и обратиться в слух. Факт бесспорный, но ошибочно объяснять его лишь физической силой звука. Если бы сильный звук сам по себе будил внимание, было бы невозможно объяснить, почему живущие у водопада глухи к его шуму и, напротив, когда мощный гул прерывается, слышат то, что акустически несопоставимо с ним – полное ничто, тишину. Для того, кто живет у стремнины, привычный шум, как бы силен он ни был, лишен всякого интереса, ничем не затрагивает и потому не слышен. Орудийный залп и упомянутая тишина впечатляют по сходным причинам, которые можно отнести к общему знаменателю – новизне. Человека захватывает новизна, по многим жизненным соображениям, именно к ней он неизменно чуток. Это отнюдь не опровергает, а скорее подтверждает мою мысль. Мы слышим неожиданное – залп или тишину – потому, что внутренне всегда готовы и внимательны к новизне.

Чтобы видеть – надобно смотреть, чтобы слышать – надобно слушать, и вообще любая наша способность – это факел, это зажженный светильник, который мы несем перед собой, выхватывая из темноты то одну, то другую пядь мироздания и отбрасывая на его необозримый, непроницаемый лик то свет, то тень. И в конечном счете человек

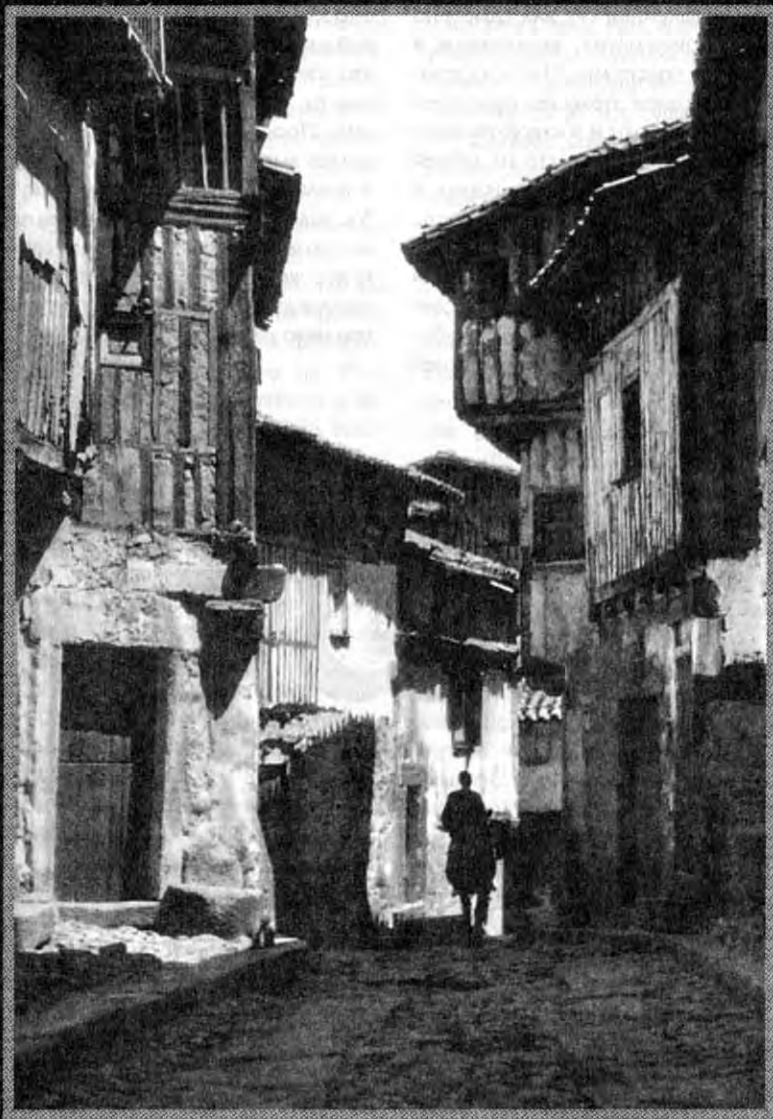


не сводится к мышлению, так как само оно зависит от его пристрастий, заложенных в нем изначально и подспудно. Часть их присуша всем, и благодаря этому мы чувствуем общность нашей природы и в какой-то мере достигаем взаимопонимания. Но на общей основе каждая личность, каждый народ и каждая эпоха строят свою самобытность, свою особую систему предпочтений, и она-то и выделяет, разделяет и обособляет нас и не дает до конца понять друг друга. Мы совпадаем лишь в самом поверхностном и обыкновенном; что до остального, то чем важней

оно для нас, чем больше оно наше, тем сильнее взаимное непонимание, вплоть до того, что самые глубокие и сокровенные наши пласты остаются недоступными для ближних. Порой мы мечемся, подобно зверю, силясь вырваться из клетки – из нас самих – и вселиться в родную и близкую нам душу. Да, видно, не судьба. Души, как немые звезды, сходятся и расходятся, не соприкасаясь. И все же немногого стоит тот, кому боязно погружаться в те недра бытия, где он непоравимо одинок.

1927







ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ



Есть два рода эпох: времена, когда борьба идет за то, кому править, и времена, когда борются, чтобы никто не правил. К последним относится прошлый век и те чувства, что его обуревали.

У нашей цивилизации два изъяна: она учит правам, а не обязанностям, и ей недостает исконности; другими словами, она заключается в средствах, а не в конечных целях, и оставляет невозделанной, неокультуренной глубину существования, то, что в жизни человека абсолютно или тяготеет к абсолютному. В этом смысле наша цивилизация поверхностна, и потому принимать или отвергать ее, принимать целиком или частично – это дело вкуса, если не прихоти. Оттого так легко и чем дальше, тем легче люди отмахиваются от ее заповедей, либо хватаются за ту, что в данный момент их устраивает.

Нигилист, не уважая себя, сознавая свою бесплодность, возмещает ее тем, что шельмует жизненные ценности. Так он становится с ними вровень. Сравнительно с ним Люцифер – это святой, потому что его действия предполагают, во-первых, восхищенное признание того, что в мире есть наивысшее – Бог, во-вторых, стремление уподобиться этому наивысшему и, в-третьих, возникшую отсюда убежденность, что есть и другое наивысшее – он сам, подобный Богу.

Для нигилиста Люцифер слишком наивен, поскольку верит, что в мире есть нечто стоящее, и относится к нему признательно. Это райский сноб.

Однажды, в афинской бане, столкнулись киник Диоген и аристократ Аристипп. Последний, уходя, рассеянно натянул рваную туннику Диогена. Но Диоген наотрез отказался предстать перед людьми в пурпурных одеждах Аристиппа.

Когда наступает подлинный кризис культуры? Культура, строго говоря, это система коренных убеждений, окончательный взгляд человека на жизнь, тот его мир, в который он уверовал безотчетно и всецело. Эта вера может опираться или не опираться на знание, может быть религиозной или наоборот. Важно, чтобы человек видел с абсолютной отчетливостью строение своего мира. Потому что жить – это вникать в окружение, свыкаться с ним, помогать и остерегаться его. Если окружение, в которое вживаешься, целиком теряет очертания, если исчезают ориентиры, по которым можно определиться, если человек совершенно искренне не понимает, что возможно и что – нет, тогда и сама жизнь его становится недостоверной. Поскольку нет больше оснований поступать так, а не наоборот, он привыкает жить подставной, промежуточной жизнью. Это ли не трагично? Жизнь у каждого одна, и делать эту единственную жизнь чем-то промежуточным...

Кризис культуры тогда неподделен, когда человек не находит мира, в котором ему жить – то есть окончательно и бесповоротно осуществить свою жизнь, то единственное, что для него бесповоротно. Мир – это структура окружения, взаимосвязь всего, что нас окружает, окончательная перспектива того, что в жизни возможно и что нео-



существимо, что должно и что запретно (и не только из соображений морали, умозрительной или житейской, но и с позиций менее моральных и более эгоистичных).

Агностицизм минувшего века ослабил в людях врожденную тягу к «окончательному», к вечным вехам существования, и приучил мысль довольствоваться «предпоследним», каковое вполне резонно становится чистым допущением и можно принимать его, отвергать и заменять чем угодно. Крайний пример – физика. Она, бесспорно, великолепна, но поскольку она не решила свои коренные проблемы, не обосновала свою собственную суть, вполне естественно, что люди к ней глухи. То же самое с техникой. Автомобиль – великолепное устройство, чтобы спешно попасть бог знает куда. Но на черта спешить, если мне там нечего делать?

Нашей культуре всегда не хватает какой-то последней зацепки, чтобы держать нас. Культуру, какой она была прежде, культуру, которая не дает человеку устраниваться от нее, потому что она вглавлена в его личную жизнь, – такую культуру я называю укорененной, вошедшей в человека, исконной.

Современная же, с ее допущениями вместо необходимого и непреложного, превращается в мифологию и плодит идолов, сиюминутных и взаимозаменяемых, но отнюдь не обязательных. Лишь перспектива окончательности побуждает заменять одного другим – предпоследним. И только когда современный человек почувствует смертную нужду добраться куда-либо, только тогда дойдет до него смысл автомобиля.

Жизнь без «мира», то есть без неразменного окружения, без твердой почвы под ногами – это жизнь неукорененная, недовосторженная и ненастоящая.

Нужен здоровый радикализм, первооснова, краеугольность.

Мы – не тело, утратившее тень, а тень, утратившая тело.

Все это кончится, как только человек отчаянно затоскует... о мире.

Для Испании существенно не то, что инквизиция жгла еретиков, а то, что не нашлось ни одного еретика, достойного пламени. А если такой и появлялся по чистой случайности, то, подобно Сервету, подавался как можно дальше и там шел на костер.

Огонь – не диковина, и пользовались им повсюду. На одну инквизицию испанцам не списать свою умственную спячку.

Старинный обычай таитян: когда ищут любви, закладывают цветок за левое ухо, а когда находят, перемешают его за правое. Похоже, Х. не ошибается, уверяя, что у нас имеются и правые, и левые.

Шлегель как-то сказал: «Невежда – пародия на самого себя».

То испанское, что вошло в кровь народов Центральной и Южной Америки, несомненно, могло бы способствовать нашему влиянию на них. Но не способствует нисколько, потому что упомянутые народы куда острее, чем свое испанство, ощущают нужду в идеях и средствах, без которых не утвердятся в современном мире. Чтобы их потенциальное испанство стало действительным, надо, чтобы мы для них были не испанцами, а современными людьми.



Двойственность нашего времени, которой я так озабочен, – это не навязчивая идея и не просто особенность, но сущность нашего времени. Мы оказались в ситуации поистине небывалой. В человечестве произошла коренная перемена иррационального свойства – и как раз в то время, когда человек удивительно зорек и проницателен по отношению к себе. Впервые он наблюдает собственную мутацию – меняется и знает, что меняется. Прежде он считал себя окончательным и, как бы при этом ни менялся, не рассматривал себя – свое мировоззрение и образ жизни – как нечто переходное. И потому, меняясь, не ощущал перемены.

Река Гераклита осознала свой бег. Струйка, которая сбегает по склону, видит себя бегущей, но отдельной от реки, и, следовательно, неизменной.

У человека нет иного выхода, как учиться жить в этой двойственности и чувствовать себя одновременно преходящим и вечным. Прежде художественный стиль, научная идея, политическая доктрина захватывали тем, что казались окончательными. Пора убедиться, что окончательны мы лишь тогда, когда отлично вмещаемся в наше сиюминутное, летучее пространство – иначе говоря, когда принимаем «наше время» как судьбу, без ностальгии и утопизма. (Не поймите меня превратно. Тоска о былом и мечта о несбыточном – законные проявления мощной жизненности. Надо только жизненно не зависеть от них, не жить ими и ради них, потому что тогда они – признаки немощи. Жизнь – это вечное сейчас, ностальгия и утопия – бегство от него.)

Великие исторические сдвиги обычно наступали в сумерках разума. Сильно сомневаюсь, что когда-либо еще столь мощное вторжение иррациональных сил, стреми-

тельно меняющих человеческую сущность, совпадало, как в наши дни, с таким безоблачным светом мысли.

Говорят, идеологи не годятся для политической борьбы. И это сухая правда. Как бороться с другими, когда борешься с самим собой? С другими борются фанатики, то есть те, кто с собой живет в полном согласии. Разве хватит духу оспаривать других у того, кто вечно спорит с собой? У того, кому ясно, что внутренний спор – естественное состояние человека, нет призыва всегда брать верх. Иное дело – фанатик, тот, кто для себя уже не человек, а окаменелость, непреклонный борец за веру. Лишь те, кто не мыслит себя, стремятся убедить остальных.

Любопытный факт. Китайский социалист Мо Цзы в пятом веке от Рождества Христова написал книгу, половину которой посвятил всеобщему человеколюбию, а другую половину – крепостной артиллерии.

Принимать «наше время» как судьбу – не значит принимать его вслепую. Так поступают именно те, кто не желает замечать в событиях жизни серьезности и тяжести судьбы и превращает их в ролики, на которых катит по поверхности существования, не задерживаясь ни на том, ни на сем, ни на пятом, ни на десятом – короче, не становясь ничем. Подобные существа вечно пребывают в состоянии праздно-готовности, и потому так охотно и бесцеремонно хватаются за все, что ни привалит. Отсюда и парадоксальный результат: почти всегда те, кто пуше других, казалось бы, идет в ногу со



временем, на самом деле не имеют отношения ни к этому времени, ни к какому другому. Они «на уровне» своего времени, но суть у них вневременная – ни сегодняшняя, ни вчерашняя, ни третьего дня, а просто никакого (например, дама из общества, которая лезет вон из кожи, чтобы держаться так, как держатся, и носить то, что носят, по складу своему существо не датированное, и с равным успехом могла бы жить и вчера, и во времена фараонов).

Нет, речь не о том, чтобы принимать все без разбору. Совсем наоборот. Каждое «наше время» приносит свои правила и свои неправды, свои подлинные заповеди и поддельные. Поэтому надо придирчиво следить за его чистотой, избавлять его от постоянных искажений, мерить «наше время» его собственной мерой. Чем серьезнее принимают «наше время», тем решительнее не мирятся с его шарлатанствами.

Самое распространенное из них, самое пошлое и легкодоступное – экстремизм. Для природного жулика – весьма живучей разновидности человека – существа абсолютно неспособного что-либо создать, кроме иллюзии, что он тоже творит, что он тоже некто, нет иного выхода, как только хвататься за новую идею и доводить ее до абсурда. Удобнейший способ! Пристроиться к чужой идее и следовать ей до конца, никуда не сворачивая. Это и есть антипод творчества, предел рутины. Прямолинейность инертна, экстремисты – это лодыри истории. Они движутся в одном направлении, в ту сторону, куда их однажды толкнули.

Человек творческий, то есть человек, который живет по-настоящему, знает пределы своих самобытных истин, а потому он всегда наготове и отбрасывает их, как только они начинают оборачиваться ложью.

Из живых существ наименее восприимчив, в наименьшей степени живет восприятиями и от них отталкивается взрослый человек. Другими словами, взрослым менее всего движет то, что он видит перед собой. Богатейшая кладовая его памяти и особенно накопленные там «признанные теории» непрерывно противостоят его восприятиям, лишая их сущности и превращая в простые инструменты памяти, то есть в напоминания о мире, который давно знаком и о котором мы знаем заранее. Это внутренний мир, внутренний человек – его домыслы, убежденности, предвзятости – господствующий над человеком внешним, над чистым восприятием. У ребенка и животного все обстоит иначе. Лишь они умеют видеть, именно потому, что у них нет предварительного, априорного знания. Для них существует «то, что есть», очевидное, явное и сиюминутное, а именно – сквозная, прерывистая канва восприятий.

За взрослого решают уже не глаза, а теории, которые формируют восприятие и заставляют его, волей-неволей, принимать заданную форму.

И в то же время плоть наших теорий – это, бесспорно, все воспринятое нами, единственное, что не может быть придумано. Можно поэтому утверждать, что интеллектуальное богатство человека зависит в конце концов от того, что он увидел ребенком. Искусство и подавно живет лишь детским видением, теми трофеями, что добыли новорожденные глаза. Я уже как-то говорил, что поэзия – неперебродившее детство.

У всех греческих классиков – ребяческий облик, детские лица. Все серьезное преодолено.



Я говорил, что в наши дни преимущественно живут неокончательной, промежуточной жизнью и потому временной. Но ведь и все в мире временно, и в том его очарование. Вечная жизнь была бы невыносимой. Жизнь человека драгоценна потому, что ее краткость уплотняет ее, пресует и делает алмазной. Прелесть отлета, хрупкую дрожь клинка дарит всему живому его мимолетность. Едва рассвело – и день мой стремглав уже спешит в неотвратимые сумерки. Галилей взывал о наивысшей каре, когда молил, чтобы *detrattori della corruttibilità** обратились в статуи. А старый японский поэт говорил:

Наша жизнь – росинка.

Пусть лишь капелька росы

Наша жизнь – и все же...

Дух возникает или рождается на вершинах муки и на вершинах наслаждения. Плоть, доведенная до крайнего напряжения и достигшая своего предела, становится духом. Тому свидетельство и едва ли не символ – у раненого животного появляется почти человеческое выражение. Как и в миг соития.

Загадка истории – загадка счастья. Ведь историк силится понять, какой была жизнь той или иной эпохи в своих сокровенных глубинах. Так вот: любая эпоха чувствует себя, в конечном счете, счастливой.

Жизнь неизменно счастлива в своем огромном, общем кубле. Подтверждением служит то, что ни одна эпоха всерьез не хотела бы стать какой-либо иной из нам известных. Смутное стремление переселиться в те или другие времена, прошлые или будущие, – это милая прихоть жизни, помогающая лучше взглянуть в облик эпохи. Но беды – всего лишь метеоры, которые падают на неизменную, надежную и неуязвимую планету счастья. Жалобы на «времена и нравы» – это разновидность наслаждения, сладость слез, удовольствие от жалости к себе. Об этом догадывался Гегель, но никто не оценил его догадку и не развил ее. У каждого времени – своя жизнь, и время ошущает ее своей потому, что в ней, такой как есть, оно счастливо. Неверно думать, будто счастье исключает боль и тревогу. Напротив, это его составные части. Историк не раскусит время, пока не доберется до той сердцевины, где оно счастливо. Чудовишна тайна жизни, вечно блаженной, так полно и невозмутимо погруженной в себя!

Карлейль рассказывает, что герцог Орлеанский, дед Филиппа Эгалите, был изрядным маньяком и не только не верил в существование смерти, но запретил даже упоминать о ней. Однажды его секретарь обмолвился: «Покойный король Испании...» – «Что?! – загремел возмущенный герцог. – Покойный король?!» – «Это его новый титул», – успокоил секретарь.

1930

* Продажные клеветники (итал.).



ОБОБЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА



С середины прошлого века жизнь европейца чем дальше, тем больше становится прилюдной. Это стремительно прогрессирует. Частная жизнь, уединенная или замкнутая, укрытая от посторонних, от чужих, ото всех, становится все несбыточней.

Начнем с самого явного. С уличного шума. Улица стала оглушительной. Одной из наипростейших вольностей, которыми наслаждался человек, была тишина. Право на законный глоток тишины сегодня отменено. Улица вторгается в наши убежища и затопляет их гулом толпы.



Всякий, кто хочет сосредоточиться и обратиться с мыслями, должен научиться тонуть в людском гомоне, быть водолазом в океане слитного шума. Человек физически не может остаться наедине с собой. Волей-неволей, он обречен быть с остальными. Пропспекты и площади просачиваются безымянной разногласицей сквозь домашние стены.

Все, что основано на почитании, день ото дня чахнет на свету неотвязной публичности. И прежде всего – семейный оплот. Жизнь семьи – крохотный мирок, обращенный вглубь и ошестиненный наружу, – сведена до минимума. Чем больше преуспела страна, чем она полнокровней, тем худосочней семья. И, кстати, причина ее вырождения весьма любопытна. Всегда было ясно, что душа семьи – очаг, но человек, как водится, давал этому возвышенное толкование. Очаг – алтарь (Vaescitia), а ведь он – кухня. И грянуло:

– Прочь алтари! Долой святость семьи, патриархальность, домашние лары!..

Но грянуло не варуг – святость, патриархальность и лары испарились, как только стало трудно найти кухарку. Оказалось, что оплот семьи – не дух предков и не бог Лар, а прислуга. Это настолько очевидно, что можно сформулировать закон, наподобие физического: в каждой стране домашняя жизнь уцелела в той мере, в какой сохранились домашние работники. В Соединенных Штатах, где кухарку завести куда трудней, чем жирафа, от семейной жизни осталось одно название. Одновременно съезжились размеры жилища. Что в них проку, если дома больше не сидится? Без прислуги приходится упрощать домашнюю обстановку, а упрощаясь, она становится неудобной. Слож-

ный, почти религиозный ритуал варева (кухня – алтарь) – сошел на нет. Человек выброшен из домашнего угла в общество. Богом Ларом был печной горшок¹.

Семья словно стремится разбежаться от своего центра. Неспоставимо время, проводимое дома сейчас, с тем, что проводили там когда-то. Те долгие, медленные часы способствовали самоуглублению, кристаллизировали в человеке личное, не всем доступное, самобытное без малейших на то стараний.

Стоило бы представить в виде диаграммы убывание толщины стен от Средневековья до наших дней. В XIV веке дом – это крепость. Сегодня это целый город, и стены тонкими переборками едва-едва отделяют дом от улицы. Еще в XVIII веке дома просторны и скрытны. Человек проводит там большую часть жизни, в нелюдимом и надежном одиночестве. Одиночество, капля за каплей, обтачивает душу, словно неведомый оружейник чеканит личность. Обработанный им, человек утверждает в собственной судьбе и выходит из его рук на улицу безнаказанно, не рискуя заразиться ничем повальным, мелочным и вздорным. Отъединенность сама собой просеивает наши мысли, стремления, страсти, и мы уясняем, какие из них действительно наши и какие – ничьи, возникшие бог весть откуда и осевшие в нас, как дорожная пыль.

Неведомо, когда кончится упомянутый процесс. До сих пор европейская история была наставницей и школой личности. Предполагалось, что жизнь становится индивидуальней и чем дальше, тем больше. Иначе говоря, жить – это чувствовать себя единственным. Единственным и в радости, и в горе, и в влечениях долга. Но разве это не истина, самая

¹ Это не метафора. Одним из европейских уголков, где «нутряная», семейная жизнь неизменно преобладала, были Нидерланды. Так вот, в Нидерландах суеверно чтили кремальеру – большой котел, подвешенный над огнем, традиционное изделие бельгийской металлургии. «В Средние века, – говорит Мишле, – священный очаг означал не столько огонь в очаге, сколько висящую над ним кремальеру». Во время нашествий, «когда солдаты бросались грабить и не щадили ни возраста, ни пола, женщины и дети цеплялись за края котла в надежде на спасение» (История Франции. Т. VIII).



априорная истина человеческой личности? Великая или жалкая, жизнь человека – это жизнь в одиночку, сознание единственности, исключительности той судьбы, что предназначена ему одному. Не бывает жизни напополам. Каждый должен сам прожить свою жизнь, осушить ее собственными губами, как чашу, полную сладости и горечи. Пройти жизнь можно вдвоем, но прожить ее надо самому, и в этом деле не бывает соучастников.

И тем не менее, отчетливо и с удивлением мы чувствуем, что движемся вспять. Уже два поколения европейцев сиятся обезличить жизнь. Все вынуждает человека утратить свою единственность и стать менее цельным. Не только стены, но и мы стали пористыми, общественные сквозняки – помыслы, мнения, вкусы – пронизывают нас, и каждый начинает чувствовать, что он, кажется, кто-то другой. Что это? Минутное замешательство или обманное движение, шаг назад для нового броска? Бог весть, но на сегодняшний день очевидно, что какой-то сладострастный зуд толкает европейцев утратить себя и раствориться в коллективном. Удовольствие ощутить себя массой, избежать одиночной судьбы становится повальным. Человек обобществляется.

Для истории это не новость. Так чаще всего и происходило. Редкостью было обратное – стремление стать особым, неразменным, единственным. Сегодняшний день проясняет положение человека в золотые времена Греции и Рима. Личность не вольна была жить сама по себе и для себя. Все ее существование целиком принадлежало государству. Когда Цицерона тянуло затвориться в своем тускуланском поместье и заняться на досуге греческими рукописями, он должен был публично обосновать эту прихоть и извиниться за временное отпадение от общего улья. Величайшим преступлением, стоившим жизни Сократу, было его притязание на собственного, личного демона, то есть на индивидуальное вдохновение.

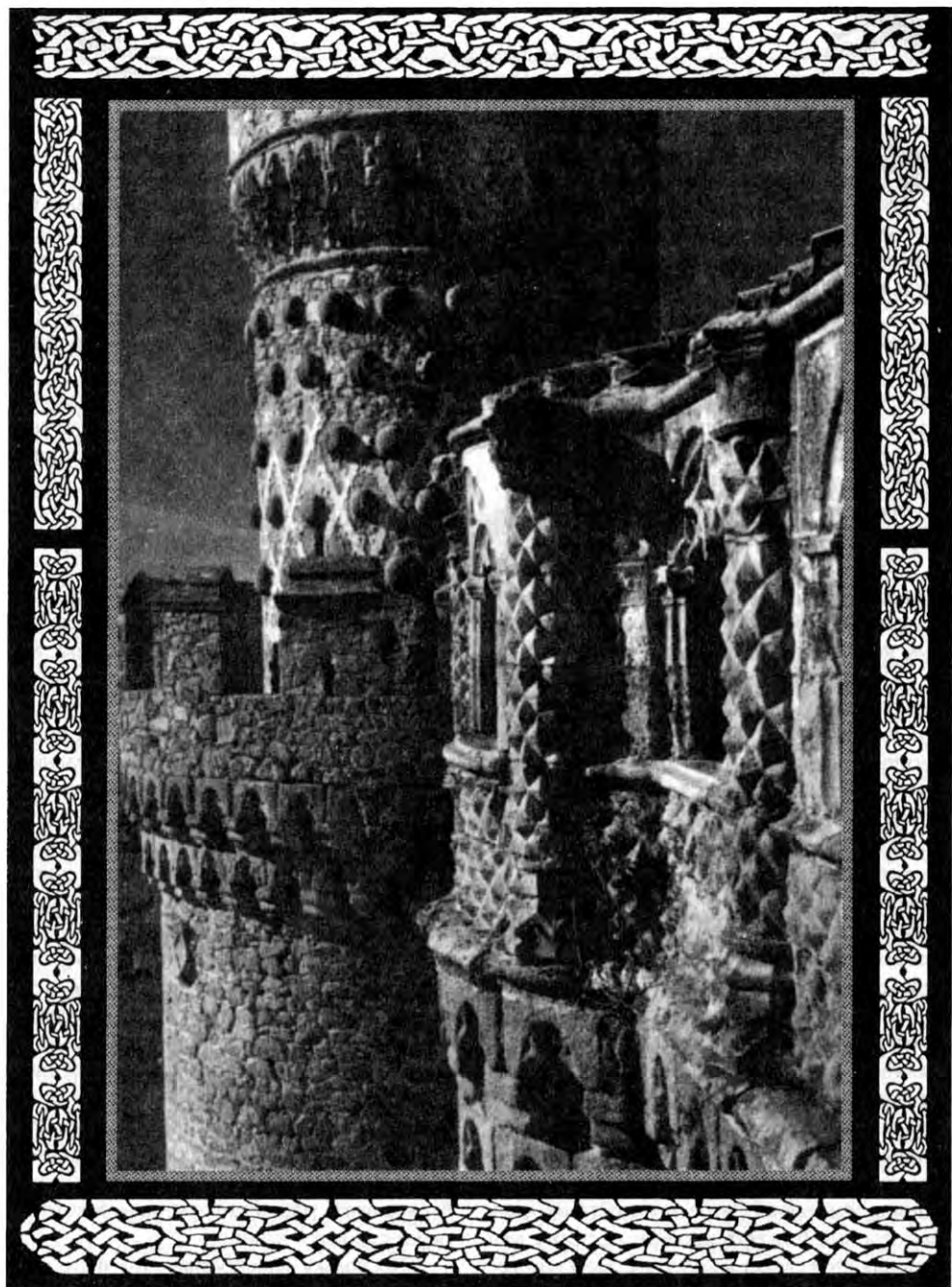
Обобществление человека – затея зловещая. Оно не довольствуется требованием, чтобы мое становилось общим, – прекрасное условие, не вызывающее у меня ни малейшего протеста, – но добивается обратного. Чтобы общее стало моим – например, мнения и вкусы большинства. Запрещается любой шаг в сторону, любое личное достоинство, включая право собственности на сугубо свои, для себя выработанные убеждения.

Бесплотный бог стадности вновь тиранствует и уже напакостил по всей Европе. Пресса вправе выставить напоказ нашу личную жизнь, судить ее и поучать. Власть понуждает нас отдавать обществу все большую часть нашего существования. Человеку не оставлено убежища, чтобы побыть наедине с собой, масса яростно пресекает любую попытку что-либо утаить.

Быть может, секрет этой ярости в том, что масса подспудно ошущает бессилие перед судьбой и боится ее. Одна из пронзительнейших страниц Ницше напоминает, что в первобытном обществе, бессильном перед тяготами существования, любой необычный, своевольный и независимый поступок был преступлением и всякий, кто пытался жить в одиночку, считался злодеем. Следовало полностью подчиняться обычаям.

Сегодня многие, видимо, вновь затосковали по стаду. И страстно веряются тому, что еще сохранилось в них овечьего. Им хотелось бы двигаться по жизни плотным гуртом, загривок к загривку, и в одном направлении. Оттого-то европейские народы блуждают в поисках пастуха и волкодава.

Не в том ли источник и сегодняшней ненависти к либерализму? Ведь либерализм – не столько политика, сколько взгляд на жизнь. Это убежденная вера, что у каждого – своя кровная, без права передачи, судьба, и каждый волен сделать ее достойной.





УЩЕРБНАЯ ДЕМОКРАТИЯ



се, что происходит хорошего в мире, в Испании почти не вызывает отклика. Зато дурное перенимается с поразительным проворством и приживается у нас как нигде.

В последнее время в Европе произошел резкий спад воспитанности и тут же отозвался в Испании безраздельной властью хамства. Наша квелия нация рада, когда ей предлагают не стесняться, как рад растянуться и расслабиться больной. Хамство, которое царит везде, в Испании тиранствует. И поскольку любая тирания нестерпима, пора свергать разнузданного самодержца.

Этим самодержавным гнетом мы обязаны торжеству демократии. Благородная идея обернулась в общественном сознании пагубным утверждением низкого и низменного.

Обычная история! Благо притягивает людей, и, веряясь ему, они легко забывают, что есть и другие блага, которые надо подверстывать к нему, чтобы добро не обернулось губительным злом. Демократия как таковая, в строгом смысле слова, то есть как норма общественного права, представляет превосходным делом. Но чрезмерная демократия, вышедшая из берегов, народовластие в искусстве и религии, в мышлении и поведении, в сердцах и нравах – это опаснейшая общественная болезнь.

Чем уже собственное поприще какой-либо идеи, тем разрушительней ее попытка охватить всю полноту жизни. Вообразите свихнувшегося вегетарианца, который смотрит на мир с высоты своей вегетарианской диеты. В искусстве он упразднит все, кроме садовых пейзажей; в экономике сохранит только земледелие; в религии оставит лишь допотопных божеств урожая; пестроту мехов и тканей сведет к холстине, льну и рогоже, а как философ будет тупо проповедовать трансцендентальную ботанику. Но не

более здрав и тот, кто, подобно многим сейчас, восклицает: «Я прежде всего демократ!»

Невольно вспоминается тот незадачный служка, что во время литургии на возгласы священника исправно откликался: «Христос воскрес!», пока благочинный, потеряв терпение, не шепнул ему: «Воистину, сын мой, но не ко времени».

Не стоит быть демократом «прежде всего», потому что пространство, где демократия плодотворна, – это далеко не первый план и тем более не «прежде всего». Политика – инструмент жизни, ее прилагательное, лишь один из тех многих инструментов, которые надо иметь под рукой и постоянно совершенствовать, чтобы в жизни каждого было меньше лишений и больше простора. В какую-то решающую минуту политика может оказаться брешью, в которую мы должны бросить все наши силы, чтобы сохранить или увеличить напор жизни, но подобное состояние не может считаться нормальным.

Это один из моментов, где надо срочно и решительно откорректировать XIX век. У него было органически нарушено восприятие перспективы, что побуждало его считать окончательным то, что по природе своей предварительно. Развитие техники – это развитие побочных средств, которые способствовали бы жизненности. И есть ли что разумней забот о техническом совершенствовании? Но делать его конечной целью нашего существования, отдавать ему все наши силы и все наши способности! Это явная слепота. Точно также обстоит и с политикой, которая призвана сопрягать общественные силы, как техника – природные, чтобы все шире раздвигать границы, в которых осуществляется личность.

Поскольку демократия – это чисто юридическая форма, непригодная для всего, что вне политико-правовой сферы, то есть поч-



ти для всей нашей жизни, превращение ее в некий принцип существования приводит к нелепостям. Прежде всего, к перерождению того чувства, которое вызвало демократию в жизни. Демократ начинается с высокого стремления избавить плебс от его низкой участи. А приходит к тому, что в плебее начинает ценить именно плебея как он есть, с его привычками, повадками и умственным кругозором. До предела это доведено в социалистическом символе веры – воистину веры, поскольку здесь мы имеем дело с религией! – который объявил пролетарскую голову единственным вместилищем подлинного сознания и должной морали...

В демократическом наступлении на систему привилегий, каст и т.д. отчасти присутствовал тот моральный изъян, который я называю плебейством, но куда существенней было благородное стремление разрушить юридическое неравенство. Прежде именно права делали людей неравными, предопределяя их статус еще до их рождения. Эти права мы справедливо лишили звания и принижая зовем их привилегиями. Благо демократии – в уравнивании привилегий, а не прав. Недаром «права человека» по своему содержанию негативны – это бастин, воздвигнутый новым и бесспорно более правовым обществом на случай реставрации привилегий. К завоеванным и уже привычным «правам человека» будут добавляться все новые и новые, пока не исчезнут последние следы политической мифологии. Ибо привилегии, которые, повторяю, не являются правами, – это пережитки религиозных табу.

Однако не стоит рассчитывать, что грядущие «права человека», выдвигание и торжество которых мы вверяем новым поколениям, будут иметь такой же успех и настолько же изменят облик общества, как уже достигнутые или близкие к тому. Ведь если со-

гласиться, что смысл демократии сводится к уравниванию привилегий, придется признать, что звездный час ее миновал.

В самом деле, если правовое устройство общества замрет в этом негативном, полемическом состоянии, чисто разрушительном по отношению к устройству «религиозному», если человек не увидит в демократии лишь первый шаг навстречу справедливости, преддверие простора, где вырастет новый и справедливый уклад – справедливый, но слаженный, – то человеческая душа отвернется от демократии и обратится к прошлому, сплоченному суевериями, но тем не менее сплоченному. Потому что жизнь – это прежде всего структура, организм, и лучше плохая структура, чем никакая.

Повторяя, что не стоит быть «прежде всего» демократом, добавлю, что так же не стоит быть «только» демократом. Поборнику справедливости не следует ограничиваться только отменой привилегий, утверждением равноправия для всего того, в чем люди равны. Надо узаконить и то, в чем люди не равны.

Вот точка отсчета, где демократическое чувство перерождается в плебейское. Кто возмущается, когда с равными обходятся неодинаково, и терпит, когда одинаково обходятся с неравными, тот не демократ, а плебей.

Время, когда демократия была победительной и плодотворной, прошло. То, что сегодня зовется демократией, всего лишь душевное оскудение.

Механизм этого вырождения открыл Ницше – он назвал его *ressentiment**. Когда человек ощущает ущербность от того, что ему недостает ума или храбрости, или привлекательности, он пытается возместить себя тем, что принижает недостающее. Это не случай с лисой и виноградом. Лиса продолжает ценить сладость ягод и довольствуется тем, что

* Уязвленность, злопамятство (фр.).



отказывает в этой ценной спелости недоступному винограду. «Уязвленный» идет дальше: он проникается ненавистью к сладости и предпочитает оскомину. Все ценности меняются на противоположные: высшее, именно из-за его превосходства, шельмуется и свертывается, а на его месте воцаряется низшее...

В начале французской революции одна истопница сказала маркизе: «Все перевернулось, мадам: теперь я буду ездить в карете, а мадам – топить печи». «Уязвленный» адвокатик из тех, кто толкал народ к революции, тут же поправил: «Нет, гражданин, теперь мы все станем истопниками».

Вокруг полно людей, которые не уважают себя и правильно делают. Им хотелось бы, чтобы в приказном порядке было утверждено равенство людей; равенства перед законом им мало – они домогаются, чтобы все мы были признаны равными по уму, по таланту, по тонкости и глубине чувств. Каждая минута отсрочки в осуществлении неосуществимого мучительна для этих уязвленных существ, обреченных быть интеллектуальной и моральной чернью и сознающих это. Наедине с собой они захлебываются презрением к себе. Им не в прок и добытый

кознями общественный успех. Мнимое торжество лишь сильнее их растлеывает, обнажая то шаткое равновесие, что в любую минуту грозит заслуженно рухнуть. Они видят, что подделали самих себя, затеяв какое-то трагическое жульничество, при котором фальшивой монетой становится сам фальшивомонетчик.

Это состояние души, разьедаемой едкими кислотами, вдвойне плачевней там, где трудней симулировать способности. Есть ли что злосчастнее бездарного художника, тупого профессора, мелкотравчатого политика? Отравленные внутренним крахом, какими глазами они должны смотреть на всякого, кто полон сознания силы и здорового уважения к себе?

Бездарные писаки, профессора, политики образуют некий департамент зависти, которая, по словам Кеведа, вечно тоша потому что, глотая, давится от жадности. То, что сегодня зовется «общественным мнением» и «демократией», во многом не что иное, как гнилостные выделения этих завистливых душ.

1917







ВОССТАНИЕ МАСС

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ФЕНОМЕН СТАДНОСТИ

Нроисходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен – полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием масс.

Чтобы понять это грандиозное явление, надо стараться не вкладывать в такие слова, как «восстание», «масса», «власть» и т.д., смысла исключительно или преимущественно политический. Общественная жизнь – процесс не только политический, но вместе с тем, и даже прежде того, интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные правила и условности вплоть до манеры одеваться и развлекаться.

Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену – довериться зрению, выделив ту черту современного мира, которая первой бросается в глаза.

Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, – я говорю о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы – прохожих. Приемные медицинских святил – больных. Театры, какими бы посредственными ни были спектакли, ломятся от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда, – найти место.

Всего-навсего. Есть ли что проще, привычней и очевидней? Стоит, однако, вспомнить будничную оболочку этой очевидности – и брызнет неожиданная струя, в которой дневной свет, бесцветный свет нашего, сегодняшнего дня, распахнет все многоцветие своего спектра.

Что же мы, в сущности, видим и чему так удивляемся? Перед нами – толпа как таковая, в чем распоряжении сегодня все, что создано цивилизацией. Слегка поразмыслив, удивляешься своему удивлению. Да что же здесь не так? Театральные кресла для того и ставятся, чтобы их занимали, чтобы зал был полон. С поездами и гостиницами обстоит так же. Это ясно. Но ясно и другое – прежде места были, а теперь их не хватает для всех жаждущих ими завладеть. Признав сам факт естественным и закономерным, нельзя не признать его непривычным; следовательно, что-то в мире изменилось, и перемены оправдывают, по крайней мере на первых порах, наше удивление.

Удивление – залог понимания. Это сила и богатство мыслящего человека. Поэтому его отличительный, корпоративный знак – глаза, изумленно распахнутые в мир. Все на свете незнакомо и удивительно для широко раскрытых глаз. Изумление – радость, недоступная футболисту, но она-то и пьянит философа на земных дорогах. Его примета – замороженные зрачки. Недаром же древние снабдили Минерву соевой, птицей с ослепленным навеки взглядом.

Столпотворение, переполненность раньше не были повседневностью. Что же произошло?

Толпы не возникли из пустоты. Население было примерно таким же пятнадцать лет назад. С войной оно могло лишь уменьшить-



ся. Тем не менее напрашивается первый важный вывод. Люди, составляющие эти толпы, существовали и до них, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах.

Внезапно они сгрудились, и вот мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга – для меньшинства.

Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной, теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе – и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет – один хор.

Толпа – понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвыжженным единством меньшинства и массы. Меньшинство – это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса – не выделенных ничем. Речь, следовательно, идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса – это «средний человек». Таким образом, чисто количественное определение – множество – переходит в качественное. Это – совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший – так понятней происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение мыслей, целей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни считало? В общем, да. Но есть существенная разница.

В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства – какого угодно – сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, – это позднейший, вторичный результат особенности каждого, и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане – союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка – объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего – входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.

В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса – всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой – задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, – убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не «массой».

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передергивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И конечно, ра-



дикальной всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить – это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя.

Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную Махаяну – «большую колесницу», или «большой путь», – и более будничную и блеклую Хинаяну – «малую колесницу», «малый путь». Главное и решающее – какой колеснице мы вверим нашу жизнь.

Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему, обычно и состоящему из людей обычных. Но на самом деле внутри любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что глєбейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных, – характерный признак нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы, взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немислимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном массы, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.

Далее. Во всех сферах общественной жизни есть обязанности и занятия особого рода, и способностей они требуют тоже особых. Это касается и зрелишных или увеселительных программ, и программ политических и правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, искус-

ное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала свою роль в целительной общественной динамике.

Если вернуться теперь к изложенным выше фактам, они предстанут безошибочными признаками того, что роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим. Заметно, в частности, что места эти не предназначались толпе, и вот она постоянно переполняет их, выгласкиваясь наружу и являя глазам новое красноречивое зрелище – массу, которая, не перестав быть массой, упраздняет меньшинство.

Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, – пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечения, но становится стержнем нашего времени. Забегая вперед, скажу, что новоявленные политические режимы, недавно возникшие, представляются мне ни чем иным, как политическим диктатом масс. Прежде народовластие было разбавлено изрядной порцией либерализма и преклонения перед законом. Служение этим двум началам требовало от каждого большой внутренней дисциплины. Благодаря либеральным основам и юридическим нормам могли существовать и действовать меньшинства. Закон и демократия, узаконенное существование, были синонимами. Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого давления навязывает свои желания и вкусы. Толковать эти перемены



так, будто масса, устав от политики, препоручила ее профессионалам, неверно. Ничего подобного. Так делалось раньше, это и была демократия. Масса догадывалась, что в конце концов при всех своих изъятиях и просчетах политики в общественных проблемах разбираются несколько лучше ее. Сегодня, напротив, она убеждена, что вправе давать ход и силу закона своим трактирным фантазиям. Сомневаюсь, что когда-либо в истории большинству удавалось править так непосредственно, напрямую. Потому и говорю о гипердемократии.

То же самое творится и в других сферах, особенно в интеллектуальной. Возможно, я заблуждаюсь, но все же те, кто берет за перо, не могут не сознавать, что рядовой читатель, далекий от проблем, над которыми они бились годами, если и прочтет их, то не для того, чтобы чему-то научиться, а только для того, чтоб осудить прочитанное как несообразное с его кушыми мыслями. Масса — это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенности нашего времени в том и состоят, что заурядные уши, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, выделяться неприлично. Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» — это отнюдь не «все». Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой.

Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.

II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И кроме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, — в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей ниспровержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство и встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шпенглер, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс — эпоха гигантомании¹.

Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды называл ее жестокой, отдал дань риторике, и теперь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, — лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застряня я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы — и с полным основанием, — что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью брезгливых, частью возмущенных, — меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории².

Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, и

¹ Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения.

² См.: Espana invertebrada, 1920.



чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немислимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского шеголя. Версаль – речь именно о таком, жеманном Версале – это не аристократия, а полный ее антипод; это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной – они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил истинное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспламеняет, как девственный мрамор – скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой – быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разговора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю бабов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостиоверила меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для *happy few**.

В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!

В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замешают.

Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример – в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ванн комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде

* Немногих счастливых (англ.).



требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.

В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» – так теперь в духе времени именовали массу, – «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился – и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами – включая тех, кто крушит и вырезывает разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящего. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из на-

дежда и чаяний превращаются в вождения и бессознательные домогательства.

Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы вызволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты. Сегодня мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.

Итак, в жизнь рядового человека вошло все то, что прежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть та поверхность, над которой зыблется история каждой эпохи; в истории он – то же самое, что уровень моря в географии. И если сегодня средний уровень достиг отметки, которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялся – подземный процесс был долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь, вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много, так сказать, командирского; человеческое войско сегодня – сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.

Все блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.

Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний уровень жизни – уровень



некогда элитарный, ново для Европы, но исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня, обратитесь к сознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бывало с XVIII века – по сути, изначально. И любопытное совпадение! Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень, как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали переменам особого значения – они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, обманутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней.

Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизовалась. И даже не испытала заметного влияния Америки. То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сегодня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу – материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впер-

вые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней – суть в уравнивании.

Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка – это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно ошущаемое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.

Мы живем в эпоху уравнивания – уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европейское жизненно обретаless ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей – вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду – европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важней, а именно – европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще пойдет речь – и, возможно, упомянутое выражение вполне пригодится, – но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой ита-



льянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному тону меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.

III. ВЫСОТА ВРЕМЕНИ

Итак, у господства масс есть и лицевая сторона медали, которая знаменует собой всеобщий подъем исторического уровня и означает, что обыденная жизнь сегодня выше вчерашней отметки. Это заставляет признать, что у жизни бывают разные высотные отметки, и вспомнить выражение, которое от бессмысленного употребления отнюдь не утратило смысла. Остановимся на нем, поскольку это поможет выявить одну неожиданную черту нашей эпохи.

Нередко, например, приходится слышать, что то или другое явление не на высоте своего времени. В самом деле, не абстрактное хронологическое время, линейное и ровное, а время живое, засушенное, о котором каждое поколение говорит «наше время», всегда достигает какой-то высоты, сегодня превышает вчерашнюю, или удерживается на ней, или падает еще ниже. Ощущением этого и рожден образ падения – упадок. Точно так же каждый в отдельности с большей или меньшей остротой ощущает, насколько его жизнь соотносится с высотой выпавшего на его долю времени. И есть те, кто в современном мире чувствует себя утопающим, бессильным выбраться на поверхность. Быстрота, с которой все меняется, энергия и напор, с которыми все совершается, угнетают людей архаического склада, и степень угнетенности – это мера разлада их жизненного ритма с ритмом эпохи. С другой стороны, в сознании тех, кто охотно и поано живет настоящим, вы-

сота своего времени как-то соотносится с прежними временами. Кто именно?

Неправда, что прошлое ниже настоящего лишь оттого, что оно прошло. Вспомним, что для Хорхе Манрике, как ему «мнилось»,

Всегда времена былые

Лучше, чем наши.

Но и это неправда. Не всегда настоящее ставилось ниже старины, и не всегда оно представлялось выше всего, что прошло и запомнилось. Высота, достигнутая жизнью, каждой эпохой ощущалась по-своему, и странно, что историки и философы прошли мимо столь очевидного и важного факта.

То чувство, которое выразил Манрике, явно преобладало, по крайней мере, если брать его *grosso modo**. Чаше всего свое время не казалось лучшим. Наоборот, лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; «альчеринга», как говорят австралийские аборигены. Это свидетельствовало, что людям пульс их жизни казался вялым, недостаточно сильным и упругим, чтобы наполнить вены. Оттого они чтили старину, «славное» прошлое, когда жизнь – не в пример их собственной – была обильной, полной, бурной и прекрасной. Глядя вспять и воображая те счастливые времена, они смотрели на них не свысока, а, напротив, – снизу вверх, как смотрел бы температурный столбик, обладая он сознанием, на градус, которого недобрал, потому что не хватило калорий. Ощущение, что жизнь опускается, мельчает, съезживается, что пульс ее слабеет, с середины II века после Рождества Христова стало охватывать Римскую империю. Еще Гораций восклицал: «Наши отцы, недостойные дедов, еще худших отцов породили для недостойнейшего потомства» (Оды, книга III, 6).

* В общих чертах, в целом (итал.).



*Aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores, mox daturos
progeniem vitiosorem.*

Два века спустя в империи уже не хватало достаточно храбрых италиков, чтобы занять места центурионов, и для этого пришлось нанимать далматов, а затем дунайских и рейнских варваров. Женщины тем временем обеспокоили, а Италия обезлюдела.

Есть, однако, эпохи иного и, казалось бы, совершенно противоположного склада, опьяненные своим жизнеощущением. Речь идет о любопытном феномене, который крайне важно уяснить. Когда лет тридцать назад политики витийствовали перед толпой, они обычно клеймили очередной промах или произвол правительства словами: «Это недостойно нашего времени». Любопытно, что Траян в знаменитом письме Плинию, предписывая не преследовать христиан по анонимным доносам, употребил ту же самую фразу: *Nec nostri saeculi est*. Следовательно, есть эпохи, которые чувствуют себя вознесенными на абсолютную и предельную высоту, времена, которые представляются исходом, исполнением надежд и свершением вековых устремлений. Это – «совершенное время», окончательная зрелость исторического бытия. Действительно, тридцать лет назад европейцы верили, что жизнь человечества становится наконец такой, какой она должна стать, какой мечтали ее видеть многие поколения и какой она останется навсегда. Совершенное время ощущает себя зенитом, вершиной стольких эпох несовершенных, предварительных, пробных, ступенька за ступенькой ведущих к этой зрелой полноте. С вершины кажется, что все предшествующее жило единственно лишь бесплотной мечтой и несбыточной надеждой,

что это были времена неутоленной жажды, пламенных упований, вечного «доколе» и жестокого разлада мечты с явью. Таким выделось XIX веку Средневековье. И вот настает день, когда вековые, иногда тысячелетние чаяния, похоже, исполняются – жизнь вобрала их в себя и следует их воле. Мы на желанной вершине, у заветной цели, в зените времени! Вечное «доколе» преобразилось в «наконец-то».

Таким было жизнеощущение наших отцов и всего их века. Нельзя это забывать, ибо время миновало зенит. И у всех, кто душою там, в такой недавней полноте прошлого, наше время при взгляде на него с высокой колокольни должно неизбежно рождать иллюзию заката и упадка.

Но тому, кто искушен в истории, трезво вслушивается в ее пульс и не ослеплен воображаемой полнотой, обман зрения не грозит.

Как уже было сказано, самое существенное для «совершенного времени» – это удовлетворение давних нужд, тяжело и горестно длившихся веками и наконец-то утоленных. В результате такие времена испытывают чувство удовлетворенности, они довольны собой, а порой даже, как XIX век, слишком самодовольны¹.

Но теперь-то мы видим, что эти времена, такие довольные, такие успешные, внутренне мертвы. Не в довольстве, не в успехе, не в достигнутой гавани истинная полнота жизни. Еще Сервантес говорил: «Дорога всегда лучше привала». Время, утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, потому что истоки его стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота – это в действительности развязка. Есть эпохи, которые бессильны обновить свои запросы и умирают от удов-

¹ Надписи на монетах, отчеканенных при Адриане, единодушны: «*Italia felix. Saeculum aureum. Tellus stabilita. Temporum felicitas*» («Счастливая Италия. Золотой век. Прочный мир. Счастливые времена»). Кроме большого нумизматического каталога Коэна, отдельные монеты воспроизведены у Ростовцева в «*The social and economic history of the Roman Empire*» (1926, табл. LII и с. 588, прим. 6.)



летворенности, как умирает после брачного полета довольный трутень¹.

Надо ли удивляться, что времена упомянутой полноты неизменно таят на дне характерный осадок особой, присущей им унылости.

Мечтой, так долго остававшейся подспудной и лишь в XIX веке как будто бы воплощенной, было то, что емко само себя окрестило «современной культурой». Определениестораживает. Время именует себя «современностью», то есть окончательной и полной завершенностью, для которой все иные времена – прошедшие, все они лишь подступы и порывы к ней! Жалкие, вслепую пущенные стрелы!²

Не здесь ли пролегает граница между нашим и таким недавним, но уже вчерашним днем? В самом деле, наше время не чувствует себя окончательным – напротив, в основе его лежит ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает, а притязания жизненного уклада, именуемого «современной культурой», на окончательность нам кажутся непонятным ослеплением и крайней узостью крутозора. И мы облегченно чувствуем, что вырвались из тесного и безвыходного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где возможно все – от наилучшего до наихудшего.

Вера в современную культуру была унылой: безрадостно знать, что завтрашний день в основном повторит сегодняшний, что прогресс – это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной. Такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю.

Когда в молодой еще империи какой-нибудь одаренный провинциал – скажем, Лукан или Сенека – попадал в Рим и видел величественные имперские сооружения, сердце его сжималось. Ничего нового не могло уже произойти в мире. Рим был вечен. И если есть уныние руин, нависшее над ними, как туман над болотом, то чуткий провинциал ощущал такой же тяжкий гнет, но с обратным знаком – уныние вечных стен.

Сравнительно с этим не выглядит ли наше мироощущение шумной радостью детей, сбежавших из школы? Одному Богу известно, что будет завтра, и это тайно радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, все возможно, и есть настоящая жизнь, подлинная полнота жизни.

Такая картина – разумеется, половинчатая – расходится с теми слезливыми жалобами на упадок, которыми изводят нас писания современников. Дело тут в обмане зрения, у которого много причин. О них поговорим позже, а сейчас упомяну лишь самую явную. Следуя идеологии, на мой взгляд рискованной, в истории видят только политику или культуру, не замечая, что это лишь поверхность, а глубинная реальность истории – прежде всего биологическая мощь, нечто от энергии космической: чистейшая жизненная сила, если не тождественная, то родственная той, что движет моря, плодит земную тварь, раскрывает цветы и зажигает звезды.

Предлагаю диагностам упадка следующие соображения.

Упадок, бесспорно, понятие сравнительное. Падают сверху вниз, из высшего состояния в низшее. А сравнивать можно с разных

¹ Перечтите удивительные страницы Гегеля о временах довольства в его «Философии истории».

² Исходное значение слова «современность», которым нарекло себя время, предельно выражает обрисованное мною ощущение «зенита». Современность – то, что соответствует времени, воспринятому как совершенно новое, как такое настоящее, которое идет вразрез со всем устоявшимся, традиционным и оставленным далеко позади. Слово «современный», таким образом, заключает в себе понятие новой жизни, превосходящей прежнюю, и требование быть на высоте времени. Не быть «современным» равносильно падению, утрате исторического уровня.



и каких угодно точек зрения. Для изготовителя янтарных мундштуков мир явно в упадке, поскольку мундштуками уже не пользуются. Возможны точки зрения поосновательней, но оттого они не становятся менее частными, произвольными и сторонними той жизни, чье достоинство придирчиво оценивают. Есть лишь одна оправданная и естественная точка зрения – окунуться в жизнь и, увидев ее изнутри, судить, ощущает ли она себя упадочной, то есть немощной, пресной и скудной.

Но как распознать, даже при взгляде изнутри, ощущает себя жизнь упадочной или нет? Решающий признак для меня бесспорен: ту жизнь, которая не завидует никакой другой и, следовательно, из всех, когда-либо бывших, предпочитает себя, никоим образом нельзя всерьез называть упадочной. К этому и вели мои рассуждения о «высоте своего времени». Ибо именно нашему выпало жизнеощущение редкостное и, насколько могу судить, небывалое в истории.

В салонах прошлого века неминуемо наступала минута, когда дамы и дамские поэты задавали друг другу фатальный вопрос: «В какие времена вам хотелось бы жить?» И вот каждый, взвалив на плечи муляж собственной жизни, пускался мысленно бродить по дорогам истории в поисках эпохи, где данный слепок пришелся бы как нельзя кстати. А это значит, что пресловутый девятнадцатый век, при всем сознании своего совершенства – а может быть, в силу такого сознания, – был неотделим от прошлого, чьи плечи ошущал под собой; по сути, он видел в себе осуществленное прошлое. Отсюда его вера в образцовые, пусть и с оговорками, времена – век Перикла, Ренессанс – те, что готовили ему почву. И отсюда наша недоверчивость к эпохам свершений: полуоборванные вспять, они движутся с оглядкой на прошлое, которое осуществляют.

А теперь задайте упомянутый вопрос человеку вполне современному. Готов поручиться, что прошлые века, все без исключения, показались бы ему тесным загоном, где трудно дышать. Значит, сегодняшний человек ощущает в себе больше жизни, чем ощущали встарь, или, другими словами, все прошлое целиком, от начала до конца, слишком мало для современного человечества. Такое жизнеощущение сводит на нет все рассуждения об упадке.

Прежде всего наша жизнь чувствует себя огромней любой другой. Какой же тут упадок? Наоборот, чувство превосходства лишает ее уважения и даже внимания к былому. Впервые в истории возникает эпоха без эталонов, которая не видит позади ничего образцового, ничего приемлемого для себя, – прямая наследница стольких веков, она тем не менее похожа на вступление, на рассвет, на детство. Мы озираемся, и прославленный Ренессанс нам кажется провинциальным, узким, кичливым и – что греха таить – вульгарным.

Все это мне уже довелось подытожить так: «Жестокий разрыв настоящего с прошлым – главный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не могут нам помочь. Следы духовной традиции стерлись. Все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого. Лишенный своих бессмертных мертвых, европеец одинок; подобно Петеру Шлемилю, он утратил тень. Именно это случается в полдень»¹.

Какова же в итоге высота нашего времени?

Это не зенит, и тем не менее такого ощущения высоты не было никогда. Нелегко оп-

¹ См. мою работу «Дегуманизация искусства».



ределить, какой видит себя наша эпоха: она и убеждена, что выше всех, и одновременно чувствует себя началом, и не уверена, что это не начало конца. Как бы это выразить? Может быть, так: она выше любой другой и ниже самой себя. Она могуча и не уверена в себе. Горда и напугана собственной мощью.

IV. РОСТ ЖИЗНИ

Захват власти массами и возросшая вслед за ним высота времени – в свою очередь лишь следствия одной общей причины. Причина почти гротескная и неправдоподобная в явной своей и привычной очевидности. Просто-напросто мир неожиданно вырос, а в нем и вместе с ним выросла и жизнь. Прежде всего, она стала планетарной; я хочу сказать, что жизнь рядового человека вмещает сегодня всю планету, что простой смертный привычно обживает весь мир. Год с небольшим назад севильцы, раскрыв газету, шаг за шагом прослеживали путь полярников; над раскаленными бетийскими пашнями дрейфовали льды. Каждая пядь земли уже не вмещается в топографические рамки и влияет на жизнь в любой точке планеты. А поскольку физика расположение тел определяет по их воздействию, следует любую точку планеты признать вездесущей. Эта близость дальнего, доступность недоступного фантастически раздвинула жизненный горизонт каждого человека.

Но мир вырос и во времени. Археология чудовишно расширила историческое пространство. Империи и целые цивилизации, о которых мы вчера еще не подозревали, входят в наше сознание, как новые континенты. Экраны и журналы доносят эту незапамятную древность до глаз обывателя.

Само по себе это пространственно-временное расширение мира не значило бы

равным счетом ничего. Физические пространство и время – вселенский абсурд. И в том культе скорости, который ныне исповедуют, больше смысла, чем принято думать. Скорость так же бессмысленна, как ее слагаемые – пространство и время, – но она их упраздняет. Глупость можно обуздать лишь большей глупостью. Победа над космическим пространством и временем, полностью лишенными смысла, стала для человека делом чести¹, и неудивительно, что мы по-детски радуемся бесплодной скорости, с помощью которой истребляем пространство и сводим на нет время. Упраздняя, мы оживляем их, делаем житейски пригодными, позволяющими большее число мест обживать, легче менять их и вбирать больше физического времени в меньший жизненный отрезок.

Но существенно даже не то, что мир увеличился в размерах; существенней, что в мире всего стало больше. Всего, что можно придумать, пожелать, создать, разрушить, найти, употребить или отвергнуть – что ни глагол, то ступок жизненной активности.

Возьмем самое житейское – например, покупку. Представьте, что два человека, один – в наши дни, а другой – в XVIII веке, владеют одинаковым, соответственно ценам обеих эпох, состоянием, и сравните ассортимент товаров, доступных тому и другому. Разница почти фантастическая. Возможности современного покупателя выглядят практически безграничными. Трудно вообразить вещь, которой не было бы на прилавках, и наоборот – невозможно вообразить все, что там есть. Могут возразить, что при соответственно одинаковом достатке человек и в наши дни купит не больше, чем в XVIII веке. Но это не так. Промышленность удешевила стоимость едва ли не всех изделий. Впрочем, не это меня занимает, и я постараюсь объяснить.

¹ Именно потому, что срок жизни ограничен, именно потому, что люди смертны, они и спешат одолеть, обрести все, что дается слишком долго и слишком поздно. Господу, вечно сушему, автомобиль ни к чему.



С точки зрения жизненной активности «купить» означает облюбовать товар; это прежде всего выбор, а выбор начинается с обзора возможностей, предложенных торговлей. Отсюда следует, что такой вид жизнедеятельности, как купля, заключается в проигрывании вариантов, в самой возможности купить. Говоря о жизни, обычно забывают самое, на мой взгляд, существенное: наша жизнь – это всегда и прежде всего уяснение возможного. Если бы всякий раз нам представлялась одна-единственная возможность, само это слово утеряло бы смысл. То была бы чистейшая неизбежность. Но таково уж удивительное и коренное свойство нашей жизни, что у нее всегда несколько дорог, и перепутье принимает облик возможностей, из которых мы должны выбирать¹. Жить означает то же самое, что попасть в орбиту определенных возможностей. Эту среду привычно именуют «обстоятельствами». Жить – значит очутиться в кругу обстоятельств – или в мире. Таков изначальный смысл понятия «мир». Это совокупность наших жизненных возможностей – и не что-то отделенное и стороннее нашей жизни, но ее внешний контур. Он охватывает все, чем мы можем стать, нашу жизненную потенцию. Но для своего осуществления ей надо определиться – обрести пределы; другими словами, мы становимся лишь малой долей того, чем могли бы стать. Поэтому мир нам кажется таким огромным, а мы в нем – такими крохотными. Мир, или наша возможная жизнь, неизбежно больше нашей участи, или жизни действительной.

Сейчас я хочу лишь показать, насколько жизнь потенциально стала больше. Сфе-

ра ее возможностей шире, чем когда-либо. В области мысли сегодня больше простора для появления идей, больше проблем, больше фактов, больше знаний, больше точек зрения. Если в первобытной жизни занятия можно пересчитать по пальцам – охотник, пастух, воин, колдун, – то сегодня перечень профессий нескончаем. То же самое с развлечениями, хотя разнообразие здесь и не так велико, как в остальных сферах жизни, – и это обстоятельство гораздо серьезней, чем кажется. Тем не менее для рядового горожанина – а город и есть олицетворение современности – возможность получить удовольствие выросла в нашем веке небывало.

Но рост жизненной силы не сводится к вышеперечисленному. Она выросла в самом прямом и загадочном смысле. Общеизвестно и даже привычно, что в атлетике и спорте *performances*^{*} сегодня намного выше всего ранее известного. Стоит обратить внимание не только на новые рекорды, но и на то ощущение, которое рождает их частота, убеждая нас ежечасно, что сегодня у человеческого организма больше возможностей, чем было когда-либо. Ведь нечто похожее происходит и в науке. За какие-нибудь десять лет она немислимо развинула границы Вселенной.

Физика Эйнштейна обитает в таком обширном пространстве, что на долю старой ньютоновской физики там приходится лишь тесный закуток². И обязано это экстенсивное развитие столь же экстенсивному развитию научной точности. Физика Эйнштейна рождена вниманием к таким минимальным различиям, какими раньше пренебрегали ввиду их незначительности. Наконец, атом,

¹ Даже в наихудшем случае, когда жизнь сужается до одного-единственного выхода, всегда есть и второй – уход из жизни. Но ведь уход из жизни – такая же часть ее, как дверь – часть дома.

^{*} Достижения (*фр.*).

² Вселенная Ньютона была бесконечной, но бесконечность ее бессодержательна – это голое обобщение, пустая и бесплодная утопия. Вселенная Эйнштейна конечна, но конкретна и содержательна в каждой своей точке – следовательно, в нее больше вместилось, и в итоге она протяженнее.



вчерашний предел мыслимого мира, сегодня раздулся до размеров планетной системы. Упомяная все это, я говорю не о росте и превосходстве культуры, в данный момент меня не интересующей, но о росте индивидуальных способностей, которым она обязана. Я подчеркиваю не то, что физика Эйнштейна точнее Ньютоновой, а то, что Эйнштейн как человек способен на большую точность и духовную свободу¹, чем Ньютон, – подобно тому, как сегодняшний чемпион по боксу наносит удары с большей силой, чем когда-либо.

Пока фильмы и фотографии развлекают рядового человека самыми недоступными ланашафтами, газеты и репродукторы приносят ему новости об упомянутых интеллектуальных перформансах, наглядно подтвержденных витринным блеском технических новинок. Все это копит в его сознании ощущение сказочного всемогущества.

Я не хочу этим сказать, что человеческая жизнь сегодня лучше, чем в иные времена. Я говорю не о качестве жизни, а об ее напоре, об ее количественном или потенциальном росте. Я надеюсь таким образом поточнее обрисовать мироощущение современного человека, его жизненный тонус, обусловленный сознанием небывалых возможностей и кажущимся инфантилизмом минувших эпох.

Это необходимо, чтобы опровергнуть разглагольствования об упадке, и прежде всего упадке европейском, который отравил воздух последнего десятилетия. Вспомните соображение, которое я предлагал и которое кажется мне таким же простым, как и очевидным. Не стоит заговаривать об упадке, не уточнив, о каком. Касается ли этот пессимизм культуры? Европейская культура в упадке? Или в упадке лишь евро-

пейские национальные институты? Предположим, что так. Дает ли это право говорить о европейском упадке? Только отчасти. В том и другом случаях упадок частичен и касается вторичных продуктов истории – культуры и наций. Есть лишь один всеобъемлющий упадок – утрата жизнеспособности, – а существует он лишь тогда, когда ощущается. Поэтому и пришлось мне рассматривать феномен, мало кем замеченный, – осознание или ощущение каждой эпохой своего жизненного уровня.

Как было сказано, одни эпохи чувствуют себя «в зените», а другим, напротив, кажется, что они утратили высоту и скатились к подножию древнего и блистательного «золотого века». И в заключение я отметил очевиднейший факт: нашему времени присуще редкостное чувство превосходства над любыми другими эпохами; больше того – оно не приводится с ними к общему знаменателю, равнодушно к ним, не верит в образцовые времена и считает себя совершенно новой и высшей формой жизни.

Думаю, что нельзя, не опираясь на это, понять наше время. Именно здесь его главная проблема. Если бы оно ощущало упадок, то смотрело бы на прошлое снизу вверх и потому считалось с ним, восхищалось им и читло его заветы. У нашего времени были бы ясные и четкие цели, хоть и не было бы сил достичь их. Действительность же прямо противоположна: мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает, чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате мир как никогда несчастен – его сносит течением.

¹ Духовная свобода, то есть интеллектуальная мощь, измеряется способностью разделять понятия, традиционно неразделимые. Разделение понятий требует больше сил, чем их ассоциация, как показал Келлер в его исследованиях интеллекта шимпанзе. Никогда еще человеческий разум не обладал такой способностью разъединять, как сейчас.



Отсюда то странное, двойственное чувство всеисия и неуверенности, что гнездится в современной душе. К ней применимо сказанное регентом о малолетнем Людовике XV: «Налицо все таланты, кроме одного — умения ими пользоваться». Многие казалось уже невозможным XIX веку, твердому в своей прогрессистской вере. Сегодня, когда все нам кажется возможным, мы догадываемся, что возможно также и наихудшее: регресс, одичание, упадок¹. Признак сам по себе неплохой — он означает, что мы снова соприкасаемся с изначальной уязвимостью жизни, с той мучительной и сладкой тревожностью, которую таит каждое мгновение, если оно прожито до конца, до самой своей трепетной и кровотокающей сути. Обычно мы сторонимся этого пугающего трепета, от которого любое безобидное мгновение становится крохотным летучим сердцем; ради безопасности мы силимся стать бесчувственными к извечному драматизму нашей судьбы, прибегая к наркозу рутины и косности. И поистине благотворно, что впервые за три века мы застигнуты врасплох и не ведаем, что будет с нами завтра.

Всякий, кто относится к жизни нешуточно и считает себя полностью ответственным за нее, не может не испытывать известного рода тревогу, которая заставляет его быть начеку. Римский устав предписывал часовому держать палец на губах, чтобы оставаться бдительным и не поддаваться дремоте. Жест неплох и словно подчиняет ночную тишину еще большему безмолвию, чтобы уловить тайные шаги грядущего. Эпохи свершений — и в их числе девятнадцатый век — в беспечном ослеплении не опасались будущего, приписав ему законы небесной механики. И либерализм прогрессистов, и соци-

ализм Маркса равно предполагали, что желаемый, а значит, наилучший вариант будущего осуществится неукоснительно, с почти астрономической предпрешенностью. Видя в этой идее свое самооправдание, они выпускали из рук руль истории, теряли бдительность, утрачивали маневренность и везучесть. И жизнь, ускользнув от них, окончательно отбилась от рук и побрела куда глаза глядят. Под личиной прогрессиста крылось равнодушие к будущему, неверие ни в какие внезапные перемены, загадки и превратности, убеждение, что мир движется по прямой, неуклонно и непреложно, утрачивая тревожность будущего и окончательно оставаясь в настоящем. Недаром кажется, что в мире уже перевелись идеалы, предвидения и планы. Никого они не заботят. Такова вечная изнанка истории — когда масса восстает, ведущее меньшинство разбегается.

Пора, однако, вернуться к водоразделу, обозначенному господством масс. С освещенного благодатного склона переберемся теперь на другую сторону, теневую и куда более опасную.

V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В этой работе я хотел бы угадать недуг нашего времени, нашей сегодняшней жизни. И первые результаты можно обобщить так: современная жизнь грандиозна, избыточна и превосходит любую исторически известную. Но именно потому, что напор ее так велик, она вышла из берегов и смысла все завешанные нам устои, нормы и идеалы. В ней больше жизни, чем в любой другой, и по той же причине больше нерешенного². Ей надо самой творить свою собственную судьбу.

¹ Отсюда и возникает ощущение упадка. Причина не в том, что мы находимся в упадке, а в том, что мы готовы ко всему, не исключая упадка.

² Научимся, однако, извлекать из прошлого если не позитивный, то хотя бы негативный опыт. Прошлое не надоумит, что делать, но подскажет, чего избегать.



Но диагноз пора дополнить. Жизнь – это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного – наше решение, то, чем мы действительно становимся. Обстоятельства и решения – главные слагаемые жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром. Жизнь не выбирает себе мира, жить – это очутиться в мире определенном и бесповоротном, здесь и сейчас. Наш мир – это предрешенная сторона жизни. Но предрешенная не механически. Мы не пушены в мир, как пуля из ружья, по неукоснительной траектории. Неизбежность, с которой сталкивает нас этот мир – а мир всегда этот, здесь и сейчас, – состоит в обратном. Вместо единственной траектории нам задается множество, и мы, соответственно, обречены... выбирать себя. Немыслимая предпосылка! Жить – значит вечно быть осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без усталости и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение – не решать.

Неправда, что в жизни «решают обстоятельства». Напротив, обстоятельства – это дилемма, вечно новая, которую надо решать. И решает ее наш собственный склад.

Все это применимо и к общественной жизни. У нее, во-первых, тоже есть горизонт возможного и, во-вторых, решение в выборе совместного жизненного пути. Решение зависит от характера общества, его склада или, что одно и то же, от преобладающего типа людей. Сегодня преобладает масса, и решает она. И происходит нечто иное, чем в эпоху демократии и всеобщего голосования. При всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства. Последние предлагали свои «программы» – отличный термин. Эти программы – по сути, программы совместной жизни – приглашали массу одобрить проект решения.

Сейчас картина иная. Всюду, где торжество массы растет, например в Средиземноморье, при взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти – представители масс. Они настолько всесильны, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут никуда, не выбирая и не прокладывая дорог. Когда такое правительство ищет самооправданий, то не помнит всеу день завтрашний, а, напротив, упирает на сегодняшний и говорит с завидной прямоотой: «Мы – чрезвычайная власть, рожденная чрезвычайными обстоятельствами». То есть злобой дня, а не дальней перспективой. Недаром и само правление сводится к тому, чтобы постоянно выпутываться, не решая проблем, а всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми. Таким всегда было прямое правление массы – всемогущим и прозрачным. Масса – это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не создает, даже если возможности и силы его огромны.

И как раз этот человеческий тип сегодня решает. Право же, стоит в нем разобраться.

Ключ к разгадке – в том вопросе, что прозвучал уже в начале моей работы: откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство?

Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто



озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере обратиться к ней в нужную сторону. Дело в следующем: за многовековой период своей истории, с VI по XIX, европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год – за столетие с небольшим – достигло четырехсот шестидесяти! Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодovitости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит. С другой стороны, это еще одно, и притом самое осязаемое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.

Эта статистика, кстати, умеряет наше беспочвенное восхищение ростом молодых стран, особенно Соединенных Штатов. Кажется сверхъестественным, что население США за столетие достигло ста миллионов, а ведь куда сверхъестественней европейская плодovitость. Лишнее доказательство, что американизация Европы иллюзорна. Даже, казалось бы, самая характерная черта Америки – ускоренный темп ее заселения – не самобытна. Европа в прошлом веке заселялась куда быстрее. Америку создали европейские изыски.

Хотя выкладки Вернера Зомбарта и не так известны, как они того заслуживают, сам загадочный факт заметного прироста европейцев слишком очевиден, чтобы на нем задерживаться. Суть не в цифрах народонаселения, а в их контрастности, вскрывающей внезапный и головокружительный темп роста. Речь идет о нем. Головокружительный рост означает все новые и новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой.

И в результате современный средний европеец душевно здоровей и крепче своих предшественников, но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, внезапно забредшего в мир вековой цивилизации. Школы, которыми так гордился прошлый век, внедрили в массу современные технические навыки, но не сумели воспитать ее. Снабдили ее средствами для того, чтобы жить полнее, но не смогли наделить ни историческим чутьем, ни чувством исторической ответственности. В массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе. Естественно, она и не помышляет о духе, и новые поколения, желая править миром, смотрят на него как на первозданный рай, где нет ни давних следов, ни давних проблем.

Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Не усвоив и не переварив этого, смешно и легкомысленно отдавать предпочтение духу иных эпох. Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса – двух основных факторов – за столетие утратил людские ресурсы Европы.

Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое – либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из донныне известных форм общественной жизни; второе – вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохраняют ее суть, и третье – возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.



И вот, разом уяснив себе все эти вполне ясные вещи, мы должны предъявить XIX веку счет. Очевидно, наряду с чем-то небывалым и неповторимым имелись в нем и какие-то врожденные изъяны, коренные пороки, поскольку он создал новую касту людей – мятежную массу, и теперь она угрожает тем основам, которым обязана жизнью. Если этот человеческий тип будет по-прежнему хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает. Наши правовые и технические достижения исчезнут с той же легкостью, с какой не раз исчезали секреты мастерства¹. Жизнь съедается. Сегодняшний избыток возможностей обернется беспросветной нуждой, скaredностью, тоскливым бесплодием. Это будет неподдельный декаданс, потому что восстание масс и есть то самое, что Ратенау называл «вертикальным вторжением варваров».

Поэтому так важно взглянуть в массового человека, в эту чистую потенцию как высшего блага, так и высшего зла.

VI. ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и неполитической? Почему он таков, каков есть, иначе говоря, как он получился таким?

Оба вопроса требуют совместного ответа, потому что взаимно проясняют друг друга. Человек, который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал девятнадцатый век, но

именно девятнадцатым веком он рожден и вскормлен. Проницательный ум, будь то в 1820, 1850 или 1880 годах, простым рассуждением а priori мог предвосхитить тяжесть современной исторической ситуации. И в ней действительно нет равным счетом ничего, не предугаданного сто лет назад. «Массы надвигаются!» – апокалиптически восклицал Гегель. «Без новой духовной власти наша эпоха – эпоха революционная – кончится катастрофой», – предрекал Огюст Конт. «Я вижу всемирный потоп нигилизма!» – кричал с энгадинских круч усатый Ницше. Неправда, что история непредсказуема. Сплошь и рядом пророчества сбывались. Если бы грядущее не оставляло брешей для предвидений, то и впрямь, исполняясь и становясь прошлым, оно оставалось бы непонятным. В утверждении, что историк – пророк наоборот, заключена вся философия истории. Конечно, можно провидеть лишь общий каркас будущего, но ведь и в настоящем или прошлом это единственное, что, в сущности, доступно. Поэтому, чтобы видеть свое время, надо смотреть с расстояния. С какого? Достаточного, чтобы не различать носа Клеопатры.

Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век? Прежде всего и во всех отношениях – материально доступной. Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и ужесточалась жизнь рабочих, экономические перспективы среднего слоя становились день ото дня все шире. Каждый день вносил лепту в его жизненный standard*. С каждым

¹ Герман Вейль, один из крупнейших физиков современности, последователь и соратник Эйнштейна, говорил в частной беседе, что если бы определенные люди, десять или двенадцать человек, внезапно умерли, чудо современной физики оказалось бы навеки утраченным для человечества. Столетиями надо было приспосабливать человеческий мозг к абстрактным головоломкам теоретической физики. И любая случайность может развить эти чудесные способности, от которых зависит и вся техника будущего.

* standard (англ.) – стандарт.



днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют. С 1900 года и рабочий начинает ширить и упрочивать свою жизнь. Он, однако, должен за это бороться. Благоденствие не уготовано ему заботливо, как среднему человеку, обществом и на диво слаженным государством.

Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейская – *confort** и общественный порядок. Жизнь катится по надежным рельсам, и столкновение с чем-то враждебным и грозным мало представимо.

Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна копить в недрах обыденного сознания то ощущение жизни, которое метко выражено нашей старинной поговоркой: «Широка Кастилия!»** А именно – во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Это обстоятельство и его важность осознаются сами собой, если вспомнить, что прежде рядовой человек и не подозревал о такой жизненной раскрепощенности. Напротив, жизнь была для него тяжкой участью. Он с рождения ощущал ее как скопище преград, которые обречен терпеть, с которыми принужден смириться и втиснуться в отведенную ему шель.

Контраст еще отчетливей, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. В середине прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рога-ток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. И здесь – «широка Кастилия». Не существует ни «сословий», ни «каст». Ни у кого нет гражданских привиле-

гий. Средний человек усваивает как истину, что все люди узаконенно равны.

Никогда за всю историю человек не знал условий, даже отдаленно похожих на современные. Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования человека, – новое и в материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие – техника. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Деятнадцатый век не изобрел, а внедрил, и в том его заслуга. Это прописная истина. Но одной ее мало, и надо вникнуть в ее неумолимые последствия.

Деятнадцатый век был революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад – это всего лишь декорация, – а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция – не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный. И потому можно без особых преувеличений сказать, что человек, порожденный деятнадцатым столетием, социально стоит особняком в ряду предшественников. Разумеется, человеческий тип восемнадцатого века отличен от преобладавшего в семнадцатом, а тот – от характерного для шестнадцатого века, но все они в конечном счете родственны, схожи и по сути даже одинаковы, если сопоставить их с нашим новоявленным современником. Для «плебея» всех времен «жизнь» означала прежде всего стеснение, повинность, зависимость, одним словом – угнетение. Еще короче – гнет, если не

* *confort* (фр.) – комфорт.

** Ободрающее восклицание, отчасти схожее с русским: «Гуляй, душа!»



ограничивать его правовым и сословным, забывая о стихиях. Потому что их напор не слабел никогда, вплоть до прошлого века, с началом которого технический прогресс — материальный и управленческий — становится практически безграничным. Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска¹.

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно берedit его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим обитателям — и это крайне важно — полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в этой незыблемой вере, по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что автомобили через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще трудней ему уразуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сего-

дняшнего массового человека: эти две черты — беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной природы и второе — врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад — избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой душе как оси координат. Наследница незапятнанного и гениального былого — гениального по своему вдохновению и дерзанию, — современная чернь избалована окружением. Баловать — это значит потакать, поддерживать иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное — никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то более сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: «Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В мире, очевидно, существуют двое: я и тот, другой, кто выше меня». Среднему человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все возможно и даже гарантировано — и все наготове, без каких-либо предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым дышит, пото-

¹ При любом относительном богатстве сфера благ и удобств, обеспеченных им, была крайне сужена всеобщей бедностью мира. Жизнь среднего человека сегодня много легче, изобильней и безопасней жизни могущественнейшего властителя иных времен. Какая разница, кто кого богаче, если богат мир и не скупится на автострады, магистрали, телеграфы, отели, личную безопасность и аспирин?



му что воздух никем не изготовлен – он часть того, о чем говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же совершенна, как и природа.

Мне думается, сама искусность, с какой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждают облагодетельствованную массу считать их устройство не искусным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего – истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного поглощения, для сохранения которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют хлеба, а в поддержку требований, как правило, громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают – только размашистей и изобретательней – с той цивилизацией, что их питает?¹

VII. ЖИЗНЬ ВЫСОКАЯ И НИЗМЕННАЯ, ИЛИ РВЕНИЕ И РУТИНА

Мы прежде всего то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней окружением. Это неудивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий дух, которым он встречает нас, передается нашей жизни. Именно поэтому я так настойчиво подчеркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к жизни современные массы, история еще не знала. Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом. И если прежде он привычно твердил: «Жить – это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», – то теперь он торжествует: «Жить – это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше».

¹ Для брошенной на собственный произвол массы, будь то чернь или «знать», жажда жизни неизменно оборачивается разрушением самих основ жизни. Бесподобным гротеском этой тяги – *propter vitam, vitae perdere causas* («ради жизни утратить смысл жизни», лат.) – мне кажется происшедшее в Нихаре, городке близ Альмерии, 13 сентября 1759 года, когда был провозглашен королем Карлос III. Торжество началось на площади: «Затем велено было угостить все собрание, каковое истребило 77 бочонков вина и четыре бурдюка водки и воодушевилось настолько, что со многими здравиями двинулось к муниципальному складу и там повывбрасывало из окон весь хлебный запас и 900 реалов обшинных денег. В лавках учинили то же самое, изничтожив, во славу праздника, все, что было там съестного и питейного. Духовенство не уступало рвением и громко призывало женщин выбрасывать на улицу все, что ни есть, и те трудились без малейшего сожаления, пока в домах не осталось ни хлеба, ни зерна, ни муки, ни крупы, ни мисок, ни кастрюль, ни ступок, ни пестов и весь сказанный город не опустел» (документ из собрания доктора Санчеса де Тока, приведенный в книге Мануэля Данвила «Правление Карлоса III», том 2, с. 10, прим. 2). Сказанный город в угоду монархическому ажиотажу истребил себя. Блажен Нихар, ибо за ним буушее!



Эта внушенная опытом вера целиком изменила привычный, вековой склад массового человека. Стесненность и зависимость ему всегда казались его природным состоянием. Такой, на его взгляд, была сама жизнь. Если удавалось улучшить свое положение, подняться вверх, он считал это подарком судьбы, которая лично к нему оказалась милостивой. Или приписывал это не столько удаче, сколько собственным неимоверным усилиям, и хорошо помнил, чего они ему стоили. В любом случае речь шла об исключении из общего миропорядка, и каждое такое исключение объяснялось особыми причинами.

Но для новой массы природным состоянием стала полная свобода действий, узаконенная и беспричинная. Ничто внешнее не понуждает к самоограничению и, следовательно, не побуждает постоянно считаться с кем-то, особенно с кем-то высшим. Еще не так давно китайский крестьянин верил, что его благоденствие зависит от тех сугубых достоинств, которыми изволит обладать император. И жизнь постоянно соотносилась с тем высшим, от чего она зависела. Но человек, о котором ведется речь, причин не считаться ни с кем, помимо себя. Какой ни на есть, он доволен собой. И простодушно, без малейшего тщеславия, стремится утвердить и навязать себя – свои взгляды, вождения, пристрастия, вкусы и все, что угодно. А почему бы и нет, если никто и ничто не вынуждает его увидеть собственную второсортность, узость и полную неспособность ни к созиданию, ни даже к сохранению уклада, давшего ему тот жизненный размах, который и позволил самообольщаться?

Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сего-

дня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека – первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего¹. Вопреки ходячему мнению служение – удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы ввериться им. Жизнь как испытание – это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. *Noblesse oblige**. «Жить как хочется – плебейство, благородны долг и верность» (Гёте). Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права – или *privilegios* – это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права – такие, как «права человека и гражданина», – обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завадевают.

Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но

¹ Массовое мышление – это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает. Напротив, незаурядность избегает судить без предварительных умственных усилий и считает достойным себя только то, что еще недоступно и требует нового взлета мысли.

* Положение (букв.: благородство) обязывает (*фр.*).



ведь подлинное значение – *et*уто – понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына – это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность – отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна – это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действительно, – это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, *noblesse oblige*. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатности, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действительное благородство – одним словом, на то, что есть, а не на то, что было¹.

«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи – и возникает именно как противоречие родовой знати, отчетливо вырождающейся.

Для меня «благородство» – синоним жизни окрыленной, призванной перерастить себя

и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низкой, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.

Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памятны те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение – *askesis*. Они аскеты².

Может показаться, что я отвлекся. Но для того, чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было раздельно, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала – исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.

Теперь дело двинется быстрее, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение. И ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения – материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та

¹ Поскольку речь идет лишь о том, чтобы вернуть понятию «благородство» его изначальный смысл, исключающий наследование, не вижу необходимости углубляться в такое исторически знакомое понятие, как «благородная кровь».

² См.: El origen deportivo del Estado // El Espectador. VII. 1930.



масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильнее, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем – словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе – и, следовательно, во всем мире – любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой души – это косность и нечувствительность, и потому масса природно неспособна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет следовать кому-то – и не сумеет. Захочет слушать – и убедится, что оглохла.

С другой стороны, напрасно надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был сегодня высок его жизненный уровень, сумеет управлять ходом цивилизации. Именно ходом – я уж не говорю о росте. Даже просто поддерживать уровень современной цивилизации непомерно трудно, и дело это требует бесчисленных ухищрений. Оно не по плечу тем, кто научился пользоваться некоторыми инструментами цивилизации, но ни слухом, ни духом не знает о ее основах.

Еще раз прошу тех, у кого хватило терпения одолеть вышесказанное, не истолковывать его в сугубо политическом смысле. Политика – самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но она вторична и обусловлена причинами потаенными и неощутимыми. И политическая косность не была бы так тяжка, если бы не про-

истекала из более глубокой и существенной косности – интеллектуальной и нравственной. Поэтому без анализа последней исследуемый вопрос не прояснится.

VIII. ПОЧЕМУ МАССЫ ВТОРГАЮТСЯ ВСЮДУ, ВО ВСЕ И ВСЕГДА НЕ ИНАЧЕ КАК НАСИЛИЕМ

Начну с того, что выглядит крайне парадоксальным, а в действительности проще простого: когда для заурядного человека мир и жизнь распахнулись настежь, душа его для них закрылась наглухо. И я утверждаю, что эта закупорка заурядных душ и породила то возмущение масс, которое становится серьезной проблемой для человечества.

Естественно, что многие думают иначе. Это в порядке вещей и только подтверждает мою мысль. Будь даже мой взгляд на этот сложный предмет целиком неверным, верно то, что многие из оппонентов не размышляли над ним и пяти минут. Могут ли они думать, как я? Но непреложное право на собственный взгляд без каких-либо предварительных усилий его выработать как раз и свидетельствует о том абсурдном состоянии человека, которое я называю «массовым возмущением». Это и есть герметизм, закупорка души. В данном случае – герметизм сознания. Человек обзавелся кругом понятий. Он полагает их достаточными и считает себя духовно завершенным. И, ни в чем извне нужды не чувствуя, окончательно замыкается в этом кругу. Таков механизм закупорки.

Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурядному для этого требуется незаурядное самомнение, наивная вера в собственное совершенство у него не органична, а внушена тщеславием и остается мнимой, притворной и сомнительной для самого себя. Поэтому самонадеянному так нужны другие, те, кто подтвердил бы его домыслы о себе. И даже в этом кли-



ническом случае, даже «ослепленный» тщеславием, достойный человек не в силах ошутить себя завершенным. Напротив, сегодняшней заурядности, этому новому Адаму, и в голову не взбредет усомниться в собственной избыточности. Самознание у него поистине райское. Природный душевный герметизм лишает его главного условия, необходимого, чтобы ошутить свою неполноту, — возможности сопоставить себя с другим. Сопоставить означало бы на миг отрешиться от себя и вселиться в ближнего. Но заурядная душа неспособна к перевоплощению — для нее, увы, это высший пилотаж.

Словом, та же вечная разница, что между тупым и смышленным. Один замечает, что он на краю неминуемой глупости, силится отпрянуть, избежать ее и своим усилием укрепляет разум. Другой ничего не замечает: для себя он — само благоразумие, и отсюда та завидная безмятежность, с какой он погружается в собственный идиотизм. Подобно тем моллюскам, которых не удастся извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сличить свою привычную подслеповатость с остротой зрения других. Он глуп пожизненно и прочно. Недаром Анатоль Франс говорил, что дурак пагубней злодея. Поскольку злодей хотя бы иногда делает передышку¹.

Речь не о том, что массовый человек глуп. Напротив, сегодня его умственные способности и возможности шире, чем когда-либо. Но это не идет ему впрок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз и навсегда освящает он ту мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесного мусора, что скопи-

лась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Именно об этом и говорил я в первой главе: специфика нашего времени не в том, что посредственность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право.

Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни, быть может, самобытнейшая черта современности, наименее сопоставимая с прошлым. Прежде в европейской истории чернь никогда не заблуждалась насчет собственных «идей» касательно чего бы то ни было. Она наследовала верования, обычаи, житейский опыт, умственные навыки, пословицы и поговорки, но не присваивала себе умозрительных суждений — например, о политике или искусстве — и не определяла, что они такое и чем должны стать. Она одобряла или осуждала то, что задумывал и осуществлял политик, поддерживала или лишала его поддержки, но действия ее сводились к отклику, сочувственному или наоборот, на творческую волю другого. Никогда ей не взбрело в голову ни противопоставлять «идеям» политика свои, ни даже судить их, опираясь на некий свод «идей», признанных своими. Так же обстояло с искусством и другими областями общественной жизни. Врожденное сознание своей узости, неподготовленности к теоретизированию² воздвигало глухую стену. Отсюда само собой следовало, что плебей не решался даже отдаленно участвовать почти ни в какой общественной жизни, по большей части всегда концептуальной.

Сегодня, напротив, у среднего человека самые неукоснительные представления обо всем, что творится и должно твориться во

¹ Я не раз задавался таким вопросом. Испокон веков для многих людей самым мучительным в жизни было, несомненно, столкновение с глупостью ближних. Почему же в таком случае никогда не пытались изучать ее, не было, насколько мне известно, ни одного исследования?

² Это не подмена понятий: выносить суждение означает теоретизировать.



Вселенной. Поэтому он научился слушать. Зачем, если все ответы он находит в самом себе? Нет никакого смысла выслушивать и, напротив, куда естественней судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не вступал, повсюду оставаясь глухим и слепым, и всюду навязывая свои «взгляды».

Но разве это не достижение? Разве не величайший прогресс то, что массы обзавелись «идеями», то есть культурой? Никким образом. Потому что «идеи» массового человека таковыми не являются и культурой он не обзавелся. Идея – это шаг истине. Кто жаждет идей, должен прежде них домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила – основы культуры. Неважно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике¹. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство.

Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть, в самом прямом и точном смысле слова, варварство. Именно его – не будем обманываться – и утверждает в Европе растущее вторжение масс. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков. У варваров их попросту нет и вызывать не к чему.

Мерой культуры служит четкость установлений. При малой разработанности они

упорядочивают лишь *grosso modo*^{**}; и чем отделанней они, тем подробней выверяют любой вид деятельности. Скудость испанской интеллектуальной культуры не в большей или меньшей нехватке знаний, а в той привычной бесшабашности, с какой говорят и пишут, не слишком заботливо сверяясь с истиной. Словом, беда не в большей или меньшей неистинности – истина не в нашей власти, – а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, что победно громит манихеев, так и не позаботившись уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.

Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся «дикийные вещи». В качестве примера назову две – синдикализм и фашизм. И дикийность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настолько неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно, удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что вновь – право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности. Политическая позиция предельно грубо и неприкрыто выявляет новый душевный склад, но коренится она в интеллектуальном герметизме. Массовый человек обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять». И даже не подозревает, каков он, тот

¹ Кто в споре не доискивается правды и не стремится быть правдивым, тот интеллектуально варвар. В сущности, так и обстоит с массовым человеком, когда он говорит, вешает или пишет.

^{**} В общих чертах, в целом (итал.).



хрупкий мир, в котором живут идеи. Он хочет высказаться, но отвергает условия и предпосылки любого высказывания. И в итоге его «идеи» не что иное, как словесные вождения поподобие жестоких романсов.

Выдвигать идею – означает верить, что она разумна и справедлива, а тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции, признание ее устава, подчинение ее законам и приговорам, а значит, и убеждение, что лучшая форма сосуществования – диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Отсюда и последняя «новинка» – оглушивший Европу лозунг: «Хватит дискутировать», – и ненависть к любому сосуществованию, по своей природе объективно упорядоченному, от разговора до парламента, не говоря о науке. Иными словами, отказ от сосуществования культурного, то есть упорядоченного, и откат к варварскому. Душевный герметизм, толкающий массу, как уже говорилось, вторгаться во все сферы общественной жизни, неизбежно оставляет ей единственный путь для вторжения – прямое действие.

Обращаясь к истокам нашего века, когда-нибудь отметят, что первые ноты его сквозной мелодии прозвучали на рубеже столетий среди тех французских синдикалистов и роялистов, кто придумал термин «прямое действие» в купе с его содержанием. Человек постоянно прибегал к насилию. Оставим в стороне просто преступления. Но ведь нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить, отстоять то, что кажется справедливым. Пе-

чально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому насилию, но бесспорно также, что оно – дань разуму и справедливости. Ведь и само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить *ultima ratio** иронически, обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения – в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт обуздания силы, сведение ее роли к *ultima ratio*. Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает порядок вещей и утверждает силу как *prima ratio***, а в действительности – как единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить остальные и напрямую диктовать свою волю. Это *Charta Magna**** одичания.

Нелишне вспомнить, что, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к «прямому действию». Видимо, это ее природный способ действовать. И самое веское подтверждение моей мысли – тот очевидный факт, что теперь, когда диктат массы из эпизодического и случайного превратился в повседневный, «прямое действие» стало правилом.

Все человеческие связи подчинились этому новому порядку, упразднившему «непрямые» формы сосуществования. В человеческом общении упраздняется «воспитанность». Словесность как «прямое действие» обращается в ругань. Сексуальные отношения утрачивают свою многогранность.

Грани, нормы, этикет, законы писаны и неписаны, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове «цивилизация», корень которого – *civis*, гражданин, то есть го-

* Последний довод (лат.).

** Первый довод (лат.).

*** Великая Хартия (лат.).



рожанин, – указывает на происхождение смысла. И смысл всего этого – сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Потому, если взглядеться в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дицают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одицание – процесс разобшения. И действительно, периоды варварства, все до единого, – это время распада, кишение крохотных группировок, разъединенных и враждующих.

Высшая политическая воля к сосуществованию поглощена в либеральной демократии. Это первообраз «непрямого действия», доведший до предела стремление считаться с ближним. Либерализм – правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всеильной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм – и сегодня стоит об этом помнить – предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и – мало того – врагом слабейшим. Трудно было ждаты, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и нелегким, чтобы утвердиться на Земле.

Уживаться с врагом! Ладить с оппозицией! Не кажется ли уже непонятной подоб-

ная покладистость? Ничто не отразило современность так беспощадно, как то, что все меньше остается стран, где есть оппозиция. Повсюду аморфная масса давит на государственную власть и подминает, топчет малейшие ростки оппозиционности. Масса – кто бы подумал при виде ее однородной сученности! – не желает уживаться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно.

IX. ОДИЧАНИЕ И ТЕХНИКА

Крайне важно помнить, что положение дел в современном мире само по себе двусмысленно. Именно поэтому я изначально внушал, что любое явление современности – и особенно восстание масс – подобно водоразделу. Каждое из их не только может, но и должно толковаться двояко, в хорошем и плохом смысле. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой действительности. Причина не в том, что под разным углом зрения современная обстановка может казаться хорошей или плохой, а в том, что сама она таит двоякую возможность победы или гибели.

Я не собираюсь подкреплять это исследование всей метафизикой истории. Но строится оно, конечно, на фундаменте моих философских убеждений, изложенных или намеченных ранее. Я не верю в абсолютную историческую неизбежность. Напротив, я думаю, что жизнь, и в том числе историческая, складывается из множества мгновений, относительно независимых и непредрежденных, и каждый миг действительность колеблется, *pietine sur place**, словно выбирая ту или иную возможность. Эти метафизические колебания и придают всему живому неповторимый трепет и ритм.

Восстание масс в итоге может открыть путь к новой и небывалой организации че-

* Толпчется на месте (фр.).



ловчества, но может привести и к катастрофе. Нет оснований отрицать достигнутый прогресс, но следует оспаривать веру в его надежность. Реалистичнее думать, что не бывает надежного прогресса, нет такого развития, которому не грозили бы упадок и вырождение. В истории все осуществимо, все что угодно, – и непрерывный подъем, и постоянные откаты. Ибо жизнь, одиночная или общественная, частная или историческая, – это единственное в мире, что нерасторжимо с опасностью. Она складывается из превратностей. Строго говоря, это драма¹.

С наибольшей силой эта общая истина проступает в такие «критические моменты», как наш. И новые поведенческие черты, рожденные господством масс и обобщенные нами в понятие «прямое действие», могут предвещать и будущее благо. Понятно, что всякая старая культура тащит за собой немалый груз изношенного и окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что отравляют жизнь. Это мертвые установления, устаревшие авторитеты и ценности, неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти звенья непрямого действия – цивилизации – со временем нуждаются в безоглядном и безжалостном упрощении. Романтические редингот и гластрон насти-

гает возмездие в виде теперешнего *deshabille*² и распахнутого ворота. Это решение в пользу здоровья и хорошего вкуса – лучшее решение, ибо меньшими средствами достигает большего. Куши романтической любви тоже потребовали садовых ножниц, чтобы избавиться от искусственных магнолий, в избытке прицепленных к веткам, и удушливых лиан, плющей и прочих хитросплетений, загородивших солнце.

Общественной жизни в целом и политической в особенности не обойтись без возврата к естеству, и Европе не сделать того упругого, уверенного рывка, к которому призывают оптимисты, если она не обернется собой, голой сутью, скинувшей старье. Я радуюсь этому искусу наготы и неподдельности, вижу в нем залог достойного будущего и в отношении прошлого стою за полную духовную независимость. Главенствовать должно будущее, и лишь оно диктует, как поступать с былым².

Но следует избегать тяжелейшего греха корифеев XIX века – притупленного чувства ответственности, которое вело их к утрате тревоги и бдительности. Отдаваться течению событий, полагаясь на попутный ветер, и не улавливать малейших признаков опасности и ненастья, когда день еще ясен, – это и есть ут-

¹ Не приходится думать, что кто-либо примет мои слова всерьез, – в лучшем случае их просто сочтут метафорой, более или менее удачной. Лишь человек слишком бесхитростный, чтобы уверовать, будто знает окончательно, в чем состоит жизнь или хотя бы в чем она не состоит, воспримет прямой смысл этих слов и – верны они там или нет – единственный поймет их. Остальные будут на редкость единодушны и разойдутся лишь в одном – считать ли жизнь, говоря серьезно, битием души или же чередой химических реакций. Не знаю, убедит ли настолько закоснелых читателей моя позиция, которая сводится к тому, что истонное и глубинное значение слова «жизнь» открывается при биографическом, а не при биологическом подходе. Это веско подтверждается тем, что в иной биографии все биологическое не больше, чем глава. Биология вписывает лишь пару страниц, и все добавления к ним – абстракция, фантазия и миф.

* Здесь: простого и вольного стиля одежды (*фр.*).

² Эта свобода действий в отношении прошлого – не скоропалительный бунт, а сознательный долг любого «переломного» времени. Если я защищаю либерализм XIX века от развязности массовых нападок, это не значит, что я поступаю независимостью по отношению к самому либерализму. И другой, противоположный пример: одичание, которое в этой работе представлено с его наихудшей стороны, в определенном смысле является предпосылкой любого крупного исторического скачка. – См. об этом в моем недавнем труде «Биология и педагогика» (гл. III, «Парадокс варварства»).



рата ответственности. Сегодня чувство ответственности надо возбуждать и будоражить в тех, у кого оно сохранилось, и пристальность к угрожающим симптомам современности представляется делом первостепенным.

Бесспорно, диагноз нашей общественной жизни куда больше тревожит, чем обнадеживает, особенно если исходить не из сиюминутного состояния, а из того, к чему оно ведет.

Тот очевидный взлет, который испытала жизнь, рискует оборваться в столкновении с самой грозной проблемой, вторгшейся в европейскую судьбу. Еще раз ее сформулирую: власть в обществе захватил новый тип человека, равнодушный к основам цивилизации. И не той или этой, а любой, насколько сегодня можно судить. Он отчетливо равнодушен к пиюлям, автомобилям и чему-то еще. Но это лишь подтверждает его глубокое равнодушие к цивилизации. Все перечисленное – ее плоды, и всепоглощающая тяга к ним как раз и подчеркивает полное равнодушие к корням. Достаточно одного примера. С тех пор как существуют *nuove scienze** – естественные науки, – то есть начиная с Возрождения, увлеченность ими непрерывно возрастала, а именно: число людей, посвятивших себя исследованиям, пропорционально росло с каждым новым поколением. Впервые оно упало в том поколении, которому сегодня пошел третий десяток. Лаборатории чистой науки теряют притягательность и заодно учеников. И происходит это в те дни, когда техника достигла расцвета, а люди наперебой спешат воспользоваться препаратами и аппаратами, созданными научным знанием.

Рискуя надоесть, нетрудно было бы выявить подобную же несообразность в искусстве, политике, морали, религии и просто в повседневной жизни.

Что знаменует такая парадоксальная картина? Ответ на это я и пытаюсь дать в моей работе. Такая парадоксальность означает, что в мире сегодня господствует дикарь, *Naturmensch***, внезапно всплывший со дна цивилизации. Цивилизован мир, но не его обитатель – он даже не замечает этой цивилизованности и просто пользуется ею, как дарами природы. Ему хочется автомобиль, и он утоляет желание, полагая, что автомобиль этот свалился с райского древа. В душе он не догадывается об искусственной, почти неправдоподобной природе цивилизации, и его восхищение техникой отнюдь не простирается на те основы, которым он обязан этой техникой. Приведенные выше слова Ратенау о «вертикальном вторжении варваров» можно было счесть – и обычно считают – просто «фразой». Но теперь ясно, что слова эти, верны они или нет, в любом случае не просто «фраза», а напротив – рожденная кропотливым анализом точная формулировка. На древние подмостки цивилизации прокрался из-за кулис массовый, а в действительности – первобытный человек.

Ежечасно твердят о небывалом техническом прогрессе, но то, что его будущее достаточно драматично, не осознается никем, даже самыми лучшими. Глубокий и проницательный, при всей его маниакальности, Шпенглер – и тот представляется мне чрезмерным оптимистом. Он убежден, что на смену «культуре» приходит «цивилизация», под которой он понимает прежде всего технику. Представления Шпенглера о «культуре» и вообще об истории настолько далеки от моих, что мне трудно даже опровергать его выводы. Лишь перескочив эту пропасть, можно привести оба воззрения к общему знаменателю и тем установить расхождение: Шпенглер верит, что техника способна существовать и после того, как угаснет интерес

* Новые науки (итал.).

** Первобытный человек (нем.).



к основам культуры, – я же в это поверить не решаюсь. В основе техники – знание, а знание существует, пока оно захватывает само по себе, в чистом виде, и неспособно захватить, если люди не захвачены существом культуры. Когда этот пыл гаснет – что сейчас, видимо, и происходит, – техника движется лишь силой инерции, которую сообщил ей ненадолго импульс культуры. С техникой сжился, но не техникой жив человек. Сама она не может жить и питаться собой, это не *causa sui*^{*}, а полезный, прикладной отстой бесполезных и бескорыстных усилий¹.

Словом, надо помнить, что современный интерес к технике еще не гарантирует – или уже не гарантирует – ни ее развития, ни даже сохранения. Технизм не зря считается одним из атрибутов «современной культуры», то есть культуры, которая вбирает лишь те знания, что приносят материальную пользу. Потому-то, рисуя новые черты, обретенные жизнью в XIX веке, я сосредоточился на двух – либеральной демократии и технике². Но меня, повторяю, пугает та легкость, с которой забывают, что душа техники – чистая наука, и что их развитие обусловлено одним и тем же. Никто не задумывался, чем должна жить душа, чтобы в мире жили подлинные «люди науки»? Или вы всерьез верите, что, пока есть доллары, будет и наука? Это соображение, для многих успокоительное – лишний признак одичания.

Чего стоит одно только количество компонентов, таких разнородных, которые потребовалось собрать и перемешать, чтобы полу-

^{*} Сама себе причина (лат.).

¹ Поэтому, на мой взгляд, пустое дело – судить об Америке по ее «технике». Вообще, одно из самых глубоких помрачений европейского сознания – это детский взгляд на Америку, присущий и самым образованным европейцам. Это частный случай того, с чем мы не раз еще столкнемся, – несоответствия между сложностью современных проблем и уровнем мышления.

² Строго говоря, либеральная демократия и техника так тесно связаны и переплетены, что немыслимы одна без другой, и хотелось бы найти какое-то третье, всеобъемлющее понятие, которое стало бы наименованием XIX века, его именем нарицательным.

³ Не буду углубляться. Большинство ученых сами еще не подозревают об опасности того скрытого кризиса, который переживает сегодня наука.

чить коктейль физико-химических дисциплин! Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временном и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание – одно из самых немыслимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхъестественней, чем явление единорога. Эти скучные факты должны бы вразумить нас, насколько зыбко и мимолетно научное вдохновение³. Блажен, кто верует, что с исчезновением Европы североамериканцы могли бы продолжать науку!

Следовало бы углубиться в это и скрупулезно выявить, каковы исторические и жизненные предпосылки экспериментального знания, а значит – и техники. Но и самый исчерпывающий вывод вряд ли проймает массового человека. Он верит доводам желудка, а не разума.

Я разуверился в пользе подобных проповедей, слабость которых – в их разумности. Не абсурдно ли, что сегодня рядовой человек не чувствует сам, без посторонних наставлений, жгучего интереса к упомянутым наукам и родственной им биологии? Ведь современное состояние культуры таково, что все ее звенья – политика, искусство, общественные устои, даже нравственность – стано-



вятся день ото дня смутнее, кроме того единственного, что ежечасно, с неоспоримой наглядностью, способной пронять массового человека, подтверждает свою результативность, а именно экспериментальной науки. Что ни день, то новое изобретение, которым пользуются все. Что ни день, то новое болеутоляющее либо профилактическое средство, которым пользуют тоже всех. И всякому ясно, что если, в надежде на постоянство научного вдохновения, утроить или удесятерить число лабораторий, соответственно возрастут сами собой богатства, удобства, благополучие и здоровье. Есть ли что сильней и убедительней этих жизненных доводов? Почему же тем не менее массы не обнаруживают ни малейшего поползновения жертвовать деньги, чтобы материально и морально поддерживать науку? Совершенно напротив, послевоенное время сделало ученых настоящими париями. И подчеркиваю: не философов, а физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается ни в покровительстве, ни в симпатиях массы. Она заботится, чтобы в ее облике не возникло ничего утилитарного¹, и тем полностью освобождается от власти массового мышления. Она по сути своей проблематична, сама для себя загадочна и рада своей вольной участи птиц небесных. Нет нужды, чтобы с ней считались, ей незачем навязывать или отстаивать себя. И если кто-то извлекает из нее пользу, она по-человечески рада за него, но живет не за счет чьей-то выгоды и не в расчете на нее. Да и как ей претендовать на серьезное отношение, если начинает она с сомнений в собственном существовании и живет лишь тем, что борется с собой не на

жизнь, а на смерть? Однако оставим философию, это разговор особый.

Но экспериментальное знание в массах нуждается, как и массы нуждаются в нем под страхом смерти, ибо без физической химии планета уже не в силах прокормить их.

Какие доводы убедят тех, кого не убеждают вождельный автомобиль и чудотворные инъекции пантопона? Несоответствие между тем явным и прочным благоденствием, которое наука дарит, и тем отношением, которым ей платят, таково, что нельзя больше обманываться пустыми надеждами и ждать чего-либо иного, кроме всеобщего одичания. Тем более, что нигде равнодушные к науке не проступают, в чем мы не раз убедимся, с такой отчетливостью, как среди самих специалистов – медиков, инженеров и т.д., – которые привыкли делать свое дело с таким же душевным настроем, с каким водят автомобиль или принимают аспирин, – без малейшей внутренней связи с судьбами науки и цивилизации.

Вероятно, кого-то пугают иные признаки воскресшего варварства, которые выражены действием, а не бездейственностью, сильней бросаются в глаза и потому у всех на виду. Но для меня самый тревожный признак – именно это несоответствие между теми благами, которые рядовой человек получает от науки, и его отношением к ней, то есть бесчувственностью². Это неадекватное поведение понятней, если вспомнить, что негры в африканской глуши тоже водят автомобили и глотают аспирин. Те люди, что готовы завладеть Европой, – такова моя гипотеза – это варвары, которые хлынули из люка на подмостки сложной цивилизации, их породившей. Это – «вертикальное одичание» во плоти.

¹ См.: Аристотель. Метафизика, 893–910.

² Такая противоестественность удесятерится тем, что все остальные жизненные устои – политика, право, искусство, мораль, религия – по своей действительности, да и сами по себе, переживают, как уже отмечалось, кризис или по меньшей мере временный упадок. Одна наука не потерпела крах и, что ни день, со сказочной быстротой исполняет обещанное и сверх обещанного. Словом, она вне конкуренции, и пренебрежение к ней нельзя извинить, даже если заподозрить в массовом человеке пристрастие к иным областям культуры.



Х. ОДИЧАНИЕ И ИСТОРИЯ

Природа всегда налицо. Она сама себе опора. В диком лесу можно безбоязненно дикарствовать. Можно и навек одичать, если душе угодно и если не помешают иные пришельцы, не столь дикие. В принципе, целые народы могут вечно оставаться первобытными. И остаются. Брейзиг назвал их «народами бесконечного рассвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которые не растопить никакому полдню.

Все это возможно в мире полностью природном. Но не полностью цивилизованным, подобно нашему. Цивилизация – не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует искусства и мастерства. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней... плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр – и все вокруг улетучится в два счета! Словно спадут покровы с нагой Природы и вновь, как изначально, предстанут первобытные дебри. Дебри всегда первобытны, и наоборот. Все первобытное – это дебри.

Романтики были поголовно помешаны на сценах насилия, где низшее, природное и дочеловеческое, попирало человеческую белизну женского тела, и вечно рисовали Леду с распаленным лебедем, Пасифаю с быком, настигнутую козлом Антиопу. Но еще более утонченным садизмом их привлекали руины, где окультуренные, граненные камни меркли в объятиях дикой зелени. Завидя строение, истый романтик прежде всего искал глазами желтый мох на кровле. Блеклые пятна возвешали, что все – только прах, из которого поднимутся дебри.

Грешно смеяться над романтиком. Посвоему он прав. За невинной извращенностью этих образов таится животрепещущая

проблема, великая и вековая: взаимодействие разумного и стихийного, культуры и неуязвимой для нее Природы. Оставляю за собой право при случае заняться этим и обернуться на сей раз романтиком.

Но сейчас я занимаюсь обратной проблемой – как остановить натиск леса. Сейчас «истинному европейцу» предстоит решать задачу, над которой бьются австралийские штаты, – как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге либо Сицилии, привез в Австралию крохотный росточек кактуса. Сегодня австралийский бюджет истощает затяжная война с этим сувениром, который заполнил весь континент и наступает со скоростью километра в год.

Веря в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама Природа, массовый человек *ipso facto** уподобляется дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Об этом уже говорилось, но следует дополнить сказанное.

Основ, на которых держится цивилизованный мир – и без которых он рухнет, – для массового человека попросту не существует. Эти краугольные камни его не занимают, не заботят, и крепить их он не намерен. Почему так сложилось? Причин немало, но остановлюсь на одной.

С развитием цивилизация становится все сложнее и запутанней. Проблемы, которые она сегодня ставит, архитрудны. И все меньше людей, чей разум на высоте этих проблем. Наглядное свидетельство тому – послевоенный период. Восстановление Европы – область высшей математики и рядовому европейцу явно не по силам. И не потому, что не хватает средств. Не хватает голов. Или, точнее, голова, хоть и с трудом, нашлась бы – и не одна, – но иметь ее на плечах дряблое тело срединной Европы не хочет.

* В силу самого факта, здесь: фактически (лат.).



Разрыв между уровнем современных проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в этом главная трагедия цивилизации. Благодаря верности и плодотворности своих основ она плодоносит с быстротой и легкостью, уже недоступной человеческому восприятию. Не думаю, что когда-либо происходило подобное. Все цивилизации гибнут от несовершенства своих основ. Европейской грозит обратное. В Риме и Греции потерпели крах устои, но не сам человек. Римскую империю доконала техническая слабость. Когда население ее разрослось, и спешно пришлось решать неотложные хозяйственные задачи, решить которые могла лишь техника, античный мир двинулся вспять, стал вырождаться и зачах.

Но сегодня крах терпит сам человек, уже неспособный поспевать за своей цивилизацией. Оторопь берет, когда люди вполне культурные трактуют злободневную тему. Словно заскорузлые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для преодоления трудностей в двести раз легче.

Растущая цивилизация – не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем в большей они опасности. Чем лучше жизнь, тем она сложнее. Разумеется, с усложнением самих проблем усложняются и средства для их разрешения. Но каждое новое поколение должно овладеть ими во всей полноте. И среди них, переходя к делу, выделяю самое азбучное: чем цивилизация старше, тем больше прошлого за ее спиной и тем она опытней. Словом, речь идет об истории. Историческое знание – первейшее средство сохранения и продления старейшей цивилизации. И не потому, что дает ре-

цепты ввиду новых жизненных осложнений – жизнь не повторяется, – но потому, что не дает перепевать наивные ошибки прошлого. Однако, если вы помимо того, что состарились и впали в немощь, ко всему еще утратили память, ваш опыт, да и все на свете, вам уже не впрок. Я думаю, что именно это и случилось с Европой. Сейчас самые «культурные» слои поражают историческим невежеством. Ручаюсь, что сегодня ведущие люди Европы смыслят в истории куда меньше, чем европейцы XVIII и даже XVII века. Историческое знание тогдашней верхушки – властителей *sensu lato** – открыло дорогу сказочным движениям XIX века. Их политика – речь идет о XVIII веке – вершилась во избежание всех политических ошибок прошлого, строилась с учетом этих ошибок и обобщала самый долгий опыт из возможных. Но уже XIX век начал утрачивать «историческую культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку¹. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился – пока еще скрыто и подпочвенно – отход назад, откат к варварству, другими словами, к той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его.

Оттого-то и большевизм, и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений – в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупинки, – сколько по тому, как допотопно, антиисторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавленные, как и следовало ждать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой

* В широком смысле (лат.).

¹ В этом уже проступает тот разрыв между научным уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которым мы еще столкнемся вплотную.



исторического чутья, они с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтами.

Я не обсуждаю вопроса, становится ли не становиться коммунистом. И не сопоставляю символ веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решает на революцию, которая внешне повторяет все прежние, не исправив ни единой ошибки, ни единого их изъяна. Поэтому происшедшее в России исторически невыразительно и не знаменует собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого изречения, рожденного опытом революций, которое применительно к русской не подтвердилось бы самым печальным образом. «Революция пожирает собственных детей!», «Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией» и т.д. и т.п. К этим затасканным истинам можно бы добавить еще несколько не столь явных, но вполне доказуемых – например, такую: революция длится не дольше пятнадцати лет, активной жизни одного поколения¹.

Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Лично я прибегаю бы титул «гениальный» для такого политика, от первых же шагов которого спятили бы все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.

Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки не на высоте своего времени, потому что превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии – надо его целиком, как пространство в перспективу, вместить в себя. С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет.

Обе попытки – это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день, уже виденный однажды, и не только однажды. Это анахронизмы. И так обстоит дело со всеми, кто в простоте душевной точит зубы на ту или иную порцию прошлого, вместо того чтобы приступить к ее перевариванию.

Безусловно, надо преодолеть либерализм XIX века. Но такое не по зубам тому, кто, подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть не либералом, либо антилибералом – значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. И раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то лишь вкупе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима. Либерализм в ее таблице наследует антилиберализму, или, другими словами, настолько жизненной последнего, насколько пушка гибельней копья.

На первый взгляд кажется, что каждому «античему-то» должно предшествовать это самое «что-то», поскольку отрицание предполагает его уже существующим. Однако новоявленное «анти-» растворяется в пустом жесте отрицания и оставляет по себе

¹ Срок деятельности одного поколения – около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые в конце концов утверждаются прочно и в течение всего второго периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу. И если господствуют крайние взгляды и предыдущее поколение по своему складу революционно, то новое будет тяготеть к обратному, то есть к реставрации. Разумеется, реставрация не означает простого «возврата к старому» и никогда им не бывает.



нечто антикварное. Если кто-то, например, заявляет, что он антитеатрал, то в утвердительной форме это всего лишь означает, что он сторонник такой жизни, в которой театра не существует. Но такой она была лишь до рождения театра. Наш антитеатрал, вместо того чтобы возвыситься над театром, ставит себя хронологически ниже – не после, а до него – и смотрит сначала раскрученную назад киноленту, в конце которой неизбежно появится театр. Со всеми этими «анти-» та же история, что приключилась, согласно легенде, с Конфуцием. Он родился, как водится, позже своего отца, но родился-то, черт возьми, уже восьмидесятилетним, когда родителю было не больше тридцати. Всякое «анти» – лишь пустое и пресное нет.

Было бы недурно, если бы безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым. Но прошлое по своей природе *revenant**. Как ни гони его, оно вернется и неминуемо возникнет. Поэтому единственный способ избавиться от него – это не гнать. Прислушиваться к нему. Не выпускать его из виду, чтобы перехитрить и ускользнуть от него. Короче, жить «на высоте своего времени», обостренно чувствуя историческую обстановку.

У прошлого своя правда. Если с ней не считаться, оно вернется отстаивать ее и заодно утвердит свою неправду. У либерализма правда была, и надо признать это *per saecula saeculorum***.

Но была и не только правда, и надо избавить либерализм ото всего, в чем он оказался не прав. Европа должна сохранить его суть. Иначе его не преодолеть. О фашизме и большевизме я заговорил походя и бегло, отметив лишь их архаические черты. Такие черты, на мой взгляд, сегодня присуши всему, что кажется победоносным. Ибо сегодня торжествует массовый человек, и лишь то, что внушено

им и прописано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Ограничиваясь этим, не стану вдаваться в суть упомянутых течений, равно как и пытаться решить вечную дилемму эволюции и революции. Единственное, чего я хочу, – чтобы та и другая были историчны, а не выглядели анахронизмом.

Проблема, над которой я буюсь, политически нейтральна, потому что коренится глубже, чем политика с ее распрями. Консерваторы в такой же мере массовые люди, как радикалы, и разница между ними, которая и всегда-то была поверхностной, нисколько не мешает им быть одним и тем же – восставшей чернью.

Европе не на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего времени», – людей, которые слышат подземный гул истории, видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него.

XI. ВЕК САМОДОВОЛЬНЫХ НЕДОРОСЛЕЙ

Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залоге: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип, воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ошущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого – чувством собственного превосходства и всесия, что естест-

* Привидение (*фр.*).

** Во веки веков (*лат.*).



венно побуждает принимать себя таким, каков есть, и считать свой умственный и нравственный уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно бередит желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существуют только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта – вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе «прямого действия».

Эта совокупность заставляет вспомнить такие ушербные человеческие особи, как избалованный ребенок и взбесившийся дикарь, то есть варвар. (Нормальный дикарь, напротив, как никто другой, следует высшим установлениям – вере, табу, заветам и обычаям). Не надо удивляться моей желчности. Это первая попытка атаковать триумфатора и знак, что есть еще европейцы, готовые восстать против его тирании. Пока это лишь разведка: главный бой впереди, он не заставит себя ждать и наверняка будет иным, чем я думаю. Но все произойдет так, что массовый человек не сумеет опередить, – он будет смотреть в упор и даже не догадается, что это и есть окончательный удар.

Существо, которое в наши дни проникло всюду и всюду выказало свою варварскую суть, и в самом деле баловень человеческой истории. Баловень – это наследник, который держится исключительно как наследник. Наше наследство – цивилизация с ее удобствами, гарантиями и прочими благами. Как мы убедились, только жизнь на широкую ногу и способна породить подобное существо со всем его вышеописанным содержимым. Это еще один живой пример того, как богатство калечит человеческую природу. Мы ошибочно полагаем, что жизнь в изобилии полней, выше и подлин-

ней, чем жизнь в упорной борьбе с нуждой. А это не так. И тому есть причины, непреложные и архисерьезные, которые здесь не место излагать. Не вдаваясь в них, достаточно вспомнить давнюю и заигранную трагедию наследственной аристократии. Аристократ наследует, то есть присваивает, жизненные условия, которые создавал не он и существование которых не связано органически с его, и только его, жизнью. С появлением на свет он моментально и безотчетно водворяется в сердцевину своих богатств и привилегий. Внутренне его ничто с ними не роднит, поскольку они исходят не от него. Это огромный панцирный покров, пустая оболочка иной жизни, иного существа, родоначальника. А сам он лишь наследник, то есть носит оболочку чужой жизни. Что же его ждет? Какой жизнью суждено ему жить – своей или своего прашура? Да никакой. Он обречен представлять собой другого, то есть не быть ни собой, ни другим. Жизнь его неумолимо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и притом чужую. Изобилие, которым он вынужден владеть, отнимает у наследника его собственное предназначение, омертвляет его жизнь. Каждая жизнь – борьба и борется, чтобы стать собой. Именно те трудности, что мешают мне осуществиться, будят и напрягают мои силы и способности. Если бы мое тело не весило, я бы не мог ходить. Если бы воздух не давил на него, оно казалось бы мне чем-то призрачным, расплывчатым, нереальным. Так от отсутствия жизненных усилий улетучивается и личность наследственного «аристократа». Отсюда и то редкое размягчение мозгов у родовитого потомства, и никем еще не изученный роковой удел наследственной знати – ее глубинный и трагический механизм вырождения.

Если бы лишь на этом и спотыкалась наша наивная вера, что изобилие способствует жизни! Но куда там. Избыточные



блага¹ сами собой уродуют жизнедеятельность и производят на свет такие ущербные натуры, как «баловень», или «наследник» (аристократ – лишь его частный случай), или, наконец, самый вездесущий и законченный тип – современного массового человека. (Стоило бы, кстати, подробнее проследить, как многие характернейшие черты «аристократа» всех времен и народов, подобно семенам, дают массовые всходы. Стремление, например, делать игру и спорт своим главным занятием; всеми средствами – от гигиены до гардероба – культивировать собственное тело; не допускать романтизма в отношениях с женщинами; делить досуг с интеллигентами, в душе презирая их, с радостью отдавая на растерзание лакеям и жандармам; предпочитать режим абсолютной власти демократическим прениям² и т.д. и т.п.)

И снова я с тяжелым сердцем вынужден повторить: этот новоявленный варвар с хамскими повадками – законный плод нашей цивилизации, и в особенности тех ее форм, которые возникли в XIX веке. Он не вторгся в цивилизованный мир извне, как «рослые рыжие варвары» пятого века, и не проник в него изнутри, путем тайнственного самозарождения, вроде того, что Аристотель приписывал головастикам. Он – естественное

порождение упомянутого мира. Можно сформулировать закон, подтвержденный палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравнивались теми трудностями, что она испытывала. Это справедливо и для духовного, и для физического существования. Касательно последнего напомним, что человек развивался в тех областях Земли, где жаркое время года уравнивалось нестерпимо холодным. В тропиках первобытная жизнь выражается, и, наоборот, ее низшие формы, как, например, пигмеи, вытеснены в тропики племенами, возникшими позже и на более высокой эволюционной ступени³.

Словом, именно в XIX веке цивилизация позволила среднему человеку утвердиться в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но не забот. Он очутился среди сказочных машин, чудодейственных лекарств, услужливых правительств, уютных гражданских прав. А вот задуматься над тем, как непросто создавать эти машины и лекарства и обеспечивать их появление впредь, и как шатко само устройство общества и государства, он не успел и, не заботясь о трудностях, почти не ощущает обязанностей. Такой сдвиг равновесия калечит его и, подре-

¹ Не надо путать рост жизненных благ и даже изобилие с их избытком. Подобное изобилие в XIX веке привело к небывалому – количественно и качественно – росту жизни, о чем я уже напоминал. Но стал час, когда неограниченные возможности цивилизации в контрасте с ограниченностью среднего человека обрели оттенок избытка – чрезмерного, то есть излишнего, обилия. Всего лишь один пример: уверенность, которую, казалось бы, сулил прогресс, – обернулась самоуверенностью, другими словами, ущербным и разрушительным самообманом.

² В этом, и не только в этом, отношении английская аристократия кажется исключением. Это само по себе удивительно; однако достаточно беглого взгляда на британскую историю, чтобы увидеть, как этим исключением, при всей его исключительности, подтверждается правило. Вопреки ходячему мнению английская знать была наименее «благополучной» в Европе и свыкалась с опасностью и риском, как никакая другая. Потому-то она, живя в постоянной опасности, научилась и научила уважать себя, что требует безудержной боевой готовности. Как-то забывается, что Англия, даже в XVIII веке, была беднейшей страной Европы. Это и спасло британскую знать. Нужда заставила ее смириться с таким – в остальной Европе неблагородным – занятием, как торговля и промышленность, то есть с необходимостью жить созидательно, а не уповать на привилегии.

³ Olbricht. Klima und Entwicklung. 1923.



зав жизненные корни, уже не дает ему ощутить саму сущность жизни, вечно темную и насквозь опасную. Ничто так не противоречит человеческой жизни, как ее же собственная разновидность, поглощенная в «самодовольном недоросле». И когда этот тип начинает преобладать, надо бить тревогу и кричать, что человечеству грозит вырождение, едва ли не равносильное смерти. Пусть уровень жизни в Европе сегодня выше, чем когда бы то ни было; нельзя, глядя в будущее, не опасаться, что завтра он не только не возрастет, но безудержно покатится вниз.

Все это, надеюсь, достаточно ясно указывает на крайнюю противоположность «самодовольного недоросля». Это тип человека, который живет, дабы делать то, что заблагорассудится. Обычное заблуждение маленького сына. А причина проста: в семейном кругу любые, даже тяжкие, проступки остаются, в общем-то, безнаказанными. Семейный очаг – это тепло искусственное, и здесь легко сходит с рук то, что на вольном воздухе улицы имело бы весьма пагубные последствия, и в самом скором времени. Но сам-то «недоросль» уверен, что может повсюду вести себя как дома, что вообще нет ничего неизбежного, непоправимого и окончательного. И потому уверен, что может делать все, что заблагорассудится¹. Роковая ошибка! «Ваша милость пойдет куда следует», – говорят попугаю в португальской сказке. Но разве нельзя делать то, что хочется? Речь не о том, что нельзя; речь совсем о другом: все, что мы можем, – это делать то, чего не можем не делать, становиться тем, чем не можем не стать. Единственное возможное для нас своеволие – отказать это делать, но отказ не означает

свободу действий – мы и тогда не вольны делать то, что хочется. Это не своеволие, а свобода воли с отрицательным знаком – неволие. Можно изменить своему предназначению и дезертировать, но дезертировать можно, лишь загнав себя в подвалы своей судьбы. Я не могу убедить каждого ссылкой на его собственный опыт, потому что не знаю этого опыта, но вправе сослаться на то общее, что вошло в судьбу каждого. Например, на общее всем европейцам – и куда более прочное, чем их публичные «идеи» и «взгляды» – сознание того, что современный европеец не может не ценить свободу. Можно спорить, какой именно должна быть эта свобода, но суть в ином. Сегодня самый махровый реакционер в глубине души сознает, что европейская идея, которую прошлый век окрестил либерализмом, в конечном счете и есть то непреложное и неизбежное, чем сегодня стал, вольно или невольно, западный человек.

И как бы неопровержимо ни доказывали, насколько ложной и гибельной была любая попытка осуществить этот непростительный императив политической свободы, вписанный в европейскую историю, конечным остается понимание, что в прошлом веке, по сути, он оказался прав. Это конечное понимание есть и у коммуниста, и у фашиста, судя по их усилиям убедить себя и нас в обратном, как есть оно – хочет он того или нет, верит он в это или нет² – у католика, сколь бы преданно ни читал он «Силлабус». Все они «знают», что, какой бы справедливой ни была критика либерализма, его подспудная правота неодолима, потому что это не теоретическая правота, не научная, не умозрительная, но совсем иного и решаю-

¹ Как семья соотносится с обществом, точно так же – только крупнее и рельефнее – нация соотносится с человечеством. Самые самодовольные на сегодняшний день, да и самые монументальные, «недоросли» – это народы, которые вознамерились в человеческом сообществе «делать то, что заблагорассудится». И по наивности называют это «национальным духом». Как ни претит мне дух интернациональный и ханжеское почтение к нему, но эти капризы национальной незрелости кажутся карикатурными.



шего свойства, а именно – правота судьбы. Теоретические истины не просто спорны, но вся сила и смысл их в этой спорности; они рождены спором, живы, пока оспори-мы, и существуют единственно для продол-жения спора. Но судьбу – то, чему предсто-ит или не предстоит стать жизнью, – не ос-паривают. Ее принимают или отвергают. Приняв, становятся собой; отвергнув, отри-цают и подменяют себя³. Судьба проступает не в том, что нам хочется, – напротив, ее строгие черты отчетливей, когда мы созна-ем, что должны вопреки хотению.

Итак, «самодовольный недоросль» знает, чему не бывать, но, несмотря на это – и даже именно поэтому, – словом и делом изобра-жает, будто убежден в обратном. Фашист об-рушивается на политическую свободу имен-но потому, что знает: всецело и всерьез ее не может не быть, она неотменима как сущность европейской жизни, и в серьезную минуту, когда нуждаться в ней будут по-настоящему, она окажется налицо. Но так уж устроен массовый человек – на «капризный лад». Он ничего не делает раз и навсегда, и – что бы ни делал – все у него «понарошку», как выходки «маменькина сынка». Поспешная готовность его в любом деле вести себя трагически, от-чаянно и безоглядно – это лишь декорация.

Трагедию он разыгрывает именно потому, что не верит, будто в цивилизованном мире она может разыграться всерьез.

Не принимать же на веру все, что чело-век изображает из себя! Если кто-то настаи-вает, что дважды два, по его святому убеж-дению, пять, и нет оснований считать его по-мешанным, остается признать, что сам он, как бы ни срывал голос и ни грозился уме-реть за свои слова, попросту не верит в то, что говорит.

Шквал повального и беспросветного фиглярства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из позерства и внутренне лжива. Все усилия направлены единственно на то, чтобы не встретиться со своей судьбой, зажмуриться и не слышать ее темного зова, избежать очной ставки с тем, что должно стать жизнью. Живут в шутку, и тем шуточней, чем трагичней надетая маска. Шутовство неминуемо, если любой шаг нео-бязателен и не вбирает в себя личность це-ликом и бесповоротно. Массовый человек боится встать на твердый, скальный грунт предназначения; куда свойственной ему прозябать, существовать нереально, повисая в воздухе. И никогда еще не носилось по ве-тру столько жизней, невесомых и беспоч-венных – выдернутых из своей судьбы – и так

² Каждый, кто верит, согласно Копернику, что солнце не заходит за горизонт, изо дня в день видит об-ратное и, поскольку очевидность мешает убеждению, продолжает верить в него. В нем научная уверен-ность непрерывно подавляет влияние первичной или непосредственной уверенности. Так и упомяну-тый католик своей догматической верой отвергает свою подлинную, личную веру в насущность свобо-ды. Я упомянул его в качестве примера и только для пояснения своей мысли, а не для того, чтобы под-вергнуть такому же строгому суду, какому подвергаю современного массового человека, «самодоволь-ного недоросля». Совпадают они лишь в одном. Вина «недоросля» в том, что он почти целиком не само-бытен. У католика же бытие подлинно, но не целиком. Но даже это частичное совпадение мнимо. Ка-толик изменяет себе в той сфере бытия, где он – сын своего времени и, хочет он того или не хочет, со-временный европеец, и изменяет потому, что стремится остаться верным другой властной сфере сво-его бытия – религиозной. Это означает, что судьба его, по существу, трагична. И он принимает ее та-кой. «Самодовольный недоросль», напротив, дезертирует, изменяя себе по безалаберности, а всему ос-тальному – единственно из трусости и желания увильнуть при малейшем намеке на трагедию.

³ Опуститься, пасть, унизиться – это и значит отказаться от себя, от того, в ком ты должен был осущест-виться. Подлинное существование при этом не исчезает, а становится укоризненной тенью, призраком, который вечно напоминает, как низка эта участь и какой непохожей она должна была стать. Такая жизнь – лишь неудачное самоубийство.



легко увлекаемых любим, самым жалким течением. Поистине, эпоха «увлечений» и «течений». Мало кто противится тем поверхностным завихрениям, которые лихорадят искусство, мысль, политику, общество. И потому риторика цветет как никогда. Сюрреалист отважно ставит (избавлю себя от необходимости приводить это слово), там, где раньше стояли «жасмины, лебеди и фавны», и полагает, что превзошел мировую литературу. А всего-то заменил одну риторику другой, прежде пылившейся на заборах.

Понять современность, при всей ее неповторимости, помогает то, что роднит ее с прошлым. Едва средиземноморская цивилизация достигла своей полноты, как на сцену выходит циник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристиппа. В III веке до Рождества Христова циники кишат – они на всех углах и на любых постах. И единственно, что делают, – саботируют цивилизацию. Циник был нигилистом эллинизма. Он никогда не создавал – и даже не пытался. Его работой было разрушение, верней, старание разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Циник, паразит цивилизации, живет ее отрицанием именно потому, что уверен в ней. Чего стоил бы он и что, спрашивается, делал бы среди дикарей, где каждый безотчетно и всерьез действует так, как сам он действовал на показ и нарочно, видя в том личную заслугу? Чего стоит фашист, если он не ополчается на свободу? И сюрреалист, если не шельмует искусство?

Иначе и не могло бы вести себя это существо, рожденное в чересчур хорошо устроенном мире, где оно привыкло видеть одни блага, а не опасности. Его избаловало окружение, домашнее тепло цивилизации – и «маменькина сына» вовсе не тянет покидать родное гнездо своих прихотей, слушаться старших и уж тем более – входить в неумолимое русло своей судьбы.

XII. ВАРВАРСТВО «СПЕЦИАЛИЗМА»

Я утверждал, что цивилизация XIX века автоматически произвела массового человека. Нельзя ограничиться общим утверждением, не проследив на отдельных примерах процесс этого производства. Конкретизированный, тезис выиграет в убедительности.

Упомянутую цивилизацию, отмечал я, можно свести к двум основным величинам – либеральной демократии и технике. Остановимся сейчас на последней. Современная техника родилась от соития капитализма с экспериментальной наукой. Не всякая техника научна. Творец каменного топора в четвертичном периоде не ведал о науке и, однако, создал технику. Китай достиг технических высот, не имея ни малейшего понятия о физике. Лишь современная европейская техника коренится в науке и ей обязана своим уникальным свойством – способностью бесконечно развиваться. Любая иная техника – месопотамская, египетская, греческая, римская, восточная – достигала определенного рубежа, который не могла преодолеть, и едва касалась его, как тут же плачевно отступала.

Этой сверхъестественной западной технике обязана и сверхъестественная плодovitость европейцев. Вспомним, с чего началось мое исследование и чем обусловлены все мои выводы. С пятого века по девятнадцатый европейское население не превышало 180 миллионов. А за период с 1800 по 1914 год вырастает до 460 миллионов. Небывалый скачок в истории человечества. Не приходится сомневаться, что техника наряду с либеральной демократией произвели на свет массу в количественном смысле. Но я в этой книге пытался показать, что они ответственны и за возникновение массового человека в качественном и наихудшем смысле слова.



Понятие «масса», как я уже предупреждал, не подразумевает рабочих и вообще обозначает не социальную принадлежность, а тот человеческий склад или образ жизни, который сегодня преобладает и господствует во всех слоях общества, сверху донизу, и потому олицетворяет собой наше время. Сейчас мы в этом убедимся.

Кто сегодня правит? Кто навязывает эпохе свой духовный облик? Несомненно, буржуазия. Кто представляет ее высший слой, современную аристократию? Несомненно, специалисты: инженеры, врачи, финансисты, педагоги и т.д. Кто представляет этот высший слой в его наивысшей чистоте? Несомненно, человек науки. Если бы инопланетянин посетил Европу и, дабы составить о ней представление, поинтересовался, кем именно она желает быть представленной, Европа с удовольствием и уверенностью указала бы на своих ученых. Разумеется, инопланетянин интересовался бы не отдельными исключениями, а общим правилом, общим типом «человека науки», венчающего европейское общество.

И что же выясняется? В итоге «человек науки» оказывается прототипом массового человека. И не эпизодически, не в силу какой-то сугубо личной ущербности, но потому, что сама наука – родник цивилизации – закономерно превращает его в массового человека; иными словами, в варвара, в современного дикаря.

Это давно известно и тысячекратно подтверждено, но лишь в контексте моего исследования может быть осмыслено во всей полноте и серьезности.

Экспериментальная наука возникла на закате XVI века (Галилей¹), сформирова-

лась в конце XVII (Ньютон) и стала развиваться с середины XVIII. Становление и развитие – это процессы разные, и протекают они по-разному. Так, физика, собирательное имя экспериментальных наук, формируясь, нуждалась в унификации, и к этому вели усилия Ньютона и других ученых его времени. Но с развитием физики начался обратный процесс. Для своего развития науке необходимо, чтобы люди науки специализировались. Люди, а не сама наука. Знание не специальность. Иначе оно *ipso facto** утратило бы достоверность. И даже эмпирическое знание в его совокупности тем ошибочней, чем дальше оно от математики, логики, философии. А вот участие в нем действительно – и неумолимо – требует специализации.

Было бы крайне интересно, да и намного полезней, чем кажется, взглянуть на историю физики и биологии с точки зрения растущей специализации исследователей. Мы убедились бы, что люди науки, поколение за поколением, умеаються и замыкаются на все более тесном пространстве мысли. Но существенней другое: с каждым новым поколением, сужая поле деятельности, ученые теряют связь с остальной наукой, с целостным истолкованием мира – единственным, что достойно называться наукой, культурой, европейской цивилизацией.

Специализация возникла именно тогда, когда цивилизованным человеком называли «энциклопедиста». Деятельность специалистов, чей жизненный кругозор оставался энциклопедическим. Но от поколения к поколению центр тяжести смещался, и специализация вытесняла в людях науки целостную культу-

¹ В связи с этим уместно напомнить, дабы впредь не забывалось, что одна из самых нелепых, фантастических и омерзительных сцен, когда-либо виденных на планете Земля, имела место 26 июня 1633 года – в пору отмечать трехсотлетие – день, когда шестидесятилетний Галилей на коленях перед инквизиторами отрекался от физики.

* *ipso facto* (лат.). – здесь: уже потому.



ру. К 1890 году третье поколение интеллектуальных властителей Европы представлено типом ученого, беспрецедентным в истории. Это человек, который из всей совокупности знаний, необходимых, чтобы подняться чуть выше среднего уровня, знает одну-единственную дисциплину, и даже в этих пределах – лишь ту малую долю, в которой подвизается. И даже кичится своей неосведомленностью во всем, что за пределами той узкой полоски, которую он возделывает, а тягу к совокупному знанию именует дилетантизмом.

При этом, стесненный своим узким кругозором, он действительно получает новые данные и развивает науку, о которой сам едва помнит, а с ней – и ту энциклопедическую мысль, которую старательно забывает. Как это получается и почему? Факт бесспорный и, надо признать, диковинный: экспериментальное знание во многом развивается стараниями людей на редкость посредственных, если не хуже. Другими словами, современная наука, опора и символ нашей цивилизации, благоприятствует интеллектуальной посредственности и способствует ее успехам. Причиной тому наибольшее достижение и одновременно наихудшая беда современной науки – механизация. Львиная доля того, что совершается в биологии или физике, – это механическая работа мысли, доступная едва ли не каждому. Для успеха бесчисленных опытов достаточно разбить науку на крохотные сегменты, замкнуться в одном из них и забыть об остальных. Надежные и точные методы позволяют походить с пользой вылизывать знание. Методы работают, как механизмы, и для успешных результатов даже не требуется ясно представлять их суть и смысл. Таким образом, наука своим безграничным движением обязана ограниченности большинства ученых, замерших в лабораторных кельях, как пчела в ячейке или вертел в пазу.

Но это создало крайне диковинную касту. Человек, открывший новое явление природы, невольно должен ощущать силу и уверенность в себе. С полным и безосновательным правом он считает себя «знающим». И действительно, в нем есть частица чего-то, что вкупе с другими частицами, которых он лишен, окончательно становится знанием. Такова внутренняя коллизия специалиста, в начале нашего века достигшая апогея. Специалист хорошо «знает» свой мизерный клочок мироздания и полностью несведущ в остальном.

Пред нами образец того диковинного «нового человека», чей двойственный облик я пытался обрисовать. Я утверждал, что этот человеческий силуэт еще не встречался в истории. По специалисту легче всего определить эту новую породу и убедиться в ее решительной новизне. Прежде люди попросту делились на сведущих и невежественных – более или менее сведущих и более или менее невежественных. Но специалиста нельзя причислить ни к тем, ни к другим. Нельзя считать его знающим, поскольку вне своей специальности он полный невежда; нельзя считать его невеждой, поскольку он – «человек науки» и свою порцию мироздания знает назубок. Приходится признать его сведущим невеждой, а это тяжелый случай, и означает он, что данный господин к любому делу, в котором не смыслил, подойдет не как невежда, но с дерзкой самонадеянностью человека, знающего себе цену.

И действительно, специалист именно так и поступает. В политике, в искусстве, в общественных и других науках он способен выказывать первобытное невежество, но выкажет он его веско, самоуверенно и – самое парадоксальное – ни во что не ставя специалистов. Обособив, цивилизация сделала его герметичным и самодовольным, но именно это сознание своей силы и значимости побуждает его первенствовать и за пределами своей профессии. А значит и на этом уровне, пре-



дельно элитарном и бесконечно удаленном, казалось бы от массового человека, сознание остается примитивным и массовым.

Это не общие фразы. Достаточно приглядеться к тому скудоумию, с каким судят, решают и действуют сегодня в искусстве, в религии и во всех ключевых вопросах жизни и мироустройства «люди науки», а вслед за ними, само собой, врачи, инженеры, финансисты, преподаватели и т.д. Неумение «слушать» и считаться с авторитетом, которое я постоянно подчеркивал в массовом человеке, у этих узких профессионалов достигает апогея. Они олицетворяют, и в значительной мере формируют, современную империю масс, и варварство их – самая непосредственная причина европейского упадка.

С другой стороны, они – нагляднейшая демонстрация того, как именно в цивилизации прошлого века, брошенной на собственный произвол, возникли ростки варварства и одичания.

Непосредственным же результатом узкой и ничем не восполненной специализации стало то, что сегодня, когда «людям науки» нет числа, людей «просвещенных» намного меньше, чем, например, в 1750 году. И что хуже всего, эти научные вертела не могут обеспечить науке внутреннего развития. Потому что время от времени науке необходимо согласованно упорядочивать свой рост, и она нуждается в реформации, в восстановлении, что требует, как я уже говорил, унификации – и все более трудной, поскольку охватывает она все более обширные области знания. Ньютон сумел создать свою научную систему, не слишком углубляясь в философию, но Эйнштейну для его изощренного синтеза пришлось пропитаться идеями Канта и Маха. Кант и Мах – всего лишь символы той огромной массы философских и психологических идей, что повлияла на Эйнштейна, – помогли освободиться его разуму и найти путь к обновлению. Но одного

Эйнштейна мало. Физика испытывает самый тяжелый за всю свою историю кризис, и спасти ее сможет только новая энциклопедия, namного систематизированной прежней.

Итак, специализация, в течение века двигавшая экспериментальное знание, подошла к такому рубежу, для преодоления которого надобно делать что-то посуущественней, чем совершенствовать вертела.

И если даже специалисту неясен организм его науки, то уж тем более неясны исторические условия ее долговечности, то есть неведомо, какими должны быть общество и человеческое сердце, чтобы в мире и впрямь совершались открытия. Современный упадок научного призвания, о котором я упоминал, – это тревожный сигнал для всех, кому ясна природа цивилизации, уже недоступная своим хозяевам – «людям науки». Они-то уверены, что цивилизация всегда налицо, как земная кора или дикий лес.

XIII. ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШАЯ УГРОЗА

В хорошо организованном обществе масса не действует сама по себе. Такова ее роль. Она существует для того, чтобы ее вели, наставляли и представляли за нее, пока она не перестанет быть массой или, по крайней мере, не начнет к этому стремиться. Но сама по себе осуществлять это она неспособна. Ей необходимо следовать чему-то высшему, исходящему от избранных меньшинств. Можно сколько угодно спорить, кем должны быть эти избранные, но то, что без них – кем бы они ни были – человечество утратит основу своего существования, сомнению не подлежит, хотя Европа вот уже столетие, подобно страусу, прячет голову под крыло в надежде не увидеть очевидного. Это не частный вывод из ряда наблюдений и догадок, а закон социальной «физики» под стать Ньютоновым по своей непреложности. В день, когда снова воца-



рится подлинная философия¹ – единственное, что может спасти Европу, – вновь открывается, что человек, хочет он того или нет, самой природой своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам, тот избранный; кто не находит, тот получает его из чужих рук и становится массой.

Действовать самовольно означает для массы восставать против собственного предназначения, а поскольку лишь этим она сейчас и занята, я говорю о восстании масс. В конце концов единственное, что действительно и по праву можно считать восстанием, – это восстание против себя, неприятие судьбы. Восстание Люцифера было бы не меньшим мятежом, если бы он метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверное, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)

Действуя сама по себе, масса прибегает к единственному способу, поскольку других не знает, – к расправе. Не зря же суд Линча возник в Америке, в этом массовом раю. Нечего удивляться, что сегодня, когда массы торжествуют, торжествует и насилие, становясь единственным доводом и единственной доктриной. Я давно уже отмечал, что насилие стало бытом². Сейчас оно достигло апогея, и это обнадеживает, поскольку должен же начаться спад. Сегодня насилие – это риторика века, и его уже прибирают к рукам пустомели. Когда реальность отмирает, изжив себя, труп выносятся волнами и долго еще вязнет в болотах риторики. Это кладбище отжившего; на худой конец, его богдельня. Имена переживают хозяев, и

хотя это звук пустой, но все-таки звук, и он сохраняет какую-то магическую власть.

Но если даже и вправду окажется, что значимость насилия как цинично установленной нормы поведения готова пойти на убыль, мы все равно останемся в его власти, лишь видоизмененной.

Я перехожу к наихудшей из опасностей, которые грозят сегодня европейской цивилизации. Как и все прочие угрозы, она рождена самой цивилизацией и, больше того, составляет ее славу. Это – наше современное Государство. Вспоминается то, что я уже отмечал, говоря о науке: плодотворность ее основ ведет к небывалому прогрессу, прогресс неумолимо ведет к небывало узкой специализации, а специализация – к удушению самой науки.

Нечто подобное происходит и с Государством.

Вспомним, чем было в конце XVIII века государство для всех европейских наций. Почти ничем! Ранний капитализм и его промышленные предприятия, где впервые восторжествовала техника, самая передовая и производительная, резко ускорили рост общества. Возник новый социальный класс, энергичней и многочисленней прежних, – буржуазия. У этой напористой публики было одно всеобъемлющее дарование – практическая сметка. Они умели дать делу ход и слаженность, развернуть и упорядочить его. В их человеческом море и блуждал опасливо «государственный корабль». Эту метафору извлекала на свет божий буржуазия, ибо действительно ошущала себя безбрежной, всемогущей и чреватой штормами. Кораблик выглядел утлым, если не хуже, и всего

¹ Для этого вовсе не требуется, чтобы философы правили, как предлагал Платон, и не требуется даже, чтобы правители философствовали, как более скромно предлагалось после него. Оба варианта плачевны. Чтобы философия правила, достаточно одного – чтобы она существовала, иначе говоря – чтобы философы были философами. Едва ли уж не столетие они тешатся политикой, публицистикой, просвещением, наукой и чем угодно, кроме своего дела.

² См.: Espana invertebrada. 1921.



было в обрез – и денег, и солдат, и чиновников. Его строили в Средние века иные люди, во всем противоположные буржуазии, – доблестные, властные и преданные долгу дворяне. Это им обязаны существованием европейские нации. Но при всех душевных достоинствах у дворян было, да и продолжает быть, неладно с головой. Они на нее и не полагались. Непосредственные, нерасчетливые, одним словом, «иррациональные», они живо чувствовали и трудно соображали. Поэтому они не смогли развить технику, требующую изобретательности. Они не выдумали пороха. Поленились. И, не способные создать новое оружие, позволили горожанам освоить порох, завезенный с Востока или бог весть откуда, и с его помощью разгромить благородных рыцарей, так бестолково заклепанных в железо, что в бою они еле ворочались, и начисто неспособных уразуметь, что вечный секрет победы – секрет, воскрешенный Наполеоном, – не в средствах защиты, а в средствах нападения¹.

Власть – это техника, механизм общественного устройства и управления, и потому «старый режим» к концу XVIII века зашатался под ударами волн беспокойного общественного моря. Власть была настолько слабее общества, что сравнительно с эпохой Каролингов абсолютизм кажется вырождением.

Разумеется, двор Карла Великого бесконечно уступал двору Людовика XVI, но зато общество при Каролингах было немощным². Огромный перевес общественных сил над государственными привел к революции, вернее, к полосе революций вплоть до 1848 года.

Но в ходе революций буржуазия отобрала власть и, приложив к ней свои умелые руки, на протяжении одного поколения создала по-настоящему сильное Государство, которое с революциями покончило. С 1848 года, то есть с началом второй генерации буржуазных правлений, революции в Европе иссякли. И конечно, не по недостатку причин, а по недостатку средств. Власть и общество сравнялись силой. Прощай навеки, революция! Впредь европейцам грозит лишь ее антипод – государственный переворот. Все, что в дальнейшем казалось революцией, было только личной государственной переворота.

В наши дни Государство стало чудовишной машиной немислимых возможностей, которая действует фантастически точно и оперативно. Это – средоточие общества, и достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обрабатывали каждую пядь социального тела.

Современное государство – самый явный и наглядный продукт цивилизации. И отношение к нему массового человека проли-

¹ Эта схема великого исторического перелома, сменившего господство знати главенством буржуазии, принадлежит Ранке, но, разумеется, символическая картина переворота требует множества дополнений, чтобы походить на действительную. Порох известен с незапамятных времен. Заряд был придуман кем-то из ломбардцев, но оставался без применения, пока не догадались отлить пулю. Дворяне изредка употребляли огнестрельное оружие, но оно было слишком дорогим. Лишь горожане, экономически лучше организованные, сделали его массовым. Однако с документальной точностью известно, что дворянское, средневекового образца бургундское войско было наголову разбито новым, не профессиональным, а состоящим из горожан швейцарским. Главной силой их была дисциплина и новая рациональная тактика.

² Стоило бы задержаться на этом и подчеркнуть, что эпоху европейского абсолютизма отличает именно слабость государства. Какая тому причина? Ведь общество уже набирало силу. Почему же власть, будучи непрекращаемой – «абсолютной», – не старалась и сама стать сильнее? Одна из причин уже упомянута: техническая и административная несостоятельность родовой знати. Но есть и другая – аристократы не хотели усиливать государство за счет общества. Вопреки привычным представлениям абсолютизм инстинктивно уважал общество и уважал гораздо больше, чем наши нынешние демократии. Сегодня государство умней, но исторически безответственней.



вает свет на многое. Он гордится государством и знает, что именно оно гарантирует ему жизнь, но не сознает, что это творение человеческих рук, что оно создано определенными людьми и держится на определенных человеческих ценностях, которые сегодня есть, а завтра могут улетучиться. С другой стороны, массовый человек видит в государстве безликую силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, массовый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли заботу на себя, употребив на это все свои безотказные и неограниченные средства.

Здесь-то и подстерегает цивилизацию главная опасность – полностью огосударственная жизнь, экспансия власти, поглощение государством всякой социальной самостоятельности, словом – удушение творческих начал истории, которыми в конечном счете держатся, питаются и движутся людские судьбы. Когда у массы возникнут затруднения или просто разыграются аппетиты, она не сможет не поддаться искушению добиться всего самым верным и первичным способом – без усилий, без сомнений, без борьбы и риска, – одним нажатием кнопки пустив в ход чудодейственную машину. Масса говорит: «Государство – это я», – и жестоко ошибается. Государство идентично массе лишь в том смысле, в каком Икс идентичен Игреку, поскольку никто из них не Зет. Современное государство и массу роднят лишь их безликость и безымянность. Но массовый человек уверен, что он-то и есть государство, и не упустит случая под любым предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить какое бы то ни было творческое меньшинство, которое раздражает его всегда и всюду, будь то политика, наука или производство.

Кончится это плачевно. Государство окончательно удушит всякую социальную са-

модельность, и никакие новые семена уже не взойдут. Общество вынудят жить для государства, человека – для государственной машины. И поскольку это всего лишь машина, исправность и состояние которой зависят от живой силы окружения, в конце концов государство, высосав из общества все соки, выдохнется, задохнется и умрет самой мертвой из смертей – ржавой смертью механизма.

Такой и была судьба античной цивилизации. Бесспорно, созданная Юлиями и Клавдиями империя представляла собой великолепную машину, по конструкции намного совершенней старого республиканского Рима. Но знаменательно, что едва она достигла полного блеска, общественный организм зачах. Уже при Антонинах (II век) государство придавило его своей безжизненной мощью. Общество порабощается, и все силы его уходят на служение государству. А в итоге? Бюрократизация всей жизни ведет к ее полному упадку. Жизненный уровень быстро снижается, рождаемость и подавно. А государство, озабоченное только собственными нуждами, удваивает бюрократический нажим. Этой второй ступенью бюрократизации становится милитаризация общества. Все внимание обращено теперь на армию. Власть – это прежде всего гарант безопасности (той самой безопасности, с которой, напомним, и начинается массовое сознание). Поэтому государство – это прежде всего армия. Императоры Северы, родом африканцы, полностью военизируют жизнь. Напрасный труд! Нужда все беспросветней, чресла все бесплодней. Не хватает буквально всего, и даже солдат. После Северов в армию приходится вербовать варваров.

Теперь ясно, как парадоксален и трагичен путь огосударственного общества? Оно создает Государство как инструмент, облегчающий жизнь. Потом Государство берет верх, и общество вынуждено жить ради не-



го¹. Тем не менее, состоит оно пока что из частиц этого общества. Но вскоре уже не хватает людей для поддержания Государства, и приходится звать иноземцев – сперва далматов, потом германцев. Пришельцы в конце концов становятся хозяевами, а остатки общества, аборигены – рабами этих чужаков, с которыми их ничто не роднило и не роднит. Вот итог огосударствленности – народ идет в пишу машине, им же и созданной. Скелет съедает тело. Стены дома вытесняют жильцов.

Осознав это, трудно благодумствовать, когда Муссолини с редкостным агломбом провозглашает как некое откровение, чудесно снизошедшее на Италию: «Все для государства, ничего кроме государства, ничего против государства!» Одно это выдает с головой, что фашизм – типичная доктрина массового человека. Муссолини заполучил отлично сложенное Государство, и сложенное отнюдь не им, а той самой идейной силой, с которой он борется, – либеральной демократией. Он лишь алчно воспользовался ее плодами, и, не входя сейчас в детали его деятельности, можно констатировать одно: результаты на сегодня просто несопоставимы с тем, чего достиг в политике и управлении либерализм. Эти результаты, если они вообще есть, настолько ничтожны, незаметны и несущественны, что трудно оправдать ими ту чудовищную концентрацию власти, которая позволила разогнать государственную машину до предела.

Диктат Государства – это апогей насилия и прямого действия, возведенных в норму. Масса действует самовольно, сама по себе, через безыкий механизм Государства.

Европейские народы стоят на пороге тяжких внутренних испытаний и самых жгучих общественных проблем – экономических, правовых и социальных. Кто поручится, что диктат массы не принудит Государство

упразднить свободу личности и тем окончательно погасить надежду на будущее?

Зримым воплощением такой опасности является одна из самых тревожных аномалий последних тридцати лет – повсеместное и неуклонное усиление полиции. К этому неумолимо вел рост общества. И как ни свыклось с этим наше сознание, от него не должна ускользнуть трагическая парадоксальность такого положения дел, когда жители больших городов, чтобы спокойно двигаться по своему усмотрению, фатально нуждаются в полиции, которая управляет их движением. К сожалению, «порядочные» люди заблуждаются, когда полагают, что «силы порядка», ради порядка созданные, успокоятся на том, чего от них хотят. Ясно и неизбежно, что в конце концов они сами станут устанавливать порядки – и, само собой, те, что их устроят.

Стоит задержаться на этой теме, чтобы увидеть, как по-разному откликается на гражданские нужды то или другое общество. В самом начале прошлого века, когда с ростом пролетариата стала расти преступность, Франция поспешила создать многочисленные отряды полиции. К 1810 году преступность по той же причине возросла и в Англии – и англичане обнаружили, что полиции у них нет. У власти стояли консерваторы. Что же они предпринимают? Спешат создать полицию? Куда там! Они предпочли, насколько возможно, терпеть преступность. «Люди смирились с беспорядком, сочтя это платой за свободу».

«У парижан, – пишет Джон Уильям Уорд, – блистательная полиция, но они дорого платят за этот блеск. Пусть уж лучше каждые три-четыре года полуодюжине граждан сносят голову на Ратклиф-роуд, чем сносить домашние обыски, слежку и прочие ухищрения Фуше»². Налицо два разных понятия о государственной власти. Англичане предпочитают ограниченную.

¹ Вспомним последний наказ Септимия Севера сыновьям: «Держитесь вместе, платите солдатам и не забываетесь об остальном».

² Цит. по: Halczy E. Historie du peuple anglais au XIX siecle. 1912. P. 40.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV. КТО ПРАВИТ МИРОМ?

Европейская цивилизация, как уже говорилось, и не раз, фатально привела к восстанию масс. Результат однозначен, и лицевая сторона медали – лучше некуда: восстание масс тождественно тому небывалому подъему, который испытала в наше время человеческая жизнь. Но обратная сторона зловеща, и в этом плане восстание масс равносильно распаду человечества. Взглянем же на такой оборот событий с новых точек зрения.

I

Облик и склад новой исторической эпохи – всегда следствие сдвига: или внутреннего – духовного, или внешнего – структурного и как бы механического. Важнейший момент последнего – перераспределение власти. Это представляется бесспорным, но такое смещение влечет за собой и сдвиг духовный.

Поэтому, вторгаясь в эпоху с целью постичь ее, мы прежде всего должны спросить: «Кто в данный момент правит миром?» Может оказаться, что в данный момент человечество разобщено, и его разные, полностью отъединенные части стали замкнутыми и независимыми мирами. Во времена Мильтиада средиземноморский мир не ведал о существовании тихоокеанского. В таких случаях наш вопрос надо обращать к каждому из сообществ. Но в XVI веке начался всеобщий грандиозный процесс воссоединения, достигший в наши дни апогея. Уже не осталось изолированных человеческих сообществ – островков человечества. И значит, начиная с XVI века можно утверждать: кто правит, то и в самом деле властно влияет на весь мир без остатка. Именно такой в

течение трех столетий была роль той общности, которую составляли европейские народы. Правила Европа, и мир под ее объединенным управлением жил на единый лад или, по крайней мере, шел к единообразию.

Этот жизненный строй принято называть «Новое время» – тусклый и невыразительный синоним эпохи европейской гегемонии.

«Правление» здесь не понимается прежде всего как голое принуждение, как насилие. Хочется избежать глупостей, хотя бы явных. Так вот, нормальная и прочная связь между людьми, именуемая «властью», никогда не покоится на силе; все наоборот – тот общественный инструмент или механизм, который кратко называют «силой», поступает в распоряжение человека или группы людей лишь потому, что они правят. Лучшими доказательствами этого становятся при ближайшем рассмотрении как раз те случаи, когда власть кажется основанной на силе. Наполеон взялся завоевать Испанию, какое-то время удерживался в ней, но не правил ни дня. При том, что сила у него была. И потому, что была только сила. Следует различать захват власти и саму власть. Правление – это нормальное осуществление своих полномочий. И опирается оно на общественное мнение – всегда и везде, у англичан и у ботокудов, сегодня, как и десять тысяч лет назад. Ни одна власть на Земле не держалась на чем-то существенно ином, чем общественное мнение.

Не полагает ли кто, что власть общественного мнения придумал адвокат Дантон в 1789 году или святой Фома Аквинский в XIII веке? Само это понятие могло сложиться в таком-то году и в таком-то месте, но сила общественного мнения, та главная сила, что создает феномен власти, так же стара и неискоренима, как человечество. В Ньютоновой физике гравитация рождает движение. Сила общественного мнения – это гравитация политической истории. Иначе историческая наука была бы немыслима. Недаром



Юм подчеркивал, что задача историка – демонстрация того, насколько постоянной была и остается в человеческой среде власть общественного мнения. Даже тот, кто намерен управлять с помощью янычар, вынужден считаться и с их мнением, и с мнением о них остального населения.

По правде говоря, с помощью янычар и не правят. Талейран говорил Наполеону: «Штыки, сир, годятся на все, кроме единственного – нельзя на них усидеть». А править – это не брать с бою власть, а спокойно осуществлять ее. В общем, править – это восседать. На троне, на престоле, в сенате, в министерском кресле, где угодно. Вопреки наивному представлению репортеров, власть – это дело не кулаков, а седалищ. В конечном счете власть – это общественный вес, устойчивое состояние, статика. Но бывают и такие обстоятельства, когда общественного мнения не существует. Общество распадается на враждебные группировки, чьи мнения взаимно парализуются, не оставляя места для зарождения власти. И поскольку природа боится пустоты, отсутствие общественного мнения восполняется насилием. Последнее является всего лишь суррогатом первого.

Поэтому, чтобы точнее сформулировать закон исторической гравитации – общественного мнения, – надо учитывать и моменты его отсутствия, и тогда мы придем к давней, досточтимой и подлинно ходячей истине: нельзя править вопреки воле народа.

Все это ведет к пониманию, что власть означает господство мнений и взглядов, то есть духа; что в конечном счете власть – это всегда власть духовная. История неукоснительно это подтверждает. Первобытные формы власти носят сакральный характер, потому что покоятся на религии, а в форме религии и возникает первоначально все то, что впоследствии становится духом, мыслью, мировоззрением, в общем – все нематериальное и сверхчувственное. Средние века

воспроизводят тот же феномен в расширенном виде. Первое государство, или первая общественная власть, возникшая в Европе, – это церковь, с ее особыми полномочиями и титулом «власти духовной». У церкви учится политическая власть – тоже не инородная, а духовная, власть определенных идей, – и создается Священная Римская империя. Так сталкиваются две власти, равно духовные, и, будучи не в силах размежеваться по существу, ибо суть у них одна – дух, – соглашаются разграничить между собой время – на переходящее и вечное. Светская и церковная власти одинаково духовны, но первая – это дух времени, мирские и переменчивые взгляды общества, а вторая – дух вечности, взгляд Бога на мир и его судьбы.

В общем, сказать: «Тогда-то и тогда-то правил такой-то человек, народ или семья народов», – то же самое, что сказать: «Тогда-то и тогда-то преобладало такое-то мировоззрение – совокупность идей, пристрастий, чаяний и планов».

Как следует понимать такое преобладание? У большинства людей нет собственного мнения, и надо, чтобы оно входило в них извне под давлением, как смазка в механизм. А для этого надо, чтобы духовное начало, каким бы оно ни было, обладало властью и осуществляло ее, дабы те, кто не задумывался, – а таких большинство – задумались. Иначе общество людей станет хаосом и – хуже того – историческим небытием. Без мировоззрения жизнь утрачивает общий строй и органичность. Поэтому без духовной власти, без кого-то, кто правит, человечество погружается в хаос. И соответственно, всякое перераспределение власти, всякая смена господства – это одновременно и смена общественного мнения, а значит, изменение исторической гравитации.

Вернемся к началу. Несколько столетий в мире правила Европа, конгломерат духовно родственных народов. В пору Средневе-



ковья миром дольним не правил никто. И таковы все Средние века, какие только были в истории. Поэтому они выглядят довольно хаотическими и довольно варварскими, неспособными к суждениям. Это времена, когда много любят, ненавидят, жаждут, бунтуют – и все это с огромной силой. Но зато мало размышляют. Такие времена отнюдь не лишены привлекательности. Но великие века истории привлекают осмыслением того, чем живет человечество, и потому им присущ порядок. В средневековой Европе, однако, впервые возник прообраз Нового времени – такое Средневековье, когда нашлось кому править, хотя бы частью мира. Великий властолюбец Рим навел порядок в Средиземноморье и соседних пределах.

В нашей послевоенной печати уже признается, что Европа больше не правит миром. Осознается ли вся серьезность этого признания? Оно предвещает перераспределение власти. Куда она сместится? Кто унаследует европейскую гегемонию? Да и где гарантия, что кто-то унаследует? И если никто, к чему это приведет?

II

Яснее ясного, что в мире каждый миг – а значит, и в данную минуту – творится все, что угодно. Поползновение ответить на вопрос, что сейчас происходит в мире, должно восприниматься как самоирония. Но именно потому, что невозможно познать непосредственно всю полноту действительности, остается единственный выход – произвольно сконструировать реальность, определенный и предположительный порядок вещей. Так мы получим схему, то есть идею или систему идей. Затем мы прикладываем ее, словно координатную сетку, к живой действительности и тогда, только тогда, получаем об этой действительности приближенное представление. В этом и состоит на-

учный метод, и не только. Это повседневная практика мышления. Когда мы, заведя на тропинке нашего друга, говорим: «Это Педро», – то сознательно и полусерьезно допускаем ошибку. Потому что «Педро» означает для нас упрощенный набор физических и душевных черт – так называемую характеристику, – и совершенно ясно, что наш друг Педро ни на миг и почти ни в чем не совпадает с понятием «наш друг Педро».

Любое понятие, от самого тривиального до самого утонченного, заключено в самоиронию, как ограненный алмаз в золотую чашечку оправы. Со всей серьезностью говорится: «Вот А, а вот В». Но это серьезность издевки. Шаткая серьезность того, кто давится от смеха и, если не стиснет зубы, расхохочется. Он ведь отлично знает, что А, если начистоту, не есть А, как и В не есть В целиком и без остатка. На самом деле – и в этой двойственности заключается ирония – думается чуть иначе, чем говорится: я знаю, что, подходя строго, это не А, а это не В, но, признавая их таковыми, я определяю для себя жизненную позицию по отношению к тому и другому.

Такой взгляд на познавательную роль мышления возмутил бы грека. Греки считали, что в мышлении, в понятиях им открывается сама реальность. Мы же считаем, что идеи, понятия – это рабочие инструменты человека и служат они ему для того, чтобы прояснить его положение в той бездонной и архисмутной реальности, которой является его жизнь. Жизнь – это вызов всему сущему, чтобы выстоять в борьбе с ним. Идея – стратегический план отпора. И если докопаться до самой сути того или иного понятия, окажется, что оно ничего нам не скажет о природе вещей, но подытожит все, чем они могут служить или грозить человеку. К такому ограниченному выводу, что содержимое понятий всегда витально, что всегда это потенциальный поступок или промах, до сих пор, на-



сколько я знаю, не приходил никто, но такой вывод, на мой взгляд, неизбежен для того типа философского мышления, начало которому положил Кант. И если в его свете пересмотреть докантовскую философию, окажется, что все философы подспудно думали так же. Что ж, философское открытие и есть открытие, извлеченное из подспудного.

Но подобные вступления слишком обременительны для темы, крайне далекой от философских проблем. Я хотел сказать только то, что в мире – подразумевается, в историческом – сегодня происходит всего-навсего следующее: три века Европа правила миром, а сегодня она уже не уверена, что правит и тем более – что будет править. Конечно, все многообразие современной исторической реальности сводить к такой простой формуле, мягко говоря, самонадеянно, и приходится напоминать себе, что думать тоже самонадеянно, хочешь того или нет. Кто не хочет, пусть не раскрывает рта. Или того верней – пусть вообще не думает и убеждается, что это лучший способ поглупеть.

Я действительно думаю, что сказанное выше и есть то, что происходит сейчас в мире по существу; все остальное – это уже следствия, симптомы, подробности или просто курьезы.

Речь идет не о том, что Европа утратила власть, но лишь о том, говоря строго, что Европа наших дней глубоко сомневается, правит ли она сегодня и будет ли править завтра. Это рождает у других народов Земли ответное сомнение. Они тоже не уверены, что ими кто-либо правит.

Последние годы много говорилось о европейском упадке. Раз уж об этом зашла речь, горячо прошу не обращаться мгновенно мыслями к Шпенглеру. Задолго до его книги все только и говорили о закате Европы, и своим успехом книга явно обязана тому, что ей уже предшествовали общая тревога и озабоченность, разного свойства и по самым разнородным причинам.

О европейском упадке столько говорено, что многими он стал восприниматься как нечто несомненное. Не потому, что многие уверились и убедились в нем, а просто потому, что привыкли принимать его на веру, хотя искренне не помнят, когда именно и с чего это началось. В недавней книге «Новое открытие Америки» ее автор Уолдо Фрэнк полностью исходит из того, что Европа агонизирует. При этом он не прибегает ни к анализу, ни к доказательствам и даже не видит проблемы в таком небывалом явлении, которое служит ему столь мощной посылкой. Не вдаваясь в подробности, он исходит из него, как из непреложного факта. И вот эта исходная святая простота сама по себе убеждает меня, что Фрэнк не только не верит в европейский упадок, но и вообще не тем занят. Он им пользуется, как трамваем. Банальности – трамвай мышления.

Так поступают многие, и даже целые народы. Народы в особенности.

Сегодня мир являет собой образец ребячества. Когда классу становится известно, что учителя не будет, ребячий табун шалает и стригунки встают на дыбы. Каждый счастлив избавиться от учительского гнета, сбросить узду правил, ходить вверх ногами и быть самому себе хозяином. Но поскольку утвержденных правилами дел и обязанностей больше нет, молодые силы не находят себе занятия, серьезного, осмысленного, постоянного и целенаправленного, и все, что остается, – это резвиться.

Фривольное зрелище бытия несмысленных народов выглядит глечевно. Ввиду того, что Европа, по слухам, находится в упадке и, стало быть, перестала править, каждый народ и народик резвится, гримасничает, хнычет или пыжится и тянется вверх, изображая взрослого, хозяина своей судьбы. Отсюда та бахиллярная картина мира, где на каждом шагу кишат «национализмы».



В предыдущих главах я пытался обрисовать новый человеческий тип, который сегодня преобладает; я назвал его массовым человеком и отметил, что основная его черта – сознавая собственную заурядность, утверждать свое право на нее и не признавать авторитетов. Поскольку этот тип преобладает в каждом народе, естественно, что картина повторяется на международном уровне. Народы относительно массовые, народы-массы рады взбунтоваться против народов творческих – великого меньшинства, сотворившего историю. Забавно видеть, как та или другая карлици-республика тянется на цыпочках из своей глухомани, кланет Европу и грозит уволить ее из мировой истории.

Что происходит? Европа создала систему ценностей, действенность и плодотворность которой подтверждены веками. Эта система ни в коем случае не лучшая из возможных. Но она бесспорна, пока нет другой, хотя бы в зачатке. Чтобы превзойти ее, надо родить новую. Сейчас народы-массы спешат объявить устарелой ту систему ценностей, которую представляет собой европейская цивилизация, но, неспособные создать другую, они не знают, что им делать, и, чтобы убить время, режутся.

Это первое, что происходит, когда миром никто не правит, – восставшие остаются без дела, без жизненной программы.

III

Цыган пришел на исповедь, но пронизательный падре сперва осведомляется: учил ли он когда заповеди Божьи. «Хотел было, – отвечает цыган, – да прослышал, будто их отменяют».

Чем не сегодняшний день? В мире прослышали, что заповеди европейские устарели, и все – и люди, и народы – спешно пользуются возможностью жить без заповедей. Ибо других, помимо европейских, у них не

было. Произошло не то, что обычно происходит, когда новая поросль теснит старую и молодое пламя свежего костра поглощает остатки полуугасшего. Это было бы в порядке вещей. Больше того, старое старо не от собственной старости, а оттого, что возникает новое и одной только своей новизной внезапно старит все предшествующее. Не будь детей, мы бы не старились или старились намного позже. То же происходит и с машинами. Автомобиль десятилетней давности выглядит куда старомодней, чем паровоз – двадцатилетней, и только потому, что новинки автомобильной техники быстрее сменяют одна другую. Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, – это признак здоровья.

Но с Европой происходит что-то странное и нездоровое. Европейские заповеди утратили силу, а других пока что не видно. Европа, говорят, перестает править, а заменить ее некому. Под Европой прежде всего и главным образом подразумевается триумvirат Англии, Франции и Германии. На участке планеты, который они занимают, был выработан тот способ человеческого существования, в соответствии с которым преобразовывался мир. И если, как сейчас утверждают, эти три народа пришли в упадок и жизненная программа их обесценена, нечего удивляться, что мир распадается.

А это чистая правда. Весь мир – начиная с человека и кончая целыми народами – распадается. Какое-то время этот распад радует и даже внушает смутную надежду. Подневольным кажется, что с них свалилась тяжесть. Заповеди с того самого дня, когда их запечатали в камне и бронзе, хранят эту тяжесть. Этимологически «править» – руководить – означает заставлять, загружать человека, не давать его рукам воли. Правление – это неослабное бремя. Подневольные всего мира уже по горло сыты принуждением и понуканием, и для них празднично время, лишенное тягостного императива. Но празд-



ник недолог. Без заповедей, диктующих образ жизни, она становится неприкаянной. Лучшие из молодых уже испытывают это нестерпимое внутреннее чувство. Ошутив себя свободными, ничем не связанными, не обремененными, они ощутили пустоту. Неприкаянная, невостребованная жизнь – больший антипод жизни, чем сама смерть. Жизнь – это обязательство что-то совершить, исполнение долга, и, уклоняясь от него, мы отречаемся от жизни. Скоро, очень скоро отчаянный вопль охватит Землю и, как вой бездомных собак, достигнет неба, моля, чтобы кто-то или что-то явились и стали править, вернув людям заботы и обязанности.

Пусть усвоят это все те, кто с детским неразумием возвешает конец европейского правления. Править – это возвращать человека к делу, к собственному предназначению, к самому себе: не давать воли сумасбродству, которое легко оборачивается праздностью, опустошенностью, оскудением.

Конец правления Европы не представлялся бы столь серьезным, будь у нее преемник. Но ждать его неоткуда. Нью-Йорк и Москва не обещают ничего нового. Это фрагменты европейского завета, которые в отрыве от остального утратили смысл. Признаться, разговор о Москве и Нью-Йорке раздражает, поскольку в точности неизвестно, что они такое, – известно только, что последнее слово о них еще не сказано. Но и неполного знания достаточно, чтобы угадать их природный смысл. Он вполне соответствует тому, что я неоднократно называл «феноменом исторического камуфляжа». По сути своей камуфляж – это реальность, которая оказывается иной, чем кажется. Облик ее, вместо того чтобы выявлять, прячет ее сущность. И поэтому легко обманывает. Избежать обмана способен лишь тот, кто заранее, в общем и целом, знает, что камуфляж возможен. Так происходит с миражами. Теоретическое знание исправляет ошибки зрения.

В случае исторического камуфляжа друг на друга накладываются две реальности – глубинная, подлинная, сущностная и внешняя, случайная, поверхностная. Так, у Москвы есть оболочка европейской идеи – марксизма, созданного в Европе применительно к европейским реалиям и проблемам. Под этой оболочкой – народ, не только этнически иной, чем европейские, но – что неизмеримо важнее – иного возраста. Народ еще не перебродивший, молодой, едва ли не юношеский. Победа марксизма в России, где нет промышленности, была бы величайшим противоречием, с каким только сталкивался марксизм. Но такого противоречия нет, поскольку нет и победы. В России не больше марксистского, чем было римского в германцах Священной Римской империи. У молодых народов нет идей. И если в окружающем пространстве живет или угасает старая культура, они маскируются теми идеями, которые она предлагает. В этом камуфляж и его причина. Обычно забывается, как я не раз отмечал, что у народов бывают два типа развития. Одни народы рождаются в «мире», полностью нецивилизованном. Например, египтяне или китайцы. У таких народов все свое, и проявляется оно прямо и недвусмысленно. Но другие народы растут и развиваются в пространстве, уже обжитом вековой цивилизацией. Таков Рим, который поднялся из волн Средиземноморья, насыщенных культурой Эллады и Востока. Поэтому жесты у римлян наполовину свои, наполовину заимствованные. А любые заимствованные, затверженные жесты всегда двойственны, и свой подлинный смысл выражают не прямо, а косвенно. Все, что затвержено, – ну хотя бы, например, слово чужого языка – подспудно содержит и что-то исконное, свое – например, мысленный перевод на родной язык. Поэтому камуфляж для своего уяснения требует тоже косвенного взгляда, – взгляда



того, кто читает со словарем. Я надеюсь дожидаться книги, где сталинский марксизм будет переведен на язык русской истории. Он силен тем, что есть в нем русского, а вовсе не тем, что в нем от коммунизма. Не будем же загадывать на будущее! Одно лишь достоверно: России потребуются еще века, чтобы принять бразды правления. Именно потому, что у нее нет еще заповедей, она притворяется верной европейским идеям Маркса. Именно потому, что у нее в избытке молодость, она обходится притворством. Для юноши жизнь не нуждается в оправданиях – ей достаточно отговорок.

Нечто схожее происходит и с Нью-Йорком. Неверно, что своей мощью он обязан тем заповедям, по которым живет. В конечном счете они сводятся к одному – к техницизму. Уже любопытно! Снова продукт европейский. Техника создавалась в Европе в течение XVIII и XIX веков. Еще любопытней! Те же самые века, когда создавалась Америка. И нас еще уверяют, что секрет – в американской жизненной философии, что суть Америки – в ее практицизме и культе техники! Вместо того чтобы сказать: Америка, как и любая колония, способствует опрошению – или омоложению – древних рас, в особенности европейской. По-иному, чем Россия, Нью-Йорк на свой лад воплощает ту особую историческую реальность, о которой говорят «молодой народ». Это не фигуральное выражение, как принято думать, а реальность, и не меньшая, чем молодой человек. Америка сильна своей молодостью, которая служит современному культу «техники», как служила бы культу Будды, будь на повестке дня буддизм. Но при этом Америка только начинает свою историю. Ее тревоги и распри еще впереди. Ей предстоит еще много перевоплощений, в том числе – полярных практицизму и культу техники. Ведь Америке куда меньше лет, чем России. Я

всегда, стараясь не сгущать краски, утверждал, что это полудикий народ, закамуфлированный новейшими изобретениями¹. Подтверждение тому – книга Уолдо Фрэнка. Америка еще не испытана жизнью; наивно думать, что она способна править.

Кто противится пессимистическому выводу, что в мире некому править и, следовательно, история обращается в хаос, тот должен вернуться к исходной точке и спросить себя серьезно: так ли это верно, как говорят, будто Европа сейчас в упадке и отрекается от власти? Не принимается ли за упадок целительный кризис, который позволит Европе действительно стать Европой? И не покажется ли очевидный упадок европейски наций априорно необходимым, когда встанет вопрос о Соединенных Штатах Европы, о замене европейской раздробленности слаженным единством?

IV

Власть и подчинение – решающие условия существования любого общества. Когда становится непонятно, кто правит и кто подчиняется, все идет беспорядочно, вкривь и вкось. Даже самое личное, святая святых каждого человека, кроме гениальных исключений, искажается и уродуется. Если бы человек был одиночкой и лишь от случая к случаю общался с остальными, тогда, быть может, ему не угрожали бы толчки, вызванные смещением или кризисом власти. Но человек органически социален, и его натуру будоражат и преобразуют те изменения, которые выглядят сугубо общественными. И если, выбрав наудачу, проанализировать психику отдельно взятого человека, по нему одному можно определить, какие в его стране понятия о власти и подчинении.

Было бы любопытно, да и полезно, подвергнуть такой проверке внутренний склад

¹ См.: Гегель и Америка // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930.



рядового испанца. Операция, впрочем, оказалась бы неприятной и, при всей полезности, унижительной, так что бог с ней. Но вскрылось бы немало тлетворного и низменного, обязанного тем низменным понятиям о власти и подчинении, которых Испания держалась веками. Низменность – не что иное, как изворотливое и ставшее привычным принятие того, что при всем согласии с ним продолжает оставаться недоложным и недостойным. Поскольку нельзя сделать естественным и здоровым то, что по сути своей уродливо и преступно, человек приспосабливается к нему, в конце концов полностью свыкаясь и срастаясь со злом. Словом, механика, вошедшая в поговорку: «Раз солгал, а лгуном навеки стал». Любой народ переживал времена, когда править им пытались недостойные, но здоровый инстинкт заставлял собрать все силы в кулак и покончить с этими незаконными притязаниями. Он сопротивлялся временному недугу и восстанавливал общественное здоровье. Но испанцы поступили наоборот: вместо того, чтобы дать отпор той власти, которой противилась их совесть, они предпочли примириться с исходной ложью, извратив себя ради этого окончательно. Пока все остается по-старому, напрасно чего-то ждать от нашего народа. Достойно держаться в истории – труд нелегкий и не по силам обществу, где власть – внешняя и внутренняя – требует бесчестности.

В общем, неудивительно, что стоит появиться неуверенности, легкому сомнению относительно того, кто в мире правит, как весь мир целиком – от общественной жизни до частной – устремляется к распаду.

Человеческая жизнь по самой природе своей должна быть отдана чему-то, великому или малому, блистательному или будничному. Условие странное, но непреложное, вписанное в нашу судьбу. С одной стороны, жить – это усилие, которое каждый совершает сам по себе и для себя. С другой сто-

роны, если эту мою жизнь, которая принадлежит только мне и только для меня что-то значит, я ничему не отдам, она распадется, утратив напор и связность. Наше время – это зрелище бесчисленных человеческих жизней, которые заблудились в собственных лабиринтах, не найдя, чему отдать себя. Все веления, все наказания отменены. Казалось бы, лучшего и желать нельзя – ведь каждая жизнь вольна теперь делать то, что ей по душе, вправе заняться собой. Как и каждый народ. Гнет Европы ослабел. Но результат оказался обратным ожидаемому. Освобождаясь, жизнь освободилась от себя, осталась опустошенной и неприкаянной. И, сияясь заполнить пустоту, она «ребячливо» придумывает саму себя, вместо дела довольствуется его суррогатом, не требующим ни ума, ни сердца. Сегодня – одно, завтра – другое, совсем обратное. Она заблудилась, оставшись наедине с собой. Эгоизм – заколдованный круг. Замкнутость. Жизнь – это выстрел в цель, движение к мишени. Цель – не само движение, не сама жизнь; цель – то, к чему я направил ее и что находится за ее пределами. Если я пожелаю двигаться только в ее пределах, эгоистически, я не продвинулся ни на шаг и не приду никуда – я буду кружить и кружить на одном месте. Это замкнутый круг, лабиринт, дорога в никуда, безвозвратный уход в себя.

После войны европейцы замкнулись в себе, сбились с дороги и сбили других. Исторически мы там же, где были десять лет назад.

Ни с того ни с сего не правят. Власть – это гнет. Но не только. Будь она только гнетом, все свелось бы к насилию, голому принуждению. Не забудьте, что у нее две стороны: принуждается кто-то, но принуждается он к чему-то. И то, к чему он принуждается, – это в конечном счете участие в замысле, в великом историческом предназначении. Не бывает могущества без програм-



мы жизни, точнее – без программы могущественной жизни. Как говорит Шиллер,

*Монархи, чтобы строить,
должны торить дороги.*

Словом, не надо поддаваться обывательской уверенности, что действия великих народов, как и великих людей, продиктованы чистым эгоизмом. Не так это легко, как кажется, быть чистым эгоистом, и никто из них не одерживал побед. Мнимый эгоизм великих народов и великих людей – это неумолимость, неизбежная для тех, чья жизнь целенаправленна. Когда делается настоящее дело и мы поглощены им, напрасно требовать, чтобы мы отвлекались на прохожих и разменивались на случайный и мелочный альтруизм. Иностранцев в Испании особенно чарует то, что на вопрос, где такая-то площадь или такое-то здание, спрошенный обычно прерывает путь и, благородно жертвуя временем и делами ради незнакомца, доводит его до нужного места. Не спорю, что добрым кельтибером движет известное благородство, и рад, что иностранец это чувствует. Но всякий раз, читая или слыша об этом, не могу отделаться от подозрения. А на самом ли деле мой соотечественник куда-то шел? Ибо вполне может оказаться и часто оказывается, что делал он это без малейшей надобности и вообще вышел в чужую жизнь поглядеть, не заполнит ли кто хоть немного его собственную. Я не раз убеждался, что мои компатриоты выходят на улицу в надежде, что попадетсЯ иностранец, которого можно проводить.

Плохо, что неуверенность в той власти над миром, которой до сих пор обладала Европа, деморализовала остальные народы, кроме, пожалуй, тех, что по возрасту еще не вышли из собственной предистории. Но гораздо хуже, что это *pietinement sur place** готово полностью деморализовать самих европейцев. Говорю так не потому, что я ев-

ропеец или что-то вроде того. И не хочу этим сказать, что если европейцы перестанут править миром, он утратит для меня всякий интерес. Для меня отставка Европы ничего бы не значила, существуй сегодня другой комплот народов, способный принять власть и руководить миром. Но даже не это меня заботит. Пусть хоть никто не правит, лишь бы не привело это к полному оскудению европейских достоинств и дарований.

Вот последнее было бы непростительным. Если европейцы свыкнутся с потерей власти, не сменится и двух поколений, как старый Запад, а за ним и весь мир впадут в душевную косность, умышленное бесплодие и повальное одичание. Лишь иллюзия власти и рожденная этим дисциплина ответственности способны держать в напряжении европейские души. Наука, искусство, техника и буквально все дышат тем живительным кислородом, который источает сознание власти. Если ее не станет, европейцы начнут опускаться. Умы утратят ту врожденную веру в себя, что гнала их, неутомимых и упорных, на поиски великих, еще неведомых идей. Европейцы станут будничными. Неспособные к шедрым, творческим усилиям, живущие вчерашним днем, погрязшие в привычной рутине, они сделаются такими же плоскими, мелочными и бесплодными, как поздние эллины и византийские греки.

Творческая жизнь требует безупречности, строжайшего режима и самодисциплины, рождающих чувство собственного достоинства. Творческая жизнь деятельна, и возможна она только при двух условиях – или быть тем, кто правит, или быть в мире, которым правит тот, за кем мы полностью признаем это право. Или правлю я, или я повинуюсь. Повиноваться не значит терпеть – терпеть унижительно, – но, напротив, уважать того, кто ведет, и охотно следовать за ним, с радостью становясь под его широкое знамя.

* Топтание на месте (фр.).



V

Теперь вернемся к исходной точке – к тому крайне любопытному обстоятельству, что в мире последние годы без умолку твердят об упадке Европы. Любопытней всего то, что пресловутый упадок впервые заметили не иностранцы, – открытие принадлежит самим европейцам. В остальном мире это никому и в голову не приходило, а в Германии, Англии и Франции кое-кому пришлось. Не переживаем ли мы упадок? Эта заразная мысль получила хорошую прессу, и сегодня весь мир говорит о европейском упадке как о несомненном факте.

Но вежливо прервите говорящего и спросите, на каких конкретных и явных признаках основан его диагноз. Ответом будет воздымание рук к округлости мироздания и другие неопределенные жесты, характерные для утопающего. Он действительно не знает, за что ухватиться. Единственное, что без особых уточнений приводится в доказательство упадка, – это экономические трудности, с которыми сегодня сталкивается каждая европейская нация. Но когда начинает уточняться характер этих трудностей, выясняется, что ни одна из них серьезно не затрагивает возможностей экономического роста и что наш древний континент уже пережил гораздо более тяжкий кризис.

Быть может, германцы или бритты сегодня не ощущают себя способными производить как можно больше и лучше? В какой-то мере – да, и крайне важно в ряду экономических величин учесть этот внутренний фактор. Как ни странно, такой упадок духа происходит не от недостатка сил и способностей, а как раз наоборот – от ощущения избыточной, невиданной прежде силы, которая натывается на роковую стену и не может совершить то, что совершила бы с легкостью. Роковые стены современной германской, английской или французской эконо-

номики – это политические границы современных государств. Таким образом, подлинные трудности коренятся не в той или другой, внезапно возникшей, экономической проблеме, а в том, что форма общественной жизни тесна для заключенных в ней экономических возможностей. На мой взгляд, чувство ушербности и бессилия, которое в последние годы, бесспорно, подтачивает европейскую жизнь, рождено этим несоответствием между размахом сегодняшних возможностей и рамками политического устройства, внутри которого они вынуждены осуществляться. Стремление разрешить насущные вопросы сильно как никогда, но оно сразу упирается в тесные перегородки, в те мелкие национальные устройства, на которые до сих пор раздроблена Европа. Угнетенный и подавленный, западный дух сегодня похож на ту ширококрылую птицу, что, сляясь расправить маховые перья, обламывает их о прутья клетки.

Подтверждение тому – сходная картина в других областях жизни, внешне далеких от экономики. Например, в интеллектуальной жизни. Каждый подлинный интеллектуал Германии, Англии или Франции сегодня задыхается в национальных рамках, ощущая свою национальную принадлежность единственно как бремя. Немецкий профессор ясно сознает нелепости стиля, навязанного ему немецким профессорским окружением, и тоскует по той недоступной свободе, которой наслаждаются французский литератор или английский эссеист. Образованный парижанин, напротив, начинает понимать, что традиция литературного мандаринства, словесного формализма, на которую обрекает его французское происхождение, исчерпана, и хотел бы, взяв из нее все лучшее, соединить его с достоинствами немецкой школы.

В области внутренней политики творится то же самое. Никто еще глубоко не про-



анализировал, почему так угасает политическая жизнь великих наций. Говорят, что демократические институты дискредитировали себя. Но тогда тем более надо понять, почему. Ибо это странная дискредитация. В любой стране ругают парламент, но ни в одной из тех, где он есть, не ищут ему замены, не намечают даже утопических контуров иной формы правления, более привлекательной хотя бы в идеале. Значит, не стоит так уж верить в эту мнимую дискредитацию. Не институты как инструменты общественной жизни плохи, а то, чем они занимаются. Нет программы такого же масштаба, какого достиг жизненный заряд каждого европейца.

Налицо обман зрения, который сразу надо исправить, потому что уже набили оскомину ежеминутные глупости, в том числе и те, что говорятся в адрес парламента. Существует целый свод веских возражений против традиционных форм парламентской власти, но нетрудно убедиться, что ни одно из них не предполагает ее упразднения и все они, напротив, явно и прямо подводят к необходимости ее преобразования. А лучшая в устах человека похвала чему-либо — это требование его переделать и, следовательно, признать его нужным, годным и способным к обновлению. Современный автомобиль возник из нареканий в адрес автомобиля 1910 года. Но обывательское неуважение к парламенту возникает иначе. Говорят, например, что он недееспособен. Тогда надобно спросить, в чем. Дееспособность — это способность инструмента выполнять намеченные задачи. В данном случае задачей является разрешение каждым народом своих общественных проблем. И от любого, кто заявляет о недееспособности парламента, мы вправе требовать ясных представлений о том, как эти проблемы должны решаться. Если же такой ясности нет, если сегодня ни одному народу не ясно, хотя бы теоретически, что именно следует делать, бессмысленно

обвинять в недееспособности общественные институты. Полезнее вспомнить, что ни одно общественное устройство в истории не создало ничего лучше и успешней парламентских правлений XIX века. Факт настолько очевиден, что не считаться с ним попросту глупо. И не надо возможность и безотлагательность коренного преобразования законодательных собраний для «пушей» их успешности путать с утверждением их ненужности.

Дискредитация парламентской власти не имеет ни малейшего отношения к ее действительным недостаткам. Причина другая, не связанная с ней как с инструментом политическим. Причина в том, что европейцы не знают, на что эту власть употребить, не уважают устоев и целей своей общественной жизни — в общем, не питают иллюзий относительно того национального государства, к которому они приписаны и прикованы. Если взглянуть пристальней в пресловутую дискредитацию, выяснится, что граждане не уважают собственного государства, будь то Германия, Англия или Франция. Бесполезно менять детали государственного механизма, если беда не в них, а в самом государстве, которое стало тесным.

Впервые споткнувшись о национальные границы, европейец ощущает, насколько его экономические, политические, интеллектуальные запросы — то есть его жизненные возможности, жизненный размах — несоизмеримы с тем коллективным телом, в котором они томятся. И тогда он открывает для себя, что быть немцем, англичанином или французом провинциально. Он обнаруживает, что это уже нечто «меньшее», чем прежде, потому что прежде англичанин, немец или француз считали себя, каждый в отдельности, мирозданием. В этом, по-моему, подлинный источник того упадочного настроения, которое гнетет европейца. Следовательно, источник чисто внутренний и парадоксальный, поскольку подозрение в соб-



ственной ушербности внушено ни чем иным, как ростом сил и способностей, скованных устарелыми структурами.

Чтобы прояснить сказанное, мягко приземлим его и обратимся к чему-нибудь конкретному – например, к выпуску автомобилей. Автомобиль – изобретение целиком европейское. Тем не менее, на первом месте сегодня американское производство. Вывод: европейское автомобилестроение находится в упадке. Однако европейские производители – конструкторы и промышленники – хорошо знают, что американская продукция обязана своим превосходством не каким-то особым достоинствам заокеанского населения, а той простейшей причине, что американский завод может беспрепятственно предлагать свою продукцию ста двадцати миллионам человек. Представим, что европейскому заводу открывается рынок, вобравший в себя все европейские государства вкупе с их колониями и протекторатами. Нет сомнений, что автомобиль, предназначенный пятистам или шестистам миллионам человек, был бы намного лучше и дешевле фордовского. Все совершенства американской техники – это почти целиком следствие, а не причина широты и однородности американского рынка. «Рационализация» производства – автоматическое следствие его масштабов.

Итак, подлинная картина европейского кризиса представляется такой: долгое и великое прошлое привело к новой жизненной ступени, где все разом возросло, но отжившие структуры этого прошлого стали карликовыми и мешают росту. Европа утвердилась в форме маленьких наций. В известной

мере национальная идея и национальное чувство были ее кровными детищами. И теперь она обязана перерасти себя. Таков контур гигантской драмы, которой предстоит разыгаться в ближайшие годы. Сумеет Европа освободиться от мертвого груза или останется навсегда погребенной под ним? Ибо однажды так уже было в истории, что великая цивилизация пала, не сумев сменить затверженные представления о государстве...

VI

В свое время я уже описывал агонию и смерть античного мира и за подробностями отсылаю к написанному¹. А сейчас рассмотрим эту тему в ином свете.

В истории греки и латиняне возникают как обитатели городов, *poleis*. Это достоинство таинственного происхождения, факт, из которого можно исходить, и только, – как зоолог исходит из того голого и необъяснимого факта, что *sphex** живет жизнью бродячей, бесприютной и отдельной, а золотая пчела не существует вне роя, строящего соты². Дело в том, что археология позволяет заглянуть на земли Афин и Рима до их возникновения. Но переход от этой предыстории, целиком сельской и невыразительной, к рождению города – совершенно нового плода, выращенного землей двух полуостровов, – остается тайной; неясна даже этническая связь между праисторическими племенами и теми странными общинами, что ввели в обиход человечества великое новшество – общественную площадь и вокруг нее отгороженный от мира город. В самом деле, лучшее определение города,

¹ См.: О гибели Рима // Эль Эспектадор. Т. VI. 1927.

* Хищная оса, пескорой. (лат.).

² Именно так поступают физический и биологический разум, «естественнонаучный разум», тем самым доказывая, что он менее разумен, чем «исторический разум», ибо последний, когда он смотрит вглубь, а не вскользь, как на этих страницах, ни один факт не признает абсолютным. Для него «мыслить» означает растворять факты, чтобы обнаружить их исток. См. мою работу «История как система».



полиса, весьма напоминает известный рецепт: взять дыру, обмотать ее потуже проволокой – и выйдет пушка. Потому что и город, или polis, начинается с пустоты – форума, агоры, а все остальное – только способ очертить ее контур. Полис изначально не скопление жилищ, а место общественных собраний, пространство, отведенное для гражданских дел. Город выстроен не как хижина или domus, чтобы укрываться от непогоды и продолжать род, не для частных и семейных нужд, а для того, чтобы решать общественные вопросы. И означает это ни больше ни меньше, как открытие нового пространства, куда более нового, чем пространство Эйнштейна. Прежде существовало единственное пространство – Земля, и это накладывало печать на ее обитателей. Крестьянин – как растение. И по сей день его существование, все, что он думает, чувствует, хочет, хранит печать растительной жизни, ее беспмятного сна. В этом смысле великие азиатские и африканские цивилизации были огромными антропоморфными джунглями. Но греко-римляне решают обособиться от земли, от «природы», от геоботанического космоса. Как это сделать? Как уйти человеку от земли? Куда податься, если земля – это весь мир, если она бесконечна? Очень просто: огородить клочок земли стенами, которые противопоставят замкнутое пространство бесконечному и бесформенному. Вот вам и площадь. Это не закрытое сверху, как дом, убежище, подобное природным пещерам, но простое и полное отрицание природы. Клочок земли благодаря пограничным стенам порывает с остальным, отламывается от него и противопоставляет ему себя. Малая мятежная земля, которая отпала от бескрайней и отстаивает свою независимость, – это упраздненная природа и, следовательно, пространство sui generis*, совершенно новое, где человек ос-

вобождается от своей общности с растениями и животными, оставляет их снаружи и утверждает на особой, чисто человеческой почве. Это гражданская почва. Оттого Сократ, великий горожанин, тройной крепости городской экстракт, обронит: «У меня ничего общего с деревьями в поле, общее у меня с людьми в городе». Мыслимо ли такое для индуса или перса, для китайца или египтянина?

Вплоть до Александра и Цезаря греческая и римская история была непрерывной борьбой рационального города и растительного окружения, борьбой юриста и пахаря, jus и rus.

Не думайте, что все изложенное – это сугубо мое построение и к действительности приложимо чисто символически. С редким упорством, в самых древних и глубинных пластах памяти, обитатели греко-римского города хранят непозабываемое synoikismos. Итак, не надо искать текст – достаточно его перевести. Synoikismos – это памятный след готовности жить вместе: сожительство – в его двойном, физическом и юридическом, значении. На смену растительному расплоданию по земле пришло гражданское сплочение в городе. Город – это сверхдом, это преодоление дома, людского логова, создание новой структуры, более абстрактной и сложной, чем семейное oikos**. Это республика, politeia, которая складывается не из мужчин и женщин, а из сограждан. Новое измерение, уже несводимое к первобытному и полуживотному, предложено человеческому существованию, и те, что прежде были просто человеческими особями, вкладывают в это новое всю свою энергию. Так возникает город и становится государством.

В известной мере все Средиземноморье всегда обнаруживало стихийную тягу именно к этой форме государства. С большей или меньшей отчетливостью в Северной Африке происходит то же самое («Карфа-

* Особого рода (лат.).

** Жилище (греч.).



ген» означает «Город»). Италия вплоть до XX века не изжила город-государство, да и наш Левант изо всех сил держится за свой кантонный сепаратизм – отрыжку все той же тысячелетней приверженности¹.

Город-государство ввиду относительной малочисленности его основ позволяет уловить специфику государственного начала. С одной стороны, понятие «государство» – держава – свидетельствует, что исторические силы пришли к равновесию и сдерживают друг друга. В этом смысле государство – противоположность историческому движению, сосуществование устойчивое, организованное, статичное. Но это впечатление неподвижности, покоя и завершенности заслоняет, как и всякое равновесие, ту динамику, которой государство рождено и держится. В итоге забывается, что созданное государство – всего лишь результат усилий, его создавших, исход долгой борьбы. Государству предшествует строительство государства, и вот они-то и есть источник и залог движения.

Этим я хочу сказать, что государство как общественную форму человек не получает готовым и без усилий, но должен ковать его, не шадя сил. Это не орда или племя и прочие сообщества, основанные на кровном родстве, о сплочении которых заботится сама природа, не нуждаясь в человеческих усилиях. Напротив, государство возникает, когда человек стремится выйти из того природного общества, в котором его держат узы крови. Говоря о крови, мы говорим и о прочих природных связях – например, о языке. С самого начала государство держится смещением кровей и наречий. Государство – преодоление всякой природной общности. Это метис и полиглот.

Следовательно, государство строится для объединения племен. Над зоологическим многообразием оно воздвигает абстрактное единообразие закона². Разумеется, не юридическим единством вдохновляются творческие силы государства. Стимул у них иной, поважнее всяких законов, – воплощение жизненных замыслов, непосильных для крохотных племенных образований. В основании любого государства мы видим или угадываем силуэт великого предпринимателя.

Если взглянуть в историческую обстановку накануне рождения государства, картина всегда одна и та же: многообразие крохотных сообществ, организованных так, чтобы каждое могло жить само по себе и для себя, лишь иногда вступая в редкие, случайные контакты. Но несомненная внутренняя связь так же несомненно уступала место связям внешним, прежде всего торговым. Член каждой общины уже не жил лишь ее жизнью, но становился причастным к жизни иноплеменников, с которыми обменивался товаром и мыслями. Возникает расхождение между двумя видами общения, внутренним и внешним. Утвердившаяся общественная форма – право, «обычай», вера – служит внутреннему и затрудняет внешнее, новое и более обширное. В этих условиях государственное начало – путь к упразднению общественной структуры внутренних связей и к ее замене структурой, адекватной новым, внешним связям. Приложите это к современной европейской действительности, и абстрактные рассуждения разом обретут плоть и кровь.

Строительство государства невозможно, если народное сознание неспособно отвергнуть привычную форму общегития и, мало того, вообразить новую, еще невиданную.

¹ Было бы интересно проследить, как в Каталонии действуют заодно два враждебных начала – европейский национализм и полисный дух Барселоны, в которой вечно оживает душа древнего обитателя Средиземноморья. Я уже писал однажды, что левантинец – последний реликт *homo antiquus* /здесь: чело- века античного (лат.)/ на нашем полуострове.

² Юридическое единообразие не ведет к неизбежному централизму.



Такое строительство – это подлинное творчество. Первоначально государство возникает как чистый плод воображения. Воображение – освободительное начало в человеке. Народ способен создать государство в той мере, в какой он способен фантазировать. Оттого у всех народов наступал предел их государственного развития, – предел, поставленный природой их воображению.

Греки и римляне, сумевшие придумать город, который одолел деревенскую разобщенность, застряли в городских стенах. И тот, кто хотел расковать античное сознание, освободить его от города, не сумел этого. Римская бедность воображения в лице Брута предпочла убить величайшую фантазию античности в лице Цезаря. Европейцам стоит сегодня вспомнить эту историю, ибо наша собственная готова раскрыться на той же странице.

VII

Светлых голов, светлых в полном смысле слова, в античном мире, быть может, было всего две – Фемистокл и Цезарь, два политика. Бесспорно, были и другие, родившие немало светлых мыслей – математических, философских и натурфилософских. Но то был свет науки, то есть абстракций. Все, что говорит наука, абстрактно, а все абстрактное ясно. Так что ясность не столько в голове того, кто занят наукой, сколько в самом предмете занятий. По-настоящему темна и запутанна лишь конкретная, живая действительность, вечно неповторимая. Кто способен уверенно ориентироваться в ней, кто в общем хаосе событий различает их сиюминутную подоплеку, скрытую структуру времени – короче, кто не теряется в жизни, – только у того действительно светлая голова. Взгляните на окружающих – и увидите, насколько заблудились они в собственной жизни; они движутся, как

лунатики, по краю своей судьбы, благополучной или злосчастной, и даже не догадываются, что с ними происходит. На словах они точно определяют самих себя и свое окружение, и, казалось бы, это свидетельствует о понимании того и другого. Но если бегло обозреть их понятия, обнаружится, что они нисколько не отражают ту действительность, с которой кажутся соотнесенными, а если взглянется поглубже, выяснится, что они и не претендуют на это. Все наоборот – человек пытается подменить ими свое видение мира, заслониться от собственной жизни. Потому что жизнь на первый взгляд – это хаос, в котором теряешься. Человек об этом догадывается, но боится оказаться лицом к лицу с грозной реальностью и отгораживается фантазмагорической завесой, на которой все изображено просто и понятно. Его нимало не заботит, что его «идеи» неправдоподобны, – для него это окопы, чтобы отсидеться от собственной жизни, или страшные гримасы, чтобы отпугнуть реальность.

Светлые головы – те, кто избавляется от фантазмагорических «идей», смотрит на жизнь в упор и видит, что все в ней спорно и гадательно, и чувствует, что гибнет. А поскольку жить как раз и означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву. Инстинктивно, как утопающий, человек ищет за что ухватиться, и взгляд его – трагический, последний и предельно честный, поскольку речь идет о спасении, – упорядочивает сумятицу его жизни. Единственно подлинные мысли – мысли утопающего. Все прочее – риторика, поза, внутреннее фиглярство. Кто не чувствует, что действительно гибнет, тот погибнет обязательно – он никогда не найдет себя, не столкнется со своей подлинной сущью.

Это справедливо для всего, и даже для науки, несмотря на то, что сама по себе



наука – бегство от жизни (большинство людей науки отдается ей из боязни оказаться лицом к лицу с собственной жизнью; не светлые это головы – отсюда и прославленная их беспомощность в конкретных жизненных обстоятельствах). Наши научные идеи ценны ровно настолько, насколько безнадежной ощущали мы поставленную проблему, насколько хорошо видели ее неразрешимость и понимали, что не можем опереться ни на готовые теории, ни на рецепты, ни на постулаты, ни на словесные ухищрения.

Кто открывает новую научную истину, тому пришлось перелопатить почти все, чему выучился, и новое далось ему в руки, окровавленные от разгребания бесконечных обихих мест.

Политика реальнее науки, потому что складывается из неповторимых ситуаций, в которые человек, хочет он того или нет, внезапно погружается с головой. Это позволяет легче отличать светлые головы от набитых трухой.

Цезарь – высочайший, высший из всех нам известных, образец умения видеть сердцевину событий в момент общей сумятицы и пугающей смуты, в одну из самых хаотических минут, пережитых человечеством. И, словно не отказав себе в удовольствии получить оттенок этот образцовый дар, провидение рядом поместило блистательную голову интеллектуала, Цицерона, призванную до конца дней своих путать все на свете.

Переизбыток удачи утяжелил политическое тело Рима. Город на Тибре, хозяин Италии, Испании, африканских провинций, эллинского и эллинистического Востока, казалось, вот-вот лопнет. Его общественные институты, по сути своей муниципальные, были так же нерасторжимы с городом, как гамадриды под страхом смерти – со своим родным деревом.

Судьба демократии при любой ее форме и развитости зависит от мелкой техниче-

ской детали – процедуры выборов. Остальное второстепенно. Если избирательная система хороша и отвечает действительности, все идет хорошо; если нет, то как бы ни радовалось остальное, все идет плохо. Рим начала I века до Рождества Христова всемогущ, богат и не знает соперников. Тем не менее это начало его конца, потому что упорно сохраняется нелепая избирательная система. Такая система нелепа, когда она лжива. Голосовать надо было в городе. Окрестные граждане уже не могли выбирать. А те, что разбрелись по всему римскому миру, и подавно. Поскольку выборы были нереальны, приходилось их фальсифицировать, и кандидаты набирали банды из ветеранов и цирковых атлетов, которые с готовностью били урны.

Без опоры на подлинно всеобщее голосование демократические институты повисают в воздухе. Как повисают слова. «Республика не больше, чем слово». Это сказал Цезарь. Ни одна магистратура не пользовалась авторитетом. Вожди левых и правых, мари и суллы, нагнали в бесплодном диктаторстве, которое ни к чему не приводило.

Цезарь не излагал своих политических замыслов, он их просто осуществлял. То был Цезарь, а не учебник цезаризма, который потом из него сделали. Чтобы понять его замыслы, выход один – обратиться к его делам и назвать вещи своими именами. Разгадка в его главном подвиге – завоевании Галлии. Чтобы завершить его, он открыто восстал против законной власти. Во имя чего?

У власти стояли республиканцы – то есть консерваторы, преданные городу-государству. Их программа сводилась к двум пунктам. Первый: все римские неурядицы возникают из-за чрезмерной экспансии. Город не может управлять столькими народами. Всякое новое завоевание – это преступление против республики. Второй: чтобы избежать распада общественных институтов, необходим правитель, принципс.



В слово «правитель» римляне вкладывали смысл, едва ли не противоположный нашему. Под этим понимался гражданин, точно такой же, как остальные, но наделенный высшими полномочиями с единственной целью – регулировать деятельность республиканских институтов. Цицерон в его труде «О республике» и Салюстий в его жизнеописании Цезаря суммируют упования всех законников – нужен *princeps civitatis**, нужен *res-tor rerum publicarum***, нужен *moderator****.

Решение Цезаря полностью противоположно консерваторскому. Ему понятно, что для исцеления недугов, вызванных прежними завоеваниями, нет иного средства, как только продолжать их, до конца принимая столь беспокойную судьбу. Особенно безотлагательно завоевание молодых народов, в недалеком будущем более опасных, чем растленный Восток. Цезарем движет необходимость полной романизации западных варваров.

Существует мнение (Шпенглер), что греки и римляне были неспособны ошущать время, видеть свою жизнь в ее временной протяженности. Они жили в настоящем. Подозреваю, что это ошибка или по крайней мере смешение понятий. Греки и римляне страдают удивительной слепотой по отношению к будущему. Они его не различают, как дальтоник не различает красный цвет. Зато жизнь их во всем опирается на прошлое. Прежде чем что-то совершить, они делают шаг назад, как Лагартихо перед последним ударом; в былом они ищут подобие возникшей ситуации и, отыскав, погружаются в настоящее, зашищенные и скованные испытанным скафандром. Поэтому их жизнь – это в известном смысле непрерывное воскрешение. Жизнь архаизирована, и такой она была почти у всех людей древности. Но это вовсе не означает, что они лишены чувства

времени. Это лишь однобокий перекокс его: недоразвитое чувство будущего и преувеличенное – прошлого. Мы, европейцы, всегда тяготели к будущему и верили, что там лежит главное пространство времени, которое для нас начиналось с того, что «будет», а не с того, что «было». Понятно, почему античная жизнь нам кажется вневременной.

Маниакальная привычка прикасаться к настоящему только в перчатках образцового прошлого перешла от античного человека к современному филологу. Он тоже слеп к будущему. Такой же ретроград, он занят поисками прецедентов, которые красиво именует букволическим словом «источник». Говорю это к тому, что еще античные биографы Цезаря отказались понять исключительность его личности, приписав ему подражание Александру. Схема утвердилась: если Александру не давали спать лавры Мильтиада, Цезарю вменялось бессонница по вине Александра. И так далее. Что ни шаг, то вспять; что ни день, то вчерашний. Современный филолог – отпрыск античного биографа.

Поверить, что Цезарь жаждал совершить нечто подобное тому, что совершил Александр, – а в это поверили почти все историки, – значит отказаться от всякой попытки понять его. Цезарь – едва ли не противоположность Александру. Идея всемирного царства – единственное, что их роднит. Но эта идея рождена не Александром, а созрела в Персии. Тень Александра повела бы Цезаря на Восток, заворожила прошлым. Его решительный выбор Запада – лучшее доказательство стремления оспорить македонца. Да и не всемирное царство сулила очертя голову Цезарь. Его замысел был намного глубже. Это Римская империя, которая держится не Римом, а периферией, провинциями, что ведет к окончательному преодоле-

* глава государства (лат.).

** распорядитель общественных благ (лат.).

*** управитель (лат.).



нию города-государства. Это – государство, где сотрудничают самые разные народы, где все связано общими интересами. Не центр, который приказывает, а не периферия, которая подчиняется, а гигантский социальный организм, где каждая клетка – одновременно объект и субъект государства. Так выглядит современное государство, и поистине сказочным кажется провидческий дар Цезаря. Но замысел его требовал власти внеримской, антиаристократической, бесконечно вознесенной над республиканскими олигархами и над их принципом, который был лишь *primum inter pares**. Такой исполнительной и представительной властью всемирной демократии могла стать только монархия с престолом вне Рима.

Республика, монархия! Два слова, что по ходу истории постоянно меняли свой истинный смысл; и, чтобы добраться до возможной их сути, надо всякий раз раскалывать орешек.

Доверенными лицами Цезаря, его непосредственными орудиями были не архаические городские светила, а безродные люди, энергичные и удачливые провинциалы. В роли министра при нем – Корнелий Бальб, гадитанский торговец, сын Атлантики.

Но идея Цезаря слишком опережала время. Неповоротливые латинские мозги были неспособны к такому скачку. Тень города, материалистически осязаемая, мешала римлянам «увидеть» невиданную структуру нового социального организма. Как могут составлять государство люди, не живущие в одном городе? Что это за форма общности, столь мудреная и чуть ли не мистическая?

Еще раз повторяю: реальность, именуемая государством, – не стихийное общежитие, созданное кровным родством. Государ-

ство начинается с того, что принуждает существовать группы, природно разобщенные. И принуждение – это не голое насилие, но побудительный призыв, общее дело, предложенное разобщенным. Государство прежде всего – план работ и программа сотрудничества. Оно собирает людей для совместного дела. Государство – не общность языка или крови, территории или уклада жизни. В нем нет ничего материального, инертного, предварительного и предельного. Это чистый динамизм – воля к совместному делу, – и потому у государственной идеи нет никаких природных ограничений¹.

Блистателен известный политический девиз Сааведры Фахардо – стрела и под ней надпись: «Или взлетает, или падает». Это и есть государство. Движение, и только движение. Государство каждый миг – нечто достигнутое и устремленное. Как у всякого движения, у него есть *terminus a quo*** и *terminus ad quem****. Остановите в любое мгновение жизнь государства, но только настоящего, и обнаружится единство, которое кажется основанным на том или ином природном признаке – языке, крови, «естественных границах». Статический взгляд убеждает: это и есть государство. Но вскоре обнаруживается, что весь этот человеческий улей занят чем-то объединяющим – завоевывает народы, основывает колонии, объединяется с соседями. Словом, ежечасно преодолевает то, что казалось естественной основой его единства. В этом *terminus ad quem* и заключается подлинная суть государства, чье единство состоит именно в преодолении всякого предварительного единства. Когда этот порыв, устремление вальд иссякает, государство гибнет, и единство, уже достигнутое и, казалось бы, настолько материализованное, – нация,

* Первым среди равных (лат.).

¹ См. мою работу: Спортивная природа государства // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930.

** Исходный пункт, начало (лат.).

*** Конечный пункт, конец (лат.).



язык, природные границы – бессильно помочь: государство разрушается, распадается, рассыпается прахом.

Лишь эта двойственность государственного бытия – единство достигнутое и единство больших масштабов, которое предстоит достичь, – позволяет понять природу национального государства. Известно, что еще не удалось дать определение нации, если брать это слово в его современном значении. Для города-государства то было понятие совершенно четкое, в чем каждый мог убедиться собственными глазами. Но новый тип общности, зародившийся у галлов и германцев, весь политический дух Запада, смутен и неуловим. Филолог и современный историк, по-своему архаичный, так же озадачены этим удивительным явлением, как в свое время Цезарь или Тацит, которые пытались в римских терминах описать зарождающиеся государства за Рейном, Альпами или же за Пиренеями. Они их называли *civitas*, *gens*, *patrio*, сознавая, что ни одно из названий не годится¹. Это не *civitas* уже по той причине, что это не города². Но не удается даже размыслить термин и обозначить им определенную территорию. Новые народы с поразительной легкостью меняют место обитания или по крайней мере расширяют или сужают его. Это и не этнические общности – народы, нации. Самый беглый взгляд убеждает в том, что новые государства сложились из общностей природно независимых. Это – смешение, сочетание кровей. Что же тогда нация, если не общность территории, или крови, или чего-то еще в том же роде?

В этом вопросе, как и в любом другом, помочь может только тщательное следование фактам. Что бросается в глаза, если взглянуть на эволюцию какой-либо из современных «великих наций»? Одна общая

черта: то, что в какой-то момент казалось национальной принадлежностью, в следующий момент оказывается отвергнутым. Сначала нацией кажется племя, а не-нацией – соседнее племя. Потом это союз двух племен, еще позже – нескольких, и вскоре это уже целое графство, или герцогство, или «королевство». Это Леон, но не Кастилия; потом Леон и Кастилия, но не Арагон. Всегда налицо два начала: одно изменчивое и вечно преодолеваемое – племя, союз племен, герцогство, «королевство», с их языками или диалектами, второе – постоянное, которое беспрепятственно пересекает все эти рубежи и домогается такой общности, какая прежде выглядела своей полной противоположностью.

Филологи – к ним я отношу всех, кто претендует сегодня считаться «историком», – упиваются прописными истинами, исходя из того, чем являются сейчас, в этот краткий миг, эти два или три века, европейские нации, и полагая, что Верцингеториксу или Сиду Кампеадору грезилась Франция от Сен-Мало до Страсбурга – и ни пядью меньше – или Гишпаниа от Финистерре до Гибралтара. Эти филологи, как наивные драматурги, почти всех своих героев исправно шлют на Тридцатилетнюю войну. Чтобы растолковать, как получились Испания и Франция, они предполагают, что задолго до того Испания и Франция уже стали едиными в недрах испанских и французских душ. Как будто испанцы и французы появились раньше, чем Испания и Франция! Как будто, чтобы выковать испанца и француза, не потребовался двухтысячелетний труд!

Истина в том, что современные нации выражают собой лишь упомянутое изменчивое начало, обреченное на преодоление. Сегодня это начало – не общность языка или

¹ Допш. Социальные и экономические основы европейской цивилизации. 1924. 2-е изд. Т. II.

² Римляне не решались называть городами варварские поселения ввиду их крайней скудности. *Faute de mieux* (за неимением лучшего) они называли их *sedes ratorum* (становые, стан).



крови, поскольку такая общность в Испании и Франции была результатом, а не причиной государственного объединения; сегодня это начало – «естественные границы».

Дипломату в его фехтовальном искусстве простительно применять понятие естественной границы как *ultima ratio* своих обоснований. Но историку не следует отстаивать его, как последний редут. Он не последний и даже не такой уж важный.

Надо помнить, как именно поставлен вопрос. Следует выяснить, что же такое «национальное государство» – то, которое мы привычно отождествляем с нацией, – сравнительно с другими типами государств, такими, как город-государство или другая крайность – империя, основанная Августом¹. Сформулируем вопрос еще точнее и отчетливее: какая сила сделала реальным то существование миллионов людей под эгидой общественной власти, которое зовется Францией, Англией, Испанией, Италией или Германией? Она не была изначальной общностью крови, так как любой из этих людских массивов орошен самой разноплеменной кровью. Не была она и языковой общностью, так как люди, спаянные сегодня в государство, говорили, а иные и по сей день говорят на разных языках. Относительная общность языка и крови, которой сегодня гордятся – полагая, что стоит гордиться, – позднейший результат объеди-

нения политического. Следовательно, не кровь и язык создают национальное государство – наоборот, это оно уравнивает состав крови и артикуляцию звуков. И так было всегда. Крайне редко государство совпадало, если вообще совпадало, с изначальной общностью крови и языка. Испания сегодня национальное государство не потому, что все в ней говорят по-испански², как и Арагон и Каталония были государствами не потому, что в один прекрасный день, удачно выбранный, их территориальные границы совпали с языковыми. Признавая всю ту казуистику, с которой сталкивает нас любая действительность, ближе к истине было бы предположение, что всякое языковое единство появилось в результате предварительного политического слияния³. Государство всегда было великим толмачом.

Все это старые открытия, и можно лишь удивляться тому упорству, с которым не перестают подлипать национальность языком и кровью. Я нахожу это столь же неблагодарным, сколь и нелепым. Ибо француз существованием своей сегодняшней Франции, как и испанец – своей Испании, обязан тому безымянному началу, чья энергия как раз и преодолевала тесноту кровного и языкового родства. Для того чтобы Испания и Франция сегодня были противоположностью тому, с чего они начинались.

¹ Известно, что созданная Августом империя была противоположностью тому, что приемный отец его, Цезарь, хотел основать. Август действовал в духе Помпея, противника Цезаря. Лучшее, что на сегодняшний день написано об этом, – книга Эдуарда Мейера «Монархия Цезаря и принципат Помпея» (1918). Однако, будучи лучшей, она мне кажется слишком узкой; неудивительно: историков широкого полета сейчас нет. Книга Мейера направлена против Моммзена, который недостижим как историк, и, хотя не трудно упрекнуть его в том, что он идеализирует Цезаря и превращает его в условную и сверхчеловеческую фигуру, суть политики Цезаря он, на мой взгляд, уловил лучше Мейера. Тоже неудивительно: Моммзен был не только великим филологом, но и изрядным футурологом. И прошлое он видит в той мере, в какой провидит будущее.

² Неверно даже и то, что все испанцы говорят по-испански, все англичане – по-английски, а все немцы – на верхненемецком наречии.

³ Сюда, понятно, не относятся *κοινον* (*koinon* (греч.) – литературный греческий) и *lingua franca* (*lingua franca* (лат.) – язык франков) – языки не национальные, а предназначенные для межнационального общения.



К подобному же передергиванию прибегают, когда пытаются утвердить идею нации на территориальной основе, видя начало единства, несоизмеримого с языком и кровью, в географическом мистицизме «естественных границ». Знакомый обман зрения. Моментальный снимок сегодняшнего дня представляет нам упомянутые народы размешенными на широких просторах континента или прилегающих островах. Из сиюминутных рубежей хотят сделать что-то вечное и духовное. Это, как говорят, «естественные границы», и в их «естественности» видится некая магическая предопределенность истории формой земной поверхности. Но миф мгновенно рушится от тех же самых доводов, что отвергли общность языка и крови как исток нации. И здесь тоже, вернувшись на несколько веков назад, застаем Испанию и Францию разобшенными на более мелкие нации со своими собственными, как водится, «естественными границами». Пограничные хребты будут пониже Альп или Пиренеев, а водные рубежи – поуже Рейна, Па-де-Кале или Гибралтарского пролива. Но это говорит лишь о том, что «естественность» границ весьма относительна. Она зависит от экономических и военных возможностей эпохи.

Историческая роль пресловутой «естественной границы» крайне проста: мешать экспансии народа. Народа А против народа В. Поскольку помеха для А – в общении или в завоевании – это защита для В. В понятии «естественная граница», таким образом, открыто обнаруживается куда более естественная, чем сами границы, возможность безграничной экспансии и слияния народов. Очевидно, лишь материальные помехи держат их в узде. Вчерашние и позавчерашние границы кажутся нам сегодня не основами французской или испанской нации, а, напротив, помехами, с которыми национальная идея сталкивалась в процессе объедине-

ния. Несмотря на это, мы силимся сделать окончательными и основополагающими границы сегодняшние, хотя для современных военных и транспортных средств они давно уже не помеха.

Если границы никак не могли быть национальной основой, какова же тогда их роль в образовании наций? Крайне простая и крайне важная для понимания подлинного духа национальных государств по сравнению с городом-государством. Границы служили укреплению уже достигнутого политического единства. Следовательно, они были не основой нации, а, напротив, помехами этой основе и затем, однажды преодоленные, становились естественным средством упрочения единства.

Но точно такую же роль играют язык и кровь. Не природная их общность создала нацию, а, напротив, национальное государство в своем стремлении к единству столкнулось с разноплеменностью и разноразличием в числе прочих помех. Решительно одолев их, оно создало относительное единообразие, расовое и языковое, которое послужило упрочению единства.

Итак, ничего другого не остается, как покончить с давним и привычным передергиванием в вопросах национального государства и привыкнуть смотреть на трех китов, на которых якобы держится нация, как на изначальные помехи ее возникновению. Естественно, разоблачая такое передергивание, я рискую быть заподозренным в том же самом.

Надо отважиться видеть разгадку национального государства в том, что присуще ему именно как государству, в самой его политике, а не в посторонних началах биологического или географического свойства.

Почему на самом деле кажется необходимым обращаться к языку, крови и родной земле, чтобы понять удивительную природу современных наций? Просто потому, что в



них мы наблюдаем близость и солидарность индивида с общественной властью, неведомые государству античному. В Афинах и Риме лишь немногие люди составляли государство; большинство – рабы, союзники, провинциалы, колонны – были только подданными. В Англии, Франции, Испании никто и никогда не был только подданным государства, но всегда – его соучастником, его частью. Форма, особенно правовая, этого единства с государством и внутри его в разное время бывала разной. Сильно различались ступени общественной лестницы, классы относительно привилегированные и классы относительно обездоленные; но если проинтерпретировать политическую ситуацию любой эпохи и воскресить ее дух, неизменно окажется, что каждый человек чувствовал себя субъектом государства, его участником и сотрудником.

Государство, каким бы оно ни было – первобытным, античным, средневековым или современным, – это всегда приглашение группой людей других людских сообществ для совместного осуществления какого-то замысла. Замысел, каковы бы ни были его частности, в конечном счете заключается в организации нового типа общественной жизни. Государство и программа жизни, программа человеческой деятельности и поведения, – понятия неразделимые. Различные классы в государстве рождены теми отношениями, на которых ведущая группа строит сотрудничество с другими. Так, античное государство никогда не достигает слияния с другими. Рим понуждает и воспринимает италийцев и жителей провинций, но никогда не возвышает их до единства с со-

бой. В самом городе не достигнуто политического сплочения граждан. Вспомним, что в республиканском Риме было, строго говоря, два Рима – сенат и народ. Государственное объединение так и не добилося достаточного взаимодействия между различными группами населения, по-прежнему посторонними и чуждыми друг другу. Поэтому в минуту опасности Империя не могла рассчитывать на патриотизм других и должна была защищаться исключительно своими административно-бюрократическими и военными средствами.

Эта неспособность любого греческого и римского сообщества к слиянию с другими обусловлена глубокой причиной, которую здесь не место разбирать подробно и которая в конечном счете сводится к одному: то сотрудничество, что является, хотим мы того или нет, сущностью государства, античный человек понимал просто, примитивно и грубо, а именно как дуализм управителей и управляемых. Риму подобало распоряжаться и не подчиняться, остальным – подчиняться и не распоряжаться¹. Так государство воплощалось в *rotaeum**, в городское тело, физически ограниченное стенами.

Но у новых народов образ государства утратил вещественность. Раз это программа совместного дела, то и выражается она в чистой динамике – в делании, в общности действия. Поэтому действенной силой государства, политическим субъектом становится всякий, кто годится в дело и предан ему, а кровь, язык, географическая и социальная принадлежность отходят на второй план. Не прежняя общность, давняя, привычная или полузабытая, дает права гражданства, а бу-

¹ Подтверждением служит то, что на первый взгляд кажется опровержением, а именно предоставление гражданства всем обитателям Империи. Поскольку предоставлялось оно лишь по мере того, как утрачивало черты политического статуса, превращаясь или просто в повинность и служение государству, или в пустой параграф гражданского права. Другого и не следовало ждать от цивилизации, для которой основополагающим началом было рабство. Для наших «наций» оно было всего лишь пережитком.

* Букв.: незастроенная полоса земли по обе стороны городской стены (лат.).



дущее единство в успешной деятельности. Не то, чем мы были вчера, а то, что мы собираемся сделать завтра, объединяет нас в государство. Отсюда та легкость, с которой политическое объединение на Западе преодолевает рубежи, непреодолимые для государства античного. И европеец рядом с *homo antiquus** выглядит как человек, распахнутый будущему, который мысленно переносится в него и оттуда определяет свою позицию в настоящем.

Таким образом, политическая направленность неумолимо ведет ко все более широкому объединению, которому в принципе ничто не может воспрепятствовать. Возможности слияния безграничны. Слияния не только народа с народом, но даже – и в этом главное своеобразие национального государства – слияния социальных классов внутри каждого политического единства. Чем больше территориально и этнически растет государство, тем больше крепнет внутреннее сотрудничество. Национальное государство демократично по самой своей природе, более глубинной и решающей, чем внешние формы правления.

Любопытно, что все, кто полагает нацию изначальной общностью, сходятся на формуле Ренана как наилучшей, и только потому, что в ней к языку, крови и общим традициям добавляется новый компонент, именуемый «повседневным плебисцитом». Но всем ли понятно это выражение? И нельзя ли придать ему сегодня смысл, обратный тому, что вложил Ренан, и тем не менее оказаться ближе к истине?

VIII

«Общая слава в былом, общее согласие в настоящем, совместные великие свершения, совместная воля к новым свершениям – вот главные условия существования

народа... Позади – бремя славы и ошибок, впереди – единая программа действий... Жизнь нации – это повседневный плебисцит».

Такова знаменитая сентенция Ренана. Чему она обязана редким успехом? Несомненно, удачной концовке. Мысль, что нация – повседневный плебисцит, звучит для нас, как весть о свободе. Кровь, язык и общая память статичны, фатальны, инертны и косны. Это оковы. Если бы нация заключалась только в них, она была бы позади и не требовала бы от нас равным счетом ничего. Это было бы то, что дается, а не то, что создается. И даже защищать ее в минуту опасности не имело бы смысла.

Вольно или невольно человеческая жизнь вечно захвачена чем-то грядущим. Ежесекундно мы прикованы к тому, что будет. Поэтому жизнь – поистине непрерывный и неустанный труд. Почему делать, вообще делать, безразлично что, означает осуществлять будущее? Даже если мы просто вспоминаем. Работа памяти в такие минуты спешит приблизить, немедленно обрести что-то новое, хотя новое – лишь радость от воскрешения прошлого. Эта непритязательная и нелюбимая радость только что, мгновение назад, представлялась нам как желанное будущее; на него и работала память. Ясно одно: буквально все обретает для человека смысл только как функция будущего¹.

Если бы нация держалась лишь настоящим и прошлым, никто бы не стал защищать ее от опасности. Утверждать обратное – это лицемерие или недомыслие. Происходит иное – национальное прошлое отбрасывает ответы своего обаяния, подлинного или мнимого, в завтрашний день. Нам кажется желанным то будущее, в котором наша нация продолжала бы жить. Потому-то мы и встаем на ее защиту, а не в силу общности языка, крови и памяти. Защищаясь, мы защищаем наше завтра, а не наше вчера.

* *homo antiquus* (лат.) – человек античный.



В словах Ренана сквозит именно это: нация – лучший залог завтрашнего дня. Плебисцит голосует за будущее. И то, что будущее оказывается продолжением прошлого, ничуть не меняет сути дела, а единственно лишь доказывает, что и определение Ренана тоже архаично.

Следовательно, государственное начало, воплощенное в национальном государстве, ближе к самой идее государства, чем античный полис или арабский «род», ограниченный узами крови. Действительно, национальное сознание отягчено немалым балластом исторических, территориальных и кровных аттавизмов, но тем удивительнее видеть, как неизменно побеждает иное начало, объединяющее людей притягательной программой жизни. Больше того, я бы сказал, что этот балласт прошлого и относительное пристрастие к чисто природным основам не изначально в европейском сознании, а обязаны тому книжному толкованию, которое дал национальной идее романтизм. Если бы подобный взгляд на национальность утвердился в Средние века, то и Франция, и Англия, и Испания, и Германия так и остались бы недоошенными². Поскольку упомянутый взгляд путает то, что движет и создает нацию, с тем, что укрепляет и сохраняет ее. Отнюдь не па-

триотизм – и скажем это сразу и без обиняков – создал нации. Утверждать обратное – наивность, о которой я уже упоминал и которую сам Ренан допустил в своей прославленной формуле. Если для существования нации необходимо, чтобы люди держались за свое общее прошлое, позволю себе спросить, как бы мы отнеслись к ним в те самые времена, которые сегодня стали для нас упомянутым прошлым. Очевидно, это общее прошлое должно было прекратиться, бесследно пройти, чтобы они наконец могли сказать: «Мы – нация». Не вредит ли здесь корпоративный грех филолога, архивиста, профессиональный угол зрения, который мешает видеть действительность, если она не позавчерашняя? Филолог действительно, чтобы стать филологом, нуждается в прошлом, но нация не нуждается. Напротив: прежде чем занять общее прошлое, надо создать эту общность, а прежде, чем создать ее, надо ее вообразить, захотеть, замыслить. И чтобы нация была, достаточно одного замысла, даже если она не сумеет осуществить его и потерпит крах, как не однажды случалось. Такие нации – например бургунацес – можно было бы назвать неудавшимися.

У жителей Центральной и Южной Америки общее прошлое с испанцами, общий

¹ Согласно сказанному, человек фатально футуристичен – иными словами, он живет преимущественно в будущем и преимущественно будущим. Тем не менее я противопоставляю античного человека европейцу, утверждая, что первый относительно замкнут для будущего, а второй относительно распахнут. Может показаться, что я сам себе противоречу. Но противоречие мнимое, если не упускать из виду, что человек – существо двоякое: с одной стороны, он – то, что есть, а с другой – это его представление о себе, более или менее с ним совпадающее. Разумеется, наши представления, пристрастия и желания не могут упразднить нашу подлинную суть, но могут осложнить и преобразить ее. Античный человек и европейец равно озабочены грядущим, но греко-римляне подчиняют его власти прошлого, а мы предоставляем наибольшую автономию будущему, новизне как таковой. Этот антагонизм, обусловленный не природой, а пристрастиями, позволяет называть европейца футуристом, а античного человека – архаистом. Знаменательно, что едва европейец пробудился и осознал себя, как тут же назвал свою жизнь Новым временем. Новым – значит, отрицающим старое. Еще в конце XIV века (притом в самых жгучих вопросах дня, подчеркивается современность и заходит, например, речь о *devotio moderna* (новом благочестии), своего рода авангардизме в «мистическом богословии».

² Национальный дух чисто хронологически один из симптомов романтизма; оба они появляются в конце XVIII века.



язык, общая кровь, и тем не менее они не образуют единой нации. Почему? Не хватает одного, и, видимо, самого главного, — общего будущего. Испания не сумела создать такую программу коллективного будущего, которая увлекла бы эти близкие народы. И зоологическое родство не помогло. Плебисцит отклонил Испанию, и не выручили ни архивы, ни предки, ни память, ни «отчий край». Все это сплывает, когда есть главное, и только тогда¹.

Итак, я вижу в национальном государстве историческую структуру, родственную плебисциту. Все, чем оно представляется помимо этого, недолговечно и изменчиво, ограничивается содержанием, или формой, или мерой сплочения, избранной плебисцитом. Ренан нашел магическое слово, проливающее свет. Как рентгеновский луч, оно высвечивает потаенную суть нации, состоящую из двух ингредиентов: первый — это план совместного участия в общем замысле и второй — сплочение увлеченных замыслом людей. Эта общая увлеченность и создает ту внутреннюю прочность, которая отличает национальное государство от всех существовавших до него: если там единство создавалось и поддерживалось внешним давлением государства на разнородные группировки, то здесь державная мощь рождается из самопроизвольной и глубинной сплоченности «подданных». В действительности подданные и есть государство и не ошущают его — вот в чем небывалая новизна национального сознания — как постороннюю силу.

И все же Ренан сводит на нет или почти на нет свою удачу, придавая плебисциту ретроспективный смысл, относящийся к уже готовой нации, которую надлежит увековечить.

Я бы предпочел поменять знак и применить формулу к нации *in statu nascendi*^{*}. Это кардинальный угол зрения. Ибо в действительности нация никогда не готова. В этом национальное государство отлично от остальных. Нация всегда или слагается, или разлагается. *Tetrium non datur*^{**}. Сплоченность или обретается, или утрачивается, смотря по тому, насколько жизнеспособен замысел, который воплощает в данную минуту государство.

Поэтому было бы крайне полезно вспомнить целый ряд объединительных замыслов, которыми вдохновлялись человеческие массы Запада. Тогда бы выяснилось, насколько жили этим европейцы — не только в общественном плане, но и в самом житейском, — насколько они «входили в форму» или распускались в зависимости от того, была впереди перспектива или нет.

И еще одно стало бы ясным. Античная государственность именно потому, что она не требовала цементирующего согласия со своими замыслами, сплочения вокруг них, именно потому, что само государство представляло раз навсегда очерченный замкнутый круг — род или город, — была практически безграничной. Персы, македонцы или римляне могли объединить под своей властью часть мира. Поскольку единство не становилось внутренним, подлинным и окончательным, достаточным его условием была военная и административная удачливость завоевателя. Но на Западе национальное объединение неизбежно проходило ряд этапов. Следовало бы больше удивляться тому, что в Европе не возникло ни одной империи, соизмеримой с теми, которые были созданы персами, Александром или Августом.

¹ Сегодня мы свидетели эксперимента, грандиозного и четкого, как лабораторный опыт, — нам предстоит увидеть, удастся ли Англии удержать в державном единстве различные части своей империи, предложив им приятательную программу будущего сотрудничества.

^{*} В состоянии зарождения (лат.).

^{**} Третьего не дано (лат.).



В Европе процесс формирования наций происходил в такой последовательности. Первый этап. Тот сугубо европейский инстинкт, который побуждает мыслить государство как слияние разных народов для политического и духовного сотрудничества, сначала набирает силу среди племен наиболее близких географически, этнически и лингвистически. Не потому, что эта близость – основа нации, а потому, что близкие различия легче преодолеваются. Второй этап. Период консолидации, когда другие народы, за пределами новорожденного государства, воспринимаются как чужие и более или менее враждебные. Это период, когда национальное сознание приобретает оттенок нетерпимости, замыкается внутри государства, – в общем, то, что сейчас мы называем национализмом. Но в действительности, политически воспринимая других как чужеземцев и соперников, экономически, интеллектуально и духовно с ними сотрудничают. Националистические войны ведут к уравниванию материальных и духовных различий. Традиционные враги становятся исторически сходными. Мало-помалу на горизонте брезжит сознание того, что эти враги – такие же люди, как и мы. Тем не менее для нас они продолжают оставаться чужими и враждебными. Третий этап. Государство окончательно упрочилось. И возникает новая цель – присоединить народы, с которыми еще вчера враждовали. Растет убеждение, что по духу и складу они родственны нашему собственному народу и что вместе мы составим национальный союз перед лицом народов более отдаленных и все еще чуждых. Так вызревает новая национальная идея.

Поясню примером. Принято думать, что Испания – *Spania* – была национальной идеей еще во времена Сида, и столь долгую беременность удлинляют еще на несколько столетий, ссылаясь на святого Исихора, упоминавшего «мать-Испанию». Налицо, по-мо-

ему, грубейшее искажение исторической перспективы. Во времена Сида только Леон и Кастилия готовы были слиться в государство, и в этом леоно-кастильском единении и состояла тогда национальная идея, политически осуществимая. *Spania*, напротив, была плодом учености, понятием преимущественно книжным и, так или иначе, одной из тех плодотворных идей, что заронило в западную почву римское владычество. Под началом Рима «испанцы» привыкли быть административным целым, византийской епархией. Но эта административно-географическая общность была не внутренней установкой, а внешним подчинением и стала своего рода неутолимой потребностью.

Как бы ни хотелось датировать испанскую национальную идею одиннадцатым веком, приходится признать, что она не достигала тогда даже той силы и определенности, которой обладало для эллинов четвертого века понятие «Эллада». А ведь Эллада так и не стала подлинно национальной идеей. Реальное историческое сопоставление выглядит так: Эллада для эллинов IV века и *Spania* для «испанцев» XI и даже XIV века была тем же, чем Европа для «европейцев» XIX века.

Отсюда видно, что задачи национального объединения возникают так же своевременно, как звуки мелодии. Вчерашнее сближение должно дожидаться завтрашнего дня, чтобы вызвать бурю национальных чувств. Зато дождется оно почти наверняка.

Сейчас для европейцев наступает пора, когда Европа может обернуться национальной идеей. И куда менее утопично верить в это сегодня, чем предрекать в XI веке единую Испанию. Чем ревностней национальное государство Запада хранит свою подлинную сущность, тем неизбежнее оно высвобождает ее в едином и грандиозном государстве континентальном.



IX

Едва западные нации раздуваются до современных размеров, как вокруг них и под ними, словно фон, возникает Европа. Такова единая панорама, где они движутся с начала Возрождения и сами составляют эту европейскую панораму, которую начинают уже безотчетно отделять от своего воинственного многообразия. Франция, Англия, Испания, Италия, Германия сражаются друг с другом, заключают союзы, расторгают их, создают новые. Но и война, и мир – все это, так или иначе, сосуществование, то, чего Рим ни войной, ни миром не сумел добиться от кельтиберов, галлов, бриттов и германцев. История на первый план выдвигает распри и вообще политику, которая приносит поздние плоды единства, но, пока на одном клочке земли дерутся, на ста торгуют с неприятелем, обмениваются идеями, художественными формами и религиозными догматами. Кажется, что весь этот воинский чад – лишь дымовая завеса, за которой еще упорней делают свое дело крохотные полипы мира, переплетая судьбы враждебных народов. Сходство душ растет с каждым поколением. Или – говоря иначе, построже и с оглядкой, – французская душа, и немецкая, и испанская были, есть и будут сколь угодно разными, но психологически они строятся по одному замыслу, в одном архитектурном стиле и, главное, из одного строительного материала. Религия, наука, право, искусство, общественные и чувственные вкусы становятся общими. Но ведь эта духовная пища – то, чем живут. И родство в итоге оказывается большим, чем если бы все души кроились по одной мерке.

Если ревизовать сегодня наш умственный багаж – взгляды, убеждения, пристрастия, догадки, – нетрудно убедиться, что львиную долю всего этого испанцу дада не Испания, как и француз у не Франция, но общий евро-

пейский фон. В итоге сегодня в каждом из нас весомей то, что в нас есть европейского, а не наши французские, испанские и тому подобные особенности. Если бы воображаемый экспериментатор заставил нас жить лишь тем, что в нас «национально», и фантастическим способом ампутировал у рядового француза все те привычки, мысли и чувства, что внушены ему другими народами континента, результат был бы ужасающим. Оказалось бы, что бедняге нечем жить, что все его внутреннее достояние на четыре пятых состоит из бесхозного европейского скарба.

Не нам, обитателям этой части планеты, гадать, нет ли впереди чего позаманчивей, чем исполнение завета, вот уже четыре столетия заключенного в слове «Европа». Но помехой этому старые национально-государственные предрассудки, взгляд на нацию как на прошлое. Неужели европейцы – тоже дети Лотовой жены и твердо намерены творить историю, оглядываясь назад? Пример Рима и вообще античности должны бы предостеречь нас; крайне трудно людям определенного склада избавиться от идеи государства, раз навсегда засевшей в голове. К счастью, идея национального государства, которую сознательно или безотчетно воплощали европейцы, далека от той книжной, филологической идеи, которую им проповедовали.

Подведем итоги сказанному. Мир сегодня глубоко деморализован, и один из симптомов этого – разнузданный бунт масс, а источником недуга стала Европа. Причин тому много, но одна из главных – перераспределение власти, которую прежде осуществлял над собой и остальным миром наш континент. Европа больше не уверена, что правит, и остальной мир тоже. Историческая верховная власть распалась.

Уже нет «полноты времени», поскольку она предполагает ясное, однозначное и предрешенное будущее, как это было в XIX веке. Тогда не сомневались в том, что про-



изойдет завтра. Но сейчас опять распахнуты неведомые горизонты, ибо неизвестно, кто будет править, какой будет власть над миром. Что означает, какой народ или группа народов, то есть какой этнический тип, а следовательно, – какая идеология, какой свод правил, пристрастий и жизненных установок...

Неизвестно, какой новый источник гравитации вскоре рассортирует и упорядочит человеческую взвесь, и потому жизнь во всем мире погрузилась в непристойное безвременье. Все, что сегодня творится в общественной и частной жизни, вплоть до самого личного, буквально все, за исключением отдельных областей знания, все временно, на скорую руку, все только отсрочка. Кто не верит, пусть оглянется на все то, что ставится сейчас во главу угла, провозглашается, внедряется, превозносится. Все готово исчезнуть еще быстрее, чем возникло. Все, от культа спорта (культа, а не самого спорта) до политического насилия, от «нового искусства» до солнечных ванн на смехотворных модных пляжах. Все это беспочвенно, потому что целиком выдуманно – в худшем смысле слова, низводящем фантазию до пустой причуды. Ничто не вышло из недр самой жизни; ни в чем нет ни подлинной нужды, ни подлинного жара. Короче, все это подделка под жизнь. Все противоречит непритворному складу жизни и одновременно подделывается под него. А жизнь лишь тогда неподдельна, когда все в ней вызвано насущной и непреложной потребностью. Сейчас нет ни одного политика, который ощущал бы свой путь неизбежным, и, чем размашистей его жесты, тем они вздорней, тем меньше в них судьбы. Нет жизни подлинней, природней, самопроизвольней, чем та, что складывается из неотвратимых событий. А все, что в наших руках, все, что мы вольны принять, отвергнуть, заменить чем-то другим, – все это подделки.

Сегодняшняя жизнь – это плод междоусобицы, пустота между двумя формация-

ми исторической власти – той, что была, и той, что назревает. Оттого она временна по самой своей сути. Ни мужчины толком не знают, чему им по-настоящему служить, ни женщины – каких мужчин им по-настоящему любить.

Европейцы неспособны жить, если они не захвачены каким-то великим связующим замыслом. Когда его нет, они опускаются, обмякают, поддаются душевной усталости. Нечто подобное уже происходит сейчас. Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея. С ними нечего больше делать, кроме одного – преодолеть их. Сегодня это уже только прошлое, которое копится под ногами европейца, обступает, угнетая и отравляя его. При большей, чем когда-либо, жизненной свободе особенно остро чувствуется, как удушлив воздух внутри каждой нации, ибо это воздух тюрьмы. Национальные государства, с их когда-то вольной атмосферой открытости и свежести, обернулись захламлением и превратились в «интерьер».

Все ощущают необходимость новых основ жизни. Но некоторые, как обычно и происходит при подобных кризисах, пытаются спасти положение, искусственно усугубляя и доводя до крайности именно отжившую основу. В этом объяснение «националистического» взрыва в наши дни. И так, повторяю, происходило всегда. Последний жар долгие гаснет. Последний вздох – самый глубокий. Границы перед отмиранием болезненно воспаляются – и военные, и экономические.

Но всякий национализм – тупик. Метя в завтрашний день, упираются в стену. Здесь путь обрывается и не ведет никуда. Национализм – это шарханье в сторону, противоположную национальному началу. Оно собирательно, а национализм исключителен и лишь отторгает. Однако в пору упрочения нации он в почете и играет положительную роль. Но в Европе все уже слишком упрочено



но, и сегодня национализм не больше чем мания, способ уклониться от великих замыслов и творческого долга. Та простота, с которой он орудует, и тот сорт людей, которых воспламеняет, с головой выдают его враждебность историческому творчеству.

Только решимость европейских народов сплотиться в одну великую нацию могла бы оживить пульс Европы. К ней вернулась бы вера в себя и попутно – требовательность к себе и дисциплина.

Положение дел намного хуже, чем принято считать. Годы идут, и растет опасность, что европеец смиритсЯ с тем минорным существованием, в котором прозябает, что он разучится управлять и другими, и собой. Тогда все его достоинства и дарования развеются прахом.

Но объединению Европы противятся, как и всегда при строительстве государства, консервативные классы. Это грозит им катастрофой, ибо к абстрактной опасности, что Европа деморализуется окончательно и утратит всю свою историческую энергию, добавляется весьма конкретная и неминуемая. Когда в России победи коммунизм, многие уверились, что красная лава затопит весь Запад. Я не разделял этих страхов. Напротив, я в те годы писал, что русский коммунизм – это снадобье, противопоказанное европейцам, человеческой касте, поставившей все свои силы и все свое рвение на карту Индивидуальности. Время прошло, и вчерашние паникеры обрели спокойствие. Обрели только сейчас, когда самое время его утратить. Потому что сейчас победный вал коммунизма действительно может затопить Европу.

Я исхожу из следующего допущения: сейчас, как и прежде, русский символ коммунистической веры не привлекает европейцев, не убеждает и не рисует им желанного будущего. И не от убогости доводов, которые

ми его апостолы, упрямые, глухие и недоворосовестные, как и все апостолы, привыкли жонглировать. Западные буржуа отлично знают: кто живет только на ренту и передал ее детям, тот и без коммунизма долго не протянет. Европейский иммунитет к большевистской вере обязан не догматам и уж тем более не страху. Сейчас нам кажутся довольно смехотворными те произвольные допущения двадцатилетней давности, на которых Сокольский строил свою тактику насилия. Буржуа далеко не так боязливы, как ему думалось, и сегодня склонны к насилию куда больше, чем рабочие. Ни для кого не тайна, что если в России большевизм победил, то победил потому, что в России не было буржуазии¹. Фашизм, явление мелкобуржуазное, превзошел насилием все рабочее движение, вместе взятое. В общем, иная причина мешает европейцу на всех парах двинуться к коммунизму. Причина изначальная и простая – ему не кажется, что коммунистическая организация прибавит человеку счастья.

И все же, повторяю, более чем вероятно, что в скором времени Европа станет восторгаться большевизмом. И не благодаря ему, а несмотря на него.

Представим, что исполинский «пятилетний план» осуществит цели, преследуемые правительством, и гигантская русская экономика будет не только восстановлена, но и расцветет. Какова бы ни была суть большевизма, это грандиозный пример человеческого замысла. Люди взяли на себя судьбу переустройства, и напряженная жизнь их – подвижничество, внушенное верой. Если мировая материя, глухая к порывам человеческого духа, не задушит это начинание, оставив ему хоть какую-то степень свободы, ответ великого замысла просияет на европейском горизонте, как новорожденная звезда. Неужели Европа, влача свое полурастительное

¹ Одно это уже убеждает раз и навсегда, что социализм Маркса и большевизм – два исторических феномена, у которых едва ли есть общие точки соприкосновения.



существование, дряблкое и недостойное, без новой жизненной программы, сумеет устоять перед заразной силой такого вдохновляющего примера? Надо плохо знать европейца, чтобы думать, будто он не загорится, услышав этот призыв к новому делу и не найдя под рукой другого, но столь же высокого знамени, достойного быть поднятым наперекор. Не так уж невероятно, что европейец, с его жаждой служить чему-то, что сделает жизнь осмысленной, и уйти от пустоты своего существования, подавит внутренний протест и будет захвачен пусть не самим коммунизмом, но его нравственным порывом.

В строительстве Европы как великого национального государства я вижу единственное, что можно противопоставить победе «пятилетнего плана».

Знатки политэкономии уверяют, что такая победа маловероятна. Но слишком низко было бы антикоммунистам уповать на материальные трудности противника. Его крах означал бы всеобщее поражение, всех и вся, крах современного человека. Коммунизм — это крайне странная нравственность, но это нравственность. Не достойней ли и плодотворней противопоставить его славянской морали обновленную западную, новый жизненный стимул?

XV. ПЕРЕХОДЯ К СУТИ ДЕЛА

Суть такова: Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы ни твердила молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из знатоков нового

ethos* нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о «новой» — значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных путей¹.

Так что наивно укорять современного человека в безнравственности. Это не только не заденет, но даже польстит. Безнравственность нынче стала ширпотребом, и кто только не шеголяет ею.

Если отвлечься, как мы и делали, от пережитков прошлого — христиан, идеалистов, старых либералов и т.д., — то среди современных альянсов не найдется ни одного, который не исходил бы из убеждения, что за ним числятся все права и ни единой обязанности. Неважно, рядаются ли при этом в реакционеров или революционеров: под любой личиной и при любом удобном случае решительно отбрасывают обязанности и притязают, сами не ведая почему, на неограниченные права.

Что бы ни одушевляло, все сводится к одному и становится предлогом не считаться ни с кем и ни с чем. Если кто-то играет в реакционера, то наверняка для того, чтобы под видом спасения отечества и государства сровнять с землей все остальное и с полным правом топтать ближнего, особенно, если тот чего-то стоит. Но и в революционеров играют с той же целью: наружная одержимость судьбой угнетенных и социальной справедливостью служит маской, освобождающей от досадной обязанности быть правдивым, терпимым и, главное, уважать человеческие достоинства. Я знаю немало людей, которые вступили в ту или иную рабочую партию лишь затем, чтобы обрести внутреннее право презирать интеллигенцию и не смотреть на нее снизу вверх. Что же до диктатур, то мы уже налюбовались, как там льстят толпе и топчут все, что выше ее уровня.

* нравы (греч.).

¹ Не знаю, найдется ли сейчас десяток людей, рассеянных по миру, которые видят воочию ростки того, что со временем действительно может стать новой моралью. И, уж конечно, не эти люди делают погоду.



Отвращением к долгу отчасти объясняется и полусмешной-полупостыдный феномен нашего времени – культ «молодежи» как таковой. Все от мала до велика подались в «молодые», прослышав, что у молодых больше прав, чем обязанностей, поскольку последние можно отложить в долгий ящик и приберечь для зрелости. Молодость как таковую всегда освобождали от тяжести свершений. Она жила в долг. По-человечески так и должно быть. Это мнимое право ей снисходительно и ласково дарят старшие. И надо же было настолько одурманить ее, что она и впрямь сочла это своим заслуженным правом, за которым должны последовать и все прочие заслуженные права.

Как ни дико, но молодостью стали шантажировать. Вообще мы живем в эпоху всеобщего шантажа, у которого два облика с дополняющими друг друга гримасами – угрозой насилия и угрозой глумления. Обе служат одной цели и равно пригодны для того, чтобы людская пошлость могла не считаться ни с кем и ни с чем.

Поэтому не стоит облагораживать нынешний кризис, видя в нем борьбу двух моралей или цивилизаций, обреченной и новорожденной. Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее – всегда в подчинении чему-то, в сознании служения и долга. Но слово «попросту», пожалуй, не годится. Все гораздо сложнее. Попросту взять и избавиться от морали невозможно. То, что грамматически обозначено как чистое отсутствие – без-нравственность, – не существует в природе. Если вы не расположены подчиняться нравственным устоям, будьте

любезны подчиниться иной необходимости и, *velis nolis**, жить наперекор им, а это уже не безнравственность, но противонравственность. Не просто отрицание, но антимораль, негатив, полный отток морали, сохранивший ее форму.

Как же умудрились уверовать в антиморальность жизни? Несомненно, к этому и вела вся современная культура и цивилизация. Европа пожинает горькие плоды своих духовных шатаний. Она стремительно катится вниз по склону своей культуры, достигшей невиданного цветения, но не сумевшей укорениться.

В этой работе я попытался обрисовать определенный тип человека и главным образом его взаимоотношения с той цивилизацией, которой он порожден. Это было необходимо потому, что персонаж моей книги знаменует собой не торжество новой цивилизации, а лишь голое отрицание старой. И не надо путать его психограмму с ответом на главный вопрос: каковы же коренные пороки современной европейской культуры? Ведь очевидно, что ими в конечном счете и обусловлено сегодняшнее преобладание этой человеческой особи.

Но такой ответ ввиду непомерной трудности вопроса выходит за рамки книги. Понадобилось бы развить во всей полноте ту концепцию человеческого существования, которая здесь едва намечена и звучит побочно. Об этом говорится вскользь и вполголося, а скоро, быть может, придется кричать.

1930

* Волей-неволей (лат.).





ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ "ВОССТАНИЯ МАСС"



та книга – если признать ее книгой – датируется... Публиковать она начала в 1926 году в мадридской газете, и на содержании, слишком человеческом, не могло не сказаться время. К тому же бывают периоды, когда мир убыстряется и движется с головокружительной скоростью. На нашу долю выпала одна из таких эпох, чересполосица подъемов и падений. Поэтому события обогнали книгу. Немало предвидений в ней сделанных, вскоре сбылось и уже стало прошлым. Кроме того, за годы хождения этой книги вне Франции многие ее положения дошли до французского читателя в анонимном виде и успели стать общим местом. Словом, налицо прекраснейшая возможность совершить доброе дело, самое гуманное в наши дни, – не печатать лишнюю книгу. Сам я так и поступал – вот уже пять лет, как издательство Stok предложило мне перевести эту вещь. Однако я убедился, что органическое целое изложенных в ней мыслей французскому читателю неизвестно, и верно оно или нет, но предложить его для читательских размышлений и критики представляется нелишним.

В последнем я не слишком уверен, но это не столь уж и важно. Важно, однако, чтобы к чтению приступали без напрасных надежд. Перед вами всего-навсего ряд статей, опубликованных в мадридской газете. Как почти все мной написанное, эти страницы адресованы немногим испанцам, с которыми свела меня судьба. Кто поручится, что мои слова, сменив адресата, донесут до французов то, что собирались? Трудно рассчитывать на удачу, особенно мне, убежденному, что говорить – занятие призрачное, куда призрачней, чем принято думать. Впрочем, как и все или почти все, что делает человек. Речь именуется средством для выражения наших мыслей. Но всякое опре-

деление верно, если оно иронично и подразумевает исключения, а воспринятое иначе – ведет к печальным недоразумениям. Так уж повелось.

Не суть важно, что речь – это еще и средство скрывать мысли, то есть попросту лгать. Ложь не могла бы существовать, не будь наша речь изначально и обычно искренней. Фальшивая монета ходит, опираясь на доверие к полноценной; в конце концов, обман – лишь убогий прихлебатель честности. Нет, не этим опасно вышеупомянутое определение – опасно то благодушие, с которым мы привыкли его выслушивать. Ведь само по себе это определение не уверяет нас, что с помощью языка мы можем выразить все наши мысли достаточно адекватно. Этого оно нам не обещает, но и не позволяет также взглянуть в лицо истине: люди не понимают друг друга и, обреченные на фатальное одиночество, изнемогают от усилий достучаться к ближнему. Язык – одно из этих усилий, способное иногда с наименьшей приблизительностью выявить то, что творится у нас внутри. Только и всего. Но обычно мы не пользуемся этими исключениями. Наоборот, когда человек раскрывает рот, он делает это потому, что верит, будто может высказать все, что думает. Это иллюзия. Язык не дает нам такой возможности. Он передает, более или менее, часть того, что мы думаем, и ставит неодолимую преграду перед остальным. Если для математических изложений и доказательств он еще пригоден, то применительно к физике уже неточен и недостаточен. И соответственно, когда речь заходит о более важном, более человеческом, более «реальном», неточность, неясность и неуклюжесть языка стремительно нарастает. Следуя застарелому предрассудку, мы говорим и слушаем с такой простодушной уверенностью, что не-



редко понимаем друг друга хуже, и намного хуже, чем в те минуты, когда молча силам угадать чужие мысли.

Упускается из виду, что говорить – это не просто говорить что-то. Всегда кто-то говорит кому-то, всегда налицо передатчик и приемник, отнюдь не сторонние к значению слов. И значение меняется, когда меняются они. *Duo si dicunt, non est idem**. Слово условно. По сути своей речь – это диалог, и все иные виды речи уступают ему в действенности. Думаю, что книга лишь тогда хороша, когда втягивает нас в потаенный диалог и мы чувствуем, что автор умеет конкретно видеть своего читателя, а последний способен ошутить руку, которая тянется к нему из-за строк, чтобы приласкать либо дать пощечину.

Злоупотребление словом подорвало к нему доверие. Злоупотребление, как водится, состояло в неосторожном употреблении, без знания возможностей инструмента и пределов этих возможностей. Почти два века считалось, что говорить – значит говорить *urbi et orbi***, то есть говорить всем и никому. Я ненавижу эту манеру и страдаю, когда не знаю конкретно, кому я говорю.

Рассказывают, не настаивая, впрочем, на достоверности, что в юбилей Виктора Гюго были устроены торжества в Елисейском дворце, где соревновались в поздравлениях представители разных стран. Великий Гюго стоял посреди приемного зала в позе статуи, опершись локтем о камин. Посланники представляли перед публикой и вручали торжественный адрес гению Франции. Церемониймейстер голосом Стендора объявлял: «Представитель Англии!» И Виктор Гюго с драматической дрожью в голосе, закатив глаза, восклицал: «Англия! О Шекспир!» Глашатай продолжал: «Представитель Испании!» И Виктор Гюго возводил очи горе: «Испания!

О Сервантес!» Герольд: «Представитель Германии!» И Виктор Гюго: «Германия! О Гете!»

И вдруг очередь дошла до невзрачного господина, плутовского, обрюзгшего и слегка косолопного. Церемониймейстер объявил: «Представитель Месопотамии!» Виктор Гюго, дотоле невозмутимый и неуязвимый, осекся. Его глаза стали тревожно блуждать, словно он искал что-то в недрах мироздания и не находил. Однако нашел и вновь почувствовал себя хозяином положения. Кургузого представителя он почтил с тем же уверенным пафосом: «Месопотамия! О человечество!»

Упоминаю об этом с единственной целью – заверить, без вышесказанной торжественности, что я никогда не писал для Месопотамии и не говорил с человечеством. Апелляция к человечеству, самая величаявая и потому самая низменная черта демократии, вошла в моду где-то к 1750 году благодаря увлекшимся интеллектуалам, которые заблуждались относительно себя и своих размеров и, будучи по роду деятельности ораторами, людьми логоса, употребляли последний без оглядки и почтения, забыв, что слово – таинство и требует особого подхода.

Утверждение, что у слова слишком ограниченный радиус действия, казалось бы, опровергается тем фактом, что эта книга нашла читателей почти во всех европейских странах. Думаю, однако, что сей факт говорит скорее о другом и крайне серьезном – о пугающе однородном состоянии, к которому скатывается Запад. Со времени появления книги благодаря механизму, в ней же и описанному, однородность обрела уже тревожный масштаб. Говорю «тревожный» потому, что переживаемые какой-либо страной трудности тиражируются и множат свое гнетущее воздействие, поскольку каждый, кто их терпит, убеждается, что вряд ли есть уго-

* Двое, говоря одно, говорят разное (лат.).

** Городу и миру (лат.).



лок в Европе, где не творится абсолютно то же. Прежде, чтобы проветрить застойный воздух страны, достаточно было распахнуть окна в соседнюю. Сегодня это бесполезная затея, поскольку в смежном помещении так же затхло. Отсюда гнетущее чувство удушья. Иов, этот отчаянный *pince-sans-pire**, вопрошал своих доброжелателей, странствующих по миру купцов: «Но где премудрость обретается? И где место разума?»

Тем не менее, в этой уравнительности различаются две величины, разнонаправленные и полярные по своей сути.

Рой европейских народов, влетевший в историю с развалин античного мира, всегда жил двойственной жизнью. Сложилось так, что хотя каждый народ обретал свой особый облик, между ними, или скорей над ними, вырастал общий свод идей, пристрастий и стремлений. Больше того. Ход событий, делавший народы все более однородными и одновременно все более разрозненными, может быть понят лишь во всей его парадоксальности. Потому что однородность не противилась разнообразию. Напротив, она лишь расцветала всякий раз, как появлялось новое единообразующее начало. Христианская идея рождает национальные церкви, тень Римской империи вызывает к жизни разнообразные формы государства, «возрождение классиков» в XV веке разводит литературные дороги во все концы, унитарный взгляд на человека как на «чистый разум» создает различные стили мышления вплоть до самых крайних математических абстракций. И наконец, в довершение всего, даже сумасбродная идея XVIII века, согласно которой все народы должны иметь одинаковое устройство, приводит к романтическому результату – пробуждению национального самосознания, что ведет каждого из нас к осознанию собственного призвания.

И для всех этих народов, именуемых европейскими, жить означало всегда – по крайней мере, начиная с XI века, с Оттона III, – двигаться и действовать в общем пространстве. Другими словами, для каждого из них существовать означало сосуществовать с остальными. Безразлично, становилось ли это сосуществование мирным или воинственным. У внутриевропейских войн почти всегда была любопытная черта, делавшая их похожими на домашние скандалы. Они не замыслили стереть врага с лица земли и были скорее войнами состязательными, борьбой соперников, подобной потасовкам парней или спорам наследников. Каждый на свой лад, но все шли к одному. *Eadem sed aliter.*** В общем, как говорил Карл V о Франциске I: «Мой кузен Франциск и я полностью единодушны – оба хотим Милан».

Вовсе не обязательно, чтобы общее историческое пространство, где западный человек чувствует себя как дома, совпадало с тем физическим пространством, которое география именует Европой. Историческое пространство измеряется длительностью сосуществования, это пространство общественное. Сосуществование и общество – равнозначные понятия. Общество создается самим фактом сосуществования. Последнее неизбежно и самопроизвольно вырабатывает обычаи, нравы, язык, право и политический строй. Одной из грубейших ошибок «нового» мышления, от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Но общество и объединение – понятия едва ли не полярные. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольное согласие предполагает существование общества, людей, которые сосуществуют, и согласие лишь уточняет ту или иную форму этого сосуществования, этого обще-

* Каверзник (*фр.*).

** То же, да не то (*лат.*).



ства, которое уже имеется. Полагать общество договорным, то есть юридическим, объединением – нелепейшая попытка поместить телегу впереди лошади. Потому что право, реальность «права», а не соображения на этот счет философа, юриста или демагога, – это, выражаясь метафорически, непроизвольная секреция общества, продукт его жизнедеятельности, и не может быть чем-то иным. Прошу прощения за категоричность, но добиваться, чтобы право устанавливало отношения между людьми, еще не составившими общества, значит иметь самое курьезное представление о праве.

Неудивительно однако, что такое представление господствует, потому что европейцы – и в этом одна из главных бед нашего времени – перед лицом жесточайших потрясений оказались плохо экипированными, с самыми нескладными и устарелыми понятиями об обществе, коллективности, личности, жизнеустройстве, законах, справедливости, революционности и т.д. Немало смут нашего века – от несоответствия между высочайшим уровнем физических идей и скандальным состоянием наших «гуманитарных знаний». Таковые и у министра, и у профессора, у знаменитого физика и литератора – на уровне местечкового парикмахера. Надо ли удивляться, что последний задает тон везде и во всем?

Но вернемся к сути. Я пытался внушить, что европейские народы – общество в том же смысле слова, какой применяется к каждому из народов, в него входящих. У этого единства все признаки общества: существуют европейские нравы, европейские обычаи, европейское общественное мнение, европейское право, европейская политическая власть. Но все эти общественные признаки существуют на той стадии развития, на которой находится это европейское общество, уступающее в развитии своим составным частям – национальным государствам.

Поясню. Форма социального принуждения, каким является власть, есть в любом обществе, включая самые примитивные, где нет еще специальных институтов такого принуждения. Если подобный, специально выделенный институт именовать государством, можно сказать, что в иных обществах нет государственной власти, но говорить, что там нет власти вообще, нельзя. Может ли не быть ее там, где есть общественное мнение, если власть – всего лишь оружие, им заряженное? Ну а то, что европейское общественное мнение существует не один век, и мощь его все растет, равно как и умение манипулировать им, оспаривать не приходится.

Посему советую читателю сдержать ухмылку, когда в последних главах моей книги он натолкнется на крайне смелое, в нынешних обстоятельствах, утверждение о возможном государственном единстве Европы. Не спорю, что Соединенные Штаты Европы – одна из самых расхожих фантазий, и не приемлю того смысла, который в это словосочетание вкладывается. Но с другой стороны, кажется невероятным, чтобы такое зрелое общество, как общность европейских народов, не двигалось к созданию государственного механизма, который конкретизировал бы уже существующую европейскую общественную власть. Не склонность к фантазиям и не тяга к «идеализму», которого я не терплю и с которым всю жизнь борюсь, заставляют меня так думать. Это исторический реализм помогает мне видеть, что Европа как единое общество – не какой-то «идеал», а данность, давным-давно ставшая повседневной. А раз уж это очевидно, возможность общего государства становится необходимостью. Толчком к завершению этого процесса может послужить что угодно – к примеру, появление за Уралом китайской косички или извержение мусульманской лавы.

Это национальное государство будет, разумеется, выглядеть иначе, чем привыч-



ные уже формы, подобно тому, как наши национальные государства отличаются от античных государств-городов. На страницах книги я пытался рассвободить умы, чтобы они сумели остаться верными традиционной европейской идее государства и общества.

Античной мысли всегда было нелегко представить себе мир как динамическое равновесие. Она не могла оторваться от видимого и его подобию, как ребенок от книги, в которой ему понятны только картинки. Все усилия древних философов преодолеть эту ограниченность были тщетными. В их попытках понять неизменно присутствует, как парадигма, материальный объект, который для них «вещь» по преимуществу. Им удавалось представить лишь такое общество, такое государство, в котором единство принимало форму зримого соприкосновения, соседства, – например, город. Совершенно иначе мыслит европеец. Для него все видимое – именно вследствие своей очевидности – всего лишь внешняя личина скрытой силы, которая непрерывно создает эту видимость и является ее подлинной реальностью. Там, где действующая сила, *dynamis*^{*}, объединяет, там реально существует единство, хотя внешние свидетельства этого могут выглядеть чем-то разрозненным.

Было бы по-античному ограниченным видеть общественную власть лишь там, где она носит уже привычную и как бы сросшуюся с обществом личину государственной, то есть в отдельных европейских странах. Решительно не согласен, что реальная власть общества в каждой из них проявляется исключительно во внутренней или национальной политике. Надо сразу сказать, что вот уже много веков европейские народы живут – и по меньшей мере четыре века сознают это – под властью, которая по своей сугубо

динамической природе не поддается никакому иному определению, кроме почерпнутого из области механики – «европейское равновесие» или *balance of power*^{**}.

Это и есть историческое европейское правительство, которому подчиняется в своем полете рой народов, дружных и неуживчивых, словно пчелы, слетевшие с руин античного мира. Единство Европы – не фантазия, а самая что ни на есть реальность; как раз фантазия – это вера в то, что Франция, Германия, Италия или Испания действительно самостоятельны и независимы.

Понятно, что не для всех европейская реальность очевидна, потому что Европа – не «вещь», а равновесие. Еще в XVIII веке историк Робертсон назвал европейское равновесие «*the great secret of the modern politics*»^{***}.

Секрет великий и, бесспорно, парадоксальный! Ибо равновесие сил – это реальность, основанная на множественности, на плюрализме. Если он исчезнет, это динамическое единство развеется. Европа действительно рой – множество пчел в едином полете.

Эту единую природу великолепного европейского разнообразия я бы назвал здоровой общностью, плодотворной и желанной, заставившей еще Монтескье сказать: «Европа – единая нация, состоящая из многих», а Бальзака – повторить в более романтическом ключе: «Великая континентальная семья, все силы которой отданы бог ведает какому таинству цивилизации».

Это европейское разноцветье, которое коренится в изначальном единстве, и, выглядевшая наружу, питает его, – драгоценнейшее достояние Запада. Столь акробатическая идея общности, при которой надо без устали

^{*} Сила (греч.).

^{**} Равновесие сил (англ.).

^{***} Великий секрет современной политики (англ.).



кувыркаться, перескакивая от утверждения плюрализма к осознанию единства и наоборот, не для тупых мозгов. Темные головы природа фабрикует для восточных деспотий.

Однако сейчас на всем континенте утверждается форма общности, грозящая уничтожить наше достояние. Повсеместно воцаряется массовый человек, предмет моей книги, человеческий тип, изготовленный на скорую руку из немногих и немудреных абстракций и потому по всей Европе, из конца в конец, одинаковый. Это ему европейская жизнь обязана сегодня своим растущим удушливым однообразием. У этого массового человека одновременно отбита историческая память, выхолощено прошлое, и потому он податлив для всяческих назиданий, именуемых «интернациональными». Это не столько человек, сколько оболочка, муляж человека, подобие пустотелых идолов, которому недостает «нутра»; в нем нет личностного начала, непреклонного и неотчуждаемого, нет того «я», которое нельзя упразднить. Поэтому он вечно кого-то изображает и полагает, что у него есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности и что вообще «благородство обязывает». Его-то оно не обязывает ввиду полного отсутствия: это человек *sine nobilitate* – snob¹.

Этот вселенский снобизм, характерный и для рабочей среды, закупорил души, уже не способные понять, что если мы хотим преобразить весь сегодняшний строй европейской жизни, то делать это надо без непоправимой утраты ее внутреннего многообразия. Поскольку у сноба нет предназначения, нет собственной судьбы, которую некому препоручить, нет дела, для которого он рожден, он совершенно неспособен представить, что существуют призвание и служение, самые разные. Поэтому к либерализму

он питает такую же неприязнь, как глухой к словам. Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя.

Сегодня всем миром ниспровергают и поносят старый либерализм с удивительным единодушием. Это подозрительно. Людей, как правило, спланивает агрессивность и неразумие. Я не утверждаю, что старый либерализм единственно прав. Да и как ему быть таковым, если он старый и он «изм»? Но я утверждаю, что его общественные воззрения глубже и ценнее, чем коллективизм его хулителей, основанный на невежестве. Либерализм был дальновидней и проникательней в отношении Европы и обладал завидной интуицией.

Когда, например, Гизо, противопоставляя европейскую цивилизацию иным, отмечает, что она никогда не знала абсолютного господства какой-либо одной идеи, принципа, сословия или класса, слух невольно настораживается. Этот человек знает, что говорит. Фраза недостаточна, поскольку негативна, но доносит до нас увиденное в упор. От него, как от всплывшего водолаза, исходит запах глубин, и чувствуется, что этот человек действительно вернулся из недр европейского прошлого, куда сумел погрузиться. Просто невероятно, что в самом начале XIX века, во времена сумятицы и риторики, возникает такая книга как «История цивилизации в Европе». Она и сегодня учит видеть, как нераздельны свобода и плюрализм и как неизменно они были душой Европы.

Я предложил бы читателю несколько тезисов – не для того, чтобы он с ними согласился, но чтобы взвесил за и против и сделал выводы.

¹ В Англии при переписи населения указывалась профессия и сословие. Рядом с фамилиями простых горожан ставилась аббревиатура *s.nob.*, то есть *sine nobilitate* (неблагородный, черны). Так произошло слово «сноб».



I. Персоналистский либерализм – плод XVII века; отчасти он воплотился в законодательстве Французской революции и угас вместе с нею.

II. Детищем XIX века стал коллективизм. Идея коллективизма была первым открытием новорожденного века, и на протяжении ста лет она лишь росла и развивалась, пока не заслонила горизонт.

III. Эта идея – французского происхождения. Впервые она появляется у архиреакционеров Луи де Бональда и Жозефа де Местра. Ее суть немедленно подхвачена всеми, кроме разве что Бенжамена Константа, этого «перезитка» прошлого. Но апогея она достигает у Сен-Симона, Баянша, Конта и пускает ростки повсюду. Например, лионский врач М. Амар еще в 1821 году персонализму противопоставил коллективизм.

Но куда важнее другое. Когда по ходу века мы приближаемся к великим теоретикам либерализма – Стюарту Миллю и Спенсеру, – то с удивлением обнаруживаем, что предполагаемая защита личности строится не на запросах личности и ее заинтересованности в свободе, а совершенно противоположным образом – на запросах и интересах общества. Войнственное название, которое Спенсер выбрал для своей книги «Личность против государства», превратно понято теми, кто читает одни названия. Поскольку «личность» и «государство» в этом названии – всего лишь органы единственного персонажа книги – общества. И обсуждается лишь одно – какой из этих органов лучше служит определенным общественным интересам. Только и всего. Пресловутый «индивидуализм» Спенсера постоянно боксирует в коллективистской среде спенсеровской социологии. В конечном счете он, как и Стюарт Милль, обращается к личности с той же общинной безжалостностью, с какой термиты обходятся с иными своими собратьями, которых откармливают, дабы потом

высосать. Таков был примат коллективизма, общий фон, очевидный сам по себе, что бы там ни выпящивали его простодушные идеи.

Отсюда понятно, почему моему лознгрину порыву встать на защиту старого либерализма недостает убежденности и убедительности. Причина в том, что я не «старый либерал». Открытие коллективного было бесспорно значительным и фундаментальным, но слишком недавним. Люди не столько увидели, сколько ошупью натолкнулись на ту истину, что коллектив не сводится к простой сумме индивидов, и толком не разобрались, что он такое и каковы его свойства. Кроме того, социальные условия времени затемняли подлинную экономику коллектива, поскольку тогда ей вменялось в обязанность хорошо питать индивидов. Не настал еще час обезлички, расхищения и дележа на всех уровнях.

Поэтому «старые либералы» слепо доверились коллективизму, едва вдохнув его воздух. Но когда непредвзятому взгляду ясно, что этот социальный феномен таит в себе не только преимущества, но и опасности, необходим радикально новый либерализм, не столь наивный и порядком искушенный в ратном деле, либерализм, который уже дает ростки и вот-вот возникнет на горизонте.

Эти люди отнюдь не страдали близорукостью, и было бы странно, если бы время от времени они не догадывались о тех мытарствах, которые готовил нам их век. Вопреки общепринятому мнению, угадывать будущее – для истории обычная вещь. У Маколея, Токвиля, Конта мы находим эскизы сегодняшнего дня. Перечтите написанное Стюартом Миллем больше восьмидесяти лет тому назад: «Исключая особые взгляды отдельных мыслителей, в мире растет и все усиливается стремление утвердить в самых крайних формах власть общества над индивидуумом, посредством как общественного мнения, так и законодательства. Поскольку



все перемены, происходящие в жизни, ведут к росту общественных сил и подавлению индивидуальных, это половодие зла не спадет само по себе, а, напротив, будет становиться все более угрожающим. Стремление людей, будь то правители или сограждане, навязать другим как норму поведения свои мнения и вкусы, находит такую решительную поддержку со стороны как наилучших, так и наихудших свойств человеческой природы, что не довольствуется ничем, кроме полноты власти. И поскольку эта власть явно не клонится к упадку, а, напротив, растет, следует ожидать, если только мошная преграда нравственности не встанет на пути зла, следует ожидать, повторяю, что при современном состоянии мира упомянутое стремление будет лишь возрастать».

Но особенно близка нам в Стюарте Милле его обеспокоенность «дурной однородностью», в которую на его глазах погружалась Европа. Поэтому он так ухватился за великую мысль, высказанную в молодости Гумбольдтом. Чтобы человеческая природа расцветала, крепла и совершенствовалась, необходимо, согласно Гумбольдту, «многообразие ситуаций». Внутри одного народа или в сообществе народов необходима разнообразная среда, самые различные обстоятельства и возможности. Тогда, если один выход закроется наглухо, останутся распахнутыми другие. Безрассудно ставить европейскую жизнь на одну-единственную карту, делать ставку на один и тот же человеческий тип, на одну и ту же «ситуацию». Стремление избежать этого – секрет европейских успехов, и все, что звучало, внятно или невнятно, из уст неистребимого европейского либерализма, рождено сознанием упомянутого секрета. В этом сознании распознавал себя как безусловную ценность, как благо, а не как зло, европейский плюрализм. Я должен был все это прояснить, чтобы выдвинутая в моей книге идея европейского сверхгосударства

не толковалась превратно. Пока все идет так как есть и «многообразие ситуаций» упорно сокращается, мы движемся прямой дорогой к византийшине. Тогда ведь тоже было время масс и зловещей однородности.

Еще при Антонинах с имперским населением начало твориться нечто странное, историками едва замеченное и не исследованное как должно, – люди стали глупеть. Процесс шел уже давно. Считается, и не без основания, что стоик Посидоний, учитель Цицерона, был последним человеком античности, способным подойти к явлениям пылливо и деятельно, с готовностью их исследовать. После него началась закупорка мозгов, и все, кроме александрийцев, лишь повторяли и тиражировали старое.

Но самый зловещий симптом и результат того состояния, одновременно однородного и отупелого – одно с другим связано, – в которое впала жизнь на всем имперском пространстве, обнаруживается там, где меньше всего можно его ждать и где, насколько я знаю, никто еще не искал его, – в языке. Каждому в отдельности язык не позволяет выразить то, что хотелось бы высказать, но он разоблачает и помимо нашей воли доводит до слуха скрытое самочувствие общества, на нем говорящего. Исключая эллинизированную часть населения, живым языком империи была так называемая «вульгарная латынь», прародительница наших романских языков. Мы о ней мало знаем и большей частью приходится ее реконструировать. Но и скудных знаний хватает с лихвой, чтобы ужаснуться. Во-первых, немислимому упрощению грамматики по сравнению с классической латынью. Сочная индоевропейская сложность, которую сохранял язык верхов, была вытеснена плебейским говором, упрощенным и легким, но при этом или скорее поэтому грубо механическим, как рабочий инструмент, с невнятной и приблизительно грамматикой – наугад и



невпопад, как у детей. В общем, младенческий язык, детский лепет, неспособный ни гранить мысли, ни расщеплять чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости и душевного жара, убогий язык, бредущий наошупь. Слова – словно старые медяки, захватанные и бесформенные от бесконечного блуждания по средиземноморским кабакам. Сколько жизней, не ведающих себя, оскопленных, обреченных на прозябание, угадывается за этим языковым суррогатом!

Вторая пугающая черта вульгарной латыни – это как раз однородность. Лингвистов, которые, возможно, после авиаторов наименее склонны чего-либо пугаться, похоже не смущает то обстоятельство, что так одинаково говорили в таких неодинаковых странах, как Ливия и Галлия, Тингитания и Далмация, Паннония, Испания и Дакия. Я, напротив, довольно боязлив и не в силах унять дрожь перед таким фактом. Мне он кажется просто чудовишным. Правда, я стараюсь представить себе, чем было изнутри то, что снаружи нам кажется невозмутимой однородностью, стараюсь под этим мертвым слепком обнаружить живую действительность. Разумеется, были африканизмы, испанизмы, галлицизмы. Но это лишь подтверждает, что корпус языка был общим и одинаковым несмотря на расстояния, на разобщенность, на отсутствие связей и неучастие литературы в упрочении языка. Что же могло так уравнивать кельтибера и белга, жителя Карфагена и Лютетии, ливийца и дака, если не общий пресс, который придавил и расплющил их жизни. Вульгарная латынь пылится в архивах, как леденящая окаменелость, мертвый свидетель того, как под пятой вульгарной однородности агонизировала история, утратив животворное «многообразие ситуаций».

Я не политик, и книга моя далека от политики. Ее тема – то, что предвращает политику. Мой труд – это подземный шахтерский труд впотьмах. Задача так называемых «интеллектуалов», в какой-то степени, противоположна задачам политиков. Труд интеллектуала, часто напрасный, – как-то прояснить положение вещей, дело политика – затемнить его как можно больше. Быть левым, равно как и правым, – один из бесчисленных человеческих способов быть глупым; и то, и другое – в конечном счете, разновидность одностороннего нравственного паралича. К тому же привычность этих определений еще более фальсифицирует нашу «действительность», и без того фальшивую, поскольку политическое экспериментаторство завершило мертвую петлю и сегодня мы наблюдаем, как правые козыряют революцией, а левые – тиранией.

Наболевшие вопросы надо решать. Это наш долг. И я делаю это всю жизнь. Я всегда был на линии огня. Но сегодня требуют – такова «тенденция» – чтобы все поголовно, даже ценой умственного помрачения, занялись политической *sensu stricto**. Требуют, разумеется, те, кому заняться больше нечем. И даже подкрепляют это цитатами из Паскаля, рекомендуя *abetissement*** . Но я давно уже приучил себя настораживаться, когда цитируют Паскаля. Чисто гигиеническая предосторожность.

Всеобщая политизация, поглощение политикой всех и вся – не что иное, как восстание масс. Мятая масса утратила малейшую способность к религии и знанию. Она не может вместить ничего, кроме политики – политики раздутой, безудержной, хлынувшей через край, чтобы вытеснить религию, знание, *sagesse****, словом, то единственное, что способно по своей природе

* В строгом смысле слова (лат.).

** Поглупение (фр.).

*** Мудрость (фр.).



завладеть человеческим разумом. Политика отнимает у человека его сокровенное, лишает одиночества, и потому проповедью всеобщей политизации пользуются, чтобы обобществить человеческую личность.

Если кто-то спросит, какой вы партии, или поспешит с уже привычной для всех бесцеремонностью завербовать вас в одну из них, надо не объясняться с насильником, а на вопрос ответить вопросом, что такое, по его разумению, человек, что такое природа, история, личность и общество, что такое коллективизм и государство, обычай и право. Европейская мысль обязана внести полную ясность в эти вопросы. Затем она и существует, а не для того, чтобы распускать павлиний хвост на академических конференциях.

При виде городского скопища человеческих существ, которые снуют по улицам и теснятся на представлениях и митингах, меня преследует одна мысль. Может ли сегодня двадцатилетний юноша наметить личную жизненную программу, требующую собственных усилий и независимых решений? Мысленно развивая ее, не убедится ли он, что задуманное если не безнадежно, то маловероятно, потому что нет в его распоряжении пространства, где он мог бы осуществляться и действовать по собственной воле? Он быстро увидит, что его программа упирается в ближнего, и жизнь ближнего стесняет его собственную. Разочарование и свойство молодости легко приспособляться заставят его отказаться не только от самостоятельных поступков, но даже от собственных желаний, и скорее всего он найдет иной выход – представит себе стандартную жизнь с ее общими для всех запросами и поймет, что удовлетворить их сможет лишь в коллективе, среди себе подобных. Отсюда общая установка – действовать массой.

Судьба незавидная, но, думается, я не утрирую картину того, что ждет европей-

цев. В переполненной тюремной камере никто не может шевельнуть рукой по своему желанию. В такой обстановке любое движение должно совершаться сообща, и даже дыхание подчиняется общему ритму. Такой была бы Европа, превращенная в муравейник. Но даже эта зловещая картина – еще не развязка. Человеческий муравейник невозможен, потому что существовал так называемый «индивидуализм», который обогатил всех и каждого – и это богатство дало сказочный рост человеческой поросли. Если бы последние остатки этого «индивидуализма» исчезли, Европу охватила бы чудовищная византийская дистрофия и муравейник бы рассыпался, словно от дыхания грозного и мстительного бога. Перевелись бы все те, кто чуть выше остальных.

Перед грозной патетикой подобной перспективы, которая, помимо нашей воли, уже приоткрывается, вопросы «социальной справедливости», столь превозносимой, тускнеют и становятся такими мелкими, что кажутся притворными романтическими вздохами. Но в то же время они направляют на верный путь, позволяющий достичь того, что достижимо из этой «социальной справедливости», и осуществить то, что справедливо, – на путь, ведущий не к унылой социализации, а к достойной солидарности. Впрочем, это слово малоупотребительно, потому что все еще не сконцентрировало в себе мощный сгусток исторических и социальных идей, а напротив – отдает туманной филантропией.

Для улучшения нынешнего положения дел прежде всего необходимо понимание его непомерной тяжести. Лишь это поможет атаковать зло в тех глубинных тайниках, где оно в действительности зарождается. По правде говоря, действительно трудно спасти цивилизацию, когда она во власти демагогов. Демагоги всегда были душителями цивилизаций. Греческая и римская задохнулись в лапах этих омерзительных двуногих, заставив-



ших Маколея воскликнуть: «В любом веке худшие образчики человеческой породы представлены демагогами». Но демагог – не просто человек, вызывающий к толпе. Иногда это священный долг. Сущность демагога – в его мышлении и в полной безответственности по отношению к тем мыслям, которыми он манипулирует и которые он не вынашивал, а взял напрокат у людей действительно мыслящих. Демагогия – это форма интеллектуального вырождения, и как массовое явление европейской истории она возникла во Франции к середине XVIII века. Почему именно тогда? Почему именно во Франции? Это один из самых болезненных моментов в судьбе Запада и особенно в судьбе Франции.

С этого момента Франция, а под ее воздействием – и весь континент, уверовали, что способ разрешения огромных человеческих проблем – революция, под которой понималось то, что еще Лейбниц назвал «всеобщей революцией»¹; стремление одним махом изменить все и во всех сферах². Именно поэтому такая чудесная страна сегодня так неблагоприятна. У нее революционные традиции или, по крайней мере, вера в то, что они есть. И если нелегко быть просто революционером, насколько тяжелей и парадоксальней быть революционером наследственным! Да, во Франции была одна великая революция и еще несколько, грозных или смехотворных, но если обратимся к беспристрастным анналам, то убедимся, что благодаря всем этим революциям во Франции как нигде все столетие, кроме считанных недель или даже дней, держался в той или иной мере ав-

торитарный или контрреволюционный режим. А такая моральная рывтина французской истории, какой стали два десятилетия Второй Империи, всецело обязана своим появлением сумасбродству революционеров 48-го года, большинство которых, по признанию самого Распая, были его пациентами.

В революциях абстрактное пытается встать против конкретного, поэтому революция обречена на провал, она с ним единосушна. Человеческие проблемы, в отличие от астрономических или химических, не абстрактны. Они предельно конкретны, потому что они историчны. И единственный способ мыслить, дающий какие-то шансы на успех в разрешении таких проблем, – это «исторический разум». Если обозреть общественную жизнь Франции за последние полтора века, бросится в глаза, что ее геометры, ее физики и ее медики почти всегда ошибались в своих политических выкладках, а вот историки, напротив, умудрялись попадать в цель. Но физико-математический рационализм во Франции слишком гордился собой, чтобы не властвовать в общественном сознании. Мальбранш порвал со своим другом, увидав у него на столе Фукидида.

Месяц назад, разгоняя одиночество на парижских улицах, я вдруг понял, что у меня в огромном городе нет знакомых, кроме статуй. А вот они, напротив, мои старые друзья, давние вдохновители или вечные наставники. И поскольку мне больше не с кем было перекинуться словом, с ними и беседовал я о делах человеческих. Не знаю, увидят ли когда свет мои «Беседы с памятниками», скрасившие мне горький и бесплодный отрезок жизни.

¹ «Я нахожу, что подобные взгляды понемногу проникают в высшее общество, в умы людей, которые управляют другими и от которых зависит состояние дел, и проскальзывают в книги, предуготовляя все и вся ко всеобщей революции, которая грозит Европе» («Новые опыты о человеческом мышлении». Т. IV, гл. XVI). Из этого следуют два вывода. Первый – в 1700 году (приблизительно тогда Лейбниц написал эти строки) человек был способен предвидеть то, что произойдет век спустя. Второй – истоки сегодняшних бед Европы хронологически и потенциально глубже, чем принято думать.

² «...Наш век, который видит себя призванным изменить законы во всех сферах...» (Д'Аламбер. Вступительное слово к Энциклопедии // Сочинения. Т. I. С. 56. 1821).



И, естественно, больше всего мне хотелось выслушать нашего общего учителя Декарта, человека, которому Европа обязана как никому. По воле случая, который не раз перетряхивал мою жизнь, я пишу эти строки в том уголке Голландии по имени Эндегест, где обитал в 1642 году новый провозвестник разума, и деревья над его домом затеняют мое окно. Сейчас это дом сумасшедших. Дважды в день, предостерегающе близко, я вижу, как безумные и слабоумные выгуливают на свежем воздухе свою человеческую несостоятельность.

Три столетия «рационализма» заставляют освежить в памяти чудесный картезианский *raison**, его блеск и ограниченность. *Raison* – это математика, физика, биология. Его торжество над природой, превзошедшее самые смелые мечты, лишь подчеркивает его беспомощность в делах сугубо человеческих и требует его включения в более всесторонний «исторический разум».

Тогда выявляется бесплодность любой «всеобщей» революции, любой попытки разом изменить общество и начать историю заново, как замыслили смутьяны 89-го года. Революционному методу противостоит единственно достойный нашего векового опыта. Революции, безоглядные в своей нетерпеливой спешке, лицемерно щедрые на обещания всевозможных прав, попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущность, – право на непрерывность, на преемственность. Единственное коренное отличие «естественной истории» от человеческой в том, что последняя не может начинаться заново. Кёлер и другие показали, что орангутанг и шимпанзе отличаются от человека не тем, что принято называть умственным развитием, а короткой памятью. Бедные животные начинают новый день, не помня почти ничего из пережитого вчера, и потому

их интеллект вынужден обходиться жалкими крохами опыта. Современный тигр таков же, как и шесть тысяч лет назад, потому что каждый тигр должен заново становиться тигром, словно у него и не было предшественников. Напротив, человек, благодаря своей способности помнить, копит собственное прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он никогда не окажется первым на Земле человеком – его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Это единственное богатство человека, его привилегия и его родовой признак. И наименее ценно в этом богатстве то, что кажется удавшимся и достойным памяти: главное и самое важное – это память об ошибках, позволяющая избегать их. Подлинное богатство человека – это богатство человеческих ошибок, накопленный тысячелетиями жизненный опыт. Поэтому высший человеческий тип Ницше определил как существо «с самой долгой памятью».

Попытка порвать с прошлым, начать все с нуля – это попытка стать или притвориться орангутангом. Мне отрадно, что нашелся француз, Дюпон-Уайт, который в 1860 году отважился воскликнуть: «Преемственность – это право человека, это дань уважения всему, что отличает его от животного».

Передо мной журнал с описанием празднеств, которыми Англия отметила коронацию нового короля. Всем известно, что английская монархия давно уже существует лишь номинально. Это верно, но главное в другом. Действительно, монархия не играет в Британской империи никакой видимой роли. Не правит, не вершит правосудие, не распоряжается войсками. Но она не бесплотна и не кажется фиктивной. У монархии в Англии весьма определенное и крайне действенное назначение – она символизирует. Поэтому английский народ с нарочитой торжественностью празднует сегодня коронацию.

* Разум (фр.).



Это народ, который всегда первым достигал будущего, опережая других почти во всем. Практически слово «почти» можно опустить. И вот он, с несколько вызывающим дендиизмом, заставляет нас присутствовать при старинном ритуале и видеть, как вступают в силу – ибо они никогда ее не утрачивали – самые древние и магические символы его истории, корона и скипетр, которые у нас правят лишь карточной игрой. Англичанин вынуждает нас убедиться, что его прошлое, именно потому, что оно прошло, а значит – было, продолжает для него существовать. Из будущего, до которого мы еще не добрались, он свидетельствует о живом присутствии и полноправии своего прошлого. Этот народ накоротке со временем, он действительно хозяин своих столетий и толково ведет хозяйство. Это и значит быть людьми – следуя прошлому, жить будущим, то есть действительно пребывать в настоящем, ибо настоящее – лишь наличие прошлого и будущего, то единственное место, где они реально существуют.

Символическим ритуалом коронации Англия в очередной раз противопоставляет революционности преемственность, единственное, что позволяет избежать того патологического крена, который превращает историю в вечный бой паралитиков с эпилептиками.

Не без насилия над собой я в своей книге выделил из той проблемы, которую представлял для человека, и в особенности – для западного человека, его ближайшее будущее, лишь одну-единственную линию – характеристику заурядности, которая начинает сегодня господствовать. Это потребовало от меня сурового аскетизма, обета молчания по поводу многого, затронутого похода. Более того, это часто вынуждало представлять вещи в таком ракурсе, который был наилучшим для освещения упомянутой темы и наихудшим для выражения моих взглядов на этот предмет. Приходилось лишь обозначать проблему, пусть и фундаментальную. Я мерил сегодняшнего среднего человека мерой его способности продолжать современную цивилизацию и его причастности к культуре. Возможно, кто-то скажет, что то и другое – цивилизация и культура – не моя тема. Но что бы ни говорили, в действительности именно о них все написанное мною, начиная с самых первых страниц. Однако я не мог усложнять вопрос. Каковы бы ни были наши взгляды на цивилизацию и культуру, есть нечто первостепенное, с чем нельзя не считаться, – аномалия в лице массового человека. И грубо обрисовать его было делом безотлагательным.

Большого французский читатель не должен ждать от этой как бы книги, а в сущности – попытки просвета в гуще грозы.

1937





ЧТО СЕЙЧАС НУЖНЕЕ ВСЕГО

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО МАДРИДСКОМУ РАДИО
В ТРАНСЛЯЦИИ НА АРГЕНТИНУ



завидую собственному голосу, потому что он уже с вами, уже вибрирует в аргентинском воздухе, таком хмельном и назлектризованном. Право, жаль, что нельзя оседлать этот голос и самому отве-

дать вкус американской яви, особенно аргентинской, вкус, который не передать словами и который в нас, старых европейцах, по крайней мере во мне, всегда пробуждал желание жить.



Но делать нечего, и я должен остаться здесь, в нашей кастильской жизни, которая в эти майские дни силится расцвести. Только голос уносится вальс, пересекает ваши равнины, города, бродит по барам в надежде, не поднесет ли кто стаканчик, а главное – просачивается в тишину домашнего уюта, в семейный круг, и я вижу слушателей – их обманчиво пассивные позы и стремительный обмен взглядами, этими живыми молниями, мгновенными суждениями о том, что я говорю, как я говорю и зачем я это говорю. Как бы я ни лез из кожи, мне не создать иллюзию моего присутствия там, где звучит этот голос. Радио неизбежно делает голос безымянным, безличным, почти нереальным и превращает его в ничей. И чтобы вы не потратили даром эти несколько минут, – знаю, времени у вас в обрез, – наберусь смелости, которую придает мне упомянутая безымянность, и, притворяясь никем, постараюсь сказать, что же нам сейчас нужнее всего.

Не ждите чего-то ослепительного. Все ослепительное не бывает самым нужным.

Наш западный мир, да и весь остальной, находится в тяжелейшем положении, быть может, наитяжелейшем – по крайней мере, из тех, что помнит история. Вы сами убедитесь, что я не касаюсь ни пресловутого экономического кризиса, ни международной безопасности и вообще ни одной из подобных проблем – проблем бесспорно реальных и по-своему тяжких. История кишит войнами, а кризис, когда явный, когда тайный, – ее составная часть. Больше того, о таком кризисе, как наш, в былые времена могли только мечтать. Нашу нужду предки сочли бы роскошью. Странная вещь. Никогда западные народы и человечество в целом не располагали, даже отдаленно, столькими средствами и удобствами, чтобы жить. Чем тогда объяснить всеобщее недовольство? Очевидно, причина глубока и непроста. Чтобы обнаружить ее, надо докопаться до

основания человеческих убеждений и попытаться постичь ту диковинную реальность, которую являет собой человек.

Единственно достоверное в человеке – это его жизнь. Из нее он и состоит. Мы не добывали себе жизнь, она свалилась на нас. Мы внезапно оказались в ней, не зная как и почему. Но жизнь, данную нам, мы не получаем готовой, а должны сделать ее, каждый – свою. Это самая простая и самая загадочная из прописных истин. Чтобы жить, мы должны непрерывно, под страхом смерти, что-то делать. Жизнь – это дело. Да, конечно, в жизни есть множество дел, но главное из них – найти то, что нельзя не делать. Ибо каждый миг у каждого из нас забот масса, и нет иного выхода, как решиться и выбрать что-то одно. Но чтобы остановиться на чем-то, мы должны внутренне оправдать наш выбор, то есть понять, в каком из возможных действий мы полней осуществимся, в каком из них больше смысла, какое из них наиболее наше. Не решив этого, мы обманем и предадим себя, уьем частичку нашего жизненного срока, тем более что времени, как я уже сказал, у нас в обрез. Не сочтите за мистику, но без оправдания собственным судом не ступить ни шагу.

Через минуту, когда я умолкну, вам придется решать, чем заняться, и отчетливо представить, что вы должны сделать сегодня, а это в свою очередь зависит от того, что вы должны сделать завтра, и все вместе зависит, в конечном счете, от общей картины жизни, которую вы считаете наиболее своей, которой должны жить, чтобы наиболее полно и подлинно быть собой; словом, любые наши планы требуют, чтобы мы строили их, исходя из нашего общего предназначения, как математик строит теорему, исходя из своих аксиом. Это справедливо для всех – для героя и для труса, для подвижника и для проходимца. Проходимец тоже должен оправдывать перед собой свои действия и видеть в



них смысл, исходя из своей жизненной программы. Иначе он окажется парализованным, неподвижным, как буриданов осел.

Отсюда ясно, что важнейшее условие нашего существования – это программа жизни, наше жизненное предназначение, которое внушает нам и направляет наши действия. И когда обстоятельства мешают или не дают нам осуществиться согласно этому внутреннему предназначению, выявляющему нашу подлинную сущность, мы чувствуем себя глубоко подавленными и заторможенными. Отсюда ясно также, что говорить о трудностях и послаблениях не имеет смысла. Определенные обстоятельства серьезны и трудны лишь в рамках определенной жизненной программы. Например, для олимпийского легкоатлета хромота – вещь более чем серьезная, а вот Байрона и других романтиков не слишком угнетало, что их статные фигуры потерпели ущерб из-за сломанной когда-то лодыжки. По-настоящему мучительно лишь тому, кому превратности судьбы не дают делать то, что он должен делать, быть тем, кем он должен быть.

Но предлагаю вам представить и другую ситуацию – человека, который знать не знает ни что он должен делать, ни кем он должен быть, в душе которого нет хоть какого-то прообраза жизни, действительно своего и безоговорочно притягательного. Поскольку этот идеальный прообраз и есть основа жизни, поскольку жизненное предназначение всегда свое и только свое, без оглядки на кого бы то ни было, описанная ситуация плачевней любой другой. Такого человека не выручат ни обилие жизненных средств, ни их могущество. Он не знает, что с ними делать, потому что не знает себя, и не в них он нуждается, а в себе. Он сам себе главная помеха и преграда. И я думаю, что именно это происходит сегодня на Западе с людьми – они действительно не знают, кем быть и что делать. Ни индивидуально, ни коллективно.

Да, это необычно для истории. Обычно люди боролись с трудностями, чтобы сломить сопротивление того, к чему стремились.

А теперь я спрошу в упор, что же делать именно сейчас и именно потому, что неизвестно, что же надо делать. Ответ возникает сам собой, если присмотреться к тому, что делается. У большинства людей и народов незнание того, что действительно надо делать, отсутствие ясной, открытой и подлинной жизненной программы оборачивается лихорадочной жадой деятельности. Именно потому, что ощущение пустоты лишает их самообладания, и впопыхах они стремятся заполнить пустоту бешеной деятельностью и бурным ажиотажем, чтобы возместить очевидность ошеломительными замыслами. Знакомая всем реакция, безнадежная попытка обмануть безнадежность. В итоге, все это принимает характер тайного самообмана, своего рода злостного алкоголизма. Повсюду ощущается недовольство, требование срочно переделать мир – и переделать его до основания, и по контрасту с этим – отсутствие ясного взгляда на личность и общество. По этому поводу вспоминается, как одного большого художника спросили, что надо для того, чтобы понять картину. Художник ответил: «Взять стул и сесть напротив». В том-то и соль, что истина не требует от нас ничего сверхъестественного. Нечто похожее можно ответить и на поставленный нами вопрос: что надо сделать, когда неизвестно, что делать?

Время, отведенное мне, на исходе, и, как я чувствую, его слишком мало, чтобы попытаться ответить самому. Да это и не входило в мои планы, скорее я хотел поставить вопрос и пробудить у вас интерес к этой огромной проблеме в надежде, что вы сами, каждый из вас, попытаетесь разрешить загадку – по-настоящему, молча, наедине с собой; избегайте при этом всего показного, читайте немного и побольше



думайте, а читая, вникайте в историю, особенно в историю прошлого века. Как знать, не обернутся ли эти условия поисков ответа таким взглядом на вещи, которого сейчас особенно не достает. Пусть – и на этом я кончаю – примером послужит Англия. Англичане острее, чем кто-либо, чувствуют неблагополучие. И предчувствуя, что дела пойдут плохо, проводят реформы, но всегда ясно представляя, что надо сделать. Вместо того, чтобы ввязываться в революции, они обходятся наименьшим. Берут часть королевских запасов, чистят снизу доверху администрацию, требуют с богачей половину их ренты и без паники, спокойно делают то единственное, что могут, а именно – ждут... ждут, когда человеческие устремления прояснятся и определятся. Это крайне интересно, и кстати, углубляясь в историю, убеждаешься, что английский народ во всем опережал остальные. И это самое неотложное и важное, что надо сделать сегодня. А поскольку предназначение интеллигента как раз и состоит в говорении, я свою миссию исполнил, пытаясь сказать вам, что надо делать.
Вот и все, друзья.

1935





КОММЕНТАРИИ

Большинство эссе, составивших эту книгу, было написано для журнала, вернее, альманаха «Эль Эспектадор» («Наблюдатель»). Во всех, появившихся в разные годы, восьми томах издания неизменно присутствовали произведения Ортеги. Много позже они были собраны в книгу, названную «Эль Эспектадор», по которой и выполнены переводы для настоящего издания: «EL Espectador» de Jose Ortega y Gasset. Madrid, Sanchez Leal. Biblioteca Nueva. 1961.

Далее это издание обозначается как Ed. Cit. Остальные работы переведены по отдельным изданиям и томам собрания сочинений Ортеги, что указано особо.

Все вошедшие в книгу произведения, за исключением эссе «Эстетика в трамвае», переведены специально для этого издания и по-русски печатаются впервые.

КОРДОВСКИЕ ОТШЕЛЬНИКИ

Эссе написано в 1904 г. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset J. Obras completas, T.I, Madrid, Alianza Editorial, 1983; Las ermitas de Cordoba. p. 421–425.

стр. 13 «...вернуться в мои пустыни – сказал Лопе де Вега» – Ортега цитирует начало знаменитого романа Лопе де Веги (см.: Лопе де Вега. Poesía lírica. Barcelona Ed. Bruguera, 1970. p. 451).

ПРИРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА

Эссе опубликовано 17 сентября 1906 г. в газете «Эль Импарсиаль». Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. Obras completas, t. I. Madrid. Alianza Editorial, 1983; La pedagogía del paisaje. p. 58–58.

стр. 15 Кельтиберы – племена, населявшие Пиринейский полуостров после смещения древнейшего населения – иберов – с вторгшимися около 1500 г. кельтами.

стр. 16 «...то ли дело люди в городе» – см. комментарий к «...общее у меня с людьми в городе» на с. 279.

стр. 16 «... одухотворенность «озерных поэтов» – речь идет о группе английских поэтов-романтиков: Уильяме Вордсворте (1770–1850), Сэмюэле Тейлоре Кольридже (1772–1834) и Роберте Саути (1774–1834).

КАСТИЛЬСКИЙ КРАЙ

Это эссе с подзаголовком «Дорожные темы» было опубликовано в первом томе «Эль Эспектадора» в 1916 г. (см. Ed. Cit. Tierras de Castilla. Notas de andar y ver. P. 53–65).

стр. 19 Хакеллама – «земля крови» по арамейски, или иначе «земля горшечника» (то есть глинистая) – участок дешевой, бросовой земли, купленный Синедрионом в долине Хиннона, на деньги, возвращенные Иудой (см.: Евангелие от Матфея. XXVII, 7, 8).

стр. 19 «Песнь о Сиде», точнее «Песнь о моем Сиде» – испанская эпическая песнь, сложенная около 1140 г. и дошедшая до нас в списке 1307 г.

стр. 19 «... по Кастилии милой...» – Ортега цитирует 829 строку из «Песни о моем Сиде».

стр. 20 «... из Монтемайора ...» – 735–739 строки из «Песни о моем Сиде».

стр. 21 «... крикнул ворон справа» – 11 и 12 строки «Песни о моем Сиде». Известно, что не только герой поэмы, но и его прототип имел привычку гадать по полету птиц.

стр. 22 «... Мединасели, родина «Песни о Сиде» – Менендель Пидаль, изучив топографию поэмы и события, описываемые в ней особенно подробно, пришел к выводу, что «Песнь» была сложена на основе местного предания бытующего вблизи Мединасели, в юго-восточной части Кастилии (см.: Рамон Менендес Пидаль. Избранные произведения. М.: Издательство Иностранной Литературы, 1962. с. 170–172).



НОВАЯ СТАРАЯ ПОЭЗИЯ

УВЕРТУРА К «ДОН ЖУАНУ»

Рецензия написана в 1906 г. и напечатана в газете «Эль Импарсиаль» за 13 августа. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. Obras completas. Madrid, Alianza Editorial. T.1, 1983; Poesía nueva, vieja; p. 48–52.

стр. 23 «Двор поэтов» – эта забытая даже историками литературы антология, видимо, представляла собой, судя по перечню ее общих мест, собрание стихотворений испанских модернистов-эпигонов не столько Рубена Дарио, сколько Сальвадора Руэды.

стр. 24 «...сошлюсь на вольтеровского персонажа...» – Ортега точно цитирует слова капеллана Гудмана (сильно исказив имя персонажа) из повести Вольтера «Уши графа Честерфилда и капеллан Гудман» (1775). См.: Вольтер. Философские повести. М.: ИХЛ, 1978. с. 438.

стр. 25 Мартинес Руис – книга Мартинеса Руиса, писавшего под псевдонимом Асорин, снабжена подзаголовком «Очерки провинциальной жизни». Она была написана и опубликована в 1905 г.

стр. 26 «...тот самый сентябрь, когда заработала мясорубка» – в сентябре 1793 г. начался якобинский террор.

стр. 26 Маны – в римской мифологии обожествленные души предков, то же, что лары. Римские эпитафии начинались обращением к манам с просьбой даровать усопшему загробное блаженство.

ИЗ МАДРИДА В АСТУРИЮ ИЛИ ДВА ОБЛИКА ЗЕМЛИ

Эссе опубликовано в журнале «Эспанья» в 1915 г., затем включено в третий том альманаха «Эль Эспектадор», вышедший в 1921 г. См.: Ed.cit. De Madrid a Asturias o los dos paisajes. p. 351–377.

Эссе написано в 1927 г. и опубликовано в шестом томе альманаха «Эль Эспектадор». Перевод осуществлен по изданию: Ed. cit. Introduccion a un «Don Juan». p. 121–139.

Ортега посвятил этой теме также эссе «Расправа над «Дон Жуаном» (1935).

стр. 39 Дон Жуан (по-испански – Хуан) – герой многочисленных драматургических переложений севильской легенды о гуляке, пнувшем ногой череп и пригласившем его на ужин. Прототипом Дон Жуана был севильский дворянин дон Мигель де Маньяра Висентело де Леса (1628–1679).

стр. 40 «...придумками Соррилли...» – речь идет о драме «Дон Хуан Тенорио» (1844).

стр. 41 Манихей – приверженец манихейства, религиозного учения, сложившегося в III веке в Средиземноморье. Манихейство исходит из идеи борьбы добра и зла, света и тьмы в мире и сердце человека, предоставляя самому человеку окончательный выбор. При этом свет и тьма, согласно этому учению, изначально и равно сильны.

стр. 42 «...Дон Кихот Запредельный» – Ортега интерпретирует Сервантеса достаточно вольно. Сервантес говорит о «крайней степени безумия» своего героя (т. II, гл. XX) и о «высшей степени его доблести» (т. II, гл. XXIV).

стр. 42 Триана – цыганское предместье Севильи.

стр. 42 Пятикнижие Моисея – т. е. Тора («Закон»), часть ветхозаветного канона; включает книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие.

стр. 43 «...на таких вершинах, как Моцарт и Байрон» – речь идет о поэме Дж.Г.Байрона «Дон Жуан» (1819–1824) и опере В.А.Моцарта «Наказанный распутник, или Дон Жуан» (1787).

стр. 45 «Похороны графа Оргаса» (1586) – полотно находится в Толедо в церкви Сан-Томе, перестроенной из мечети в готический храм на средства графа Оргаса.

стр. 45 «...двумя нарядами святыми» – отпевание графа Оргаса (Руиса Гонсало де Толедо, ум. в 1312 или 1323 г.) отмечено явлением Св. Стефана и Блаженного Августина.



стр. 46 «...три самые известные» – речь идет о романе Анри Барбюса «Огонь» (1916), сборнике рассказов Ж. Дюамеля «Жизнь мучеников» (1917) о войне, участником которой он был, и сборнике антивоенных новелл Л. Франка «Человек добр» (1917).

стр. 48 «...как же не искать ее для наших жизней?» – приводим точную цитату: «Разве познание его (высшего блага) не имеет огромного влияния на образ жизни? И словно стрелки, видя мишень перед собою, разве не вернее тогда достигнем мы должного?» См.: Никомачова этика. Кн. 1. // Аристотель. Сочинения в 4 томах. М. Наука, 1984. Т. 4. с. 55.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПИО БАРОХЕ

Эту работу составили фрагменты двух статей, посвященных творчеству П. Барохи, – «Первые впечатления о Пио Барохе», написанные в 1910 г. и напечатанные в газете «Ла Лектура», и «Размышления о Пио Барохе», опубликованные в первом томе альманаха «Эль Эспектадор» в 1916 г. вместе с первой работой. Кроме того, в 1910 г. Ортега написал еще одно эссе – «Пио Бароха. Анатомия растерзанной души». Перевод осуществлен по изданию: Ed. cit. Una primera vista sobre Baroja. P. 143–171. Ideas sobre Pio Baroja. p. 89–143. Перевод печатается в сокращении, которому подверглись в основном цитаты из произведений Барохи и чисто литературоведческие рассуждения.

стр. 52 *Кинтино* – персонаж романа Пио Барохи «Ярмарка зрелого смысла».

стр. 52 «Парадокс-король» – роман Барохи, написанный в 1906 г.

стр. 53 «...сластолюбивого стервятника» – Ортега цитирует «Подмостки Арлекина» Барохи.

стр. 54 *Либертарий* – персонаж романа Барохи «Алая зари» (1904).

стр. 54 «...вера есть вера» – две последние цитаты из «Алой зари».

стр. 57 *Плутовской роман* – жанр, зародившийся в Испании в середине XVI века и просуществовавший – в строгом смысле слова – до середины XVII столетия. Начиная с анонимного романа «Жизнь Ласарильо с Тормеса» (1554), героем

так называемой «пикарески» (от исп. pícaro – плут) становится бродяга, слуга многих господ, проходящий у них суровую жизненную школу. Классическим образцом плутовского романа стал «Гусман де Альфараче» (1599–1604) Матео Алемана (1547–1614). С плутовской традицией связана и «История жизни пройдохи по имени дон Паблос» (1613–1626) Франсиско де Кеведо (1580–1645).

стр. 57 *Миннезингеры* – немецкие средневековые поэты XII–XIII вв., чья поэзия возникла под влиянием провансальских трубадуров и продолжила их темы (рыцарская любовь, служение даме сердца, воспеание подвига).

стр. 58 «...который дал миру «Тристана» – сведения Ортеги несколько неточны. «Роман о Тристане и Изольде», если говорить о его древнейших вариантах, дошел до нас в двух неполных версиях, восходящих к более ранним редакциям и далее к устной традиции, зафиксированных норманскими труверами Тома (70–80 гг. XI в.) и Берулем (90 гг. XII в.).

стр. 58 «Пляски Смерти» – речь идет об анонимной диалогической поэме начала XV века «Всеобщая пляска смерти». Поэма восходит к развитой средневековой традиции театрализованных Плясок Смерти, рудименты которых до сих пор сохранились в глухих селениях Испании. Вообще Пляска Смерти, сюжет, символизирующий тшету всего земного, был широко распространен в искусстве XIV–XVI веков. Обычно изображался танец, чаще всего хоровод, который вели полуразложившиеся трупы, скелеты и люди. В знак равенства всего живого перед лицом смерти персонажи обязательно представляли все сословия и состояния.

стр. 58 «Роман о Лисе» – имеется в виду цикл старофранцузских стихотворных романов (так называемых «ветвей»), возникший на рубеже XII–XIII веков и представляющий собой обработку многочисленных фольклорных сюжетов о лисе Ренаре и его враге волке Изенгрине. Автором первой «ветви», написанной около 1170 г., был Пьер де Сен Клу. Наследник латинских памятников животного эпоса, «Роман о Лисе» оформился в пору расцвета рыцарского романа и обрел как сатирические, так и пародийные черты.

стр. 58 *Ахилл* – сын морской богини Фетиды и царя мирмидонян Пелея, герой Троянской войны, чьи подвиги описаны Гомером.



стр. 58 *Диомед* – аргосский царь, участник Троянской войны, в которой, по преданию, храбростью уступал только Ахиллу.

стр. 58 *Улисс (Одиссей)* – мифический царь острова Итака, герой поэмы Гомера. Под Троей прославился храбростью и хитростью.

стр. 61 *«Древо познания»* – роман написан в 1911 г.

стр. 63 *«...подобно прикованному Прометею»* – Прометей в греческой мифологии – одно из древнейших божеств, титан, сын Геи, создатель рода человеческого, культурный герой, одавший людей огнем и знаниями. По велению Зевса был прикован к скале на Кавказе, где орел выклевывал ему печень.

стр. 64 *Аконит* – многолетний садовый цветок, корни которого содержат сильный яд – алкалоид аконитин.

стр. 65 *Молох* – почитавшееся в Палестине, Финикии и Карфагене божество, в жертву которому приносили детей.

стр. 67 *«...деяния Авиранеты»* – герой пятитомных «Мемуаров человека действия» (1913–1935) Эухенио Авиранета (ок. 1792–ок. 1872) – реальное лицо, дядя писателя. Он участвовал как партизан в войне с Наполеоном, был убежденным католиком, стал масоном и карбонарием, примкнул к Риго и после разгрома революции снова партизанил; потом уехал с Байроном в Грецию, воевал в Мексике, участвовал во французской революции 1830 г. По возвращении в Испанию принял участие в карлистских войнах.

стр. 68 *Маринизм* – стиль, названный по имени итальянского поэта Джамбатисты Марини, иначе Марино (1569–1625), известного во Франции под именем Кавалер Марин. Этот вычурный стиль распространился в европейской поэзии начала XVIII века, но особенно популярен был во Франции.

АСОРИН, ИЛИ ОБАЯНИЕ ОБЫДЕННОСТИ

Обе части работы опубликованы во втором томе «Эль Эспектадора» в 1917 г. См. Ed. cit. Azorín o primores de lo vulgar. P. 217–271.

стр. 71 *«Городок»* – книга Асорина «Городок (Риофрио-де-Авила)» впервые была опубликована в Мадриде в 1916 г.

стр. 72 *«...Кто радостные помнит времена в неспешности...»* – перевод М. Лозинского, Ад, V, 121–123.

стр. 76 *«...из Аревало»* – книга Бехарано – не литературная мистификация, как может показаться. Один экземпляр «Патриотических мыслей и благочестивых бесед, коими сельский священник, истинный друг отечества, наставляет своих прихожан» Хасинито Бехарано Галависа-и-Нидоса, изданных в 1791 г. в Мадриде, хранится в Испанской Национальной библиотеке, другой – в Библиотеке Конгресса США.

стр. 77 *«...и умираем чужой жизнью»* – приводим точную цитату: «Бессмертные смертны, а смертные бессмертны, [одни] живут за счет смерти других, за счет жизни других умирают» (фрагмент 47). Эту мысль Гераклита – совершенно иначе, чем Ортега, и, вероятно, ближе к первоисточнику – трактовали Климент Александрийский и Филон Александрийский (см.: Фрагменты ранних греческих философов. М.: Наука, 1989, с. 215).

стр. 80 *«...означает одно – рыдать»* – Ортега цитирует очерк Ларры «Зимние часы» (1836).

стр. 81 *«Кастилия»* – книга, состоящая из 14 глав, впервые была издана в Мадриде в 1912 г.

стр. 81 *«Родная речь»* – сборник статей Асорина об испанской литературе; написан в 1912 г.

стр. 82 *«...он остановил сердце Испании!»* – Иисус Навин, в ветхозаветной традиции помощник и преемник Моисея; по его молитве Яхве останавливает на время битвы Луну и Солнце.

стр. 84 *«...как все повторяется»* – эта фраза из «Облаков» Асорина в свою очередь – цитата. Не называя автора, Асорин приводит строку из поэмы Рамона де Кампоамора-и-Кампоосорио «Колумб» (Песнь XII).

стр. 85 *«Злоключения Пио Сиды»* – второй роман А. Ганиветы, написанный в 1898 г.

стр. 85 *Костумбризм (от исп. costumbre – нрав, обычай)* – быто и нравоописательная литература, возникшая в Испании в 30–е годы XIX века.



стр. 86 «Город и окно» — одна из глав книги Асорины «Кастилия».

стр. 87 «...взявшихся за руки плясуньи» — отсылка к стихотворению Педро Гарфиаса Суриты (1901–1967):

*На площади в хороводе
девушки закружились,
словно часы. Их тоже
ровно двадцать четыре.*

стр. 88 «— Кто построил нам монастырь? // — Филипп Второй» — по приказу Филиппа Второго в 1556 г. началось строительство Мадрида. Проектировал дворец Хуан Баутиста де Толедо, после смерти которого в 1567 г. план архитектурного комплекса был кардинально переработан Хуаном Эррерой (1530–1597), создателем одного из стилей (эррерианского) испанского барокко. Строительство Эскориала длилось 21 год.

стр. 92 «...и рыбой в море» — видимо, Ортега цитирует стихотворный перевод фрагмента 117 (см. Фрагменты ранних греческих философов), раскрывающего веру Эмпедокла в переселение душ. Приводим подстрочный перевод: «Некогда я уже был мальчиком и девочкой, кустом, птицей и вынырывающей из моря рыбой».

стр. 93 «...навечно обращено к прошлому» — в ветхозаветном предании жена Лота, содомлянина, выведенного ангелами из обреченного города, нарушила запрет — оглянулась на родной город, гибнущий в огне, — и стала за это соляным столпом.

стр. 93 «Селестина» — речь идет о «Трагикомедии о Калисто и Мелибее» (1499) испанского писателя Фернандо де Рохаса (1456–1541), называемой обычно «Селестина» по имени сводни, которое сразу же стало нарицательным.

стр. 93 «...разглядывать веласкесовских «Менин» — еще одна отсылка к главе «Облака» из книги «Кастилия» (см. Асорин. Избранные произведения. М.: ИХЛ, 1989, с. 351).

стр. 93 Хосе Ньето — имя кузена Веласкеса, о котором известно одно: это он потрудились оповестить Инквизицию о том, что художник пишет обнаженную натуру и тем преступает установления.

ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ

Эссе написано в 1916 г. и опубликовано в альманахе «Эль Эспектадор», в первом томе. См.: Ed. cit. *Estetica en tranvia*. P. 42–53. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset J. *Obras completas*. T. II. Madrid, 1954. Печатается по кн.: Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. Москва: Искусство, 1991.

стр. 98 «...в театре «Реаль» — королевский оперный театр в Мадриде был открыт в 1850 г.

стр. 99 «Когда Рафаэль говорит, что пишет... идею, которая приходит ему в голову» — возможно, Ортеге вспомнилось выражение Леонардо: «Я рисую не то, что вижу, а то, что знаю».

стр. 99 Фуэнкарраль — северное предместье Мадрида.

стр. 99 В садах Академа — в предместье Афин Платон вел занятия своей философской школы.

стр. 100 «...относительно Гамлета» — см.: Mallarmé St. *Divagacions Hamlet*.

стр. 100 Куатро Каминос — площадь на северной окраине Мадрида.

НАБРОСКИ ПРАЗДНОГО ЛЕТА

Эссе опубликованное в пятом томе альманаха «Эль Эспектадор». См.: Ed. cit. *Notas de vago estio*. P. 575–635. Печатается с небольшими сокращениями; выпущена глава «Слуги».

стр. 102 Суккуб — в средневековой европейской мифологии женские демоны, соблазняющие мужчин, особенно отшельников и святых.

стр. 102 «...Ты нынче забежал?» — хокку японской поэтессы Фукуда Тиё (1703–1775). См.: Японские трехстишья в переводе Веры Марковой. Москва, 1960, с. 175.

стр. 104 «...путь Сиды, воссозданный Менендесом Пидалем» — см. статьи, посвященные «Песни о моем Сиде» в кн.: Рамон Менендес Пидаль. Избранные произведения. М.: ИИЛ, 1962, с. 160–248.



стр. 104 «Платеро» – точнее, «Платеро и я», небольшая прозаическая книга Хуана Рамона Хименеса, которую он начал писать в 1912 г. и издал в 1916 г.

стр. 105 Приап – в античной мифологии божество производительных сил природы, сын Афродиты и двух отцов – Диониса и Адониса.

стр. 105 «Атьенса, могучий камень!» – Ортега цитирует строки одного из вариантов романа о сражении Сиды с маврами вблизи Атьенсы.

стр. 107 Кампеадор — означает не только Ра-тоборец, но и Знатор закона. Однако Сид заслужил это прозвище победой на поединке.

стр. 107 «Клятвы в Санта Гадеа» – в этом городке на берегу Эбро (пров. Бургос) Сид в 1072 г. принес клятву верности королю Альфонсу VI.

стр. 110 «Таков Монлозье» – имеется в виду «История французской монархии» Франсуа-Доминика Монлозье.

стр. 111 «...дождется бабочек в саду» – Ортега цитирует одну из долор (жанр, созданный Кампоамором; в буквальном переводе – страдание) под названием «Священная реальность». См.: De Campoamor R. Obras poeticas completas, Madrid, Aguilar, 1951; Doloras, CXLII. La santa realidad. p. 247. Перевод вольный. В подлиннике речь идет о римском императоре Диоклетиане (245–313 г. н.э.), который в 305 г. удалился от дел и занялся огорождением вблизи Салона (а не в Салерно, как пишет Кампоамор).

стр. 115 Ланселот – герой «Славной повести о сэре Ланселоте Озерном», восходящей к французской прозаической версии романа артуровского цикла и далее к кельтским легендам; верный рыцарь королевы Гвиневеры.

стр. 115 «...пьем доброе вино» – строки из стихотворения Жана де Бомона «Обет цапли». Ортега цитирует стихи, видимо, по хорошо ему знакомой работе Й. Хейзинги «Осень Средневековья». (см. русский перевод. М.: Наука, 1988, с. 86, 101.)

стр. 115 Альмонт (иначе Йомонт или Гельмонт) и Агулант – персонажи рыцарского романа XII или XIII в. «Аспремон», сарацинские воины, отец и сын, отличавшиеся непомерной силой. В этом романе юный Роланд, герой «Песни о

Роланде», сражается в битве при горе Аспремон (Южная Италия) с Альмонтом, одерживает победу (за что Карл Великий возводит его в рыцарский сан) и получает меч Дюрандаль.

стр. 115 Оливье – персонаж французской эпической «Песни о Роланде» (записана в конце XII века), друг Роланда.

стр. 116 «...история с рубашкой» – речь идет о сказании «О трех рыцарях и рубашке» (вторая половина XIII в.). См.: Jacques de Baisieux. Des trois chevaliers et del chainse. Ed. Scheler. Trouveres belges. 1876. I. p. 162.

стр. 117 Альтамира – в провинции Сантандер в Испании в пещерах Альтамиры сохранились росписи эпохи верхнего палеолита.

стр. 119 «...что называлась Чистилищем Святого Патрика» – Ортега не совсем точен: пещера на северо-западе Ирландии, называемая Чистилищем Святого Патрика, где тот провел в покаянии долгие годы, ставшая затем местом паломничества, упоминается не в кельтской легенде, а в многочисленных житиях крестителя Ирландии.

К НЕНАПИСАННОЙ КНИГЕ

Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset J. Obras completas. t. V. Madrid, Alianza Editorial, 1983; A un libro no escrito. p. 291–293.

стр. 125 Тартесская культура – см. комментарий к Тартесс на с. 277.

КОНЦЕПЦИЯ АНДАЛУЗИИ

Работа была опубликована в газете «Эль Соль» в апреле 1927 г. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. Obras completas. Madrid, Alianza Editorial, 1983. t. V; Teoria de Andalucia. p. 111–121.

стр. 128 «...начинают Кортесы в Кадисе» – речь идет о Кортесах (первом испанском парламенте), созданных в сентябре 1810 г., в разгар освободительной войны. В 1912 г. в Кадисе Кортесы узаконили первую испанскую конституцию, вдохновленную французским образцом 1791 г.



стр. 128 *Рамблас* – бульвар в Барселоне.

стр. 128 *Фламенко* – песенно-танцевальная культура андалузских цыган.

ЗАМЕТКИ О НАРОДНОМ КОСТЮМЕ

Эссе представляет собой предисловие к альбому фотохудожника Ортиса Эчагуэ «Испания. Костюм и образ» (1930). Затем Ортега включил его в восьмой том «Эль Эспектадор», вышедший в 1934 г. См.: Ed. cit. Para una ciencia del traje popular. p. 1009–1019.

стр. 135 *Свободный Институт Просвещения* – первое в Испании чисто светское учебное заведение, основанное в 1876 г. учениками Хулиана Санса дель Рио – последователями немецкого философа Карла Христиана Фридриха Краузе (1781–1832). В 1878 г. при Институте была открыта школа. Испанские краузисты полагали, что реформа образования – это первый и необходимый шаг в деле обновления страны, переживающей экономический и идеологический крах, единственное средство спасения страны.

стр. 136 «...бунт плащей и шпаг» – согласно приказу министра Карлоса Третьего маркиза Скилаче (Эскилаче) мадридцам предписывалось укоротить плащи от пят до колен и вместо шляп с полями, закрывающими лицо, носить треуголки. Непокорных отлавливали на освещенных в ночное время улицах (еще одно нововведение Скилаче, вызвавшее не меньшее негодование) и подвергали насильственному обрезанию одежды. В ответ на принуждение в вербное воскресенье 23 марта 1766 г. в столице вспыхнул бунт. Дом маркиза был разграблен, сам он благодаря случайности спасся, но королю пришлось прекратить реформы и отправить их вдохновителя послом в Венецию.

стр. 138 *Минос* – в греческой мифологии один из трех сыновей Зевса и Европы, царь Крита.

стр. 138 *Тартесс* – согласно античной традиции, древний город и одноименное государство в Южной Испании в нижнем течении Гвадалквивира. Предположительная дата основания города 1100 г. до н.э. Около 500 г. до н.э. государство Тартес подверглось нашествию карфагенян и исчезло, оставив по себе лишь легенды и скудные исторические свидетельства.

ДОРОЖНЫЕ ТЕМЫ

Очерки написаны в июне 1922 г. и опубликованы в четвертом томе альманаха «Эль Эспектадор» в 1925 г. См.: Ed. cit. Temas de viaje. p. 513–539.

стр. 140 *Эндайя* – французский городок в Пиринеях на границе с Испанией.

стр. 140 «...занимает более 80 процентов территории» – Ортега цитирует книги Дантина Сереседы «Концепция природных зон в географии» (1918) и «Эволюция в географии» (1915).

стр. 144 «*Фарсалия*» – точнее, «Фарсалия, или О гражданской войне» – историческая поэма Лукана в десяти книгах, описывающая борьбу между Цезарем и Помпеем.

стр. 145 «...его «Мысли» танцуют» – «Мысли» представляют собой разрозненные заметки, написанные Паскалем в последние годы жизни и опубликованные посмертно в 1668 г.

стр. 145 «*Письма к провинциалу*» – полемическое произведение, направленное против иезуитов, было написано Паскалем вскоре после осуждения Иннокентием X в 1653 г. доктрины Янсения. Восемнадцать писем печатались от имени вымышленного лица, по частям.

стр. 145 *Пантагрюэль* – герой романа Франсуа Рабле (1483 или 1494–1533) «Гаргантюа и Пантагрюэль» (I часть – 1534, II – 1532, III – 1546, IV – 1552 г. V часть опубликована посмертно).

стр. 145 *Фадо* – португальский или галисийский романс печального содержания.

СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

Эссе опубликовано во втором томе альманаха «Эль Эспектадор» в 1917 г. См.: Ed. cit. Muerte y resurrección. P. 205–217.

стр. 150 «...блаженный из Ассизи» – Франциск Ассизский.

стр. 150 «...новый...метод открылся ему однажды вечером в натопленной комнате немецкого дома» – новый метод, названный Декартом «чудесным открытием», заключался в том, что все в природе подчинено Математике. Он открылся



Декарту во время военной службы в Германии (1620–1625) на зимних квартирах в Нейбурге.

стр. 150 «...представить Сократа и его друга... на берегу Илиса» – см. начало диалога «Федр». Друг Сократа – Федр.

стр. 151 «...является в виде бури» – видимо, речь идет о богоявлении на горе Синай (Исх., 33, 19; 34, 5).

стр. 151 «...возвещает катящийся вихрь» – не только Ариэль, но и ангелы вообще в иудаистской, христианской и мусульманской мифологиях – это бесплотные огневидные существа, неизменно описываемые через уподобление свету, ветру, огню молнии, огненному столбу, огненному колесу.

стр. 151 «Золотая легенда» – распространенный по всей средневековой Европе свод христианских агиографических легенд, составленный около 1260 г. блаженным Яковом Воррагинским (1226–1298).

стр. 151 «...не отстанем же от наших товарищей» – Ортега почти дословно цитирует начало довольно пространной речи Св. Маврикия, как ее передает Яков Воррагинский. См.: Jacque de Voragine, Le legen de doree. T. II: Paris: Flammarion, 1967; St. Maurice et les compagnons. p. 220.

СЕРДЦЕ И ГОЛОВА

Эссе опубликовано в буэнос-айресской газете «Ла Насьон» в июле 1927 г. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset J. Obras completas. T. VI. Madrid, Alianza Editorial, 1983; Corazon y cabeza. p. 149–153.

стр. 155 *Веды* – священные книги, запечатлевшие мифологические представления ведийских ариев, расселившихся во втором тысячелетии до н. э. на северо-западе Индии, а позднее на востоке и юге.

стр. 155 «...То, что мыслит, и только» – цитата не точна. Ср. у Декарта: «Я есмь, я существую – это достоверно. Но сколько времени? Столько, сколько я мыслю, ибо возможно и то, что я совсем перестал бы существовать, если бы окончательно перестал мыслить» (Декарт Р. Избранные произведения. М., 1950, с. 344).

стр. 155 «...мыслящий тростник» – ...скажет Паскаль» – см. Паскаль Блез. Мысли. М., 1994. Статья II. X–XI.

стр. 155 «...неизвестного не жаждут» – Ортега искажил цитату из Овидия. Приводим точный текст строк 397–398 третьей книги «Науки любви»:

Quod latet, ignotum est: Ignoti nulla cupido, Fructus abest, facies cum bona testa caret.

см.: Publili Obidii Nasonis. Artis amatorial. Leipzig, 1861, p. 172.

«Что скрыто, о том не знают, а чего не знают, того не ищут. Что пользы в красоте, если ее не видит знаток?» См.: Овидий. Наука любить. Пер. В.Алексеева. Москва: Вернисаж, 1992, с. 137.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Заметки были написаны в 1930 г. и опубликованы в восьмом томе альманаха «Эль Эспектадор», вышедшем в 1934 г. Печатается в сокращении. См.: Ed. cit. Reves del almanaque. p. 1049 – 1083.

стр. 161 «...посвятил всеобщему человеколюбию» – в книге китайского философа Мо-дзы (иначе Мо-Ди) есть главы «Всеобщая любовь» и «Против нападения».

стр. 163 «... – и все же...» – Ортега цитирует стихотворение «На смерть маленького сына» Кобаяси Иссы (1763–1827). См.: Японские трехстишия в переводе Веры Марковой. М, ИХЛ, 1960, с. 227.

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Работа написана в августе 1930 г., включена в восьмой том альманаха «Эль Эспектадор», вышедший в 1934 г. См.: Ed. cit. Socializacion del hombre. p. 1083 – 1088.

УЩЕРБНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Эссе опубликовано во втором томе альманаха «Эль Эспектадор» в 1917 г. См.: Ed. cit. Democracia morbosa. p. 187–205.



ВОССТАНИЕ МАСС

Книга была впервые опубликована в 1930 г. издательством «Ревиста де Оксиденте». Затем в 1937 г. дополнена предисловием к французскому изданию и в 1938 г. послесловием к английскому. Ортега указывал, что мысли, развернутые здесь, уже были намечены в статье «Массы», опубликованной в газете «Эль Соль» в 1926 г., и в эссе «Испания с перебитым хребтом» (1920), а также в лекциях, прочитанных в 1928 г. в Буэнос-Айресе.

Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. La rebelion de las masas. Ed. Espasa Calpe. Coleccion Austral, 1986.

стр. 174 «...более трудную... Махаяну (большую колесницу)... и более... блеклую Хинаяну (малую колесницу)» – Хинаяной и Махаяной в учении буддийских сект сервастивадинов и махасангхиков называются пути спасения от страданий, сформулированные на IV Великом собрании буддистов при Канишке в I – II веках. Затем в III веке Махаяна восприняла часть христианских идей. Хинаяна предполагает восхождение к нирване через практику аскетизма, это путь будд и архатов. Махаяна – путь бодхисатвы, принявшего на себя бремя людских страданий во имя спасения всех и каждого.

стр. 179 «...лучше, чем наши» – заключительные строки первой строфы «Строф на смерть отца» (1476) Хорхе Манрике.

стр. 179 «...недостойнейшего потомства» – Ортега цитирует конец Шестой Оды:

Чего не портит пагубный бег времен?
Отцы, что были хуже, чем дела, – нас
Негодней вырастили; наше потомство
Будет еще порочней.

(Перевод Н.С. Гинцбурга).

См.: Гораций. Собрание сочинений. С–Пб., 1993, с. 116.

стр. 182 Подобно Петеру Шлемиллю он утратил тень – Петер Шлемиль – герой повести немецкого писателя А. фон Шамиссо (1781–1838) «Необычная история Петера Шлемилля» (1814); описывая душевное смятение своего современника, Шамиссо использует метафору из немецких народных книг.

стр. 186 «...сказанное регентом о малолетнем Людовике XV» – регентом при Людовике XV с 1715 г. до самой своей смерти был племянник Людовика XIV Филипп III Орлеанский (1674–1723).

стр. 189 «Массы надвигаются!» – ...воскликнул Гегель» – это, видимо, не точная цитата, а вольное и экспрессивное переложение идей Гегеля, изложенных во введении к «Философии истории».

стр. 189 «...кончится катастрофой», – предрекал Огюст Конт» – цитата также вольная. Убежденный в своем пророчестве, Конт изложил идею новой религии как руководящей политической и социальной силы во многолетнем труде «Система позитивной политики».

стр. 192 «...утратить смысл жизни» – см.: Ювенал. Сатиры. VIII, 84.

стр. 198 Великая Хартия – речь идет об английской Великой Хартии вольностей (1215), где изложены принципы конституционной монархии.

стр. 204 «...Пасифаю с быком» – Пасифая, дочь Гелиоса и жена критского царя Миноса, стала жертвой противоестественного влечения к быку, которого ее муж отказался принести в жертву морскому владыке, и родила чудовище – Минотавра.

стр. 204 «...настигнутую козлом Антиопу» – дочь фиванского царя Никтея, которая от Зевса, явившегося к ней в образе сатира (а не козла) родила близнецов – Амфиона и Зета.

стр. 209 «...рослые рыжие варвары»... – Цитата из стихотворения Поля Верлена «Томление» («Langueur»):

Je suis l' Empire a la fin de la decadence,
Qnl regarde passer les grands Barbares blanc.
(Verlaine P. Oeuvres poetique completes.
Ed Gallimard, 1962. P. 370).

Приводим эти строки в переводе Б. Пастернака:

Я – римский мир периода упадка,
Когда, встречая варваров рои...
(Поэзия Франции. Век XIX. М.:ИХЛ, 1985, с. 279.)

стр. 210 «Силлабус» (Syllabus (лат.) – перечень) – приложение к папской энциклике от 8 декабря 1864 г. «Перечень главнейших заблуждений нашего времени», где перечислены все



общественные и религиозные движения, а также научные теории, осужденные церковью. В 1907 г. был составлен еще один «Силлабус», осудивший в основном религиозные новшества.

стр. 223 «...недавней книге «Новое открытие Америки». – Книга была написана в 1928–30 гг.

стр. 232 «... общее у меня с людьми в городе». – Цитата не точна. В диалоге Платона «Федр» Сократ говорит Федру: «Я ведь любознателен, а местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то, что люди в городе» (см.: Платон. Федр. 230 d Собрание сочинений. Т. 2. М.: Мысль, с. 163.)

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ "ВОССТАНИЯ МАСС"

Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. La rebelion de las masas. Ed. Espasa Calpe, Coleccion Austral, 1986. Печатается с некоторыми сокращениями.

стр. 253 Стентор – участник Троянской войны, голос которого был равен по силе голосам пятидесяти воинов.

стр. 254 Иов – в иудаистских и христианских преданиях страдающий праведник, испытываемый сатаной с дозволения Яхве; главный персонаж ветхозаветной книги Иова.

стр. 254 «...где место разума?» – См.: Книга Иова, XXVIII, 12.

стр. 256 «...состоящая из многих». – См.: Monarchie universelle, deux opuscules. 1891, p. 36.

стр. 257 «...не знала абсолютного господства какой-либо одной идеи...» – См.: Guizot. Histoire de la civilisation en Europe. p. 35; La coexistence et le combat de principes divers. p. 35.

стр. 258 «...моему лознгринову порыву...» – Лознгрин, рыцарь лебедя, один из рыцарей Круглого Стола, защитник справедливости, герой кельтских сказаний, а затем германской легенды, пересказанной в XIII веке Вольфрам фон Эшенбахом.

стр. 259 «...будет лишь возрастать». – Ортега по французскому переводу цитирует "Свободу" С. Милля.

стр. 260 Тингитания – территория современной Мавритании.

стр. 260 Паннония – территория современной Венгрии и Румынии.

стр. 260 Белги – предки современных бельгийцев.

стр. 260 «...цитатами из Паскаля, рекомендуемыми abetissement» – отсылка к Статье Восьмой «Мыслей»: «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия». Цитируем: «Вы хотите достичь веры, а пути к ней не знаете, желая излечиться, просите лекарьств... Начните так же, как и они (т.е. верующие) начали, а они начали с того, что делали все так, как бы уже веровали: пили святую воду, заказывали обедню и т.д. От этого вы уверуете и поглупеете» (см.: Паскаль Блез. Мысли. М., 1994, с. 434).

ЧТО СЕЙЧАС НУЖНЕЕ ВСЕГО

Выступление состоялось в мае 1935 г. Перевод осуществлен по изданию: Ortega y Gasset Jose. Obras completas. Madrid, Alianza Editorial, 1983. Т. V; Lo que mas falta hace hoy (version taquigrafica de una emision por Radio Madrid a Buenos Aires en mayo de 1935). p. 237–241.

стр. 267 «...как буриданов осел» – отсылка к известной притче об осле, замершем в нерешительности между двумя охапками сена.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Август (63–14 гг. до н.э.) – римский император с 27 г. до н.э., племянник Юлия Цезаря и его преемник. Сначала носил имя Гай Октавий, затем Гай Юлий Цезарь Октавиан и наконец Цезарь Август. Покровитель Горация, Вергилия и других поэтов.

Адриан Публий Элий (76–138 гг. н.э.) – римский император с 117 по 138 г., уроженец Испании.

Александр Македонский (356–323 гг. до н.э.) – царь Македонии, великий полководец.

Алеси Эли – французский историк.

Амар М. – французский ученый, врач.

Анакреонт (560–478 гг. до н.э.) – древнегреческий поэт.

Антоний Великий (ок. 250–356 гг. н.э.) – католический святой, основатель христианского монашества, египетский пустынный.

Антонин Пий (86–161 гг. н.э.) – римский император с 138 по 181 г.

Антонины – династия римских императоров (Нерва, Траян, Адриан, Антонин, Марк Аврелий, Верус, Коммод), правившая с 96 по 192 г.

Аристипп (V в. до н.э.) – древнегреческий философ, ученик Сократа.

Аристотель (384–322 гг. до н.э.) – древнегреческий философ и ученый-энциклопедист.

Аристофан (ок. 445–ок. 385 г. до н.э.) – древнегреческий драматург.

Арриаса-и-Супервьела Хуан Баутиста (1790–1837) – испанский поэт.

Архимед (287–212 гг. до н.э.) – древнегреческий ученый, математик и физик.

Асорин (настоящее имя *Хосе Мартиненс Руис*, 1873–1967) – испанский писатель.

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788–1824) – английский поэт.

Бальб Корнелий – доверенное лицо Цезаря.

Бальзак Оноре де (1799–1850) – французский писатель.

Барбюс Анри (1873–1935) – французский писатель.

Бароха-и-Несси Пио (1872–1956) – испанский писатель.

Бахофен Иоганн Якоб (1815–1887) – швейцарский юрист, антрополог и историк, знаток истории права.

Баянш Пьер-Симон (1776–1847) – французский писатель.

Беато Анджелико (настоящее имя *Джованни да Фьезоле*, 1387–1455) – флорентийский художник, монах-доминиканец.

Бергсон Анри (1859–1941) – французский философ, представитель интуитивизма и «философии жизни», лауреат Нобелевской премии по литературе (1927).

Берлихинген Гец фон (1480–1562) – немецкий рыцарь, герой тридцатилетней войны, персонаж одноименной драмы Гете.

Берругете Алонсо (1480–1561) – испанский скульптор.

Бехарано Галавис-и-Нидос Хасинто – испанский священник, автор «Патриотических мыслей и благочестивых бесед» (1791), ставший персонажем книги Асорина «Городок».

Бледри – автор (по неуточненным сведениям) одной из версий романа о Тристане.

Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский историк-позитивист.

Бомон Жан, сир де (ум. в 1356 г.) – французский поэт.

Бональда Луи де, виконт (1754–1840) – французский историк и политический деятель, сторонник монархии.

Брейсиг Герман (1815–?) – немецкий ученый, юрист и педагог.

Брут Марк Юний (86–42 гг. до н.э.) – убийца Цезаря.

Буань де, графиня – автор мемуаров, описывающих людей и события 20-х гг. XIX века.



Будда (Сиддхартха Гаутама, 623–544 гг. до н.э.) – основоположник буддизма.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707–1788) – французский ученый, естествоиспытатель.

Валера-и-Алькала Галиано Хуан (1824–1905) – испанский писатель, критик, литературовед и дипломат.

Валенти-и-Камп, Сантьяго (1904–?) – каталонский писатель, основатель Ассоциации барселонских журналистов.

Васкес де Ароэ Мартин – кастильский рыцарь, кавалер ордена Сантьяго, убитый маврами.

Ватто Антуан (1684–1721) – французский живописец и график.

Вега Карпио Лопе Феликс де (1562–1635) – испанский драматург и поэт Золотого века.

Вейль Герман (1885–1956) – немецкий математик, с 1933 г. жил в США.

Веласкес де Сильва-и-Веласкес Диего Родриго (1599–1660) – испанский живописец.

Верцингеторикс (ок. 72–46 гг. до н.э.) – галльский воин, возглавил в 52 г. объединенные силы галлов в борьбе против Рима, но сдался Цезарю и после шести лет заключения был казнен.

Вилье де Лиль Адап Огюст, граф (1840–1889) – французский писатель.

Вириат (ум. 140 г. до н.э.) – вождь лузитан, возглавивший восстание против римского владычества, за что и был казнен.

Воррингер Вильгельм (1881–?) – немецкий историк и эстетик, исследователь египетского, готического и новейшего искусства, автор манифеста экспрессионизма.

Галиани (1728–1787) – итальянский священник, аббат, писатель и философ.

Галилей Галилео (1564–1642) – итальянский астроном и математик.

Галивет Анхель (1862–1898) – испанский писатель и дипломат.

Геббель Фридрих (1813–1863) – немецкий драматург.

Гевара Антонио де (1490–1548) – испанский писатель, духовник и биограф Карла Пятого.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – немецкий философ-идеалист, создатель систематической теории диалектики.

Гельмгольц Герман (1821–1894) – немецкий естествоиспытатель, физик-акустик и оптик, основоположник современной психофизиологии.

Гераклит Эфесский (ок. 540–480 гг. до н.э.) – древнегреческий философ ионийской школы.

Геринг Эвальд (1834–1921) – немецкий психолог. В 1870 г. разработал теорию, согласно которой память – это основополагающее свойство живой материи, её детерминанта.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832) – немецкий поэт, писатель, естествоиспытатель и мыслитель.

Гизо Франсуа (1787–1874) – французский политический деятель и историк.

Гильом Д'Оранж, Гильом Первый, граф Тулузский (755–812) – рыцарь, персонаж французского эпоса.

Гойя-и-Лусьентес Франсиско де (1746–1828) – испанский художник.

Гораций (65–8 гг. до н.э.) – римский поэт.

Грасиан-и-Моралес Бальтасар (1601–1658) – испанский писатель, мыслитель и моралист.

Гумбольт Александр (1769–1859) – немецкий ученый и путешественник.

Гюго Виктор (1802–1885) – французский поэт и писатель.

Д'Аламбер Жан Ле Рон (1717–1783) – французский писатель, философ и математик, один из основателей «Энциклопедии».

Данвила-и-Кольядо Мануэль (1830–1906) – испанский историк и политический деятель.

Данте Алигьери (1265–1321) – итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка.

Дантин Сереседа Хуан (1881–1943) – испанский географ.

Дантон Жорж Жак (1759–1794) – один из вождей французской революции.



Дарвин Чарльз Роберт (1809–1882) – английский биолог и естествоиспытатель, основоположник материалистической теории развития органического мира.

Декарт Рене (Картезий, 1596–1650) – французский философ и математик.

Диоген Синопский (ок. 400–325 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, ученик основателя школы киников Антисфена.

Допш Альфонс (1868–?) – немецкий историк.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – русский писатель.

Дриш Ганс Адольф Эдуард (1867–1941) – немецкий биолог и философ, приверженец неовитализма.

Дюамель Жорж (1884–1966) – французский писатель.

Дюпон-Уайт – переводчик на французский произведений С.Милля.

Зомбарт Вернер (1863–1941) – немецкий экономист и социолог.

Ибсен Генрик (1828–1906) – норвежский драматург.

Иоанн Богослов – один из двенадцати апостолов, предположительно автор четвертого Евангелия, трех посланий и Апокалипсиса.

Исидор Севильский (570–636) – севильский епископ и ученый, автор огромной энциклопедии «Этимология», трудов по естествознанию, истории и праву. Канонизирован католической церковью, считается одним из покровителей Испании.

Калиостро Александр, граф (настоящее имя – Джузеппе Бальзамо, 1743–1795) – международный авантюрист, выдававший себя за мага и врача.

Кампоамор-и-Кампоосорио Рамон де (1817–1901) – испанский поэт.

Кановас дель Кастильо Антонио (1828–1897) – испанский государственный деятель и историк, глава консервативной партии, сторонник умеренной конституционной монархии. Способствовал реставрации Бурбонов 1874 г. и с 1876 г. определял испанскую политику.

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ и ученый, родоначальник классического идеализма.

Карл Великий (742–814) – король франков с 768 г., император с 800 г.

Карл Пятый (1500–1558) – Карлос Первый, король Испании с 1516 г. В 1519 г. добился короны императора Священной Римской империи и стал именоваться Карлом Пятым.

Карлейль Томас (1795–1881) – английский историк.

Карлос Второй (1661–1700) – король Испании с 1665 г.

Карлос Третий (1716–1788) – испанский король с 1759 г., просвещенный монарх, изгнал из Испании иезуитов.

Кеведо-и-Вильегас Франсиско де (1580–1645) – испанский поэт и писатель.

Кемаль Мустафа, Кемаль Паша Ататюрк (1881–1938) – турецкий генерал, вождь националистов, с 1923 г. президент Турецкой республики.

Клавдий Первый Тиберий Друз (10–54 гг. н.э.) – римский император с 41 по 54 г., муж Мессалины, затем отравившей его Агриппины.

Клапаред Эдуард (1873–1940) – швейцарский психолог и врач, работал в США. Предшественник Фрейда в изучении сновидений.

Клеопатра Седьмая (69–30 гг. до н.э.) – царица Египта с 52 г.

Коген Герман (1842–1918) – немецкий философ-идеалист, неокантианец.

Констан Бенжамен де Ребек (1767–1830) – французский политический деятель и писатель.

Конт Огюст (1798–1857) – французский математик и философ, основоположник позитивизма.

Коперник Николай (1473–1543) – польский астроном и мыслитель, обосновал гелиоцентрическую систему мира.

Конфуций (Кун-цзы, ок. 551–479 гг. до н.э.) – древнекитайский философ.



Корпус Барга (Андрес Гарсиа де ла Барга-и-Гомес де ла Серна, 1887–1975) – испанский журналист, в 1917 г. корреспондент газеты «Эль Соль» в Париже.

Кристина Шведская (1626–1689) – королева Швеции, в 1654 г. отреклась от престола, перейдя в католичество.

Кромвель Оливер (1599–1658) – вождь английской революции, затем диктатор – Лорд-Протектор Английской республики.

Кроче Бенедетто (1866–1952) – итальянский политический деятель и мыслитель.

Кьеркегор Серен (1813–1855) – датский философ и теолог, предтеча экзистенциализма.

Лагартихо (настоящее имя Рафаэль Молина Санчес, 1841–1900) – испанский торееадор.

Ларошфуко Франсуа, герцог де (1613–1680) – французский писатель.

Ларра-и-Санчес де Кастро Мариано Хосе де (1809–1837) – испанский писатель-романтик, революционный публицист.

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) – немецкий философ-идеалист, просветитель-энциклопедист и ученый.

Леон Луис де (1527–1591) – испанский гуманист, поэт-мистик, профессор богословия Саламанкского университета, знаток древних литератур и языков.

Линч Карл (1736–1796) – североамериканский судья.

Липпи Филиппо (1406–1469) – флорентийский живописец.

Луи Третий, герцог Орлеанский (1703–1752) – дед Филиппа Эгалите.

Лукан Марк Анний (39–65 гг. н.э.) – римский поэт и драматург, племянник Сенеки.

Людовик Пятнадцатый (1710–1774) – король Франции с 1715 г.

Людовик Святой (1214–1270) – король Франции с 1214 по 1270 г.

Людовик Шестнадцатый (1754–1793) – французский король, правил с 1774 по 1792 г.

Маврикий – христианский святой и мученик, казненный вместе со своими воинами в сирийском городе Аталия за отказ принести жертвы языческим богам во время правления императора Максимиана (305–311).

Маймонид (Моисей бен Маймун, 1135–1204) – еврейский философ, знаток Аристотеля; был изгнан арабами из Испании, подвергался преследованиям иудейских ортодоксов.

Маколей Томас Бебингтон, лорд (1800–1859) – английский историк и политический деятель.

Малларме Стефан (1842–1898) – французский поэт, глава символизма.

Мальбранш Никола де (1638–1715) – французский оратор и религиозный философ.

Манрике Хорхе (ок. 1440–1479) – испанский поэт.

Маркс Карл (1818–1883) – немецкий философ и ученый, экономист, автор «Коммунистического манифеста» и организатор Первого Интернационала.

Мартинес Руис Хосе – см. Асорин.

Мах Эрнст (1838–1916) – австрийский физик и философ-идеалист.

Мейер Эдуар Альбер (1888–?) – французский историк и психолог.

Менендес Пидаль Рамон (1869–1968) – испанский филолог, знаток староиспанской литературы.

Мериме Проспер (1803–1870) – французский писатель.

Месонеро Романос Рамон де (1803–1882) – испанский писатель, автор очерков о Мадриде и трудов по истории столицы.

Местр Жозеф де (1753–1821) – французский писатель и философ.

Мильтон Джон Стюарт (1806–1873) – английский философ.

Мильтиад (кон. V в. до н.э.) – афинский полководец, победитель персов при Марафоне. Был обвинен в злоупотреблении народным доверием (400 г. до н.э.) и умер в тюрьме.



Мишле Жюль (1798–1874) – французский историк.

Моммзен Теодор (1817–1903) – немецкий историк.

Монлозье Франсуа–Доминик, граф де (1755–1838) – французский писатель, историк и политический деятель.

Монтень Мишель Эйкем де (1533–1592) – французский философ, писатель и моралист.

Монтескье Шарль де Секонда, барон де (1689–1755) – французский писатель.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) – австрийский композитор.

Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682) – испанский художник.

Муссолини Бенито (1883–1945) – итальянский политический деятель, глава фашистской партии с 1919 г. и итальянского государства с 1922 г., союзник Гитлера; был казнен.

Наполеон Бонапарт (1769–1821) – французский император 1804–1814 г. и в марте-июне 1815 г.

Наторп Пауль (1854–1924) – немецкий философ-неокантианец.

Ниремберг Эусебио (1590–1641) – испанский иезуит, богослов.

Нише Фридрих (1844–1900) – немецкий философ, поэт и филолог, один из основателей «философии жизни».

Новалис (настоящее имя и фам. Фридрих фон Харденберг, 1772–1801) – немецкий писатель-романтик и философ.

Ньето Хосе – кузен Веласкеса.

Ньютон Исаак (1642–1727) – английский математик, физик, астроном.

Обрихт Франц (1788–?) – немецкий археолог.

Оррис Эчагуэ – испанский фотохудожник.

Отон Третий – император Священной Римской империи с 883 по 1002 г.

Павлов Иван Петрович (1849–1936) – русский физиолог, создатель материалистического учения о высшей нервной деятельности.

Павсаний – греческий географ и историк II века н.э.

Паскаль Блез (1623–1662) – французский математик, физик, философ и теолог.

Пасколи Джованни (1885–1912) – итальянский поэт.

Патрик, святой (377–460) – покровитель Ирландии, канонизирован католической церковью.

Перикл (499–429 гг. до н.э.) – вождь афинской рабовладельческой демократии, оратор и политический деятель, покровитель искусств. Его именем – Периклов век – назван век расцвета древнегреческого искусства, когда были построены Парфенон, Пропилеи и созданы другие великие произведения искусства.

Пи-и-Маргаль Франсиско (1824–1901) – испанский политический деятель, юрист, писатель; сторонник федеративной республики и демократических реформ; в 1873 г. президент Первой испанской республики.

Пиндар (521–441 гг. до н.э.) – древнегреческий поэт.

Планудий Максим – греческий монах 14 века, автор «Греческой антологии».

Платон (427–347 гг. до н.э.) – древнегреческий философ-идеалист.

Плиний (Гай Плиний Секунд Старший, ок. 23–79 гг. н.э.) – римский писатель и государственный деятель, историк, автор «Естественной истории» в 37 томах и сочинений по военному искусству.

Плотин (ок. 205–270 гг. н.э.) – греческий философ-идеалист, основатель неоплатонизма.

Помпей (107–48 гг. до н.э.) – римский полководец, консул в Испании; в 60 г. стал триумфом.

Посидоний (ок. 135–50 г. до н.э.) – греческий историк и философ.

Птолемей Клавдий (ок. 185–234) – греческий астроном, непреложный авторитет для всей средневековой науки.

Рамзес Второй (1298–1232 гг. до н.э.) – египетский фараон, покоритель Сирии.



Ганке Леопольд фон (1795–1886) – немецкий историк.

Распай Франсуа (1794–1878) – французский химик и политический деятель; участник революции 1830–1848 гг.

Ратенау Вальтер (1867–1922) – немецкий политический деятель, министр иностранных дел в 1922 г., убит националистами.

Рафаэль Санти (1483–1520) – итальянский художник.

Рембрант Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский художник.

Ренан Жозеф Эрнст (1823–1892) – французский философ, религиовед и историк-ориенталист.

Ригель Вильгельм Генрих (1823–1897) – немецкий писатель и историк.

Робертсон Уильям (1721–1793) – английский историк.

Робеспьер Максимилиан де (1758–1794) – вождь французской революции.

Ру Уилькем (1850–1924) – немецкий биолог.

Рубин де Сендойя – вымышленный персонаж, второе «я» Ортеги.

Сааведра Фахардо Диего (1584–1648) – испанский писатель и политический деятель.

Салюстий (86–34 до н.э.) – римский историк.

Сеговия-э-Искьердо Антонио Мариа (1808–1974) – испанский писатель, поэт и журналист.

Семон Рихард (1859–1918) – немецкий ученый, биолог и анатом, занимался философией биологии.

Сен-Симон Клод-Анри, граф де (1760–1825) – французский философ.

Сенека Луций Анней (ок. 4–65 гг. н.э.) – римский философ-стоик, драматург и писатель.

Септимий Север Луций (146–211) – римский император с 193 г.

Сервантес-и-Сааведра Мигель де (1547–1616) – испанский писатель.

Сервет Мигель (1509–1553) – испанский ученый, врач и теолог, сожженный в Женеве по приказу Кальвина.

Сигуэнса Хосе де (1545–1606) – испанский историк.

Сид – персонаж испанского эпоса «Песнь о моем Сиде», прототипом которого был испанский национальный герой, рыцарь, прославившийся во времена Реконксты Родриго Диас де Вивар (ок. 1043–1099).

Сик Отон (1850–?) – немецкий филолог и историк античности.

Сильвела Франсиско (1845–1905) – испанский государственный деятель, глава консервативной партии.

Симмель Георг (1858–1918) – немецкий философ и социолог.

Скилаче Леопольдо Грегорио (?–1785) – неаполитанец, министр при испанском короле Карлосе Третьем.

Сократ (ок. 470–399 г. до н.э.) – древнегреческий философ.

Соломон (ок. 965–928 гг. до н.э.) – третий царь Израильско-Иудейского государства, изображенный в ветхозаветных книгах величайшим мудрецом всех времен.

Сорель Жорж (1847–1922) – французский социолог, автор «Размышлений о насилии» (1908).

Соррилья-и-Мораль Хосе (1817–1893) – испанский поэт-романтик и драматург.

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ.

Стендаль (настоящее имя и фам. Анри Мари Бейль, 1783–1842) – французский писатель.

Сулоага-и-Сабалета Даниэль (1852–1921) – испанский керамист, монументалист и художник по тканям.

Суолага-и-Сабалета Игнасио (1870–1945) – испанский живописец.

Сурбаран Франсиско (1598–1664) – испанский живописец.

Талейран Перигор Шарль Морис, князь Бенеventийский, герцог Дино (1754–1838) –



французский политический деятель и дипломат; получил духовное образование, был аббатом, викарием в Реймсе и епископом Оттенским, затем перешел на позиции третьего сословия и предложил передать часть церковного имущества всей нации.

Тапиа Эухенио де (1776–1860) – испанский правовед, поэт и писатель.

Тацит (55–1320 гг. до н.э.) – римский историк.

Тереса, святая или Тереса из Авилы (Авильская) или Тереса Иисусова (настоящее имя и фам. Тереса Санчес де Сепеда-и-Аумада, 1515–1582) – испанская религиозная деятельница и писательница, мистик, реформатор монашеского ордена кармелиток.

Токвиль Алексис Клерель де (1805–1859) – французский историк, литератор и политический деятель.

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – русский писатель и мыслитель.

Торрес Кеведо Леонардо (1852–1936) – испанский математик, инженер и изобретатель.

Траян (53–117 гг. н.э.) – римский император с 98 г. по 117 г., уроженец Испании.

Тутмос III – египетский фараон XVIII династии.

Тьерри Огюстен (1795–1856) – французский историк.

Тэн Ипполит Адольф (1828–1893) – французский философ-позитивист и писатель, основатель культурно-исторической школы.

Уорд Джон Уильям – видимо, речь идет о Джеймсе Уорде (1843–1925), английском психологе.

Фемистокл (527–460 гг. до н.э.) – афинский полководец и политический деятель, одержал победу над персидским флотом у острова Саламин (480), умер в изгнании.

Филипп Второй (1527–1598) – король Испании с 1556 г., герцог Миланский и король Неаполитанский и Сицилийский с 1554 г.

Филипп Первый Красивый (1478–1506) – король Кастилии в 1506 г., муж Хуаны Арагонской (Безумной).

Флобер Гюстав (1821–1880) – французский писатель.

Фома Аквинский (1225–1274) – итальянский философ и теолог.

Форд Генри (1863–1947) – американский промышленник, создатель автомобильных заводов.

Франк Леонхард (1882–1961) – немецкий писатель.

Франс Анатолий (настоящее имя и фам. Анатолий Франсуа Тибо, 1844–1924) – французский писатель.

Франциск Ассизский (настоящее имя и фам. Джованни Бернадоне, 1181–1226) – итальянский религиозный деятель, писатель, основатель католических монашеских орденов францисканцев, терциариев и кларисс; отличался редкой любовью ко всякому живому существу.

Франциск Первый (1494–1547) – король Франции с 1515 г., претендент на корону Священной Римской Империи.

Франциск Сальский, святой (1567–1622) – епископ Женевы, автор «Введения в набожную жизнь», переведенного Кеведо, основатель в 1610 г. в Савойе монашеского ордена визитандинок.

Фрэнк Уолдо Дэвид (1889–1967) – американский писатель и критик, испанист.

Фукидид (460–395 гг. до н.э.) – греческий историк.

Фуше Жозеф (1759–1820) – французский политический деятель, министр внутренних дел.

Хейзинга Йохан (1872–1945) – голландский историк.

Хенер Помпейо (1848–1919) – испанский писатель и журналист; писал по-испански, по-каталански и по-французски.

Хименес Хуан Рамон (1881–1958) – испанский поэт и эссеист, лауреат Нобелевской премии.

Хинер де лос Риос Франсиско (1839–1915) – испанский философ, юрист и писатель.

Хуан, святой или Хуан де ла Крус (Иоанн Креста, 1542–1591) – поэт-мистик, монах-кармелит, канонизирован католической церковью.



Цезарь Гай Юлий (100–44 гг. до н.э.) – римский полководец; консул в 59 г., затем глава государства, автор «Записок о галльской войне».

Цинциннат (V в. до н.э.) – римский политический деятель, известный простотой нравов – он сам ходил за плугом.

Цицерон Марк Туллий (106–43 гг. до н.э.) – римский политический деятель, оратор и автор трактатов по риторике.

Шекспир Уильям (1564–1616) – английский драматург и поэт.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805) – немецкий поэт, драматург, теоретик искусства.

Шлегель Фридрих (1772–1829) – немецкий писатель, критик, культуролог, глава иенского кружка романтиков.

Шомберг – капитан фламандских гвардейцев при Карлосе Втором.

Шопенгауэр Артур (1788–1860) – немецкий философ.

Шпенглер Освальд (1880–1936) – немецкий философ, историк, представитель «Философии жизни».

Штайнен Карл фон дер (1855–?) – немецкий ученый, этнопсихолог, врач и путешественник.

Шультен Карл (?–1740) – немецкий историк-ориенталист.

Эгалите Филипп – Луи-Филипп Жозеф, герцог Орлеанский (1747–1793) – кузен короля и видный деятель Французской революции, принявший имя, означающее в буквальном переводе Филипп Равенство.

Эйнштейн Альберт (1879–1955) – немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности; эмигрировал в США.

Экхарт Иоганн (Майстер Экхарт, 1260–1327) – немецкий философ-мистик, монах-доминиканец, христианский неоплатоник; папской буллой 1323 г. некоторые его тезисы были объявлены еретическими.

Эль Греко (настоящее имя и фам. Доменико Теотокопулос, 1541–1614) – испанский живописец.

Эмерсон Ральф Уолдо (1803–1882) – американский писатель и философ.

Эмпедокл (ок. 490–420 гг. до н.э.) – древнегреческий философ, врач и ученый.

Эренберг Кристиан Готфрид (1795–1876) – немецкий натуралист, физиолог и путешественник.

Эсхил (ок. 525–456 гг. до н.э.) – древнегреческий поэт, отец греческой трагедии.

Юкскуль Якоб Иоганн фон (1864–1944) – немецкий биолог, приверженец неовитализма.

Юм Дэвид (1711–1776) – английский философ-идеалист и агностик, историк, писатель, экономист.



СОДЕРЖАНИЕ

Собеседник жизни (предисловие Анатолия Гелескула)	4
Кордовские отшельники (перевод А.Гелескула)	11
Природная педагогика (перевод А.Гелескула)	14
Кастильский край (перевод А.Гелескула)	18
Новая старая поэзия (перевод А.Гелескула)	23
Из Мадрида в Астурию, или Два облика земли (перевод А.Гелескула)	27
Увертюра к "Дон Жуану" (перевод А.Гелескула)	38
Размышления о Пио Барохе (перевод А.Гелескула)	49
Асорин, или Обаяние обыденности (перевод Н.Малиновской)	70
Эстетика в трамвае* (перевод Орла)	95
Наброски праздного лета (перевод А.Гелескула)	101
К ненаписанной книге (перевод А.Гелескула)	123
Концепция Андалузии (перевод А.Гелескула)	127
Заметки о народном костюме (перевод Н.Малиновской)	134
Дорожные темы (перевод А.Гелескула)	139
Смерть и воскресение* (перевод Б.Дубина)	149
Голова и сердце (перевод А.Гелескула)	154
Заметки на полях (перевод А.Гелескула)	158
Обобществление человека (перевод А.Гелескула)	164
Ушербная демократия (перевод А.Гелескула)	167
Восстание масс* (перевод А.Гелескула)	171
Из предисловия к французскому изданию "Восстания масс" (перевод А.Гелескула) . .	251
Что сейчас нужнее всего (перевод А.Гелескула)	265
Комментарии (Н.Малиновская)	269
Именной указатель (Н.Малиновская)	279

*Все переводы, кроме отмеченных *, подготовлены специально для этого издания и печатаются впервые.*



В книге использованы фотоработы Ортиса Эчагуэ из альбомов "Замки" (1956), "Селения и пейзажи" (1963), Люди и платья" (1950).

Хосе Ортега-и-Гассет
Камень и небо

Корректор
*Перцова Т.
Инсарская Н.*

Редактор
*Попова Т.Ю.
Шенников В.Н.
Васильева Т.Б.*

Оригинал-макет
Бонч-Осмоловская Т.

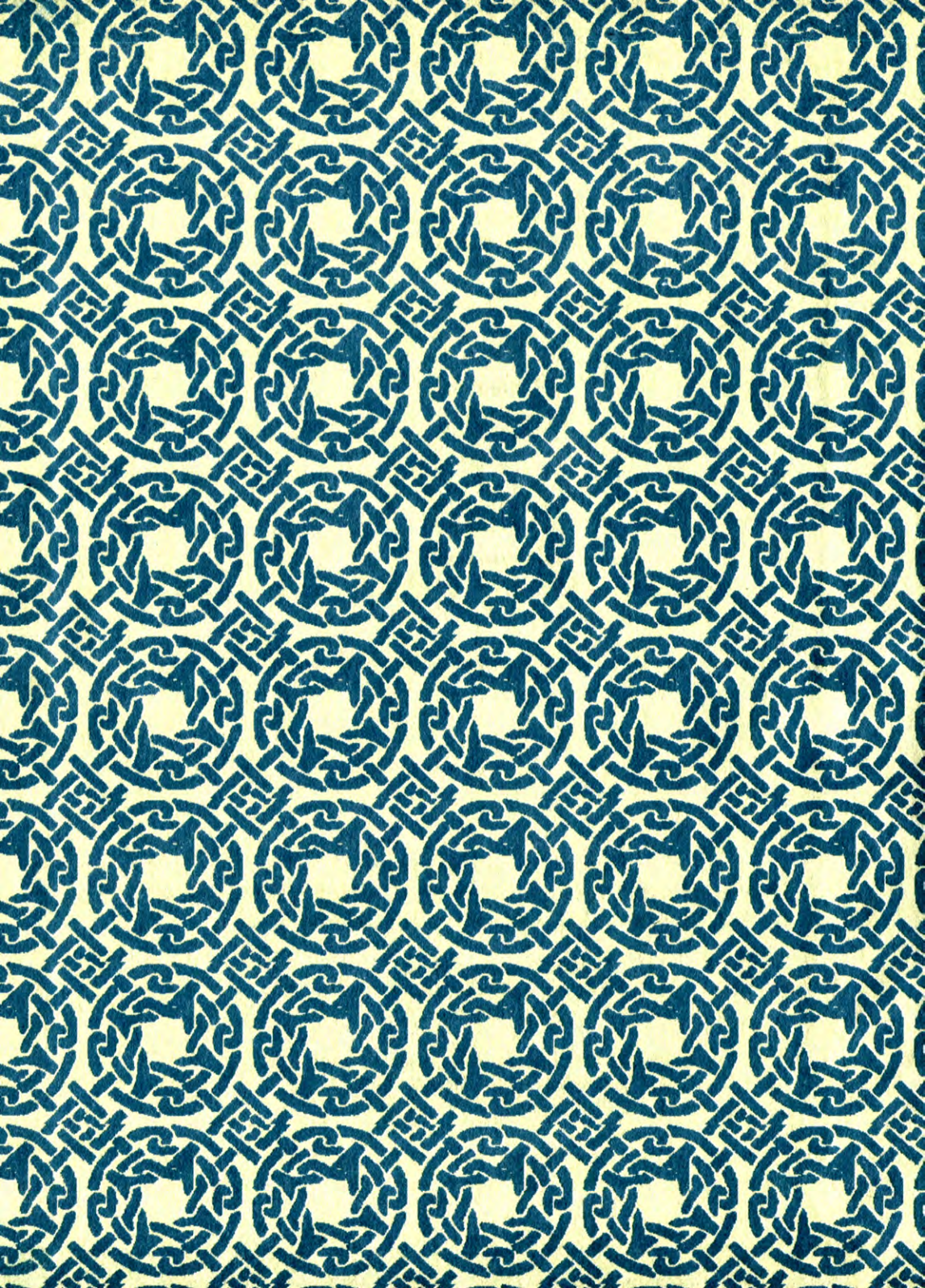
На обложке использована картина Р.Магритта "Замок в Пиренеях".

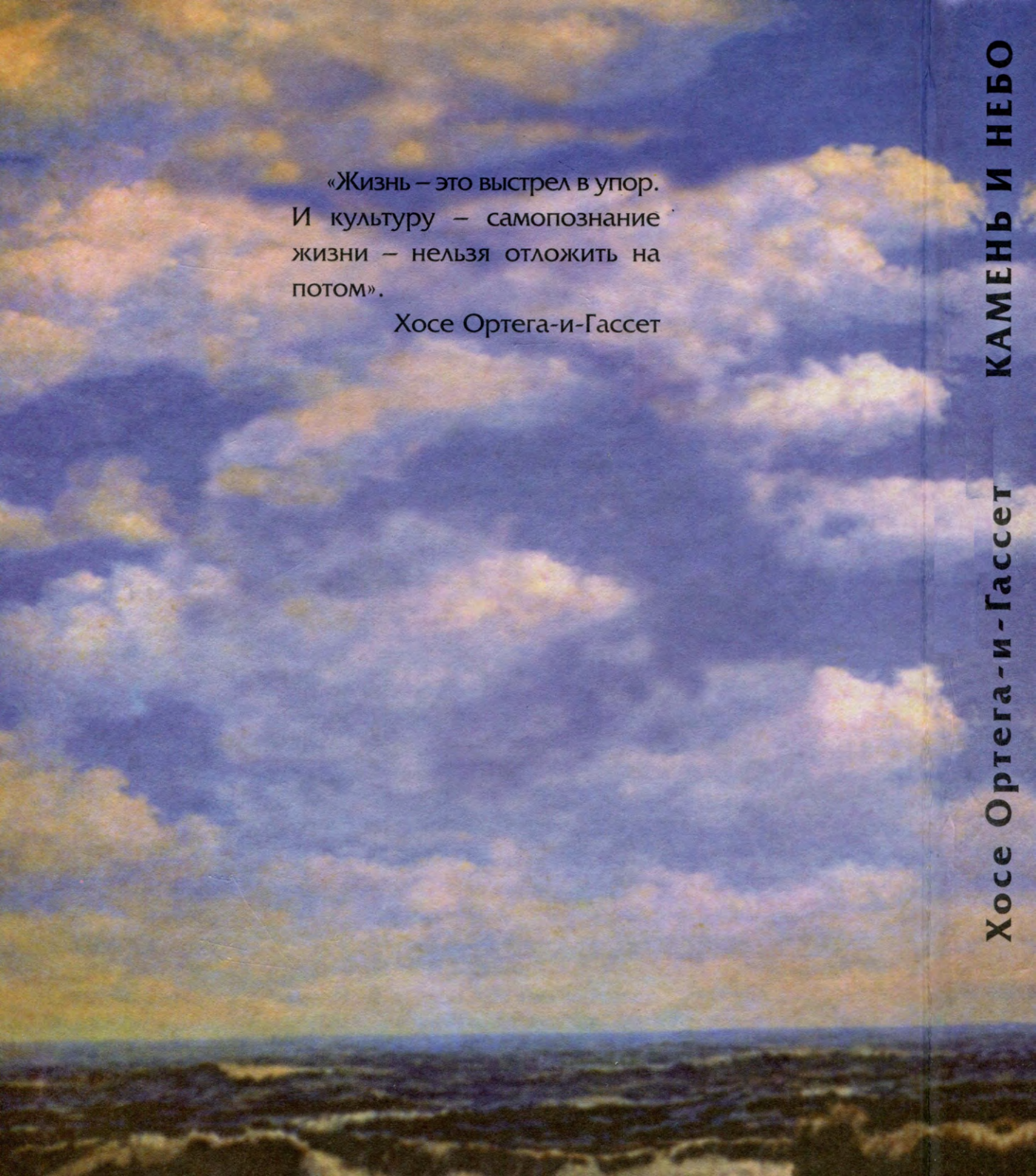
ИД № 01901 от 30.05.2000г.

Сдано в набор 15.04.1999. Подписано в печать 10.07.2000. Формат 70×90 1/16.
Гарнитура Фриз Квадрата. Усл.печ.л. 21,06. Усл.изд.л. 23,26

Издательство «ГРАНТЬ»
109240, Москва, а/я 34
тел. 270-02-79

Отпечатано с готовых диапозитивов ПФ «Полиграфист»
160001 г.Вологда, ул.Челюскинцев, 3.
тел. (8172) 725531, 726175
Заказ **3163**





«Жизнь – это выстрел в упор.
И культуру – самопознание
жизни – нельзя отложить на
потом».

Хосе Ортега-и-Гассет

Хосе Ортега-и-Гассет

КАМЕНЬ И НЕБО